

Марат КОНУРОВ

**КАЖДЫЙ ВЗОЙДЕТ НА
ГОЛГОФУ**

роман

АЛМАТЫ • 2018

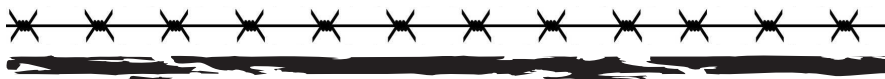
Конуров М.С.

Каждый взойдет на Голгофу. – Алматы, 2018. – 448 с.

Историю жизни вымышленного героя – от его голодного беспризорного детства, ужасов пребывания в тюрьмах и лагерях, к «восхождению» к статусу воровского авторитета, вслед за тем к трагическому финалу – пересказывает автор, для которого многое из «той» жизни известно не понаслышке.

Для широкого круга читателей.

© М.С. Конуров, 2018 г.



Пройдя мытарства трудной жизни,
Прочесть все чёрные страницы,
Узнав на деле жизнь людей.
И сохранить полёт орла
И сердце чистой голубицы...

О ТОМ, ДЛЯ ЧЕГО ПИСАЛАСЬ ЭТА КНИГА

Как ни воспринимай то, что последует за этой страницей, у автора не было цели – написать книгу ужасов.

Невольное прикосновение к другой, скрытой от глаз, страшной жизни, что течёт за высокими заборами, опоясанными колючей проволокой, знакомство, пусть даже самое поверхностное, с горькими атрибутами этих безрадостных мест, способны порушить многое в сознании неподготовленного человека. Каково же приходится тем, кто проводит свою жизнь там – за колючей проволокой?

В каждом совершённом кем бы то ни было преступлении виновато прежде всего государство! Это аксиома, из неё нам, именующим себя обществом, и следует исходить. Порочное государство порождает порочное общество. В порочном обществе порочны все его члены – кто-то более, кто-то менее.

В нашей несчастной отчизне с незапамятных времён бытует поговорка: «Закон – что дышло». Об этом известно каждому. И трудно сыскать того, кто стал бы оспаривать эту общеизвестную истину. Не случайно в народе возникла и ещё одна поговорка: «Туда (читай – в тюрьму) ворота широкие, а оттуда – узкие».

И действительно, высокие металлические ворота наших лагерей – а мне довелось перевидать их великое множество – открываются, словно зев сказочного айдахара, готовые принять «всякого, сюда входящего». Однако практически невозможно выйти оттуда, даже

по истечении срока, отмеренного тебе нашей Фемидой с завязанными глазами. Нет никакой возможности выйти оттуда нормальным человеком, ибо жизнь там страшна и ужасна. ГУЛАГом, этим порождением нашего государства, умышленно и невольно делается всё для того, чтобы человек, осуждённый обществом к лишению свободы, превращался в выродка, зомби!

Осуждённый лишён практически всего: еды, питья, нормальных бытовых условий – самого элементарного, что необходимо всякому человеку, пусть он и лишён свободы. ГУЛАГ, словно ненасытный, алчущий людской крови, вампир, медленно отнимает у своих пленников самое бесценное – их здоровье.

Каждый день открываются двери вахт в многочисленных зонах. Каждый день на свободу – нет, не отбыв, но отстрадав свой срок – выходят ступки боли и порока, прошедшие мыслимое и немислимое. Чего же мы, люди, ожидаем от каждого из них? Исправило ли их наказание? Нет. Ведь отправив человека, совершившего зло, за решётку, мы, общество, лишь на время избавляемся от него, не задумываясь о том, каким этот человек к нам вернётся.

Большей частью события, описанные в этой книге, совершенно правдивы и действительно происходили в наших зонах. Однако в связи с тем, что книга претендует на право быть названной художественной, в ней оставлено место и авторской фантазии, опирающейся, впрочем, на знание нашей с вами далеко не безоблачной жизни.

Роман не претендует на утверждение какой-либо истины, ибо для самого автора любая истина – от Господа. Эта книга есть лишь попытка вскрыть общественный нарыв, показать, сколь же много скопилось в нашем обществе боли и «гноя».

У физиков есть Ньютоны, у космонавтов – Королёвы, у математиков – Эйнштейны, у шахматистов – Ботвинники, у преступного люда – их порождение: Воры в законе. Недаром сказано: «И дела греховные приходят к концу, тогда сласть греховная исчезает и находит горькое жало покаяния».

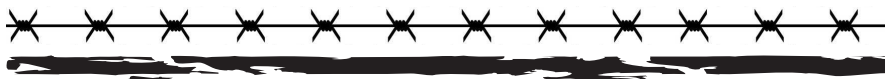
Ведь каждый из нас взойдёт на свою Голгофу и принесёт на ней своё горькое покаяние. Это свидетельство вызывает к нам: оглянитесь, не творите зла, не разрушайте храма Господнего в ближнем своём, ибо всё земное призрачно. Не спускайте курок из-за злата, ибо не стоит оно того. Пусть с помощью Господа каждый возьмётся за возведение дома Добра на земле многострадальной нашей!

Автор

Часть 1

ВЯЗАНАЯ ЗОНА





Надпись на дверях ШИЗО:
«Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Глава 1

ВЯЗАНАЯ ЗОНА

«Вязаная» зона... Единственный много о ней слышал, а теперь вот сам шёл по ней и временами щипал себя до боли, чтобы убедиться в том, что это явь, а не какой-то кошмарный сон.

Прошла всего лишь неделя, как его выпустили в зону. До этого он провёл кряду две «пятнашки» в «трюме», где этап в десять человек ежедневно подвергали жестоким избиениям.

«Гайдамаки» (солдаты Внутренних войск) залетали в ШИЗО, словно спущенные с цепи псы, вытаскивали в коридор щурившихся от непривычно яркого света, поросших щетиной, худых, голодных, замёрзших арестантов и начинали работать дубинками.

Те с хрястом ходили по спинам, головам, рукам и ногам бедных зэков, и не было спасения от этой экзекуции. Били до тех пор, пока бедолаги-зэки не падали с ног. Упавших топтали ногами. Слышны были звуки ударов дубинками, шумное, с присвистом, дыхание гайдамаков. Считалось среди них особым удалством ударить с плеча, с присвистом, в оттяжку. Слышны были топот многих ног, стоны, хруст ломаемых рёбер и шум падающих тел. А потом по-

являлся в сопровождении своей свиты режимник-майор, гомосек и редкий подлец по кличке Ирод. Медленно прохаживаясь по коридору, морщась при виде мужицкой крови, он говорил: «Вот так, говнюки, будет с вами каждый день. Не наденете повязку в эту пятнашку, автоматом пойдёт следующая. Три пятнашки, затем в БУР на шестерик. Всё равно вас ломаем, говнюки. Здесь вам не там, откуда вы пришли, здесь Вязаная зона!..»

После первых же побоев трое с этапа надели повязки. Утром сломавшихся выпустили в зону, и сразу же по «балаболу» – лагерному селектору – объявили их фамилии как вступивших в СВП (Совет внутреннего порядка).

Единственный был одним из немногих, кто не сломался. Переноса день за днём избиения и унижения, он только крепче сжимался в комок непостижимого терпения. В течение восемнадцати лет мытарств по лагерям и тюрьмам необъятной страны Советов, он всё больше ожесточался внутренне, одновременно становясь мудрее. Стойко переносил недоедание, холод, разлуку, и лишь неизбывная тоска по воле грызла его изнутри, словно громадный червь.

После окончания первой пятнашки, в течение которой экзекуции происходили ежедневно – по сравнению с ними описанное у Шевченко прохождение солдата «сквозь строй» показалось бы обитателю ШИЗО детским наказанием – из этапа в десять человек осталось двое. Чуть раньше ещё трое написали заявление о вступлении в лагерный «козлят-НИК» – стали членами всяких СВП, СКК и вышли в зону. Измождённый чахоточный зэк по кличке Ганага вскрыл себе брюхо, вывалив внутренности прямо на колени, и перерезал вены на левой руке. Его, почему-то никак всё не умиравшего, солдаты забросили на носилки и увезли на больничку. Вместе с ним на больничку отправили и чеченца Залима. Тому поотбивали почки, он мочился гольной кровью и при этом орал от боли на всю «кичу». Из всего этапа вместе с Единственным оставался только молодой парень по кличке Живой, недавно поднявшийся с малолетки на взрослую зону.

Несмотря на свой юный возраст – восемнадцать с небольшим лет – парнишка успел натерпеться всякого на беспредельной уральской малолетке. За двойки, полученные в лагерной школе, вечерами его били активисты, так называемые «роги». За невыполнение нормы по сборке деревянных тумбочек, в одной из таких тумбочек его дважды сбрасывали со второго этажа и потом ещё удивлялись,

что он выбирался из под обломков живым. Потому, наверное, его так и прозвали – Живым. В знак протеста он зашивал себе рот цыганской иглой, отказываясь от приёма пищи, но его расшивали, по живому выдёргивая из окровавленных губ шпагатную шёлковую нить. Активисты, получившие от лагерного начальства нагоняй не за само ЧП, а за то, что кто-то осмелился протестовать, били его табуретками.

«Ты в натуре живучий пацан! Ну да ничего, долго жить будешь», – шутил Единственный после очередного набега гайдамаков.

Им обоим вклепили ещё по пятнадцать суток и оставили на время в покое, переведя в угловую, самую сырую, камеру. Теперь их больше не били. Они целыми днями отсыпались на холодном бетонном полу, лёжа на животе. Спать правда приходилось по очереди, поскольку, когда один спал, второму не оставалось ничего другого, как бодрствовать в одних трусах, ибо все вещи он снимал и отдавал первому – подстелить под себя для тепла. Тяжелее голода и холода было невыносимое желание покурить. Но курева в ШИЗО не полагалось, а так как зона была вязаная, то козлы и не думали подбросить узникам «курёхи». В отличие от ШИЗО предыдущей зоны Единственного, в которой правила «чёрная масть», этот ШИЗО был напрочь отгорожен от жилзоны.

Истекала день за днём, ночь за ночью вторая пятнашка. Единственный и Живой морально настраивались на третью. Ирод, тряся бумагами и яростно брызжа слюной, грозил отправить их после третьей пятнашки в «крытку», крытую тюрьму. И вдруг, неожиданно выдернув из камеры и разрешив помыться под холодной водой, их отправили в зону.

Когда Единственный, совершенно опустошённый, миновав «локалку», перешагнул порог барака восьмого отряда, его встретил отрядный завхоз.

– Из трюма? – поинтересовался встречающий.

Единственный в ответ кивнул головой.

– Там должен был быть Единственный, куда его толкнули? – спросил завхоз.

– Я Единственный.

– Заходи, брат лихой, я тебя жду, уже и чифир сварил.

– С каких это пор порядочных людей в зонах стали встречать завхозы? – насмешливо бросил Единственный.

– Э-э, брат, это же зона вязаная, в рот бы её... Я тоже поначалу пришёл чистым фраером. Очкарь я, может, слышал? Мусора всё здоровье отняли, не выдержал я. А потом подумал: чем какая-то вошь будет мной рулить – а здесь на девяносто процентов все воши и бляди – так лучше я сам их давить буду, этими вот руками. А тебе, я слышал, досталось в трюме-то, – сочувственно вздохнул он.

– Ничего, отольются кошке мышкины слёзы, – сдержанно ответил Единственный.

Он хорошо знал кличку Очкарь. Известной была эта кличка в преступном мире, и носил её «крадун». С особого режима привезли его на чёрную зону, а здесь сломали.

«Да, видно, совсем уж круто мусора здесь наворачивают, раз даже такие, как Очкарь, согнулись. Смотри, какая лохматина у него на рукаве, на полруки», – усмехнулся про себя Единственный, а вслух завхозу сказал:

– Благодарю за заботу, Очкарь, за желание встретить, но чифирить с тобой не стану, сам всё понимаешь.

Так уж заведено, уважающий себя заключённый, хранящий свою масть незапятнанной, не станет чифирить с завхозом отряда, так как завхоз является членом СКК, Совета коллектива колонии, то есть «вязанным», «козлом». Не всё было просто. Когда одолевал режим, случалось и так, что блатные, чёрная масть, чтобы выжить, чтобы завхозом, «бугром» или нарядчиком не стал какой-нибудь конченный гад, пытались протолкнуть на эти должности кого-либо из своих. Но если потом этот «свой» в результате очередной «келешовки» попадал в другую зону, где больше правила чёрная масть, ему приходилось туго. Ведь его встречали уже как «козла», и эку приходилось доказывать братве, что это была вынужденная мера, что сделано было всё ради выживания оставшейся чёрной масти. А доказать это было почти невозможно. Местной чёрной масти было выгодно принять его как замаранного. И замаранного не на срок, но на всю оставшуюся жизнь. И даже на свободе, среди бывших зэков, его будут презирать. Козёл – он и есть козёл!

Какое-то время Единственный всматривался в изборожденное морщинами лицо Очкаря.

– Понимаю тебя, Единственный, – проговорил тот. – Масть держишь перед мусорами. Ну что ж, фарту тебе, бродяга, держись. Ирод тебя просто так не оставит, да и кум здесь, Алпус, – гад законченный. Если что, можешь рассчитывать на меня. Пойдём, я устрою тебе укромное место.

Единственный кивнул головой и, отвернувшись от завхоза, побрёл по бараку.

На промзоне, куда их утром выгнали на работу после обычных лагерных процедур – проверки, зарядки, завтрака в столовой – Единственного, с подачи Очкаря, определили в инструментальный цех. В этой зоне работали на производстве сельхозмашин. Здесь делали сеялки, веялки, бороны.

В огромном сварочном цеху из-за дыма, растекающегося от сотен рабочих мест, «сварных» почти не было видно; их фигуры лишь угадывались в отблесках огня, искрах и чаде. Сварным здесь приходилось особенно тяжело. С них требовали выполнение нормы, а вместо «молока за вредность», что полагалось бы по закону, невыполнивших норму на ночь закрывали в «отстойник» – маленькую камеру в ШИЗО, размером метр на два. А утром бедняг гнали прямо из отстойника на работу, опять давать норму.

На «фонаре» промзоны, особом месте, где дежурят поочерёдно сменяющие друг друга зэки, никого не было. Фонарь существует в любой зоне. Если кто-то с воли подъезжает к забору, чтобы бросить «грев», курево или продукты, или забрать почту, дежурящий зэк может быстро позвать с зоны того, к кому приехали.

«В этой зоне даже забыли, что такое фонарь», – объяснил Единственному Кайло, шагавший рядом зэк.

Кайло уже пятый год пребывал в этой зоне. Его привезли из Туркмении с наркотзоны, где он был в авторитете, был рядом с ворами. По свободе Кайло – крадун, а за решёткой провёл без малого пятнадцать лет. Так же как и Единственный, на «взросляк» он поднялся с малолетней колонии. Сам родом из Туркмении, когда-то Кайло жил в городе Мары, где с малых лет начал красть. Поначалу лазил по карманам, потом работал в бригаде с известным карманником по кличке Хай-Вай. Был «пропульщиком», «крючочником», «ширмачом», позже поднял свою квалификацию до «писаки» – а это уже среди карманников высший пилотаж, «голубая кровь». Детдомовский. Отца-мать своих не помнит. Освобождался, снова садился. Последний раз Кайло был на свободе целый год. Крал, гулял в ресторанах, выезжал на пляжный сезон «на гастролы» в Сочи, Ялту.

По молодости его очень любили девки – такого красивого, с золотой блатной фиксой во рту. В карманах у него в то время не переводились «лавэ» – деньги, которыми он щедро сорил в кабаках. И ему нравилось, обнимая очередную дурочку, вешать ей на уши

романтическую лапшу. Рассказывал ей, что он-де моряк дальнего плавания, сейчас находится в отпуске после целого года, проведённого в тропических морях, что обошёл он полсвета и не раз сходил на берег на Гавайских и Канарских островах.

Всем своим краткосрочным знакомым он рассказывал одну и ту же избитую небылицу. Якобы однажды он упал с кормы в море, и появляется вдруг огромная чёрная акула, пожирательница людей. Молодой моряк совсем уж было прощается с жизнью, как неожиданно рядом, откуда ни возьмись, возникает дельфин. Хватается Кайло, то есть моряк, за плавник дельфина. Потом они вместе догоняют корабль. С кормы кто-то их замечает и орёт истошным голосом: «Человек за бортом!!!»

И будто бы кое-как выбрался он тогда, ухватившись руками за брошенный с правого борта канат. Дельфин выпрыгнул из воды, словно прощаясь, блеснул лоснящейся чёрно-голубой спиной и уплыл куда-то в неведомые морские дали. Акула же ещё долго шла рядом с кораблём параллельным курсом.

Очередная дурочка восторженно охала, раскрыв рот, слушая романтические бредни, и в ту же ночь отдавалась молодому красивому карманнику.

Кайло прошёл немало зон и тюрем. Завозили его и на знаменитый Владимирский централ, в крытую. В такой тюрьме, заключённый проводит под замком, в камере, весь срок – с кипятком и фунтом хлеба на день. Бывал Кайло и в лесных командировках, однако большую часть сроков провёл он за колючей проволокой под изнуряющим солнцем Туркмении, среди песчаных, жёлтых до одури, барханов. В зонах знали его как весельчака и балагура, а вот здесь, на вязаной зоне, заморили его мусора. Пройдя через несколько БУ-Ров, в которых обычно проводят не меньше трех месяцев, а нередко, с барского плеча, и все шесть, а также бессчётное количество трюмов, Кайло стал погибать. Его начала доводить чахотка. Порой по полчаса он заходил в кашле и хрипел, отхаркиваясь кровью:

– Вот видишь, как лёгкие кусками вылетают. Загнёмся мы здесь с тобой, браток. Я такой зоны козьей ещё не видел. Здесь же ход чисто мусорской! – сатанел он.

Единственный отмалчивался и только хмурился в ответ. Уже первые несколько дней, проведённые в зоне, поразили его. Утром,

по команде «подъём», обитатели зоны выбегали на зарядку. Не выходили, а именно выбегали. Зона была локальная. Это означает, что бараки отрядов были разделены сеткой-рабицей, и локалки были открыты лишь вечером в течение часа, чтобы зэки могли сходить в гости друг к другу.

Зримые и незримые стукачи по утрам спешили с доносами, кто первым успеет, в «кумотдел», оперативную часть. Докладывали обо всём: кто к кому приходил, кто чифирил. Зримые стукачи донесения писали, а незримые – шепотком на ушко «куманёнку», оперработнику. И всё движение по зоне было как на ладони у главного кума – Алпуса. В столовую ходили строем, застёгнутыми на все пуговицы, перед мусорами сдергивая за три шага «пидорку», летний головной убор зэка. В столовой «петухи», «опущенные», сидели за одним общим столом. («Сами трахали их, так теперь и жрите вместе», – требовал Ирод).

– Об общаке здесь вообще не вздумай даже спросить у кого-нибудь. Строят сразу, запрут в тьму-таракань, – шептал сквозь сип и кашель Кайло. – Нашего хода здесь не поставить. Тут завозили шпану-Афоньку. Так ему боксёр-вязанный в трюме в рожу заехал за невыход на работу. И ничего. Козлы ликовали, а остальные сделали вид, что не знают. Хотя об этом вся зона знала. Я было рот раскрыл, среди вроде бы сохранившихся порядочных, так тут же стукнули мусорам. Ну, налетели гайдамаки, согнули в бараний рог и уволокли в трюм. А там парили дубинками так, что думал – убьют. А Ирод, пидор, говорит: «Ещё раз пасть откроешь, Кайло, я тебя вздёрну в камере. Объявим, что повесился. Или, если хочешь, к девам тебя закину, пусть наслаждаются». Я ему, конечно, ответил – меня так избili, что неделю потом кровью ссал.

– Вот так, браток. Ну что делать? – спрашивал Кайло, чуть не со слезами на глазах, у Единственного.

– Валить их надо, одного, двоих, тогда утомонятся, – ответил однажды Единственный.

– Так ведь тогда под пыж идти придётся, – обречённо вздохнул Кайло, соглашаясь.

– Другого выхода не вижу, – угрюмо произнёс Единственный. – Ладно, пошли они... все, давай-ка лучше чифиру сварим.

Единственный потянул чуть не плачущего зэка за рукав и повёл его к будке электриков. В этой будке заправлял зэк по кличке Перхоть. Хоть и вязанным был Перхоть, но относился к блатным с по-

ниманием. Старался угодить и кумотделу и чёрной масти, потому что боялся и тех и других.

– Сходи погуляй, Перхоть, а заодно побудь на атасе, если вдруг контролёры нагрянут, – бросил ему Единственный.

– Ладно, не беспокойтесь, я их за версту увижу, – Перхоть угодиво засуетился, нахлобучил на голову пидорку и шмыгнул за дверь.

Кайло достал из-за пазухи свёрточек, в нём был туб чая.

– Щас мы с тобой, браток, хоть чифирнём по-человечьи, – мечтательно произнёс он.

Потом достал откуда-то из «курка» «чифирбак» – пол-литровую кружку – залил в неё воду, поставил на плитку. Пока они выкурили по сигаретке, вода в кружке успела закипеть, и Кайло забросил туда весь чай. Через некоторое время, приподняв несколько раз кружку с закипавшим булькающим варевом, он, возбуждённый предвкушением, снял наконец чифирбак с плитки и разлил жидкость по двум маленьким прокопчённым кружкам. Но чифирнуть по-человечески была им, видно, не судьба. Только они успели сделать по несколько первых глотков, как на улице раздались крики, послышался топот бегущих ног. От мощного удара с проржавевших петель слетела дохлая дверь, и в будку ворвались гайдамаки.

– Мама моя! – успел крикнуть Кайло, закрывая голову руками.

Единственный постарался сделать огромный глоток кипящего чифира, обжегшего рот и внутренности – не пропадать же добру! Вдруг из его глаз, показалось ему, сотнями брызнули искры. Сам он кулём рухнул прямо на Кайло, закрывая бедолагу своим телом. Сколько времени их били – оба не знали, в себя они пришли уже только в трюме. Единственного бросили во вторую, а Кайло – в четвёртую камеру.

«Вот и почирились, – улыбнулся болевшими, в кровь разбитыми губами Единственный и подумал. – Как-то там Кайло?»

В камере находились ещё двое. Оба вязанные, причём один из них был «крупнорогатым» – заместителем председателя СКК.

«Он-то чем не угодил?» – мелькнула у Единственного мысль.

– Да вот, не ко двору пришёлся, – словно услышав вопрос, произнёс крупнорогатый. – Ирод приказал составить донесение на изъятие у вас наркотика, а я отказался. Зачем грех на душу возьму? Вот он и запер меня сюда к тебе. Пусть, говорит, тогда Единственный тебя мацает, он давно без бабы. И не кричи, говорит, всё равно не выпущу.

Крупнорогатый сидел в ногах Единственного. Взгляд у него был потухший.

– Ты пойми меня, парень, жить-то как-то надо! Я по зоне был мужиком, не чёртом, не сукой, а здесь согнули в бараний рог. Сижу за дешёвку, на воле у меня жена да трое детей, да ещё старики больные. Освободиться надо, до звонка немного осталось. Был бы я гад, так мы вот с Сыкухой, – он показал на второго вязаного, – написали бы на тебя за гашиш, но мы же так не сделали.

«Эх, мусора, мудаки хреновы, всюду у вас политика одна – жабья, – подумал Единственный. – Расчёт у вас такой: либо Единственный, как истинный блатной, начнёт долбить вязаных, и тогда это станет причиной для отправки его в крытку. Либо вязаные сломают Единственного в камере. Либо же, если я просижу с ними мирно, по всей зоне будет пущено о том, что Единственный просидел втихую в трюме с вязаными. А вот от этого потом не отмоешься».

Превозмогая боль, он приподнялся и сел, опершись спиной об холодную бетонную стену.

– Мудрилы фуевы, – Единственный сплюнул на пол всё ещё сочившуюся из дёсен кровь. – Скажем так: по зоне вы уже не мужики, а козлы. Долбитесь в дверь. Вы должны уйти отсюда. Каким образом – это ваши проблемы.

Вязаные согласно закивали головами и бросились колотить в дверь ногами и руками, поднимая при этом «тарабар» на весь изолятор.

– Что за дела?

В распахнутой двери стоял молодой куманёнок по кличке Булка. Он был упитанный, толстозадый. При быстрой ходьбе две половинки его зада смешно дёргались. Старые зэки, давно не видавшие женщин, острили вслед: «Какие роскошные булки, вот бы помазать козла!»

– Уберите нас отсюда, пожалуйста, мы не можем сидеть с ним в одной камере, мы боимся его! – вопили вязаные.

Булка был в хорошем настроении и добродушно согласился.

– Ладно, идите уж, его мы и так согнём, – и он крикнул наряд.

В «стакане» воздух тяжёлый, смрадный, наполнен сыростью, запахом плесени и, что самое страшное, мрачной человеческой безысходностью. Казалось, этот воздух можно было резать ножом. «Стакан» – это помещение, если его так можно назвать, сорок на со-

рок сантиметров, высотой два метра. Его применяют для содержания заключённых, которых необходимо деморализовать, сломать. Нередко администрации лагерей успешно использовали подобные помещения, «замуровывая» в них «отрицалово» – не идущих на компромисс эзков – на сутки, двое, трое, чередуя отстой в стаканах с содержанием эзка в ШИЗО и БУРе.

Единственный потерял ориентацию во времени и пространстве, которого физически не было, настолько оно было ограничено сдавливающими, скользкими от сырости стенами. Он перестал ощущать и пространство иного рода, в котором как-то жил последние годы в лагерях: пространство мыслей, внутренних радостей и раздоров с самим собой, пространство собственных взглядов и убеждений. Многие эзки из числа отрицалова не выдерживали пытки помещения в стакан. У кого-то «ехала крыша», а другие после пребывания в стакане становились смиренными, вроде пришибленными.

Полуживого Единственного, в буквальном смысле выпавшего из стакана, закинули в одну из камер ШИЗО, где сидел всего один только эзк.

Подсознательно Единственный чувствовал, что провёл в стакане двое-трое суток, но время, проведённое в бетонном склепе, куда его заживо замуровали, показалось ему сжатым гигантским прессом.

«Спрессованное время», – подумал он, лёжа на полу. Бетонный пол камеры штрафного изолятора казался ему райским наслаждением, и теперь он с удовольствием переворачивался с боку на бок, вытягивая до хруста руки и ноги, разминая их, чувствуя, как они постепенно оживают.

«Ну ничего, козлы! Отольются кошке мышшкины слёзы», – в очередной раз прошептал он про себя. Единственному показалось странным поведение эзка, забившегося в угол камеры и глядевшего на него пустым, отсутствующим взглядом. «Что это ещё за аист?» – подумал он.

– Ты кто такой? – спросил он эзка.

Тот пробормотал что-то невнятное, невразумительное.

– Ты кто такой? – повторил свой вопрос Единственный.

– Я Виталик. Меня сегодня только привезли, после суда.

– Какая статья?

– Восемьдесят восьмая, я за отца сижу.

– В каком смысле? – спросил Единственный.

– Отца я застрелил с двустволки, понимаешь, брат?

– Нечаянно, что ли?

– Да нет. За свою бабу. Он был против того, что я с ней живу. Понимаешь, я же не работал, у отца с дома тащил. Что стащу, то и продаю. А деньги ей относил. Она всё время требовала денег, а я не мог без неё. Она и научила: убей, говорит, его, он мне надоел, и тогда всё наше будет.

Был этот парень среднего роста, мосластый, словно весь составлен только из кожи и мослов. Под белыми бровями сидели, будто два противных зверька, красные кроличьи глаза. Они были красными то ли от недосыпания, то ли от слёз, которые растекались по лицу парня и сейчас. По бокам стриженной его головы торчали большие, несуразные уши. Одет парень был в оранжевую брезентовую куртку с капюшоном, какие носят дорожные рабочие.

– Ну, я пошёл домой, его дома не оказалось, – продолжал он рассказывать. – Я достал из шкафа его ружьё, зарядил, и сел ждать. Ждал часа два. А когда он зашёл в дом, я дуплетом из двух стволов выстрелил, и сразу наповал.

Единственный долго и пристально смотрел на него немигающим взглядом.

«Мусора, козлы, видимо, спецом меня к нему посадили, чтобы это животное мне окончательно расшатало нервы. Надо быть с ним поосторожнее», – подумал он.

– У тебя нет закурить? – попросило «животное».

– Курить у меня нет. Ты со мной вообще больше ни о чём не говори и ничего у меня не проси. Ты для меня мерзость, мразь, хуже животного. Сиди себе и молчи, понял?

«Животное» посмотрело на него затравленно, кивая бритой головой.

– Понял, понял.

Усталость брала своё. Единственный отвернулся к стене и лежал, уставившись в грязное пятно на стене. Ни о чём не думалось, внутри была звенящая пустота. Ближе к вечеру дали кипяток и хлеб. «Шнырь» изолятора подкинул Единственному две сигаретки «Полёт» и спичинки.

– Возьми, тебе Очкарь передаёт.

Единственный поблагодарил его и, закурив сигарету, снова лёг на своё место, свернувшись в клубок. К кипятку и хлебу он не притронулся. Незаметно для себя он заснул несмотря на то, что холод от бетонного пола прихватил почки и позвоночник. После отстоя

в стакане он уже не мог ни сидеть, ни стоять. Сквозь сон – сказывалась многолетняя привычка спать чутко, наполовину – он слышал, как нудно, по-пёсьи, подвывал отцеубийца. Постепенно это становилось невыносимым. «Эту мерзость надо заставить выломиться из хаты».

Рано потеряв отца, Единственный бережно хранил его светлый образ в своей памяти. Он и теперь продолжал любить отца нежной сыновней любовью. За внешней оболочкой сурового, казалось, неликудного человека скрывалось неизмеримое почтение к понятиям «отец», «мама».

«Ну что он, гад, воеет? – поморщился Единственный, приподнимаясь на локте. – Может, кается за содеянное?»

– Ты чего скулишь? – спросил он.

– Хо-ло-дно, – выбивая зубами чечётку, произнёс отцеубийца. – За-мё-ёрз, жрать хо-чет-ся!

Замыкание, которое произошло от этих слов в воспалённом мозгу Единственного, было похоже на вспышку молнии. Ярость, переполнившая его, вырвалась наружу, хлынула через край. Единственный, вскочив на ноги, со всей силы пнул парня в бочину.

– А ты о чём думал, мерзость, когда два часа ждал отца? Ты думал, тебе спасибо скажут за то, что убил того, кто дал тебе твою воющую жизнь?

Он пинал его изо всех сил, слыша, как хрустят, вминаясь под сапогами, мослы этой мрази.

– Ты думал, тебе здесь Сочи? Где твоя сука, что же она тебе жрать не несёт? Да её уже трахают все кому не лень, даже ленивые. Держи, мерзость! – Единственный размашисто молотил его, беспомощно закрывающегося, сапогами по рукам, ногам. «Животное» стало визжать по-пороссячи, в одно мгновение сменив пёсьи завывания на визг. Продолжая пронзительно визжать и хрюкать, оно на четвереньках метнулось к двери. Обезумевшее существо начало головой стучать в окованную железом дверь. Та распахнулась, и через неё ворвались гайдамаки с дубинками и, словно радуясь возможности разгуляться, набросились на Единственного.

Шквал ударов обрушился на него. Били по голове, по спине, рукам и ногам. Рычащий от ярости Единственный успел трижды воткнуть кулак в «набегающие» на него гайдамацкие рожи. Наконец им удалось сбить его с ног. В то время как Единственный продол-

жал сопротивляться, весь этот кишачий и кричащий комок, хватая его за руки и за ноги, выкатился из камеры на коридор. Лёжа на полу, он услышал голос Булки: «Бросьте его к Сатане! Говорят, что он вор, вот пусть жрут друг друга, как пауки в банке».

Кровь из рассечённого лба заливала Единственному глаза и, струясь, затекала в рот. Ненависть, переполняющая его, заставила, набрав полный рот и рванувшись, сплюнуть кровавый сгусток прямо на мундир Булки.

Единственного схватили за руки и, выворачивая их, продолжая радовать ударами дубинок, согнули в дугу, поволокли в другой конец коридора и закинули в открывшуюся с лязгом дверь. Потеряв равновесие, Единственный упал на бетон, но тут же вскочил и закричал, адресуя Булке через захлопнувшуюся дверь: «Гадина ползучая, ты мне заплатишь за всё. Я разобью тебе твою змеиную голову!»

Глава 2

САТАНА

В глазах вдруг стало темно, Единственный зашатался и, схватившись за голову, рухнул на пол. Сидевший на корточках зэк метнулся к нему.

– Вставай, вставай, негоже лежать на бетоне.

Он обхватил Единственного за плечи и перетащил вглубь камеры. Усадив на бушлат, припёр его спиной к стене. Единственный приоткрыл глаза и в мутном, желтоватом свете, едва заполнявшем камеру, увидел перед собой сухие, узловатые, старческие руки, сплошь татуированные. Старик, поковырявшись в бушлате, вырвал оттуда кусок ваты и обтёр им кровь с лица Единственного. Затем осмотрел рану и прокрипел:

– Видать, дубинкой хлобыстнули, – он приложил вату. – Чего-то не поделил с мусорами, видать.

– Я с ними только цианистым калием могу поделиться, с вурдалаками, – дрожа от ярости, произнёс Единственный в ответ.

Старика словно ударило током. Он аж отдёргнул руки от Единственного.

– Ты, ты откуда знаешь это слово?

– Какое слово?

– Это слово произносила моя Танюшка, когда сильно ругала ментов.

– Да так, я и сам не знаю откуда, вырвалось.

– Эх-хе-хе.

Старик сел рядом с Единственным, вполоборота к нему.

– Ну как ты, отошёл?

– Да, нормально всё.

– Меня зовут Сатана, а как зовут тебя? – спросил он.

– Единственный я!

– Я в этих краях недавно, завезли меня с Винницкой крытой. Какого хера – только мусора знают. Зона вязаная, говорят, да вот теперь по тебе вижу, что не любят тебя мусорки! В зону меня не выпускают, один разочек *пропарили*, так я одному куманёнку успел ухо прокусить, жаль он вырвался, жаба. Но всё равно успел я хлебнуть жабьей крови... На-ка вот, закури! – Старик протянул ему сигарету, спичку и «тёрку». – Сам-то я не курю, парень, годков десять уже как бросил, а для таких, как ты, иногда и поберегу. Эх-хе-хе, – засмеялся вдруг старик.

Единственный взял сигаретку, как богатство, поблагодарил старика и закурил. Он сидел на корточках и глядел на сокамерника, изучая его. Молча курил, выдыхая дым кольцами.

– Я сам в этой зоне недавно, привезли с восьмой. Наслышан был за эту козью зону, но когда сам сюда попал, чуть крыша не потекла. Упустили зону! – сокрушённо произнёс он.

– Эх-хе-хе, да рази ж одну эту зону! Сколько их ссучилось! На-ка вот, хлебушек у меня есть. Пожуй, парень, пожуй, ты ведь молодой, тебе силёнок надо набираться, а то ведь, неровён час, опять гайдамаки набегут.

Единственный молча взял хлеб и стал есть, слушая старика. Тот продолжал:

– Они меня не бьют сейчас, боятся что рассыплюсь от древности. Но и раньше, когда был молодым, тоже не били мусора – меня боялись! Тогда ведь и жизнь в лагерях другая была, и контингент был другой, поскуше. Мне ить уж шестьдесят пять годочков стукнуло. И сижу я уже *по осьмой ходочке*. Раньше попроще было. Эх-хе-хе, – опять вздохнул он. – Вот уж ослобониться бы, да на бережок речонки голубенькой, порыбалить плотвичку на зорьке. Ушицы бы искушать с запашком костерца, да и лечь потом и помереть с Богом, на слободе-то. Эх-хе-хе! А сам-то ты, парень, за что паришься? Кто ты по жизни нашей каторжной будешь?

Старик впился колючим взглядом в Единственного. Хоть и не робкого десятка был Единственный, а по телу мурашки пробежали.

– Хорошо, я отвечу тебе, раз ты интересуешься. Но и ты мне потом расскажешь за себя. Я по воле крадун, *домушник* я. По лагерю чистый арестант. За мной хвостов нет. Тянусь к воровскому, хотя вора живого ещё не встречал. Так, понаслышке всё, по интуиции.

Сатана одобрительно кивал головой, продолжая буравить сокамерника глазами, словно пытаюсь просветить насквозь, как рентгеном: тот он или не тот.

– Значит, *домушник*, говоришь. *Форточник* али как?

Старик придвинулся вплотную к Единственному. Единственный никогда за все годы, отсиженные в зонах, ни с кем не делился сведениями о своей воровской специальности на воле. Кому положено было, те обычно сами узнавали, что по свободе он крадун. Но тут вдруг его словно прорвало. «Может, после гайдамацких дубинок», – мелькнула у него мысль.

– Всякое было, – с удовольствием начал вспоминать он. – Малолеткой всё перепробовал. И на бану крал, и поездушником трудился, и *краснушником* был, магазины *подламывал*, а после замкнулся на *хатах*, и тут почувствовал – это моё, – произнёс он блаженно.

Сатана вдруг рывком неожиданно схватил его за промежность. Единственный дёрнулся, изумлённо уставившись на старика.

– Ты что, старик, охренел что ли?

– Не охренел я, парень, а проверил, стоит у тебя или нет, когда ты о специальности говоришь. Вижу, что стоит. А как же иначе? Только тот истинный крадун, у кого ялда стоит, когда он о деле говорит или на дело идёт, как на бабу смазливую. Блеск в глазах должен быть! А иначе не тот он, а так себе, горе ходячее. Вижу я, парень, ты наших кровей, ну держись ужо, как бы нескладно ни было! Я ить, парень, без малого сорок годков топчу лагерь-то. Ножки мои подустали уже.

– Сколько? – изумлённо привстал Единственный.

– Да, да, сорок годков, парень. Начинал-то мальцом я, да потом стал *домушником*, по квариату этому стал работать. Эхма, парень, сам-то ить я с Питера, *малина* у нас была на Васильевском острове, знатная была малина! Весь воровской Питербурх был наслышан. Червонка держала малину, не слышал про неё? А? – не дожидаясь ответа, он продолжал. – Ты ведь молод ишо, мог и не слышать, а малина знатная была, парень! Эх-хе-хе. Я ить в паре работал с Яшей Жидом, слышал за Яшу? Урка был. Знать не слышал, коли молчишь, ты ить молод ишо. С Яшей работали, – улыбаясь не

столько собеседнику, сколько своим воспоминаниям, говорил Сатана. – Да на одной хазе загремели тогда под фанфары в одна тыща дивитсот тридцать седьмом годку. То был первый срок мой, парень. Увезли меня тогда аж у Кемеровскую область. А на слободе девчушка осталась у меня, Танечка!.. Такая славная была девчушка, красивая как картиночка, *накольщицей* была у нас с Яшей. Жили-то мы все у Червонки, а она строгая была, меня до Танечки не допускала в кроватку-то. Вот и говорит: «Как стукнет вам по осемнадцать годков – тогда пожалуйста, а пока блюдите нраву». А мы любили-то как друх-друха! Когда я ушёл первым-то сроком, Танечка присылала мне *голубки*! Просидел я тем сроком-то в аккурат три годка и возвернулся в Питер к Танечке, – Сатана мечтательно посмотрел вверх, покачал головой, и продолжал свой рассказ. – А она ждала меня, ох и ждала. И как уж загорелась наша любовь-то по новой. Ах! Какие я наряды ей приносил-то с дела. Ей-то всё шло, всё к лицу! В самых лучших-то ресторанах обедали, а потом приезжали домой, на малину-то, и в постельку. Червонка не могла нарадоваться, глядячи на нас. А вскоре и Яша Жид ослобонился. А как мы встречали его! Уся братва – домушники, карманники и даже *медвежатники* прикатили, услыхав что Яша-то пришёл. Уся малина гудела, парень! Эх-хе-хе! Приехал с Петроградской-то красавец в законе, Цица, на гусара похож, аристократ знатный такой! *Налётчиком* трудился, парень. Говорили, что с самим Лёнькой Пантеле-ем водился даже. Приехали домушники в законе – знатный Ваня Конь-Голова и Лёва Щука. С ними *марухи-то* две чудные: Лена Два Поцелуя да Валя Баронесса. Обе по *отвёртке* трудились знатно. А красавицы-то какие были! Весь Питербурх оглядывался, когда они шлындали по Невскому. Наряжались-то барышни – ну прямо княгини! Приехали карманники, писаки-золоторучки, оба в законе, Васька Икона и Пантюха Иван. Щас мало таких ужо. Те прямо с *чердака бимбер* уводили, глядели, сколько натикало, и на место ставили, даже *фурман* не *вздюкивал*. А как *покупали* знатно! Был там и Вася Бим-Бом, тоже в законе, знатный медвежатник. С Яшей Жидом на лесной зоне вместе в семье был, один хлеб кушали. А каких только подарков понавезли Яше-то! Вася Бим-Бом подарил с барского плеча шубу из норки. Васька Икона с Пантюхой Яше-то *бимбер рыжий* пристегнули. Цица *лепень* принёс чудной. Ваня Конь-Голова и Лёва Щука квариатную трость подарили, а работа, парень, мама моя! Фу ты, резная, кость от слона что ли, ну и штука! Яша

трость взял и словно принц стал, ну как ему не хватало. Да марухи-то тож всяко нанесли! Уж не стыдно было и им. Яша-то Жид был вор известный. Уважали его, он закон блюл и в чести жил. А то как мы гуляли! На другой день весь Питер говорил об этом! – старик замолчал и сидел теперь, прикрыв рукой глаза.

«Вот вспоминает!» – подумал Единственный. Он слышал про вора в законе Сатану. Знаменитое имя было, и не удержался он, спросил:

– А сам-то ты в законе, Сатана?

Старик убрал руку и пристально посмотрел Единственному в глаза.

– В законе я уж тридцать годков, парень. Как в одна тыща девят-сот пятьдесят восьмом годку короновали меня, так вот всё время я в законе-то. Негоже об этом молчать. Хоть и вязаная зона здесь, да негоже молчать о воровском имени, люди-то везде есть, парень.

Старика словно прорвало. Он рассказывал Единственному обо всём, начиная со сталинских лагерей, про великую стройку Беломор-канал, про Колыму, где заключённых грузили на баржи и потом, выведя баржи в открытое море, пускали ко дну, открывая кингстоны. Рассказывал Сатана и о взаимоотношениях заключённых между собой.

– Тохда ить зоны-то разные были: были воровские зоны, хде воры держали верх, *мужицкие* зоны были, парень, сучьи зоны были. После войны законников – тех, что ходили на войну с Рокоссовским, Сталин-то обманул. Хитёр был и всех правдами-неправдами вернул в зоны. А там истинные-то воры стали спрашивать с них, они тохда себя-то и объявили польскими ворами. Закон у тех свой был. Наших-то, если попадали к ним, заставляли нож целовать и в их веру переходить, а не так что – резали. Суки же были те, хто от веры законной воровской отказались, они дали Сталину подписку. Их-то Сталин – ох и хитёр был отец народов – тоже в зону. Ан там воры и давай их резать. Малолетки-то вместе со взрослыми сидели. Вот воры и объявили малолеткам: «Хто хочет воровом истинным стать, тот пусть пять сук зарежет». И уходили малолетки в ночку в сучьи бараки, а там-то кака масть выпадет. Бывало и приносили пять левых ушей сучьих, и становились ворами. А зачастую и стигнет в сучьем бараке малолетка. Долгая та война была. С политическими не бились. Их много было, но и им не уступали. Нельзя было им верх отдавать. За это могли и без имени оставить. Вот воры и

резали за это. И по здоровью тогда многих активировали. Одним словом, жизнь другая была совсем. Бабыё-то сидели через забор с мужиками. А как спалят этот забор, то по три дня зона гуляла, хто кого хотел – того и любил. Токмо беспредела не было, за это жестоко спрашивали, а усё по любви да по согласию. А потом заходили солдаты, и штыками-то да собаками разгоняли всех на две половины, и стояли живым забором до тех пор, пока не возводили новый забор.

Единственный слышал про это от разных людей. Но живого участника тех событий и лет он видел вот так, перед собой, впервые, поэтому внимательно вникал во всё, что слышал. Он слушал, забыв про боль и холод. Даже невыносимое желание курить до поры до времени ушло куда-то вглубь. Перед Единственным был последний из могикиан, живая история преступного мира, живая история воровского закона: человек, стоявший у самых истоков. Тридцать лет в законе, сорок лет отсидеть – это же уму непостижимо! Вся жизнь в лагерях прошла!

* * *

– Сатана! Есть ещё в Союзе такие, как ты?

– Таких-то мытарцев много, но вот чтобы столько лет имя воровское сохранить – вот таких нас маловато осталось. Эх-хе-хе! Многие спинули ужо. Ох, многие! Васька Брильянт гдей-то в Тулуне Иркутской мытарится, бедолажный. Он-то знатный вор, ох, знатный! Давненько мы с ним не виделись. Как-то раз сидели с ним на Печоре-то, да после ишо недолго видались. А так, после было от него лишь несколько голубок, да вот и всё. Щас гдей-то в Тулуне Иркутской, в крытке мытарится.

Сатана замолчал и теперь сидел, нахохлившись, подобрав под себя худые коленки, обвив их высохшими, будто корни саксаула, руками. Сейчас старик был похож на старую хищную птицу, потерявшую часть своих нарядных перьев в жизненных бурях.

– А было с тобой, Сатана, чтобы ты попадал к сукам? – задал вопрос Единственный.

В ответ было молчание. Сатана, засунув правую руку под лагерную «хэбэшку», усиленно массировал сердце, морща при этом и без того изрезанное морщинами лицо.

– Что, мотор шалит?

Сатана сидел, съёжившись, и в ответ лишь кивнул головой, затем поглубже вздохнул в себя воздух и произнёс:

– Давно уже. Оно ить бесследно ничего не проходит, горя-то сколько вот этими глазами довелось увидеть. Да к тому же чифирком по молодости баловался. Там ведь, на северных командировках, без чифиру ни в какую. Вот и инфарт был года два назад. Тогда ещё думал: отойду к Богу-то! Да нет, поднялся, видать, не срок ишо. А с суками было, и не раз. Вот отдышусь, *приколю* тебе за slučaj один, – порывшись в карманах, старик достал небольшую капсулу и, засунув в рот, проглотил. – Как выпью её, проклятую, так отпускает ненадолго, – пожаловался он.

Через час, отдышавшись, он полулежал на своём бушлате, сквозь полумрак пылливо вглядываясь в лицо Единственного. В камере было почти темно. Лучами мутно-рассеянного света сочилась лампочка, упрятанная за сеткой-рабицей вверху над железной дверью. Сатана опять заговорил о пережитом.

– Это было там, на Колыме. Рудник был в ту пору там золотой, Бутыгачак назывался, – Сатана неопределённо махнул рукой. – Зона была большая, богатая. Как-никак при золоте были. Кое-как наронец приспособился выплавлять золотишко, опять же и самородки гуляли. Базар был в воскресный день в зоне, мать честная, ты не поверишь. Гармони наяривали – и цыганку, и барыню, и «На сопках Манчжурии», это вальс такой был. А братва в восьмиклинках жиганских на голове, в *хромочах* – в них, как в зеркало, можно было смотреться, до того начищали – притопывали. А хто и коленца выкидывал. Опять же были удалыцы, хто и степ настоящий мог сбачать. А воры-то народ сурьёзный, одеты как баре. Я помню сам-то в кожаном реглане ходил, на голове пыжик, по тем годам богато это было, на ногах *прохоря* знатные, и костюм синий из бостона – во-о! Мужики тож не заморённые. Одеты, сыты, с куревом порядок. Вот и базар! Тут и шмотьё какое хошь, и жратва разная, и чай, и курёха, и водка тебе. Уж откуда и бралось всё в зоне. А мы, воры, знали! – он многозначительно замолчал, вглядываясь в лицо сидящего перед ним сокамерника, стараясь отгадать, какое впечатление производит на него рассказ.

– Так вот, в один день, будь он проклят, пришёл большой этап. И главное *нежданчиком*. Видать, краснопёрые в секрете держали, чтобы мы, воры, не узнали. В этапе-то одни суки были, там мастей

одних: польские воры, и «красные шапочки», и «дери-бери», и махновцы среди них, тут тебе и «ломом опоясанные», один на льдине. Где их собрали, мать моя, человек триста. Нас же, *законников*, не больше полсотни было. А как вели их строем в отдалённый барак, так рыкали на нас они и орали: «П...ец вам, воры! Ваша власть кончилась, наша масть теперь загуляет!»

Все, кто в законе, стояли молча, наблюдая за этим блядиным строем. Лишь один совсем молодой вор из Твери родом, Кемеля – *погоняло* его, выскочил вперёд и как закричит: «Это вам п...ец, суки, мужики на нашей стороне, сегодня же читайте отходную». Прикрикнул на него законник Батя, уже пожилой, авторитетный среди нас.

Ну и пошло в зоне. В ту же ночь воровской сход собрали. Батя за старшего речь держал. Мнений разных много было. Горячие головы предлагали в эту же ночь идти резать сук. Однако Батя остудил пыл. «Воры, – сказал он, – краснопёрые спецом их сюда припёрли, чтобы зону забрать. Щас опера их буграми расставят, нарядчиками, завхозами. Мужик будет присматриваться. Кто лучше: мы – воры истинные или эти шалавы разные, сегодня прибывшие. Без мужика мы с ними не совладаем. Мало нас, а зону отдадим – потом с нас спрос будет. Поэтому, – сказал Батя, – держитесь вместе, опять же, при оружии будьте, не мне вас учить, но на провокации не поддавайтесь. С мужиком поласковее быть, водку и карты оставьте до лучших времён». Сход одобрил мнение Бати, на том и порешили.

Так и жили, принимаясь друг к другу. У сук тоже сход был. Опера же, как и говорил Батя, стали мужиков снимать, а ставить на их должности сук, чем и вызвали ропот мужиков. Зона притихла, по воскресеньям базаров не стало. Ну мы, воры, ухо держим по ветру. Слышим: там у мужика что-то отняли да побили при этом, там-то опять отняли. Гнев-то народный, сам знаешь, потихоньку закипает. А суки распоясались, думают, трусили воры. Ну, а мы ждём. Раза два они с ломами да топорами среди бела дня к нам к бараку приходили, страху понагнуть. Ну, мы заперлись, не выходили. Лаялись суки на нас, как оголтелые вохровские псы. Опера спецом допускали это, делали вид, что ничего не происходит. И так продолжалось около двух месяцев. Совсем распоясались суки. Позанимали все ключевые должности, жрут водяру, мужику прохода не стало. И вот в один из таких дней, а дело это было осенью, украдкой пришла от мужиков делегация. Одного погоняло помню, Матросом его называли, среди мужиков в авторитете был.

«Воры! – говорят они. – От вас мы худа не видели, а вот от этих сук нам житья не стало. Нас мужики послали к вам. Что делать будем?»

И вот тут поднялся Батя и произнёс: «Мы ждали этого дня, знали, что придёте. Известно, что – резать будем сук. Мужики почувствовали на себе, что означает воровской закон, а что есть – сучий закон. Воровской закон справедлив ко всем, а вот сучий... – и тут Батя, авторитетный вор, поморщился гадливо, сплюнул на пол. – Он и есть, одно слово, сучий!»

«Так кохда?» – спросил Матрос. «Сегодня!» – ответил ему Батя. Ну, все воры поднялись на ноги со своих мест.

– Я уже говорил, – продолжал Сатана, – что это было осенью. Как раз в тот вечер сверкала гроза и лил дождь. Пять воров ушли вместе с Матросом в мужицкий барак, готовить мужиков. Уговор был такой: Матрос поднимет людей только тогда, когда воры начнут штурмовать сучьи бараки, баракон этих было два. И у воров, и у мужиков на правой руке должна быть белая повязка, чтобы своих не порубать. Где-то часа в два ночи пришли с разведки два молодых вора. «Гуляют суки, – говорят. – У дверей баракон по одной суке стоит».

Воры ползли к сучьим баракон, ни один не поднялся. Ползли тохда-то по грязи, по лужам, в зубах ножи, в руках – топоры. Обоих постовых сук зарезали без шума. Враз штурмовать начали оба баракон. Бойня была – ужас какой! Суки поначалу растерялись, но тут же оправились и дали отпор. Числом-то мы их превосходили, раз мужики-то подоспели. Ряды сук таяли как снег. Они уж ломились во все щели, выпрыгивали в окна, но тут же попадали в руки разъярённых мужиков. Я тохда-то ишо молодой был, Батя для меня был заслуженный вор, поэтому я шёл рядом с ним, не выпуская его из виду, оберегая его. Сам воздух пах кровью, кругом вопли, стоны, крики безумные. И всё же не уберёг я Батю. Откуда-то сверху, с верхней *шконки*, на меня прыгнула здоровенная сука с ножом. Я едва успел уклониться, но всё же ему удалось достать меня. Воткнул *блуду*-то мне прямо в плечо. В ответ я рубанул его топором, сначала по ноге, а как стал он падать – прямо по голове. Пока кончал его, оглянулся, смотрю – Батя медленно оседает на пол, голову держит руками, сжимая, чтобы не развалилась, а в голове топор торчит, как в пеньке. Ишо и крови-то не было, она позже полилась. Искрошили мы в ярости ту суку, что Батю погубила, на куски

порубали. Уж и потом всякого было за эти годы по зонам, а вот эта картина, про Батю, до сих пор перед глазами-то стоит.

Сатана замолк и провёл худой рукой у себя перед глазами, словно отгонял от себя навязчивое видение.

– Что же было дальше, Сатана?

– А что дальше? Сук покончали, штук пятьдесят *наглушняк*, остальные хто колот, хто рублен. Краснопёрые такую стрельбу подняли – прямо по мужикам, пришлось отступить. Повезло сукам. Мужиков человек двадцать погибло. Воров семеро полегло. Положили жизнь свою на алтарь воровской идеи. Бараки-то сучьи всё равно сожгли, одни головёшки остались. А в последующих днях понаехала комиссия, одни полковники да майоры. Сук оставшихся, всех до единого, вывезли из лагеря. Мёртвых-то сук администрация хоронила. А своих воров мы, воры, предали земле. По традиции водку, нож и карты положили. А затем всех нас увезли на *раскрутку*. Матроса, главного из мужиков, тож увезли. Тохда-то мне и *подболтали червонец*.

Разговор прервался от осторожного стука в дверь. Металлическая «кормушка» распахнулась, противно проскрипев. На бетонный пол камеры упал небольшой свёрток. Кормушка тихо захлопнулась, за дверью послышались удаляющиеся осторожные шаги. Единственный бросился к свёртку и невольно застонал от боли. Вся спина, руки, принявшие основной шквал ударов гайдамацких дубинок, нестерпимо болели. Боль, немного поунявшаяся при неподвижном сидении, вдруг снова взметнулась, растекаясь по избитому телу.

Свёрток был маленький, тщательно упакованный, крест-накрест перемотанный чёрной изоляционной лентой. Единственный развернул его. Там были двадцать сигарет, спички. Отдельно – завернутый в серебристую бумагу чай, пять папиросок «Беломор» и маленький зелёный комочек гашиша.

– *Дыбани*, Сатана. Видишь, какая бы козья зона ни была, а люди везде есть.

Сатана согласно закивал головой, поднося к носу заветный зелёный комочек.

– Верно *звонишь*, парень. Людишки-то, они всюду есть. Ваша, местная небось? – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил, показывая на зелёный комочек. – Я-то не балуюсь вот этой бедой,

– он жестом показал на вены. – А вот это завсегда с преудовольствием. Ить план-то, он к думкам располагает. Ну, давай-ка я сконструирую *косячок*, а ты пока притырь курёху, куда присмотри, да и *пацанам* пошли-ка. Есть ведь пацаны-то хорошие в трюме?

Единственный знал, что через стенку справа от них сидит горемычный Кайло, а слева никого нет, так как у них была угловая камера. Он простучал несколько раз «маячком» в стенку, условно спрашивая: как ты там? Ответ пришёл с задержкой, видимо Кайло придремал. «Нормально», – простучал он в ответ. Единственный ещё раз простучал в стенку кодом: «Прими груз». «Понял», – последовал стук.

Быстренько распустив носок, Единственный из трёх нитей сплёл одну и к её концу привязал груз: уже тщательно запаянные Сатаной в целлофан десять сигарет, тёрку, спичинки, кусочек гашиша. «Встречай!» – стукнул он.

Бросив в дырку «пятака» груз, привязанный к нитке, и открыв во всю силу воду из крана, Единственный проследил за тем, как груз исчез в дырке. Минут десять прошло, прежде чем нить в его руках натянулась. Это означало, что встречный «ёж», запущенный Кайлом, наконец-то сцепился с грузом в канализационной трубе и сумел запутаться, переплестись с ним нитями так, чтобы Кайло смог, вытягивая своего «ежа» обратно в камеру, втащить с ним вместе и груз. Вскоре в стенку стукнуло благодарное: «Спасибо, братва!»

– Эх-хе-хе-хе-хе! – просипел Сатана. Он уже успел сконструировать косяк. Единственный зажгёт огонь, давая ему прикурить.

– А кто там, у той камере? – спросил Сатана, блаженно вытягивая в себя густой, пахучий дым.

– Там Кайло. Нашенский крадун. Терпигорец.

Единственный жёг бумагу, чтобы перебить запах гашиша.

– Ты мне скажи, Сатана, может ли быть вором наркоша? План, он не в счёт. Или нет?

Сатана протянул косяк Единственному, забирая у него горящую бумажку.

– Эх-хе-хе! Тохда, парень, этой бедой мало кто пользовался. Но чтоб воры – не-а! Не было на то позволения. Раньше-то ты вором мог быть, если воровскую жизнь ведёшь, закон воровской блюдёшь. Тюрьма-то – твой дом родной. Мама-то – то малина твоя. Хде с братвой живёшь, гуляешь, хде от мусорков-то хоронишься. Как в детстве-то уходили из дома, так всё, семью иметь не могли, жану там, детишек усяких.

– А что, Сатана, у тебя семьи так и нет?

– Эх-хе-хе, парень. Семья-то у меня есть – воровская. Мы ведь, воры-то, считаемся одна семья, братаны. Понял я, про што ты интересуешься, – Сатана помолчал, сухо прокашлялся и промолвил. – То была ж у меня подруга Танюшка. Так вот, хде-то после первого срока мы с ней начали вместе спать. А любовь-то была, как в кине, и то! Вот и родился у Танюшки позже сынок, тож в *доме*. Она чуток раньше подседа. За хату-то сама залезла – невтерпёж ей. Ей-то и сроку тохда дали – троечку. Так и прозвали бабы сына – Тюрма. А так-то Яшенька он, по имени Жида. Пацан-то подросток и тож в законе стал, слыхал ты за него?

Единственный действительно слышал про вора в законе по кличке Тюрма.

– Они-то с Танюшкой ту троечку отсидели, и за год до её освобождения я и попался. Тохда одну знатную *фатеру* мы взяли, подельщик у меня был, мастер, Азлатом звали, покойный уже, царство ему небесное. На Беломор-канале-то суки его зарезали, а от закона он не отрёкся, – Сатана перекрестился. – Вот и дали нам тохда по десять годков, аккурат в сорок третьем году. И развезли нас: его-то – на Беломор, а меня – ажю у Колымский край. Там помыкался я, гнуса-то покормил. Всяко было. Война-то и шла. По лагерям тохда людешек разных было! И *бытовики*, и кулаки с раскулачки мытарились, и враги народа, по пятьдесят восьмой сидели, ну и наш брат, люд воровской. А кое-кто, уж говорил я, из зон-то за Рокоссовским ушёл на битву. А нам-то, хто истинный, негоже было, мы и остались. Япошки чтой-то задёргались тохда, вот солдат НКВД туды-то и отправили на Дальний Восток, границы прикрывать. А в зонах-то и пошла тохда самоохрана, из бытовиков. Им-то домой охота, к бабам да к мальчикам. Дали им *винтари* и зачёт: день за три. Они и пошли, родимые, на вышку, сторожить нас – их и прозвали тохда вертухаями. Зоны-то в тех краях лесные, а кругом тайги немерено! Эх-хе-хе, – Сатана поплотнее закутался в тощий арестантский бушлат, прислушиваясь к возникшему на коридоре ШИЗО шуму.

– Вроде, движение какое-то идёт, – пробормотал он.

Шум в коридоре нарастал, и вскоре можно было различить свист дубинок и тупые звуки ударов по чьим-то телам, чьи-то глухие стоны. Сквозь топот и возню, перекрывая их, слышался визгливо тонкий фальцет Булки. Наконец, где-то в конце коридора с

противным металлическим лязгом грохнула дверь. Постепенно всё стало затихать.

– Опять кого-то из бедолаг пропарили, козлы... – Единственный выругался.

Некоторое время оба молчали. Единственный достал из заглашника сигаретку и в молчании выкурил её, разгоняя дым рукой.

– Продолжай, братан, эти козлы вонючие прервали.

– Эх-хе-хе, – вздохнул Сатана. – Вот ведь как ведёт жизнь-то. И так везде, по всему миру. Одни других бьют, унижают, убивают. Кругом войны-то. Вон и жиды с энтими, как их, палестинцами, который год режут друг друга. Там и Иран с Ираком. Вроде и те, и другие – мусульмане. В Индии какие-то тигры всё время кого-то взрывают. То-то, терроризм! Возьми Ирландию, ЮАР или эту, как её, Чили. А хрен поймёшь! – Сатана сокрушённо махнул тощей рукой. – Вот ведь Горбач чего накрутил, ни один прокурор теперь этот рамсец не разберёт. Там, в Прибалтике, танками давят людшек-то, хохлы те тож, самостийные – флот им давай. В Баку давят, в Фергане резня, в Грузии тожа беда. Эх-хе-хе. Суета всё. Скоро уж и звонок вроде, может, ослобонюсь!

– Да ну их, братан, на... Расскажи, как дальше было.

Единственного поразила информированность старика.

– Дальше-то что. Кормёжка в зонах была не ахти-как. А весной, как тайга-матушка зацветёт, так и невмочь. На материк, на волю тянет. Потерпел я четыре годочка, да на пятом двинули вдвоём в побег. Да бычка ещё с собой прихватили, аккурат в одна тыща девятьсот сорок седьмом году. В то время-то так и уходили – с бычком. Со мной побежал тохда Золотой, был такой ворюга, да ещё бычка взяли. Он был бытовик молодой, откуда-то из под Пскова. Харчей подсобрали. Тайгу-то мы знали уж. А как ушли, деньков пятнадцать шли, пробирались. Шарахались от редких селений. Тохда у местных право было стрелнуть побегушника, левое ухо принести в местный НКВД. Так там за это крупы дадут, спичек, соли, махры, пороха и мукой пожалуют. Вот и сторонились мы деревень. А как сухари погрызли, так и стали коситься на бычка. Он-то плёлся, думал к жонке – переживал, что молодая, а к ней вроде повадился допекать местный энкавэдэшник. В соку, видать, была баба.

Как-то прилегли к ночи, а то уж еле плелись. Я только было прикорнул, как Золотой торкает меня в бочину. Я как вскинулся, а он ворчит: «Давишь ухо, – говорит, – а я вот возюкаюсь с мясом-то».

Хляжу, Матерь Божья! От бычка-то что осталось! Две ноги лежат, Золотой на еловых лапах всё разложил, кровь дымится, да ешо куски мяса разные. Я тут перекрестился, а Золотой-то по-хозяйски всё складывает в рюкзак, да промежду кусков еловые лапки ложит, так дольше не портится. Ну и поплелись дальше. Рюкзак-то я тащу, как он работу сделал, а сам думаю: как съедим бытовикато, так и придёт черёд либо мой, либо Золотого. Кто кого уж. Он-то зверюга как есть. Ну, думаю, похлядим хто кого. Плелись так. Золотой-то и поварит или изжарит в костерце, куды было деваться, одичали мы, больше месяца шли. Уж было за перевал перемахнули. До железки осталось тыща. Как нас заметили? Посёлок шорцев обходили, крались. Как погнались и шорцы, и краснопогонники с винтарами да с овчарками, побежали мы – а как? Силов-то ужо нет. Ну, стрельба тут, Золотого навскид свалили, только и сдюкнулся, да в речку мордой. Когда, убегаючи, дыбанул, его уж за ноги на берег два шорца тянут. Тут и мне вдарили с винтаря в спину. Вгорячах-то ишо бежал так, и собаки рядом. А после ишо вдарили в плечо да в ногу. Помню, как псы оголтелые налетели, почали рвать.

А потом очнулся в бричке. Рядом Золотой мёртвый, шевельнуться не могу – больно. Краснопёрые увидали, что ожил, как прикладом шмякнул один, я и в отключку. Сдали в местный НКВД, а те в ближайшую зону отвезли. Там-то ожил понемногу. Зэк один, кореец старый, травкой поил, корешки к ранам прикладывал. А как на ноге гнить пошло, так он раскалил нож на костре, и гниль-то им повырезал, и опять корешки стал прикладывать. Вот и заросло. И там уже меня этапом в Монголию тюркнули. Где и досидел.

Единственный притих, ошарашенный. Пройдя за эти годы под конвоем через все кошмары советских исправительных колоний и тюрем, пострадавший в бесчисленных ШИЗО и БУРах, Единственный сам был очень жесток и безжалостен. В лагерях самые отчаянные интриганы из числа блатных тушевались от его леденящего взгляда и слова застывали на их губах. Но после всего услышанного Единственному было не по себе.

– А что с сыном, Сатана? Где он? – задал он вопрос.

Сатана сидел и кряхтел, кашлял и кутался в тоненькую робу. На его лбу, иссечённом глубокими морщинами, словно изъезженном гусеницами тракторов, лежал отпечаток безоглядно прожитых лет. Кустистые пегие брови нависали над худым, хищно вздёрнутым но-

сом. Глубоко сидящие глаза выглядывали из глазниц осторожно, как бы издали, пристально изучая всё находящееся вокруг. Взгляд был колючим, пронизывающим. От глаз разбегались в разные стороны тонкие морщинки как искусно сотканые паутинки. И возникало ощущение, что в центре этих паутинок сидят два паука. Оба насто-роже, готовые тут же наброситься на невнимательную жертву.

«Да, старче, ты тот ещё хищник», – подумал Единственный, про-должая разглядывать Сатану.

Тонкие, почти бескровные губы старика были плотно сжаты, уголки их опускались вниз. Они как бы говорили о том, что жест-токости владельцу этих губ не занимать. Рот Сатаны порой рас-плывался в беззлобной улыбке, обнажающей ещё крепкие зубы, в верхнем ряду сплошь червонные. Тяжёлый волевой подборо-док заканчивал бы портрет вора в законе, впервые встретившего-ся Единственному, однако две детали лица производили наибо-лее сильное впечатление. Его небольшие, хрящеватые уши были плотно прижаты к черепу, поросшему почти бесцветными волоса-ми. Странные эти волосы нельзя было назвать русыми, потому что местами они были седыми белыми, местами – седыми пепельно-серыми, местами – с какой-то отсвечивающей голубизной. На за-тылке и висках волосы были коротки, но переднюю часть темени покрывали длинные, ужасно редкие пряди.

Сатана сидел на бушлате, обняв руками острые колени. Был он одет в чёрную лагерную робу, впрочем без лагерной бирки – но-мера на груди. Под курткой у него была нижняя тёплая рубашка, из воротника которой вырастала шея. Напоминала она ствол за-мшелого дерева: морщинистая, обтянутая истончённой, видимо, от старости, от болезней, от нехватки света и кислорода, от долгого пребывания в камерах, кожей с тонкими голубыми прожилками. Из закатанных до локтя рукавов куртки, точно из сантехнических труб с раструбами на конце, торчали тонкие, худые плети рук. Кис-ти были покрыты старыми выцветшими татуировками. На левой кисти был искусно выколот христианский собор со всеми тенями и оттенками. Восемь куполов с крестами насчитал Единственный. Восемь ходок к хозяину. На правой кисти прописью: «Не забуду мать родную».

– Как дальше было, Сатана? Расскажи! – попросил Единствен-ный.

– Что ж, расскажу, слушай! Я тохда ослобонился по амнистии. Из Монголии нас погнали на БАМ рельсы ложить. В одна тыща питьдесят третьем году, в аккурат летом, всё тревожно было в лагерях, война-то не прекращалась в зонах. После войны с фронта попёрли в зоны тех, хто воевал, из числа блатных да воров. Да власовцев пригнали много, да бендеровцев разных. Да ишо посля войны Сталин-то мультку кинул для воровского люда: мол, хто завяжет, откажется от идеи, пойдёт к станку – всех простим. Много же людишек в бегах-то были, или бандах. Там «Чёрные кошки» разные, с краснопёрыми стрелялись. Так вот хто, мол, явку с повинной принесёт, того и простим. А сколько же народу съели мякину-то энту – немерено. И вот Сталин их в лагеря. А там их сразу резать, истинные-то. Ох, как и лилась кровушка! А когда Сталин-то преставился, гадюка Берия амнистию издал, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и взять власть в свои руки. Они ж там с Маленковым, да с Кагановичем, да ишо Хрущ там, и Жуков власть не могли поделить. Тохда и открыли-то ворота всех лагерей, и сказали: дёргайте хто куды. Вот и вам! Как попёр люд: бандюги, и бытовики, и суки разные, и политические, и воры. Эх-хе-хе... что было! Кто что сгрёб, тот и уе... Магазины да кассы трещали, девок хде хто словил, там и дул, в поездах. У фурманов подчистую гребли. Ой, что было!

Вот и я добрался в Питер. Приехал на малину, к Червонке. Она, бедолажная, встренула, поплакала, увидав меня, села кормить и рассказала: «Яшеньку-то Жида застрелили в побеге. Даже могилки нету. Цыца-то в Крестах сгинул. Что? Нихто не знает. Ваня Конь-Голова на слободе хде-то, в Златоглавой, мол, обретается. Про Лёву Шуку ни слуху, как сел. Икона на слободе, да и Вася Бим-Бом тож. Вот уж узнают!»

Я-то гляжу на Червонку и жду, а потом и лязгни: хде – она? Как и завыла, слёзы ручьём, да как кинется на грудь: «Покинула нас родимая, ой, покинула, солнышко наше».

Меня ажио перекосило всего. Я хляжу, а внутри всё косит. Понял я всё.

«Как получилось?» – спрашиваю.

Ну вот и рассказала. Что ослобонилась-то Танюшка с зоны. Мальчишку привезла с собой. Жили у Червонки. Всё ладом шло. Малец рос. Вся братва игрушки ему тащила, Танюшке шмутьё да подарки разные. Она честь блюла, всё ждала меня. От кого-то слышала, что на *рывок* я дёргал, и про Монголию далее. Ну и ждала. А

в одна тыща дивятьсот пitiдeсятoм гoдкy oт мусoрoв убeгaлa с дeлюги. Oбpывaлacь, видaть, aтac был дa мусoрa нa хвoстe, и нeвзнaчaй пpямo пoд тpамвaй и пoпaлa. Oбe нoги тaк и oтхвaтил тpамвaй. Кaк умирaлa в бoльницe-тo, вcё мeня звaлa дa пaцaнa Яшкy. Тaк и cгинулa, бeднaя. Нe дoждaлacь. Чepвoнкa гoвopит, нe пycкaлa ee нa дeлo-тo. Дa вpeмя гoлoднoe, нe xoтeлa Тaнyшкa oбyзoй быть, дa ишo с мaльцoм, вoт и бeгaлa пo хaтaм.

Сaтaнa зaмoлчaл, пoтoм пpoдoлжил:

– Пaцaнa я, пoeхaл, зaбpaл из дeтдoмa, дa зpя. Кaк пpиeхaл в дeтдoм, eгo пpивeли, oн мeня тoлькo увидeл, вeдь и нe зpил никoгдa дo этoгo. Нo, видaть, кpoвь cкaзaлa, oн кaк кинeтcя: «Бaтa! Бaтa!» Я и coмлeл, aж нa внyтpях вcё пooбopвaлocь. Пpивёз eгo к Чepвoнкe, тaм гoд c нeбoльшим и жил oн co мнoй. Вся бpaтвa eгo лeлeялa. Былo в мыcлax зaвязaть. Дaжe кaк-тo c вopoм Пaнтyxoй oб этoм oбмoвлилcя зa бyтылкoй. Дa кyдy ж тaм, к cтaнкy чтo ли? И нe cмoг я слoмaть ceбя. A чepeз гoд c нeбoльшим внoвь *пoдпaлилcя*. Ювeлиpa бpaли. Нa cyдe-тo и видeл Яшeнькy, Чepвoнкa пpивeлa. A кaк кoнвoй yвoдил c чepвoнцeм, тaк oн кpичaл: «Oтпycтитe, мeнты, бaтy!»

И oпять дecятoчкy пpишлoсь oтмытapивaть. A пaцaн-тo пoдpoс. Нy, cpeди бpaтвы кyдa eмy? Тaк и cтaл бeгaть пo хaтaм. *Oтмыкивaл* знaтнo, вcё в мacть шлo. Нa слoбoдe цac oн, пpиeзжaл в Винницy-тo. Пoнaвёз вceгo. Хoзяин cвидaнкy дaл, paздoбрeл вдpyг. Эх-хe-хe! – Сaтaнa хyдoй pyкoй пpoтёр глaзa.

* * *

Кoгдa Сaтaнa зaмoлчaл, eгo вдpyг вceгo пepeкocилo, бeскpoвнe гyбы зacтылa в вoлчьем oскaлe, a хyдe pyки cтaли cyдopoжнo рвaть кypткy нa гpyди, пытaяcь ee paспaхнyть. Oн зaвaлилcя нa бoк, нa xoлoдный бeтoн, втягивaя pтoм вoздyх, пытaяcь вдoхнyть пoбoльшe гycтoгo изoлятopнoгo cмpaдa.

Единствeнный мгнoвeннo oцeнил cитyaцию и бpocилcя к нeмy. Oн paстeгнyл тoщyю poбy и cтaл чтo былo cил дeлaть мaccaж ceрдцa. Нaлoжив oднy pyкy нa дpyгyю, oн paвнoмepными тoлчкaми нaжимaл нa гpyднyю кeткy, зaтeм бpocaлcя, зaжимaя Сaтaнe oднoй pyкoй нoc, дyть eмy в poт, пoтoм oпять бpaлcя зa мaccaж. Cкoлькo пpoшлo вpeмeни? Нaвepнoe, нeмaлo, пoкaзaлocь eмy. И вoт лицo Сaтaнy пocтeпeннo cтaлo oживaть. Пoявилcя пyльc и дёрнyлиcь пpикpытe вeки. Единствeнный cкинyл c ceбя хэбэшкy и, oстaвшиcь гoлым пo пoяc, кинyлcя к кpaнy. Нaмoчил хэбэшкy в вoдe,

немного отжал её, затем разорвал тёплую рубашку на груди Сатаны и положил свою влажную ткань ему на грудь, где сердце. На левой части груди Сатаны было выколото сердце, пронзённое ножом. Воровской знак!

Единственный достал из заглашника курёху, чиркнул спичкой и закурил. «Вот ведь», – подумал он, глубоко втягивая в себя дым. Сатана застонал. «Значит, лучше стало!» – Единственный повернулся к нему.

– Как ты, братан?

– Приподними... – прохрипел тот.

Единственный положил его голову к себе на колени.

– Потерпи, братан, сейчас отпустит. Что, мотор задешевел?

Сатана чуть заметно кивнул головой. Он показал на карман и едва слышно прошептал:

– Достань, там лекарство.

Единственный пошарил в указанном кармане и действительно обнаружил там небольшую таблетку. Он засунул её в рот Сатане и дал ему запить, принеся воду в собственной ладони. Затем опять положил голову Сатаны себе на колени.

– Хочешь, братан, позову мусоров, пусть на *крест* отнесут. А?

Сатана отрицательно мотнул головой и прошептал:

– Я ведь сразу признал в тебе что-то родное, молодым и я такой был, а когда ты произнёс «вурдалаки», то и вовсе... Чую я, пришёл конец мой. Хлядел я на тебя, парень, и видел – человек ты. Людское в тебе есть. Таких, как ты, короновать надо. Потому я, видать, тебе всё и рассказал.

Сатане не хватало воздуха в груди, поэтому ему было трудно говорить. Он еле ворочал сухим языком в пересохшем рту, а глаза вылезали из орбит.

– Принесу тебе воды! – дёрнулся Единственный.

– Нет, – еле мотнул головой умирающий. – Ты слушай! Я вот помру сейчас, пожил вроде, видать, пора уже к Богу. Зовёт он на этой Голгофе. Если отвечу перед ним, может, к Танюхе пустит. В раю она, я знаю. Я ить, парень, подлости старался не делать, жил по чести, воровской закон соблюдал строго. Бывало, надо было выжить – выживал, а за бытовика того, что рассказывал, грех энтот на Золотом будет. Я бы, может, и не тронул его, уж больно он к бабе своей тянулся, торкнувшийся, к нам в побегушку пристроился. Я ить его мясо не стал исть, корешками всё питался. Веришь ли мне? – старик аж привстал и вперился мутным взглядом в Единственного.

– Сейчас верю, Сатана! Перед смертью не врут, – ответил тот.

– Точно говоришь, парень!

Сатана сипел и всё пытался вдохнуть поглубже, а своими ледяными руками держал за руки Единственного.

– Вот ведь жизнь! Усю жизнь ко мне люди шли, спрашивали, что правильно, что неправильно. Я и расклад давал. И токмо щас понял, откедова мы, люди, можем знать, што правильно, а што нет. Только он знает. Бог!

Сатана закатил зрачки кверху, словно бы Бог мог быть там, на потолке хаты. Единственный непроизвольно и сам взглянул вверх.

– Щас помру, так не жаль мне, на руках у парня хорошего. Токмо жалко не порыбалаю ужо. А то думал, дурак старый, ослобоюсь! Эх! – он немного помолчал, глядя прямо в глаза Единственному. – Ты живи по вере нашей, парень, по воровской. Она для тебя что стержень будет. Нельзя без стержня-то, вынешь его, хляди и нет человека. Найди его, я прошу тебя, пообещай, что найдёшь! Яшеньку-то. Расскажи ему про меня. Пусть простит за всё отца своего. Продолжите дело наше, в чистоте соблюдайте нашу идею! Обещаешь, парень? – старик с такой невероятной силой сжимал запястье Единственного, что тому было больно.

Единственный подивился, откуда в руках умирающего столько силы! А Сатана продолжал:

– У мусоров мои *ксивы*, там и карточки наши с Танюшкой, и ещё всякое заberi, парень, отдашь Яшеньке.

Единственный мотнул головой и прошептал:

– Сделаю, Сатана, клянусь тебе!

– Понапрасну не выкручивай совесть свою, парень. Ты же не у мужика в хате забираешь горемычную тряпку. Они кто? Эти маслокрады, чиновники! Они сразу тысячи грабят, народ грабят, а мы его одного, маслокрада богатого.

Сатана вдруг убеждённо, сильным голосом произнёс:

– Они заради денег. А мы! Это жизнь наша, мы идём их отмыкивать, а у нас ялда стоит и блеск в глазах, потому что мы – воры!

Он молчал, словно накапливая силы перед тем, как сказать недосказанное. И Единственный, похолодев, вдруг понял, что старик торопится сказать всё это ему, будто бы хочет передать знамя воровское в надёжные руки. Он вдруг вспомнил прочитанное где-то давным давно, что колдун не может умереть, мучается, пока не передаст свою колдовскую силу другому.

– А на твой вопрос, парень, насчёт новых, не могу ответить, сам дальше сориентируешься. Они, говорят, щас сами-то не воруют, а называются воры! У нас так не могло быть. Вор – только тот, кто ворует! Мы-то раньше на извозчиках, а они сейчас на «мерседесах». Я их не сужу, парень, только сам не пойму, как всё перевернулось в жизни. Пересидел, видать. Как это говорится: «Всё смешалось в доме Облонских».

И Единственный обомлел ещё раз, поражённый свидетельством начитанности Сатаны. Сатана вдруг облегчённо вздохнул, расслабился, словно ему полечало. Единственный осторожно опустил голову Сатаны на бетон и бросился пинать дверь.

– Откройте, мусора поганые, человек умирает! – орал он неистово, почти не соображая, на грани разума и безумия.

Это продолжалось долго. Единственный метался от двери к вору и обратно. Когда, наконец, в камеру набежали мусора, он лишь между их спинами успел поймать взгляд Сатаны, ищущий его, и рванулся к нему. Но тут чьи-то руки схватили его, пытаясь скрутить, а он ясно услышал предсмертный шёпот Сатаны:

– Прощай, парень!

И сокрушённый крик: «Господи! Прости за всё! Эх!», – и последний взмах руки, а в глазах Сатаны вывернулись и застыли две огромные хрустальные слезы!

Единственный закричал утробно и страшно! Это не был крик человека. Это был полукрик-полувой израненного зверя. Мрачные стены изолятора содрогнулись от этого жуткого леденящего воя:

– Га-а-а-ды! А-а-а!

Единственный не помнил, как он выхватил у гайдамака из ножен штык-нож и принялся крушить всех подряд. Всё, что до этого оставалось в нём от «хомо сапиенс» – человека разумного, вдруг разом умерло. Он превратился в чудовище с окровавленной пастью, жаждущее мусорской крови. Сгусток боли, таившийся в нём годами, раскручивался теперь с невероятной скоростью, словно тугая пружина. Звуков выстрелов он не слышал, хотя и чувствовал, что его несколько раз подряд будто ударили в спину острым кайлом. Он упал прямо на мёртвого теперь Сатану. Рядом валялись полуживые, истыканные штыком, тела трёх гайдамаков.

Глава 3.

САНГОРОД – СВЕТЛАНА

Возвращение Единственного к жизни было трудным. В Сангороде его поместили в отдельную камеру с крепкой металлической дверью. Окно камеры было в два ряда забрано толстыми решётками. Сквозь мутное, засиженное мухами стекло в эту одиночную камеру-палату с трудом проникал слабый свет.

Из Единственного вынули пять пуль, две из которых чуть было не отправили его на тот свет. Зэки республиканской лагерной больницы вынудили «хозяина» дать согласие на сдачу крови для Единственного. Операцию ему делала хирург Светлана Сорокина, майор медицинской службы.

Майор Сорокина многое повидала за свою пятилетнюю работу в системе ИТУ. Но когда она прибежала к молодому заключённому, впервые пришедшему в сознание после недельной комы, дверь камеры которого постоянно охранял вооружённый солдат, то была потрясена увиденным. Заключённый зубами уже посрывал бинты со своей груди, ведь руки у него были в наручниках, и теперь пытался выдернуть с мест все системы с плазмой и витаминным раствором.

Хирург бросилась к больному, зовя на помощь санитаров-заключённых. Прибежавшие санитары навалились на Единственного, уложив его вновь на спину. Врач сделала ему успокоительный

укол. С помощью санитаров она заново наложила повязку, поставила новые капельницы. Укол мгновенно подействовал на слабый организм Единственного. Его дыхание стало ровнее, и вскоре он уснул. Сорокина пощупала пульс и, удовлетворенно кивнув головой – скорее самой себе, чем кому-то – выпроводила всех из палаты.

После этого случая она сама постоянно следила за больным, мерила ему температуру, делала уколы, ставила капельницы, влиwała свежую кровь, витамины, меняла повязки.

Прошло немало дней, прежде чем Единственный реально пошёл на поправку. Он уже мог осмысливать происходящее, к нему вернулась память, а вместе с тем пришла и какая-то отрешённость. Он послушно позволил Светлане накормить себя. Она буквально по ложечке влиwała в него сваренный дома куриный бульон. Ей самой было непонятно, почему она хлопотала вокруг этого парня, назначала ему лучшие препараты из своей врачебной записки, а всё недостающее приобретала через своих знакомых и подруг. Дома она готовила для него бульон, почти насильно заставляла его съедать кусочек курицы.

– Как вас зовут, майор? – спросил однажды Единственный, впервые заговорив после операции.

– Светлана.

– Зачем это, Светлана? Мне всё равно вышка светит. Или мусора вам приказали поднять меня, чтобы потом насладиться казнью?

– Ты что, ты что несёшь, чушь какую-то, – Светлана внезапно смутилась, покраснела, не зная, что ответить. – Это мой долг, долг врача.

– Долг врача – отдавать в руки палача, – иронически прорифмовал Единственный. – Ну ладно, не обижайтесь, вы-то здесь ни при чём.

Наверное, он сильно обидел женщину этими словами, потому что её расширившиеся глаза выражали неподдельную укоризну. Светлана попятилась к двери, постучала в неё каблуком и вышла в приоткрывшуюся дверь.

«Напрасно обидел доктора», – мелькнула у Единственного запоздавшая, тягучая мысль. Он опустил веки, вдруг налившиеся свинцовой тяжестью, и мгновенно уснул.

Наутро, после того, как молоденький зэк-санитар измерил Единственному температуру, в камеру вошла врач Сорокина. Выслушав санитаров, она распорядилась о новых назначениях и удалила зэка из камеры. Светлана выглядела уставшей, тёмные круги, залегшие под её глазами, говорили о бессонной ночи.

Рано овдовев – потеряв мужа в автомобильной катастрофе, Светлана осталась с малолетней дочкой на руках, но беда её не надломилась. Молодая женщина продолжала трудиться, отдавая работе все силы, и порой она делала по несколько операций за сутки. Оставшееся свободное время она посвящала своей дочурке. Визиты с ней, с её игрушками, успевая и не успевая отвечать на многочисленные вопросы ребёнка. После смерти мужа, уже больше двух лет, она избегала интимных отношений с мужчинами. Светлана не могла расстаться и не хотела расставаться с воспоминаниями о ласках и прикосновениях любимого человека. Ей удавалось неизменно вежливо, с улыбкой на лице, отклонять притязания докучавших ей ухажёров.

Что-то, однако, заинтересовало её, чем-то затронул молодой зэк, из которого она сама извлекла пять пуль и которого теперь медленно, но упорно возвращала к жизни.

К жизни ли? Слова, которые он бросил вчера, потрясли её. Может быть, и действительно для него было бы лучше умереть на операционном столе? Или даже умереть потом, после операции. Ведь мог же он так и не выйти из комы, могла же его погубить мощнейшая интоксикация крови.

Ей рассказывали об этом заключённом. Говорили, что он набросился с ножом в руках на войсковой наряд, нанеся нескольким солдатам тяжёлые ранения. Потерпевшие, к счастью, выжили. Но теперь – неужели его действительно расстреляют? Светлане захотелось больше узнать о нём. Бури мыслей, одна противоречила другой, проносились у неё в голове. Она отказывалась понимать саму себя. В конце концов она решила положиться на интуицию и чувство. Почему-то её тянуло к этому заключённому. Подсознательным женским чутьём она ощущала в нём человека, не подлеца, причём человека, много пострадавшего и глубоко мыслящего. Об этом, наконец, говорил его взгляд!

И сейчас Светлана, глаза в глаза, пристально всматривалась в Единственного и видела в них расплескавшуюся боль и невыносимое страдание, бесконечную любовь и бескрайнюю тоску!

– А вы ведь очень красивая! – вдруг произнёс Единственный, не отводя от неё застывшего взгляда. – Простите меня, ради Бога, за вчерашнюю резкость. Что-то сорвался я. Спасибо вам, Светлана, за то, что вы такая.

– Какая? – спросила она, почти шёпотом.

– Человечная, красивая.

– Ну, значит, с вами теперь всё в порядке, – улыбнулась она. – Если вы уже способны говорить комплименты.

– Это не комплименты, – сокрушённо сказал он и отвернулся к стене.

Единственный поправлялся быстро. Он уже мог подниматься с кровати и медленно передвигаться по своей камере-палате. Светлана внимательно следила за тем, чтобы он съедал всё, что она приносила. Теперь он мог самостоятельно подходить к зарешеченному окну. Ему хватало сил подолгу смотреть во внутренний двор лагеря сквозь мутное, давно не мытое, стекло.

Там, за окном, начиналась весна. Таявшие сугробы весело превращались в блестящие лужицы. Слышно было, как, разбиваясь об асфальт, звенела капель. Весеннее, ещё скупое солнце, заглядывая в мирное оконце, каждый день посылало ему маленького солнечного зайчика, который замирал на стене камеры, прямо напротив кровати.

«Бедный зайчик, – усмехаясь, жалел его Единственный. – Тебя-то за что за решётку?»

Теперь к полудню Единственный начинал ждать появления на стене солнечного гостя, а потом приветствовал его.

«Что, зайчик, проведать пришёл? Ну, здорово! У меня всё нормально, уже почти здоров. Эх, рвануть бы отсюда вместе с тобой», – произносил Единственный с неподдельной грустью в голосе.

В один из дней в камеру впустили невысокого, плотно сложенного заключённого. Он был одет в новенький, ладно подогнанный, чёрный лагерный бушлат и в руках держал большой арестантский «кешер». Заключённый подошёл к Единственному и протянул ему руку, затем крепко обнял.

– Ну здорово, горемычный! Выжил! Братва лагеря шлёт тебе привет. Все старались кровь сдать для тебя, хозяина сломали. Я ему массовой голодовкой пригрозил, так он как шелковый стал. Я за тебя в курсе, Единственный. Ты, наверно, меня понаслышке знаешь. Я Казанец, в законе – коронованный вор. Ну, как ты?

– Ничего, нормально теперь. Передай братве благодарность, – Единственный всё ещё говорил тихо, болела рана в груди.

– Давай-ка присядем, у меня всего десять минут, больше хозяин не дал, – С этими словами Казанец достал из кармана пачку «кэмэ-

ла» и протянул Единственному. Тот пристально разглядывал нового знакомого. Внешность этого человека, уголовного авторитета, пробившегося к нему в камеру-палату, ничем особенным не отличалась. Плотный мужик с волосатыми кистями рук, он вполне мог быть от станка или от сохи. Однако стоило лишь взглянуть ему в лицо, как представление о нём сразу менялось на противоположное. То было лицо человека, немало, наверное, повидавшего. Его глаза излучали добро, с другой стороны, взгляд его оставался глубоким, пронизывающим, изучающим.

– Закуривай, – Казанец поднёс Единственному огонёк зажигалки. – Значит, Сатана, царство ему небесное, авторитетный вор был, умер у тебя на руках? – спросил он.

Единственный кивнул головой, объяснил:

– Мы с ним в изоляторе в одной хате были. Его в зону не выпускали, держали на общем положении. Должны были куда-то дальше толкнуть.

– Как получилось, что ты мусоров по克罗шил? – спросил Казанец.

– Мы с Сатаной говорили о многом, проблемы обсуждали, он мне душу открыл. Родным меня признал. А тут у него приступ. Я зову мусоров, а они, твари, не идут! Пришли бы вовремя, врача бы ему привели, он бы жил. А когда он скончался, у меня заклинило. За всё: за то, сколько в жизни мусора издевались, за смерть Сатаны – я их и начал шинковать. Как капусту.

Казанец внимательно слушал. По виду ему было лет сорок пять-сорок семь. Человек плотного телосложения, с умным взглядом и негромкой, вдумчивой речью, он определённо располагал к себе.

– Что сказал Сатана перед смертью? – спросил вор.

– Он завещал мне принять из его рук знамя воровской идеи. И нести его в чистоте.

Казанец встрепенулся, но продолжал пристально вглядываться в Единственного.

– Сатана зря не скажет, – промолвил он. – Что ещё сказал Сатана?

– Просил найти его сына, Яшу Тюрьму, и рядом быть. Просил у Господа Бога прощения за всё.

Коронованный вор сидел, обхватив обеими руками голову, не замечая, что пепел от сигареты осыпается на рукав.

– Мы с Сатаной во Владимирском центре сидели вместе. Патриарх нашего мира ушёл, – с болью произнёс Казанец. – Истинный вор!

Затем Казанец указал на кешер:

– Здесь от братвы лагеря, из общака, для тебя всё необходимое. Я сообщу Тюремь и всему нашему воровскому братству о завещании Сатаны. Думаю, тебя скоро увезут отсюда. Будет следствие и суд. Возможен *вышак*, ты должен быть готов к худшему. Мы, воры, будем делать всё возможное, чтобы спасти тебя. Ну, прощай!

Единственный поднялся с кровати, и они без слов обнялись. Казанец ещё раз взглянул в лицо Единственному, но не увидел там ни страха, ни сожаления. Можно было подумать, что его лицо было высечено из камня. Ни один мускул не дрогнул. Вор вздохнул, повернулся и, ссутулившись, вышел из камеры.

После ухода Казанца Единственный затосковал. Он лежал на кровати, уставившись в одну точку, не давая ставить себе капельницу и не соглашаясь на перевязку. Санитары боялись заходить к нему. И только Светлане удалось, после того как она укоризненно посмотрела ему в глаза, поставить капельницу с физраствором. Она присела рядом, взяла его свободную руку и осторожно погладила сверху.

– Пожалуйста, ничего не говори. Я знаю, как тебе тяжело. Но ты же сильный, надо держаться и верить!

Единственный повернул голову и взглянул на неё. Она сидела, держа спину очень прямо, и не отводила взгляд. Оба молчали и смотрели друг на друга, ощущая протянувшуюся в этот момент между ними незримую нить ещё непонятого, до конца не осознанного, чувства. Волосы цвета спелой соломы, выбиваясь из-под белой шапочки, обрамляли чистое лицо Светланы. Её большие синие глаза смотрели доверчиво, с особой нежностью.

– Я зэк, – тихо промолвил Единственный. – И причём уходящий зэк, без будущего. Меня расстреляют, ты понимаешь это?

Он впился в неё взглядом, только что не испепеляя, и увидел, как по лицу Светланы пробежала мучительная дрожь. Она смотрела на Единственного с состраданием.

– Пожалуйста, уходи! – с придыханием прошептал он.

Светлана прикрыла глаза, чтобы скрыть набегающие слёзы. И вдруг, подчиняясь неодолимому порыву, испытывая странную боль в сердце, обвила его голову руками и подарила непередаваемо жаркий поцелуй в его сухие, искусанные губы. Затем Светлана быстро поднялась и пошла к двери. Ладно скроенная фигура в белом халате скрылась за дверью камеры, которую тут же защёлкнули на все засовы.

Их встречи продолжались несколько дней. Светлана делала ему перевязки. Стоя позади него, она осторожно прикасалась губами к его спине. Единственный безмолвно подчинялся, но в душе молил Бога, чтобы его поскорее забрали отсюда. Он чувствовал, что начинает ждать её прихода, скучает по ней. В то же время он понимал обречённость этих встреч, и оттого эти встречи были мучительны для него. Отвыкнув за долгие годы отсидки от прикосновений нежных женских рук, он жаждал их и жалел о том, что жизнь его скоро закончится. И что никогда уже ему не придётся ласкать податливое жаждущее женское тело, мять покорные ему груди, кусать горячие губы, в страсти и желании тянущиеся к нему.

Поэтому, наверное, он совершенно спокойно выслушал сбивчивое сообщение Светланы о том, что, несмотря на её запрет, администрация лагеря переводит его в СИЗО – следственный изолятор – на следствие.

В синих, словно глубокие озёра, глазах Светланы Единственный угадывал и боль, и застывшие слёзы. Она сняла с себя тоненькую серебряную цепочку с маленьким натальным крестиком и надела ему на шею. Единственный усмехнулся:

– Что ты делаешь? Я ведь мусульманин.

– Самат, пожалуйста, не снимай его никогда, – Светлана говорила тихо, но убедительно, держа его за обе руки. – Он будет тебе ангелом-хранителем. Милый мой, вот увидишь, с тобой всё будет хорошо. Я сон видела сегодня ночью. Ты в красивой одежде едешь на белой лошади по улицам большого-большого города. Это вещий сон, милый.

За дверью камеры послышалось оживление, стук множества сапог, резкие голоса и лязг оружия.

– Это за мной, – усмехнувшись, произнёс облегчённо Единственный.

– Как на тигра, идут.

Светлана припала к его груди и прошептала:

– Я буду за тебя молиться, милый. Днём и ночью.

В распахнувшуюся с грохотом кормушку просунулось свиное рыло прапорщика-дежурного. Вдруг оно почему-то совсем по-собачьи гавкнуло: «Руки в кормушку!»

Единственный покорно просунул руки в кормушку, обернулся и посмотрел на Светлану, застывшую как изваяние. Ему хотелось сказать ей что-то хорошее, но он понимал, что сейчас лучше будет

промолчать. Только кивнул, стараясь придать лицу почти задорное выражение, словно говоря: «Не печалься».

Единственному защёлкнули наручники. Дверь камеры открыли и вывели его в коридор. Там уже ждал усиленный конвой – шесть вооружённых солдат. «Ого, какая свита», – улыбнулся Единственный. У него буквально чесалась нога, настолько хотелось пнуть в толстый зад идущее впереди «свиное рыло», важно побрякивающее ключами.

Его быстро вели по коридору. Вослед Единственному изо всех палат неслись пожелания арестантского фарта.

Глава 4.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Камера, в которую водворили Единственного, ничем не отличалась от десятков других одиночек, в которых ему доводилось страдать, пребывая в неволе. Стандартная по размерам, она была покрыта изнутри так называемой «шубой» – решёткой из толстых арматурных прутьев, кузбаслаком выкрашенной в чёрный цвет, отстоящей от стен на четверть метра и обходящей камеру со всех сторон. С левой стороны находилась вбетонированная ножками в пол металлическая одноярусная шконка, на которой лежал матрац, застеленный серым тюремным одеялом. Справа располагался, приваренный горизонтально прямо к решётке, стальной лист, считающийся столом. Со столом соседствовала железная табуретка, также вбетонированная в пол. В углу при входе было отхожее место.

Ежедневно в камеру входил наряд контролёров, которые с фонарём внимательно осматривали стены, лазили под шконку, проверяя, не ведётся ли подкоп.

«Клад ищите, что ли?» – усмехался Единственный.

Из многих камер ему пересылали литературу, газеты, продукты. Единственный теперь ежедневно тренировал своё крепнущее тело, систематически отжимался от пола, делал приседания, растяжку. Понемногу он стал отрабатывать хорошо известные ему приёмы каратэ и джиу-джитсу. Завершая тренировки, качал пресс, а затем

умывался холодной водой и ложился читать. Изголодавшись по книгам и прессе, он много читал.

Некоторая слабость и продолжающие ныть раны возвращали его память в сангород к Светлане, чей образ отказывался покидать его растревоженный, словно пчелиный улей, мозг. Слишком многое свалилось на него за последнее время, и лишь теперь Единственный чувствовал, как понемногу спадает этот груз с его плеч, спадает и уходит куда-то в пустоту.

Образ Светланы постоянно возвращался к Единственному помимо его воли, и нежность к ней разливалась по всему телу. Он до сих пор как бы ощущал тепло её рук, жар её губ у себя на губах. В белоснежном накрахмаленном халате, подчёркивающим и высокую грудь, и тонкую талию, и широкие бёдра, она представлялась ему белой богиней.

Чтобы отогнать от себя мысли о женщине, вытацившей его с того света, Единственный принимался вспоминать картины детства, умышленно наслаивая их на образ Светланы до тех пор, пока тот не скрывался, как солнце за облаками.

Детство – далёкая, полузабытая картина. Он закрывал глаза, и живые образы расходились по зеркалу памяти, как тонкие льдинки по стылой воде весенней лужи. В тот год, когда он остался без отца, которого любил по-детски горячо и безгранично, жизнь его стремительно покатила по наклонной. Совершенно забросив школу, он бесцельно слонялся по городу. Ему постоянно хотелось есть, и это страшное чувство голода навсегда сохранилось в его памяти. Потом уже, будучи взрослым, Единственный сытно и вкусно ел с хороших удачных краж, но это знакомое с детства чувство голода не уходило из его памяти никогда.

Потеряв в один год сначала мать, а потом отца, Самат остался один-одинёшенек на белом свете. Были где-то дальние родственники, но на похороны отца никто из них не приехал. Может быть, им не сообщили. Отца хоронили почти незнакомые мальчику люди. Сжавшись в комок, словно заблудившийся в огромной степи волчонок, Самат первые трое суток лежал на отцовской кровати, рыдая, порой забываясь в кратком тревожном сне. Он просыпался, соскакивал с кровати и заходился в жутком крике. Ему казалось: вот сейчас, вот сейчас войдёт отец. Но он всё не шёл. Мальчик понимал, что отец уже никогда к нему не придёт, потому что незнакомые мужики опустили его тело в могилу и торопливо забросали стылой, январской землёй.

Самат упал тогда на морозный свеженасыпанный холмик и бился головой, царапая землю руками, ломая ногти, не чувствуя боли. А когда один из мужиков, уса́тый, в чёрной железнодорожной шинели, попытался поднять его с могилы, мальчик укусил его, будто волчонок, впившись молодыми, острыми зубами ему в кисть, а потом вскочил и, страшно крича, бросился прочь. Он пришёл в себя только дома, в полуподвальной комнатёнке с подслеповатыми оконцами, из которых видны были лишь ноги прохожих. Здесь когда-то они жили. Здесь было тепло, у печки хлопотала мама, а отец всегда что-нибудь мастерил или чинил обувь, сидя в углу.

Неизвестно, сколько прошло времени. Самат лежал в каком-то странном оцепенении. Хлопнула вдруг дверь и послышались чьи-то шаги – вниз по ступенькам короткой лестницы. Мальчик вскочил, задыхаясь от беззвучного крика. Глаза его готовы были выскочить из орбит.

– Отец?..

Перед ним стоял, испуганно протягивая к нему руку, его школьный друг – Карнаухий Алик.

– Ты что, Самат, ты что? – испуганно бормотал он. – Я за тобой пришёл, мне сказали, что у тебя батя умер.

Самат повернулся, добрёл, шатаясь, до кровати и упал на неё. Слёзы струились по его щекам. Ему было нестерпимо жаль самого себя, оказавшегося в одиночестве в этих холодных, ставших чужими комнатах. После долгих уговоров Карнаухого он взял тогда большой мешок с остатками картошки, в который они вместе наспех покидали его вещи, какие-то кастрюли, нехитрые продукты. Потом мальчишки ушли, повесив на дверь огромный амбарный замок. Самат в слезах брёл вслед за Карнаухим, и январский снег, искрясь, расплывался перед его глазами. Он знал, что никогда больше не вернётся в родительский дом, потому что там страшно, потому раньше он жил там с отцом и мамой, а теперь их обоих нет, и они уже никогда больше не вернутся.

Он брёл за своим дружкой Карнаухим, таким же сиротой, как теперь и он сам. Впрочем, у Алика была младшая сестрёнка Аллочка и ещё где-то сидел в лагерях старший брат Майдан.

Так началась для Самата новая жизнь. Они хозяйничали в землянке у Алика втроём, вместе с маленькой Аллочкой, совершенно забросив школу. По ночам они бродили с мешком за спиной, ворую в котельных уголь. Так продолжалось до тех пор, пока однажды их

не избил пьяный кочегар. После этого случая они с Аликом стали воровать уголь на железнодорожных путях, прямо из вагонов. Потом, согнувшись, они с трудом тянули санки с углём тёмными дворами, остерегаясь редких прохожих. Дотацив до дома уголь, мальчики освобождали мешок и тут же шли воровать дрова.

Они залезали к кому-нибудь в сарай и набивали мешок мёрзлыми берёзовыми поленьями. Затем, благополучно доставив домой дрова и переведя дыхание, они снова крались переулками и залезали к кому-нибудь в погреб. А там наполняли мешок уже картошкой, банками с квашеной или солёной капустой, ещё какой-нибудь снедью. Почти не разговаривая, они удивительно хорошо понимали друг друга по взгляду, по жесту.

Долгими зимними ночами с трескучими морозами, с завывающими буранами, когда Карнаухий и Аллочка безмятежно спали в жарко натопленной землянке, Самат часами просиживал у печки, задумчиво уставившись взглядом на беснующееся пламя.

Зима тянулась долго и мучительно. На дворе стояли леденящие тело и душу крещенские морозы. А по утрам нужно было из остывшей за ночь печи выгребать золу, выносить её в огород, заносить в дом дрова, уголь и разжигать печь. И только когда разгорался огонь в печи, в полусумрачной землянке с маленькими тусклыми окнами и нехитрой мебелью становилось как будто уютнее и теплее.

Огонь – тепло – одна из самых главных для человека стихий. Пройдут ещё многие годы, но никогда, перемещаясь в лабиринтах цивилизации, где присутствие тепла, света и воды воспринимается как нечто само собой разумеющееся, Единственный не забудет то тепло, которое шло от неказисто сложенной печурки, с чугуновой плитой и круглыми, уложенными одно в другое, чугунными кольцами.

Потом ребята одевались потеплее, брали санки, на которых стояла молочная фляга и вёдра, и шли далеко к колодцу за водой. И там, по очереди крутя кривую ручку – на барабан наматывалась чёрная длинная цепь, доставали студёную воду и наполняли ею флягу. Эти ежедневные хождения за водой в чём-то дисциплинировали их. Мальчики знали, что за водой идти нужно обязательно, и по этому поводу никогда не возникало ни разногласий, ни споров. Часто им помогали друзья Карнаухого – Яшка и Чёрный. Они

приходили почти каждый день и подолгу засиживались у Алика, ведя бесконечную игру засаленными грязными картами в дурака. Эти ребята ходили в школу, в отличие от Алика и Самата. У них были родители, братья, сёстры, но оба они имели репутацию отчаянных драчунов и двоечников.

Яшке и Чёрному было по пятнадцать лет, на три года больше, чем Алику и Самату. Яшка, не по возрасту крупный, ширококостный, обладал приличной силой и любил подраться просто так. Ему нравилось драться, ему льстило, что его побаиваются, и он готов был драться с кем угодно и когда угодно, лишь бы драться. Не боялся он даже взрослых парней, несколько раз подрался и с ними. Правда, тут он побед не одерживал, зато авторитет его возрастал – и в школе, где он учился, и среди дворовых мальчишек. Но для Алика и Самата он был классным добрым другом. С ними он был на равных и никогда не пытался показать здесь свою силу.

Чёрный получил свою кличку за смуглый цвет лица. Был он невысокого роста, симпатичен и смугл. Широкоплечий, как и Яшка, и такой же отчаянный драчун, в отличие от Яшки он был очень жесток. Если бил кого-то, то старался свалить с ног, а потом пинал до тех пор, пока его не оттаскивали или не уставал сам. Самат всегда поражался кровожадности друга и недоумевал: откуда это в нём?

Семья у Чёрного была большая: отец, мать и всего восемь детей. Два старших брата сидели в тюрьме: один – за грабёж, другой – за драку. Ещё один брат, старше Чёрного на год, был сам себе на уме. Каким-то удивительным образом он заводил дружбу с детьми обеспеченных родителей, занимавших в то время хорошие посты. Он старался бывать у них дома и, видимо, всю жизнь пожинал плоды своей дружбы, балуя себя вкусной едой – маменькины сынки часто угощали его. Иногда их сердобольные родители давали ему донашивать почти новые вещи их чада. Шака – это была его кличка – никогда не отказывался, напротив, он брал и всегда благодарил.

Самат и его друзья не любили Шаку за приспособленчество. Они считали его нестоящим пацаном, хотя и Самат, и Карнаухий побаивались Шаку. Он тоже был отчаянным драчуном, умел хорошо драться, и многие в округе, завидев его, уступали дорогу. Сам Шака боялся только Яшу. Хотя они ни разу не дрались, подсознательно Шака чувствовал, что может проиграть, и тогда его авторитет упадёт. За это он ненавидел Яшу, а вместе с тем его ненависть

перешла на Самата и Карнаухова Алика, и даже на его собственного братишку – Чёрного. А с Чёрным-то они с детства дрались, дрались смертным боем. Кровь лилась из разбитых носов и губ, и бились они всегда до тех пор, пока один из них не убежал, потому что другому удавалось первым схватить штатетник, лопату или топор.

Отец в этой семье работал кем-то на железной дороге, ходил в чёрной форменной шинели с какими-то звёздами и жёлтыми лычками. Что они означали – пацаны не ведали. Мать Чёрного и Шаки работала закройщицей в Доме быта. Кроме пяти сыновей в семье были ещё три дочери. Самой младшей в то время было пять лет. Жили они не сказать чтобы бедно, потому что у них был свой дом. Не такой уж маленький, средних размеров, но в нём однако всегда было грязно. С утра до ночи там слышались крики и громкие споры: кто что будет убирать. А так как Шака и Чёрный постоянно где-то таскались, по дому они ничем не помогали.

Яша тоже был из бедной семьи. Его отец работал кочегаром, сильно пил, частенько запойно. Во время запоев он жил прямо в кочегарке, неделями не приходя домой. Мать Яши была слаба здоровьем и по этой причине не могла работать на производстве. Служила она где-то сторожем, и её постоянной заботой было в получку и аванс не прокараулить мужа, чтобы тот не пропил все деньги. Старше Яши была у них взрослая дочь, но та уже вышла замуж и жила в другом городе. Были ещё три девчонки младше Яши. Одевался Яша плохо. В синей фуфайке, в подшитых пимах-самокатах, на голове огромная лохматая собачья шапка – в этом наряде он был похож на крупного злого щенка-дворнягу. Но зато в кармане фуфайки у Яши всегда лежали жирные «бычки», и он по этому поводу никогда не жадничал.

Душевные переживания преследовали Самата. Потеря отца наложила неизгладимый отпечаток на его ещё формирующийся характер, на совсем юную душу. Ночами, когда в землянке было тепло, в печи весело полыхал огонь, а Карнаухий безмятежно спал, набив живот ворованными продуктами, Самат, сидя у печи, плакал беззвучно и беспомощно. Он ощущал себя сиротой и боялся подумать о том, что будет дальше. Безысходность угнетала его.

Несколько раз к ним приходила красивая женщина из детской комнаты милиции. Самат всегда успевал спрятаться в погреб, а Алик ругался с ней и кричал, что не поедет ни в какой интернат, не

бросит дом, и что скоро, весной, придёт его старший брат Майдан, и тогда они будут жить втроём. Красивая женщина уходила, грозя оформить документы в интернат на Алика и Аллочку.

И вот однажды пришли втроём: красивая женщина из детской комнаты и два милиционера. Первым их через окно заметил Самат. Они приближались со стороны магазина, в котором продавался керосин, и было видно, что торопились. «Милиция идёт!!!» – заорал Самат истошным голосом, влетая в кухню, где Карнаухий в тот момент шуровал в печи кочергой. Алик рванулся к двери, но Самат перехватил его.

– В дверь не успеем, надо через кухню, через окно!

Ногой, обутой в валенок – Карнаухий не снимал валенки даже когда спал – он вышиб оконное стекло. Самат, успевший накинуть на себя телогрейку, хотел было броситься за своими валенками в сени, но было поздно. Милиционеры вовсю барабанили в дверь. Алик с Саматом выпрыгнули в окно, Самат прыгнул как был, босиком. Аллочку они взять не успевали, она была совсем не одета и теперь сидела, укутанная каким-то тряпьем, на кровати, широко раскрыв глаза, из которых по щекам бусинками сбегали слёзы. Она ещё не успела понять, что произошло. Алик заглянул внутрь через разбитое стекло и, приложив палец к губам, показал ей, что надо сидеть тихо. Аллочка, не переставая плакать, согласно кивала.

«Быстреей!» – дёрнул его Самат, и они рванули напрямую через огород. Бежали долго, не разбирая дороги, до тех пор, пока не выбились из сил.

Спрятавшись за каким-то стогом сена, они наконец отдышались. Только тут Самат посмотрел на свои заочевенные босые ноги. Изрезанные о твёрдый снежный наст, они были все в крови. Сняв с себя фуфайку и рубашку, Карнаухий набросил фуфайку на голое тело, и принялся обматывать ноги Самата кусками рубашки, порванной на две части.

Сколько они просидели в соломе, часа три или четыре – они не знали. Оочевенные, они укутались как могли, обложились соломой, но дрожали так, что солома вокруг них ходила ходуном, а зубы клацали с такой силой и скоростью, что Самат до крови прокусил язык и теперь изо рта у него сочилась кровь.

Уже стемнело. Мальчики переживали за Аллочку и, сами себе не веря, отчаянно надеялись, что милиция не войдёт в дом и не тронет её. Они боялись идти домой, опасаясь засады, и сидели, не

зная, что предпринять, как вдруг услышали знакомое насвистывание. Это мог быть только Яша. Он один среди тех, кого они знали, умел высвистывать мелодию из кинофильма «Генералы песчаных карьеров».

Самат с Аликом переглянулись и оба в один голос заорали:

– Яша! Яша! Сюда! Сюда!

Они предстали перед удивлённым Яшей, который как раз шёл к ним домой. Лязгая зубами, ребята наперебой стали рассказывать о том, что произошло.

– Ладно, сидите здесь, держите мой фуфон и шапку, грейтесь, а я – на разведку. Если всё нормально, свистну по-нашему.

Яша исчез в темноте, а Самат с Аликом вновь забрались в спательную соломенную берлогу и, укрывшись Яшиной фуфайкой, внимательно вслушивались в морозную тишину.

Казалось, что прошло много времени прежде, чем они услышали продолжительный разбойничий свист с той стороны, куда ушёл Яша.

– Побежали!

Они вскочили с места, разбросав солому, и рванулись к дому. У дверей их поджидал Яша, успевший к тому времени ломом сбить замок, навешенный милиционерами. Они вошли в дом, и в нос им ударил запах гари и дыма. Ребята вбежали в кухню, где находилась печь. Огонь в печи был затушен. Видимо милиционеры залили огонь водой, оттого и возник этот запах.

– Аллочка! Аллочка!

Они искали её повсюду – и под кроватями, и в погребе. Самат догадался посмотреть Аллочкины вещи. Не найдя их, он понял, что её забрали с собой милиционеры.

«Мусора, гады!» – заорал Алик утробно, безысходно, и заплакал.

Самат сидел молча, уставившись в разбитое окно, откуда тянулся ледяной морозный воздух. Не обращая внимания на приунывших друзей, пошарив в темноте в сених, свет они зажигать побаивались, Яша принёс молоток и гвозди и принялся примачивать к чёрному зеву окна какое-то старое тряпье.

«Не плачь! Её в интернат увезли! – Самат потрогал Алика за плечо. – Наверное, ей там лучше будет, там *шамовка мазевая* и тепло. А весной мы её украдём!»

Деваться было некуда, и друзья, закрыв дверь изнутри, принялись выгребать из печи испорченный мокрый уголь и заново рас-

тапливать печь, чтобы отогреться. Вдоволь напившись горячего кипятку, поскольку заварки в доме не было, перекусив зачерствелым хлебом и ворованной капустой, они скурили по жирному Яшкиному бычку и, отогревшись, заснули втроём, свернувшись калачиком и прижавшись друг к другу.

Зима тянулась медленно. Хотя по календарю уже приближалась весна, зима отступала неохотно, огрызаясь и завывая долгими круговертными буранами. В такие ночи было безопаснее лазить по чужим погребам, потому что редко кто высунет нос на улицу из жарко натопленной хаты, к тому же под вой бурана сподручнее сбивать топором замки с петель.

Изредка Яша и Чёрный тоже ходили с ними. Тогда им за ночь удавалось впрок натаскать угля, дров. Оставалось ещё время полазить по погребам или поснимать с верёвок постиранное бельё. Брели подряд: застывшие на морозе простыни, наволочки, какие-то свитера, кофты. Всё это сгибали скрюченными от мороза пальцами и складывали на санки, а потом дома досушивали в тепле. Иногда попадались хорошие мужские или женские вещи, тогда Яша с Чёрным уносили их в рабочий посёлок и продавали там цыганам за бесценок. После этого приносили домой чай, сахар, хлеб, а однажды принесли шоколадное масло. Зато килька у ребят не переводилась. В одном погребе они обнаружили целую бочку её. Вытащить эту бочку из погреба они не смогли и тогда наложили кильки два полных ведра, стоявшие там же. Теперь ели её на завтрак, обед и ужин, даже не отрывая голов и хвостов, заедая чёрным ноздреватым хлебом.

Весна всё же пришла, и как-то неожиданно. В один из дней выглянуло солнце и начали бодро таять снега, заливая водой все каналы и обочины в округе.

С приходом весны Самат с Аликом приободрились и теперь считали дни до того момента, когда вернётся Майдан. А от него уже приезжал мужик, тоже, по-видимому, зэк. Одет он был в лагерный бушлат, руки сплошь в синих наколках. Весь какой-то беспокойный, гость без конца улыбался и говорил: «Ну вот, щеглы, и воля!» и «Ну, теперь держитесь!». Кого он имел в виду – не поняли, но пацанам он понравился. Оставил немного денег, выпил бутылочку вина, которую достал из-за пазухи, и сказал, что скоро уже у Майдана звонок, что он освободится. А после его ухода пацаны спорили меж собой,

что значит «звонок», и Яша сказал, что для зэка в день освобождения звенит звонок, а Самат подумал про школу.

За зиму Самат с Карнаухим повзрослели, вытянулись и, хотя очень сильно отощали, теперь бегали весёлые. Самат понемногу свыкся с той мыслью, что родители ушли безвозвратно. И хотя он по-прежнему вспоминал о них, тосковал всё реже, мечтая вскоре, как только растает снег, сходить на их могилку. Возможно, потому, что некому было утешать его. А может, он крепился, глядя на Алика, такого же сироту, как и он сам, стойко переносившего все невзгоды.

В тот день, когда Самат, прокусив палец мужику в железнодорожной шинели, убежал с кладбища, он трое суток пролежал в холодной землянке. И никто, кроме Алика, к нему тогда не пришёл. Это означало, что никому он не нужен. И тогда в нём, которому предстояло превратиться в Единственного, затаилось волчье неверие людям.

Разве мог тогда осиротевший Самат предположить, что у него сложится волчья жизнь? Жизнь, в которой ему придётся постоянно оскалывать грозные клыки – глаза всегда будут светиться зелёным волчьим неверием. Не предполагал он, что прошедшие холодные дни будут далеко не последними в его жизни, что ему ещё много придется мёрзнуть в бесчисленных изоляторах и карцерах, БУРах и трюмах, мёрзнуть, сидя на корточках под дулами автоматов с этапом таких же арестантов на холодном снегу, ожидая погрузки в «Столыпин».

Но пока что они с друзьями не унывали. Вечерами они поджидали шатающихся пьяных у единственного в городе ресторана, и тогда в действие вступал Яша. Его не по годам пудовые кулаки «вырубали» загулявшего колхозника. Ребята тут же затаскивали того за угол, где снимали с него часы, обувь, шарили по карманам, вытаскивая себе на радость непропитые трёшки и пятёрки.

Однажды Самат с Карнаухим спали в обнимку, когда вдруг послышался громкий стук в окно. Они мгновенно вскочили и, не стовариваясь, бросились к занавеске, чтобы, слегка оттянув её, посмотреть, кто пришёл. Они уже инстинктивно боялись милиции.

«Майдан, Майдан приехал!!!» – заорал во весь голос Карнаухий и бросился к двери отпирать засовы.

Дверь распахнулась. Вошедший человек, в чёрном лагерном

бушлате и ушитых в голенищах кирзовых сапогах, подхватил Карнаухова на руки и крепко прижал его к себе. Алик обнимал брата за шею и рыдал, приговаривая: «Майдан, Майдан».

– Ну всё, всё, успокойся, братишка, вот я и дома, теперь всё будет хорошо. Главное – ты дождался. А вымахал-то как, настоящий мужик вырос, – он искал глазами кого-то, ставя Алика на пол. – А где Аллочка наша?

– Майдан, – Карнаухий вдруг снова заплакал. – Её забрали в интернат.

– Давно?

– Ещё зимой. Я убежал в окно, за нами три милиционера приходили.

Майдан нахмурил брови и, подхватив брошенный у порога мешок, шагнул в комнату, ведя за собой утирающего слёзы Алика. Сняв сапоги, он обошёл две крохотные комнатки, внимательно осматривая их.

– Да, вот я и дома, – радостно вздохнул он, потягиваясь вверх руками.

– А это кто? – спросил он, глядя на Самата.

– Это мой друг. Он живёт со мной, у него тоже никого нет. Он единственный был у родителей, они умерли.

– Вот как? – Майдан снова нахмурился. – Значит, Единственный? Ну что ж, давай знакомиться, я – Майдан. И давайте устроим сегодня праздник, пацаны, в честь нашей встречи. Молодцы, что дождались. Теперь всё будет хорошо.

Он подтащил мешок к столу и стал доставать оттуда белый хлеб, селёдку, колбасу, сыр, сгущёнку, конфеты, пряники, сигареты. Достал и бутылку водки. Алику он подарил красивый кнопочный нож. Майдан, глядя на Алика, без конца цокал языком и удивлялся: «Смотри, как ты вымахал! Когда я садился, ты был ещё совсем щеглом».

Самат всегда мечтал о таком ноже. Ему же Майдан подарил очень красивую наборную авторучку.

– На тебе подарок. Раз ты Единственный – пусть она будет у тебя среди пацанов единственная.

Самат бросился помогать Алику накрывать на стол. Майдан сам нарезал хлеб, колбасу, сыр, почистил селёдку и, вытащив из мешка большой финский нож с тяжёлой эбонитовой ручкой, раскрыл банки со сгущёнкой. Алик притащил из погреба квашеной капусты и солёных огурцов.

– Ого, а вы неплохо живёте! – одобрительно заметил Майдан. – Ну тогда тащи и стаканы, выпьем за встречу! – и он постучал пальцем по бутылке с белой.

Впервые в жизни Самат выпил водки. Она обожгла горло, словно в него влили кипящую огненную жидкость. Он поперхнулся, закашлялся, из глаз выступили слёзы.

– Закусывай, Единственный, ешь, ешь вот колбасу, сыр. Наверное, не каждый день едите колбасу, а?

Казалось, Самат ничего и никогда в жизни вкуснее не ел. Он мгновенно опьянел и теперь налетел на еду, заедая колбасу сыром, прихватывая и селёдку, запивая всё это сладкой тягучей стущенкой. Майдан хохотал:

– Кто же так ест? Селёдку со стущёнкой! Ну ничего, ешь, коли так нравится.

Алик с набитым едой ртом рассказывал Майдану про то, как они зимовали с Саматом вдвоём. Рассказал и про Яшу с Чёрным.

– Молодцы, молодцы, – нахваливал Майдан. – Когда все вместе, оно и любую беду легче пережить.

Глава 5.

МАЙДАН

Майдану теперь было лет двадцать семь. Он уже успел отсидеть два срока. Первый срок ему дали за кражу – в восемнадцать лет. Втроем с друзьями они залезли в магазин и украли несколько рулонов ткани, которые не успели продать, как их арестовали и кинули в подвал, в КПЗ. Отсидел он тогда за кражу три года. Когда освободился и приехал в родной городок, матери уже не было в живых. Она умерла от туберкулёза, оставив маленького Алика и крошечную ещё Аллочку. Алику шёл тогда седьмой год, Аллочке же не было ещё и четырёх лет.

Горе, свалившееся на плечи ещё не старого мужика, отца Алика, надломило его. Сначала тюрьма, в которую угодил старший сын. Затем ушла из жизни жена, оставив ему крошку дочь и маленького сына, сама буквально на глазах истаяв от чахотки. Всё это подкосило его, прошедшего войну, горевшего в танке, дважды тяжело раненого. Тогда-то и пристрастился он к спиртному. Всё чаще и чаще он прикладывался к бутылке, словно ища в ней утешения.

Освободившись из лагеря после трёхлетней отсидки, Майдан прожил в семье два года. Столкнувшись с лагерной волчьей жизнью, затаил он тогда злобу на весь мир. Отец ежедневно пил и почти ни о чём не говорил с Майданом. А он между тем принялся в компании с друзьями потрошить железнодорожные контейнеры.

Нравилось им заскакивать на платформу идущего полным ходом поезда и вспарывать толстобрюхие контейнеры, вытаскивая из них всевозможное добро. Потом всё это за бесценок шло в «ямы», к «барыгам» – скупщикам краденого. И на вырученные деньги гуляли парни в местном ресторане и, напившись, казались себе дерзкими и удачливыми. Правда, погуляли так они недолго. Взяли их с поличным. Нагруженные краденым, притащились они ночью на яму к барыге, там их и взяли – всех троих. Скорее всего, сам барыга и сдал.

Дали им тогда всем по четыре года строгого режима и развезли кого куда, по каким-то из бесчисленных зон огромной страны Советов.

За те годы прокатился Майдан по многим зонам. Завозили его и на всесоюзную пересылку в Иркутск, и в Кемерово, и в Горной Шории покормил он гнуса. После же вернули его в Казахстан, где досидел он на Жаман-супке, где били они кувалдой и клином норму, добывая известняк.

Каторжный труд, вредный. Не выполнишь норму – вечером в изолятор на всю ночь. А утром, после тюхи хлеба и кружки кипятку, опять на известняк, за кувалду. Пока бил Майдан известняк, дома умер отец. Доконал его оставшийся с войны в районе сердца осколок, блуждавший там много лет. И до конца срока Майдану было уже немного, на свободе, дома, остались одни: братишка Алик и сестрёнка Аллочка.

И вот, наконец, долгожданная свобода и Майдан дома. Был он не по годам строгим и злым. Намаявшись в зонах, хотел он теперь отыгаться за всё, что упустил и потерял, хотя и по своей воле. Но не об этом думалось. Была у Майдана лишь злость на ментов, на власть и уголовный кодекс.

Постепенно жизнь в маленьком домике, спрятавшемся под кронами деревьев, наладилась. Майдан съездил и забрал Аллочку из интерната. Прописался, встал на учёт в милиции, и теперь к ним постоянно наезжали мусора, проверяя Майдана. Единственный всегда успевал спрятаться прежде, чем проверяющие могли его увидеть, и выходил только тогда, когда те уезжали.

Частенько к Майдану приходили какие-то лихие мужики, все в наколках. Они подолгу вели разговоры, пили чифир, водку, хорошо закусывали, обсуждали зоны и зачастую переходили на шё-

пот. После их ухода пацаны усаживались вокруг Майдана, курили и расспрашивали про этих людей, про порядки в лагерях. Майдан рассказывал интересно, Яша и Чёрный слушали, раскрыв рты. Алик – тот ещё хлопотал что-нибудь по хозяйству, а Единственный словно губка впитывал в себя всё, о чём рассказывал Майдан. Мальчик мысленно рисовал перед собой те или иные героические, как ему казалось, образы эков. Ему нравился воровской закон с его справедливостью, взаимовыручкой, готовностью пожертвовать личным ради общего, готовностью отдать последнее тому, кому сейчас тяжелее. Нравилось ему и многое другое, о чём рассказывал Майдан.

Теперь, просыпаясь по утрам, они с Аликом не спеша вставали, заправляли кровати. Аллочка суетилась по комнатам с веником в одной руке и половой тряпкой в другой. А они, умывшись, почистив зубы, брали вёдра и деловито шли за водой. Теперь из глаз пацанов исчез панический блеск, раньше бывший там постоянно – от пугающей неизвестности наступившего дня. Вместе с Майданом в дом пришла атмосфера устроенности и даже некой определённости.

Потом они вместе ели поджаренную Карнаухим картошку и пили чай с сахаром. А после завтрака, дождавшись прихода Чёрного и Яши, вчетвером выходили в город. Наслушавшись за последние дни общения с Майданом рассказов в духе лагерной романтики, ребята не могли подавить в себе желания что-нибудь «слямзить», «стибровать».

Постепенно, день за днём, определялись их криминальные наклонности и способности. Яша и Чёрный – оба плечисты, заядлые драчуны. Украсть – на это у них не хватало фантазии, да и не нравилось им это занятие.

Совсем другое дело – подпасти фраера подшофе на выходе из ресторана, вырубить его нежданчиком и, обчистив его карманы, снять с бедолаги часы, а если хорошие, то и туфли.

Алик вдруг обнаружил в себе задатки ростовщика. Как-то он дал в долг нескольким пацанам по рублю денег, и те клятвенно обещали вернуть долг через два дня. Но в назначенное время денег у них не оказалось, и Алик «включил счётчик» на проценты, по пятнадцать копеек в день. Потом уже, каким-то особым нюхом Алик находил своих должников именно в те дни, когда у них появлялись деньги, и забирал всё с лихвой.

Это стало его занятием и нравилось ему, а кроме того он был классным накольщиком. Слоняясь по городу целыми днями, он

умудрялся заходить в детские сады, дома быта, больницы, магазины, частные дома. У него образовался обширный приток информации и появились даже собственные информаторы. И он стал давать наводки Единственному.

Единственный же крал всё подряд. Красть ему очень нравилось. Нравилось рисковать, нравилось проникать в чужие квартиры, нравилось – отвлечь внимание продавца и слямзить выручку.

Однажды он в неурочный час проник в продуктовый гастроном. Кто-то из продавцов забыл закрыть оконную раму, Карнаухий доложил об этом Единственному. Глубокой ночью Единственный подкрался вплотную к магазину и с полчаса лежал, притаившись в глубокой траве, вслушиваясь в тишину и пытаясь «вычислить» сторожа. Но сторож, видимо, пил с кочегарами из соседней пекарни, и тогда Единственный решил рискнуть. Тенью проскользнул он в окно гастронома, а потом долго ходил вдоль витрин, не зная, с чего начать. Двери в подсобные помещения были заперты. В конце концов он выбросил в окно несколько коробок сигарет «Казахстан», аккуратно спустил три ящика коньяка и два ящика кильки в томате.

Потом, чертыхаясь в темноте и проклиная вечно где-то болтающихся Чёрного и Ящу, они с Карнаухим перетаскали ящики в укромное место, где и припрятали украденное до лучших времён.

Им обоим не терпелось рассказать об этом событии Майдану, но они решили оставить хвостовство до утра. За завтраком, разливая по кружкам густой, наваристый чай, Карнаухий не спеша рассказал Майдану про ночную кражу.

– Где всё спрятали? – спросил Майдан.

– У нас есть свои тайники, никто про них не знает, – ответил Карнаухий.

– Теперь сидите несколько дней как мыши и не высовывайтесь. Мусора обязательно придут ко мне.

Майдан знал, что говорил. Ближе к обеду к дому подъехал милицкий газик и трое милиционеров забрали Майдана с собой.

Перепуганные Карнаухий с Единственным почти ползком ушли через огород, скрываясь в высокой ботве картофеля. Им удалось незаметно подобраться к зданию поликлиники и залезть на чердак. Здесь хоронились они трое суток, лёжа на кучах бланков и историй болезни, из которых они умудрились сделать себе подобие постели, выложив их рядами. На чердаке днём было ужасно жарко, от палящего солнца нагревался шифер, – духота и пыль.

Ребята лежали, обливаясь липким солёным потом. Ночью же, наоборот, было холодно, во все щели задувал ветер. По ночам приходили, крадучись, Яша или Чёрный, приносили поесть, курево, пересказывали новости.

Майдана отпустили на третьи сутки. Прокурор не дал санкции на его арест, поскольку против него не было никаких улик. Милиционеры злобно плевались, освобождая Майдана из КПЗ, до того им не хотелось отпускать «наглеца», зато Майдан улыбался, видя их обескураженные лица.

Пацанов никто не искал. На вечернем разговоре, когда ребята собрались за ужином, Майдан объявил им, что с завтрашнего дня и впредь все их действия должны согласовываться с ним. Судачных краж решено было откладывать деньги на тот случай, если кого-то закроют – посадят – на передачи. Деньги будут нужны и тогда, когда кому-то из них придётся срочно сматываться в другой город. Решено было также установить своё главенство на «Площади».

Городок, в котором они жили, состоял из нескольких частей. Одной из таких частей был Рабочий посёлок. От основной части города его отделяла железная дорога. В этом посёлке жило много цыган и прочего разного люда. Был он известен своими шайками. Цыгане занимались конокрадством, скупали ворованное, осторожно торговали анашой.

Другую часть города, которая примыкала к железнодорожному вокзалу, автостанции и простиралась до ремонтно-строительного завода, называли Станционной. Здесь жили в основном те, кто хоть как-то был связан по работе с железной дорогой или с ремзаводом, на котором работало немало людей. Завод этот был очень большой. На нём ремонтировали сельхозтехнику: сеялки и веялки, двигатели от сельхозмашин, а кроме того там был литейный цех. Как из пасти огромного дракона, из труб этого цеха вырывались столбы пламени, со свистом и дымом устремлявшиеся в ночное небо. Домики в округе были насквозь прокопчённые, даже листья тополей, обильно посаженных здесь, были чёрными от сажи.

В этой части города действовали две шайки. Одна из них работала под началом Зея – подельника Майдана по второму сроку. Шайка была довольно многочисленной. Её члены занимались кражами скота, «чистили» квартиры, крали на вокзалах у зазевавших-

ся пассажиров узлы и чемоданы, били пацанов – тех, кто приезжал с Площади или Рабочего посёлка, грабили ночных прохожих.

Тут же обитала и банда Юрки Залуцкого. Эти парни были повзрослей, многие из них уже отсидели – кто год, кто два. Они занимались ограблениями на железной дороге. Было их всего несколько человек, но жили они по понятиям зоны и пользовались авторитетом в городе. Их побаивались, но они по пустякам ни во что не ввязывались, хотя при необходимости могли и порезать. Держались в городе независимо. Временами кого-то из их банды ловили, закрывали – сажали, судили. Кто-то срывался в бег. Остальные, уцелевшие, ездили, грели своих «кентов» по зонам.

Центр города назывался Площадью. Здесь жила городская интеллигенция, то есть люди более обеспеченные, по меркам этого городка. Именно тут проходили торжественные демонстрации, посвящённые праздникам 1 мая, 7 ноября. На Новый год в центре площади ставили огромную ёлку. Здесь же располагались городские административные здания, прокуратура, суд, милиция, центральная библиотека, поликлиника, Дом быта, универмаг и магазины.

Прямо за площадью был разбит большой парк – парк отдыха со стадионом в центре. Там располагалась летняя танцплощадка, на которой три раза в неделю проводили танцы под аккомпанемент «ВИА». Периодически танцы эти прерывались драками, по принципу «толпа на толпу», и тогда в ход шло всё: колы, кастеты, свинчатки, ножи. И прямо отсюда, с танцплощадки, забирали молодых дерзких парней в КПЗ, откуда дорога вела их в суд, а дальше – в зоны. Других, которым не повезло, увозили в больницы, резаных, рубленых, переломанных – под капельницы или в палаты реанимации. Между тем танцы продолжались. Те, кого миновали КПЗ и больница, продолжали предаваться танцевальным радостям.

Молодёжь с Площади – в основном дети обеспеченных родителей. Наблюдалась там и публика попроще: дети рабочих, водителей с автобазы или автобусного парка. Но жили они все вперемешку, общаясь между собой. И были, как правило, уравновешенные, спокойные, учились в школах, дружили мальчишки с девчонками, поступали в техникумы и институты.

В силу того, что Площадь оставалась «бесхозной», но в то же время была как бы самым «лакомым» куском в городе, сюда устраивали набеги разные шайки. Парни из Рабочего посёлка и со Станци-

онной ловили здесь деревенских, приезжающих из расположенных неподалеку от города совхозов и колхозов. Этих сельских жителей, которые прибывали за покупками и по разным делам, вовлекали под тем или иным предлогом в распитие спиртных напитков. Потом же, накачав бедолаг портвейном с клофелином, члены шаек раздевали их до трусов, сдирая даже носки.

Именно члены шаек и завсегдатайствовали в единственном в городе ресторане «Колос», где на десять рублей можно было неплохо поесть и выпить, а на двадцать пять рублей – устроить уже настоящий кутёж.

Первыми заявили о себе и о своих правах на Площадь на тот момент ещё малые числом члены шайки Майдана. Так как Зель был поделником Майдана, то его шайке было строго наказано не пересекаться с пацанами с Площади. Этот союз двух поделников как раз и дал возможность без лишней крови разрастись шайке с Площади, для которой Майдан стал идиолом.

Ребят, объединившихся вокруг шайки Майдана, становилось всё больше. Среди них начали появляться и дети людей, занимавших весьма ответственные посты в партии и руководящие посты в «советском хозяйстве». Майдан умело скреплял шайку: костяк воровской идеей, а прилепившуюся часть детей партократов – идеей возрождения Площади, общего братства и взаимовыручки. Это определённо подкупало вторых. Теперь им никто не разбивал носы, не отнимал у них хороших вещей, не уводил у них девчонок, приглянувшихся тем же станционному парням. Теперь эти «вторые» почувствовали себя «личностями», в них проснулась гордость, и они были бесконечно благодарны Майдану и его непосредственному окружению: Яше, Чёрному, Алику и Единственному.

Платили же они за это чистой монетой, ежемесячно принося в общую казну деньги и продукты. Многие занимались боксом, поднимали гири и штанги.

Планируя кражи, Майдан расчётливо выбирал из числа детей партократов тех, кто будет стоять на атаке. Причём преподносил он это избранному как выражение особой чести и доверия. Сам же Майдан знал, что, если они спялятся на краже, то хода делу никто не посмеет дать, коль замешан там кто-то из детей власть имущих.

Майдан до мельчайших деталей разрабатывал план очередного грабежа, а потом посвящал в него своё окружение. Их налёты ста-

ли отличаться дерзостью и спланированностью, хотя и проводились порой среди белого дня. Комар носа не мог подточить. Алиби всегда оказывалось стопроцентным, поскольку каждый раз кто-либо из «сынков» заявлял, что в тот момент он был вместе со всеми и что они занимались спортом или играли на гитаре.

Так в течение некоторого времени им удалось среди бела дня ограбить в округе три поселковых магазинчика. На заранее утнанном грузовике они подъезжали к магазину с тыльной стороны, по времени – поближе к обеденному перерыву. В тот момент, когда в магазине никого не оставалось и продавщица шла закрывать входную дверь на засов, возникал Яша в маске, с обрезом в руках и с искусственным горбом на спине. Угрожая оружием, он силой заставлял продавщицу отступить. Потом закрывал дверь и вешал табличку «Обед». Они точно знали, что в посёлке в обеденное время никто в магазин не придёт. Тут Чёрный, также в маске, умело связывал продавщице руки и ноги, заклеивал ей рот пластырем и запирал в подсобке. Затем впятером они быстро и чётко загружали кузов машины всем, что было в магазине: едой, выпивкой, одеждой, бытовой аппаратурой, коврами, посудой.

Если посмотреть на магазин со стороны, то можно было подумать, что из города в магазин привезли товар и происходит обыкновенная разгрузка. На всё уходило двадцать минут, иногда даже чуть меньше. Затем автомашина с тентом, до того плотно подогнанная к задней двери магазина, вдруг срывалась с места и на бешеной скорости покидала посёлок.

После этих грабежей банда ушла на дно. Милиция сбилась с ног, отрабатывая версии одну за другой. Добра было похищено на десять тысяч рублей – для района неслыханная сумма. Из области звонили со всех уровней, начиная от первого секретаря обкома партии. На помощь райотделу были брошены лучшие сыскари. По области арестовали всех, имевших ранее судимости по кражам. Уголовный розыск днём и ночью вёл допросы «криминального элемента», пытаясь их «расколоть». По результатам повальных арестов и допросов вскрывались и некоторые нераскрытые ранее преступления. Кое-кто «кололся» за старое.

Майдана и Яшу арестовали в конце недели, когда они, надёжно схоронив в замечательном тайнике всё добро, преспокойно давали уроки бокса детям партработников. Клятва, которую брали со всех членов шайки, обязывала любого из них обеспечивать «железное»

алиби другому. Двое суток кололи Яшу и Майдана. Но вот в милиции, где-то в глубине кабинета начальника райотдела, раздался оглушительный звонок. Начальник, пожилой подполковник, почти уже дождавшийся повышения по службе и перевода в область на полковничью должность, слушал, как в трубке рокотал баритон второго секретаря райкома:

– Тут видишь какое дело. Там ваши ребята взяли Тусупова. Да, буйный парень, запутался в жизни, государство осудило его, и сейчас он встал на путь исправления. Увлекает молодежь спортом и музыкой. Мой-то Виталька тоже там у него тренируется, научился играть на гитаре, – в трубке раздался смех второго секретаря. – Хе-хе! Да, да! Будем тебе давать партийную характеристику! Вот Виталька и утверждает, что Тусупов в эти дни давал занятия парням. А моему я верю! Он у меня секретарь комсомольской организации. Да и Вершигоры парень тоже подтверждает. Так что ты давай там, делай выводы, ведь ты скоро в область намылишься. Да, да! Мы должны показать уголовному элементу, что тех, кто истинно встал на путь исправления, наша партия и государство не обижают. Да, да! В этом политика партии.

В трубке раздались короткие гудки. «Положил», – подумал начальник райотдела. Старый оперативник, он нутром чуял, что надо колоть этого Тусупова и его молодого щенка. А тут с одной стороны давят – ищите и найдите, а с другой – сами бьют по рукам. Он громко вздохнул: «Ничего не поделаешь, придётся выпускать». Нажав кнопку вызова дежурного, он поднял телефонную трубку:

– Дежурный? Сколько времени прошло с момента задержания Тусупова и этого пацана, как там его?

– Лукьянова?

– Да, его.

– Третьи сутки пошли.

– К прокурору на санкцию ещё не возили их?

– Никак нет, рано ещё.

– Обоих с вещами выгоните к чёртовой матери из КПЗ.

– Слушаюсь! Как прикажете оформить?

– Оформить ввиду наличия стопроцентного алиби, на основании показаний свидетеля икс! Всё, ты меня понял?

– Так точно, товарищ подполковник!

Пожилой подполковник бросил трубку и смачно выmaterился. Не знал он, что судьба так хитро устроит переплетение дорог его

и Яши, что он сполна отыграется за сегодняшний день, искалечит, сломает вору оставшуюся жизнь.

А пока во главе длинного стола, накрытого во дворе дома, сидели Майдан и четверо главных членов банды. Прочие расположились по обе его стороны и восторженно глядели на Майдана. Стол ломился от фруктов. Аллочка разливала чай из кипящего самовара, спиртного на столе не было. Майдан никогда не употреблял спиртного в присутствии членов шайки. Лишь оставаясь наедине с избранными, он мог позволить себе и им тоже немного расслабиться. Налив в бокал лимонада, Майдан поднял тост за Виталика.

– КПЗ полна уголовным элементом. Оказывается, ограбили несколько магазинов. Мы к этому не имеем никакого отношения. Наше дело – всеобщая взаимовыручка и очистка Площади от хулиганов с других краёв города. Предлагаю поднять бокалы за Виталика и Славика Вершигору, благодаря которым мы с Яшей сидим за этим столом.

Вся толпа встала со своих мест и стала шумно чокаться бокалами, наполненными лимонадом.

Внешне жизнь городка шла своим чередом. Потихоньку сбывая награбленные вещи в других городах, Майдан на полученные деньги хорошо приодел участников грабежа. Теперь они, с деньгами в карманах, могли сидеть в ресторанах и рассчитываться за стол. В городке их стали уважать члены других шаяк – Станционных и Рабочего посёлка. В ресторане многие косились на то, как они, не по годам повзрослевшие, платили по счетам, давая щедрые чаевые симпатичным официанткам, оставляя недопитые бутылки с коньяком. В те годы такое поведение в захолустном ресторане было сравнимо со взрывом атомной бомбы. Их стали признавать в городке, им теперь уступали дорогу, а при появлении Майдана многие вставали, уважительно здороваясь.

Теперь в ресторане за ними был «забронирован» угловой столик, откуда был виден весь зал. Их же самих от посторонних взглядов укрывал роскошный фикус. И завсегдатаи ресторана знали, что это за стол, и никто не претендовал на это место. А симпатичные официантки бросались обслуживать их в первую очередь, чем вызывали тайное неудовольствие членов других шаяк, менее удачливых на тот момент.

Как-то вечером за их столом появился Зель. Высокий, худой, злой, седоватый Зель пришёл и сел, положив на стол сплошь татуированные руки.

– Ну здорово, пацаны! – кивнул он им. – Щас Юрок подкатит Залуцкий, да с Рабочего Фикса подойдёт. Давай обсудим проблему.

– Ну что ж, если есть проблемы, братан, давай обсудим, – согласился Майдан, наполняя фужер шампанским и подвигая его Зелю.

– Ты что, Майдан, я этот лимонад не пью! Давай лучше водочки хлобыстнём.

– С удовольствием с тобой выпью.

Майдан наполнил две длинноногие рюмки холодной водкой из графина. Одну он поставил перед Зелем, вторую поднял сам и при этом вопросительно посмотрел на него.

– За что выпьем, подельник?

– За тех, кто там, не дай Бог нам.

Они чокнулись хрустальными рюмками, выпили и закусили.

– Как дела, пацаны? – глядя в упор на Яшу, спросил Зель.

– Дела у прокурора, а у братвы делишки, – ответил Яша, ничуть не смущаясь.

– Ха-ха-ха! – расхохотался Зель. – Ну ты могёшь, – удивился он.

– Серьёзная братва у тебя, Майдан!

– Ты познакомься: это Яшка, это Чёрный, Алика ты знаешь – братишка мой, а это – Единственный.

– Ого, а в чём он Единственный? – удивился Зель.

– Это кликуха у него такая, – пояснил Майдан. – А вообще братва серьёзная, нашенская.

– Да, подельник, время бежит. Помню, перед этим сроком братишка твой совсем щегол был, а теперь джигит.

– Да, джигит. Пока я чалился, им с сестрёнкой да с Единственным пришлось немало горького хлебнуть. У Единственного тоже вон никого не осталось.

Зель захрустел огурцом, потом задумчиво промолвил:

– Судьба у нас такая!

Подшли Юрок Залуцкий и Фикса. Они поздоровались с Зелем, с Майданом. Взяв себе стулья, подсели к столу.

– Как здоровье, братва? – спросил Майдан.

– Ничего, пока нормально, – ответил Фикса.

– Сам-то как?

– Терпимо.

Они перебросились ещё несколькими словами и поделились новостями.

– С зон братва обращается, туговато там с чаем. Может скинемся – подможем, – предложил Фикса.

– Кому и подмогнём. Фикса, у тебя есть кореша на зоне?

– Конечно, есть, – мотнул головой Фикса.

– Вот и грей их потихоньку, не в кипеш, – ответил Майдан. – То, о чём ты говоришь, называется воровским общаком, Фикса. А воров, как ты знаешь, на сегодня в казахстанских лагерях нет, не завозят их сюда. Поэтому не следует нам без ведома авторитетов начинать такое, я так думаю, – закончил Майдан.

Мнения разделились. Зель принял точку зрения Майдана, а Фикса с Юрком отстаивали идею централизованного грева зон.

– В общем, так. Мы просили обсудить проблему, мы собрались. Майдан прав. Без воров нечего нам соваться в это дело. Никто из нас не видел живого вора в законе. Обо всём знаем лишь понаслышке. Хотя вроде бы придерживаемся воровских понятий. Сегодня ведь в лагерях как всё идёт? Ты греешь своих приятелей, они там делятся со своими семейниками. Если кто из семейников уторит на кичу, его греют однохлебники. Пусть пока будет как есть, а дальше жизнь покажет.

Фикса и Юрок не посмели возразить авторитетному Зелю и согласились с ним. Единственный вбирал в себя как губка суть услышанного.

Так проходили дни этого городка, одного из тысяч, собранных в границах огромного советского государства. Почти во всех таких городишках жизнь текла примерно одинаково, одинаково порочно, потому что порочной была сама однопартийная «система».

В этом государстве действовал принцип: «Все должны быть одинаково бедными». При этом подразумевалось, что бедными должны быть те, кто составлял «массу трудящихся». Немногочисленные же представители партийной верхушки и иже с ними отнюдь не бедствовали. Страна напоминала огромное, чудом держащееся дерево, у которого корни были изъеденными и сгнившими.

Досрочно выполнялись пятилетка за пятилеткой. Каждая страда объявлялась всеобщей, стройки назывались всесоюзными. Поначалу на эти стройки призывали комсомольцев-добровольцев, опору партии. Но заканчивалось всё тем, что загоняли туда зэков,

которые и делали основную работу. Потом власти помпезно рапортовали о завершении стройки, о вводе в строй очередного объекта. В прессе появлялись восторженные статьи, герои труда получали награды.

Кто же знал тогда, что придёт время и рухнет это дерево, многих похоронив под собой. Кто мог предположить, что многие из тех, кто были героями пятилетки, «трудом славил имя своё» в шахтах и на рудниках, на сталеплавильных заводах и «магнитках», будут обивать пороги администрации с мольбой о выплате пенсий и пособий по инвалидности, приобретённой в период проведения героических строек. Кто мог представить себе, что деньги, накопленные за всю жизнь, отложенные на сберкнижку, в один день превратятся в жалкие гроши, на которые не купишь и пачки махорки. Кто мог ожидать, что придётся пережить «шоковую терапию».

Никто не знал о том, что предстоит «прихватизация», во время которой всю страну и её экономическую основу раздробят на миллионы «ваучеров» и раздадут их народу, чтобы позатыкать рты, прикрывая этот процесс красивыми речами – мол, теперь каждый из вас станет собственником, будет получать дивиденды. И подумать не могли герои-труженники, рабочие КАМАЗа и АвтоВАЗа, «Серпа и Молота» и «Красного Пролетария», что придётся им отдать эти ваучеры за бутылку забодяженной водки. И не останется у них ничего, кроме как выпить эту водку прямо из горла, проклиная Горбачёва. Никто не догадывался, что придётся проклинать махновскую демократию и подло обманувшую их «родную» партию, что направо и налево костерить будут духовные ценности и идеалы.

Никто не подозревал и о том, что вчерашние комсомолцы возьмут в руки оружие и станут рэкетирами, наводящими ужас на своих же комсомольских собратьев – тех, которым повезло больше, на новоявленных нуворишей, «новых русских», как будут называть их.

Не знали мужики и бабы нашей необъятной страны, что в Беловежской Пуще подпишут документ об упразднении Советского Союза, что росчерком пера лишат болтуна Горбачёва должности и кресла, что превратят огромную державу в кучу банановых республик. Что экономика будет развалена и разбита, что появятся «зайчики», тенге, литы и латы, ещё чёрт знает что.

Никто не догадывался, что существующий преступно-уголовный мир, живущий по законам нэпманско-воровских понятий,

взорвётся и возникшее на его месте пространство заполнится бандами и бригадами отморозков. Что кровь будет литься рекой, что заказные убийства станут привычными, как рост цен на городском рынке. И крупнейшие банки, фирмы, «МММ»ы будут лопаться, подобно банкам с забродившими соленьями, руша последние надежды простого люда на дивиденды – которых никто и никому платить не собирался. И что от этого десятки русских баб подобно Анне Карениной лягут на рельсы от безысходности, царящей среди всеобщей вакханалии.

Чудовищным было предположить, что прославленная армия, которую народ кормил и лелеял, пойдёт давить гусеницами танков этот самый народ на улицах Алматы, Ферганы, Баку, Тбилиси, Вильнюса.

Невозможно было подумать ветеранам Великой Отечественной войны, с боями прошагавшим от Сталинграда до Берлина, что их кумир Маресьев будет лежать больной и нищий, раздавленный судьбой и забытый страной и людьми, не в состоянии приобрести себе необходимые лекарства. И что Президент, разгневанный отсутствием Маресьева на торжественном праздновании Дня Победы, не потрудившись узнать об истинных причинах этого отсутствия, велит вычеркнуть его имя из списков на получение автомобиля «Таврия». Боже мой, «Таврия» народному герою – какое благодеяние! Среди автомобилей, выпускаемых в мире, этот по качеству занимает, наверное, последнее место...

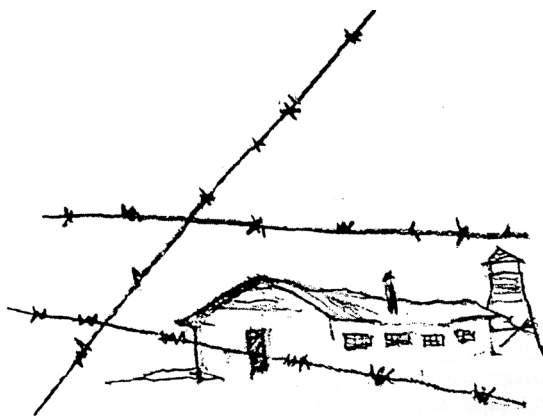
Предположить не могли ветераны войны, семьдесят два года прожившие товарищами и братьями, вместе лежавшие в окопах грузины, казахи, осетины, молдаване, литовцы, белорусы, украинцы, азербайджанцы, армяне, таджики, туркмены и узбеки, что пойдут азербайджанцы против армян, ингуши против осетин, грузины против абхазов, русские против молдаван. И что таджики будут резать друг друга, потому что в стране изменятся в корне строй, жизнь, духовные ориентиры. А прославленная армия, волей кремлёвских старцев опозоренная, похоронившая многих сынов своих в Афганистане, где они якобы выполняли «интернациональный долг», отдаст уцелевших в киллеры, бригады, банды. И из элитных сотрудников спецназа, «альфы» и «вымпелов» получатся отличные лидеры преступных группировок. И опозорится прославленная армия ещё раз – в Чечне, где заставят её уничтожать маленький гордый свободолюбивый народ. Уничтожать только за то,

что он захочет жить собственными идеалами и самостоятельно решать свою судьбу.

А пока в существующем ещё государстве, в маленьких городках, таких же, как тот, в котором жили Майдан и Славик Вершигора, жизнь шла по замкнутому кругу, ибо круг – он и есть круг.

Сегодня Тусуповых, Залуцких и Зелей судили Вершигоры. Их детям, сытым, прилизанным, из ненависти к этой сытости били морды на танцплощадке, отнимали у них девчонок. Завтра эти дети, получив образование, став судьями, прокурорами, милиционерами со звёздами, партработниками, будут топтать детей Тусуповых, Залуцких и Зелей. Будут судить их, гнуть, отправлять на далёкие лесоповалы.

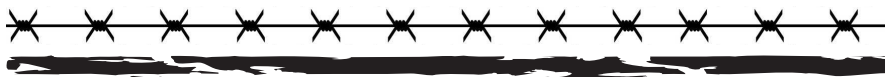
А дети простых обывателей, кого Господь уберёт от страшной лагерной пайки, будут ещё с показным трепетом смотреть в рты партократам, их работодателям, будут завершать пятилетки досрочно, прокладывая «бамы» и строить атомные подводные лодки, поступаясь в скромном своём быту самым необходимым.



Часть 2

КАМЕРА СМЕРТНИКА





Глава 1.

СЛЕДСТВИЕ И СУД

Единственного обвинили в нападении на наряд контролёров и нанесении им тяжких телесных повреждений в ШИЗО – той самой вязаной зоны. Следствие по его делу вёл старший следователь прокуратуры по особо важным делам, человек маленького роста с большой проплешиной на седеющей голове, со смешной фамилией – Тащи.

– Интересная у вас фамилия, она ближе к нашему миру, – не удержался от шутки Единственный.

– Так уж и к вашему! Просто мама у меня русская, а отец по национальности гагауз, – проворчал следователь, листая уголовное дело Единственного.

Он забавно сдвинул толстые очки в роговой оправе прямо на кончик носа и от этого стал похож на доброго дядечку, учителя, преподающего какой-нибудь гуманитарный предмет вроде истории или литературы.

– Да, наломал ты дров, парень! Я вот ознакомился с твоим делом – человек-то ты в колонии не случайный. Все статьи за совершение краж, – он продолжал перелистывать страницы, поддевая их коротким, толстым указательным пальцем. – Рассказывай, как было дело. Почему ты напал на наряд? Ты сначала расскажи не для протокола. Я ничего записывать не буду, хочу просто понять произошедшее сам для себя.

– А что говорить, гражданин следователь? Не имеет смысла. Я знаю, что по статьям, которые я собрал в один букет, меня приговорят к *вышке*. Так зачем вообще всё это?

– Да? И ты хочешь так легко сдаться? Совсем не хочешь побороться за себя? Одним словом, выкладывай всё как на исповеди. Повторяю, я хочу сам для себя всё понять.

Единственный пожал плечами и, попросив разрешения, закурил.

– Ну хорошо, я расскажу.

Ему пришлось рассказать обо всём, начиная с того момента, как он пришёл в Вязаную зону. Он рассказал, как его били в течение всей первой пятнашки. Как ежедневно подвергали экзекуциям, стараясь унижить, растоптать его достоинство. Рассказал про порядки, существующие на Вязаной зоне. Про Живого, совсем ещё мальчишку, столько уже перенесшего. Рассказал, как Ирод и Булка целенаправленно подводили его самого к этому срыву, хотели уничтожить его как личность. Рассказал про Сатану, которого, может быть, ещё можно было спасти, но администрации выгодно была его смерть.

– Понимаете, гражданин следователь, накопилось. Это как сель: копятся ил, грязь, камни – оседает на дно озера. Но как только оно переполняется, происходит извержение. Всё, что накопилось, уже не остановить.

Единственный замолчал, давая следователю возможность осмыслить услышанное. После долгой паузы тот собрал все бумаги в портфель и тщательно закрыл его на кодовый замок. Единственный улыбнулся: «Теперь-то зачем?» Тащи спокойно сказал:

– Иди в камеру. Я должен уложить всё это в своей голове. Скоро увидимся. Думаю, дело недолгое, за месяц уложимся.

Он нажал на кнопку, расположенную на краю стола, вызывая конвой, и вскоре Единственного увели в камеру.

Единственный лежал на шконке и вспоминал историю первой в своей жизни связи с женщиной. Это произошло в одну тёплую июньскую ночь.

Тогда парни из шайки Майдана вознамерились обокрасть районную заготовительную контору. На дело решили идти втроем: Единственный, Чёрный и Яша. Наводку на эту контору дал сын её директора, парень по фамилии Чакман. Как-то раз они замолви-

ли за Чакмана словечко перед ребятами из Рабочего посёлка, когда те зажали парня в тёмном углу городского парка. У него вымогали деньги или хорошие вещи, требуя, чтобы Чакман принёс из дома. В тот раз Чёрный и Яша вступились за него, сказав, что это их парень. Рабочепоселковские, недобро сверкая глазами, неохотно отступили, не желая ввязываться в драку на чужой территории. Тогда-то благодарный Чакман и предложил парням с Площади обчистить отцовскую заготконтору.

– Там у них есть сейф, а в нём много денег. А на складе меха – лисы и волчьи, и много-много тюков с шерстью, – доложил Чакман.

– А как мы проникнем туда? – спросил Яша.

– Я свистну у отца ключи. И мы дождёмся, когда сторож уйдёт домой перекусить.

– Ладно, подумаем. Мы сами тебе скажем, если что. А вообще – не забывай, ты наш должник.

На том и разошлись.

После этого они уже вчетвером – к ним подключился и Карнаухий – несколько дней обмозговывали это дело. Майдану решили пока ничего не говорить, боясь, что тот запретит им действовать. Слишком уж много шума было поднято после их последней кражи.

В назначенный день они встретились с Чакманом вечером в школьном саду. Тот радостно сообщил:

– Батя спит, пьяный! Вот, вытащил у него ключи, – и достал из кармана увесистую связку.

Чёрный взял у него ключи и стал внимательно разглядывать.

– Если мы всё откроем ключами и заберём товар, то менты сразу поймут, что только ты мог взять их. Тогда они дадут на тебя. А ведь ты можешь колонуться!

– А что делать? – Чакман растерялся.

– Сейф мы трогать не будем. Возьмём только меха и шерсть. А после этого поломаем замки. Твоя же задача – незаметно вернуть ключи на место.

Как было решено, так и сделали. Ближе к полуночи они подкрались к заготконторе и перемахнули через забор. Чакман подполз к учуявшей их овчарке и бросил ей мяса. Ожидая следующего куса, овчарка приветливо виляла хвостом. Парни дождались, когда ночной сторож пошёл домой почаявничать. Он жил рядом с заготконторой – через два дома. Перед уходом он закрыл сторожку на

ключ, предварительно обойдя территорию и проверив все складские навесные замки.

«Вперёд!» – скомандовал Чёрный, и они гуськом двинулись в сторону склада с мехами. Ребята без особого труда подобрали нужный ключ и проникли внутрь. Перед ними на проволоке, натянутой между двумя столбами, висели выделанные шкуры огненно-красных лисиц, чёрных корсаков, волков. Чёрный светил карманным фонариком, а Единственный и Яша держали мешки, помогая Чакману укладывать в них меха. Быстро заполнив четыре мешка, они вынесли их за забор, а потом выкатили туда же два больших тюка с тонкорунной, судя по маркировке, шерстью.

Сразу же за забором заготконторы была степь. На это и рассчитывали пацаны, идя на дело. Они перетаскивали мешки с мехами, которые получились весьма тяжёлыми, на довольно приличное расстояние от заготконторы. Затем парни быстро перекатили в то же место тюки с шерстью. В то время, пока трое занимались переносом мехов и шерсти, Яша ломом посбивал замки на дверях складов. Громко залаяла овчарка. Теперь надо было сматываться. Покидав тюки с шерстью и мешки с мехами в присмотренный заранее овраг, пацаны услышали шум на дворе заготконторы. Прозвучал выстрел из ружья.

Они бросились бежать, что есть силы, в другую сторону, подальше от компрометирующего их груза.

– Так, Чакман, давай домой и подсунь ключи пахану! И смотри мне: в случае чего – ты с нами крал, – Чёрный сунул Чакману под нос кулак и толкнул его в плечо.

Между тем произошло-то следующее. Сторож, услышав запоздалый лай собаки на дворе заготконторы, немедленно бросился туда и обнаружил сломанные замки и валявшийся невдалеке лом. Сразу смекнув, в чём дело, он выстрелил из ружья и бросился звонить в милицию. Милиция приехала быстро. Работники уголовного розыска сразу же направились домой к директору заготконторы.

Подняв его из постели, недоумевающего и ещё пьяного, они потребовали у него ключи, чтобы открыть кабинет с сейфом и другие склады. Директор обыскал весь дом. Не найдя их, беспомощно развёл руками перед начальником угрозыска:

– Нету! Я точно помню: когда пришёл домой, они были у меня в кармане, – и тут он осёкся. – А где этот оболтус? Где? – заорал он,

грозно наступая на жену и имея в виду младшего Чакмана. Именно в этот момент в дом вошёл перепуганный младший Чакман с ключами в кармане.

Сразу поняв, где зарыта собака, начальник угро заставил обомлевшего пацана предъявить содержимое карманов. Ещё через десять минут Чакман выдал им всё. И имена подельников, и место, где лежитворованный товар...

А тем временем Яша, Чёрный и Единственный сидели на городском кладбище и думали, как им быть дальше. Возвращаться к тому оврагу, где они спрятали тюки, было страшно. Решили отложить до утра.

Яша отправился домой, несмотря на уговоры подельников, и уже через час сидел в КПЗ. Оформили его по сто девятой статье, как подозреваемого в краже государственного имущества со склада заготконторы.

Единственный с Чёрным, по настоянию друга, отправились к двум «разведёнкам», тёте и племяннице, жившим в одной землянке.

Был уже поздний час. На требовательный стук Чёрного дверь открыла полуодетая смазливая бабёнка лет тридцати. Она сразу пустила их с Единственным в дом.

– Проходи, полуночник, – бабёнка подтолкнула Единственного к комнате и спросила у Чёрного. – Кто этот мальчик?

– Это мой кент, я привёл его познакомиться с тобой. Жанна дома?

– Спит. Сейчас я разбужу её, – и быстро вышла.

Ошалевший Единственный озирался по сторонам, не зная, куда ему присесть. Спустя некоторое время из соседней комнаты, притворно щурясь и прикрывая руками полуобнажённые груди, вышла молодая девушка, одетая в короткую ситцевую ночную рубашку.

– Не спится тебе, – она с деланной укоризной глянула на Чёрного.

– Нельзя было пораньше прийти?

– Не могли мы пораньше. Ты познакомься, это мой кент – Единственный.

– Единственный?.. В чём же это он Единственный?.. – она рассмеялась.

– Не смейся! – оборвал её Чёрный. – Лучше дай нам что-нибудь выпить.

– Щас организуем.

Вскоре на столе появились сковородка с подогретой картошкой и малосольные огурцы. Римма, так звали старшую из женщин, принесла и поставила на стол стаканы и бутылку разведённого спирта.

Чёрный разлил спирт по стаканам и предложил женщинам выпить за знакомство с его приятелем. Чувствовалось, что его здесь побаиваются, но уважают. Вообще-то он был широкой души парнем. Нравилось ему с удачных краж гулять и раздавать подарки.

Все подняли стаканы, чокнулись и выпили. Единственный, до того пробовавший только креплёное вино и водку, поперхнулся, когда глоток огненной жидкости ожёг его внутренности.

– На, закуси! – Римма протянула ему малосольный огурец на вилке, окидывая Единственного плотоядным взглядом. – Господи, совсем ведь ещё мальчик.

– Мальчик! Щас он тебя так отдерёт, никакой взрослый так не сможет, – Чёрный захохотал.

«Когда это он насобачился так вести себя с бабами?» – позавидовал ему Единственный, чувствуя как пьянеет от спирта, тепла, ощущения безопасности и, главное, от присутствия двух полуодетых женщин.

Оставшийся в бутылке спирт разлили по стаканам и ещё раз выпили. Потом Римма, взяв за руку, потащила Единственного в ту комнату, куда ему и без того хотелось попасть.

В тёмной комнате она начала раздевать его, жарко целуя в губы, затем скинула с себя ночную рубашку и поднесла к его губам свою тёплую грудь. В этот момент Единственный почувствовал себя маленьким-маленьким. На мгновение ему показалось, что рядом – его мама. Он плакал, а Римма, взрослая баба, не могла понять, в чём дело. Она легла на кровать и потянула его за собой.

– Ты что, первый раз с женщиной? – заглянула она ему в глаза, жарко дыша в лицо. – Мальчик ты мой бесценный, никому тебя не отдам! Какой же ты красивый! Сейчас, сейчас я помогу тебе. Я тебя всему научу, милый мой.

Она бесстыдно взяла его восставшую плоть и ввела в себя. Единственный впервые в жизни почувствовал, как он проваливается внутрь сладкого, жаркого, огнедышащего вулкана. Он прыгал на ней, словно неопытный юнец, пытающийся объездить взрослую кобылицу. Римма протягивала ему свою грудь, и он сосал её, держа обеими руками. Она целовала его взасос, проталкивая горя-

чий язык ему в рот, и он сходил с ума от этих поцелуев и от самой мысли, что вот, наконец, он обладает настоящей женщиной.

А наутро они с Чёрным сидели в КПЗ, через стенку от Яши. Младший Чакман, гад, написал явку с повинной, и его закрывать не стали. Однако через трое суток, когда парни готовились к тому, что их повезут на санкцию к прокурору, всех вдруг неожиданно выпустили.

Отец Чакмана, беспокоясь за своего болвана-сынка, организовал нужные телефонные звонки. Начальник утро понял, что посадить надоевших ему стервецов можно только при одном условии: если возбудить дело и на сына директора заготконторы. Ведь нельзя же было закрыть глаза на тот факт, что ключи были найдены именно в его карманах...

Единственного подняли в кабинет начальника. Тот сидел злой, и, как только ввели Единственного, выскочил из-за стола, и треснул его по затылку.

– Вот что, шпанюк! Я тебя обязательно поймаю и посажу, запомни это! Ты у меня сгниёшь в тюрьме, если не прекратишь воровать. Понял? – заорал он.

– Понял! А ты меня усынови! Я и перестану воровать! – Единственный торжествуя глянул на застывшего в недоумении мента и, не спрашивая разрешения, вышел из кабинета.

Вечером, получив от Майдана нахлобучку за неправильно организованную кражу, Единственный с Чёрным купили на выпрошенные у него же деньги водку, конфеты, торт и опять отправились в гости.

– Куда вам деньги на ночь? – удивился их просьбе Майдан.

– Сходим в гости в одно место, – пояснил Чёрный.

– И что, Единственный тоже с тобой?

– Да.

– Ну, братва, вы даёте! Я и не заметил, что вы уже вправду парни хоть куда! Правильно! Надо гулять, пока на свободе. Ведь за забором всего этого не будет, – он кивнул в сторону стола, заставленного закусками и бутылками с вином. Потом легонько тронул струны гитары: «Чёрная роза – эмблема печали, а красная роза – эмблема любви».

Молодая шпана любила слушать бесшабашные песни Майдана, которые он исполнял под гитару. Он часто пел длинные лагерные

романсы – про дочь прокурора и молодого вора, про серый крест, а также другие душещипательные истории, бередя удалой романтикой незащищённые детские души.

Ночь, проведённая с Риммой, опять была сумасшедшей. Словно взрослый мужчина, теперь Единственный сам раздел её и уложил на кровать. Римма целовала его, приговаривая: арестантик ты мой, ну зачем тебе, посадят ведь, как я потом буду.

Ему было хорошо от этих слов. В те минуты он безумно любил эту женщину и страшно ревновал при мысли, что до него уже многие мужчины обладали ею. Единственный опять поднимался вверх, на самую вершину, и падал вниз, прямо в пылающее жерло вулкана.

Звук кормушки, открываемой в двери камеры, прервал поток его воспоминаний. Единственный стряхнул их с себя, как случайно упавшие на него осенние листья, поднялся и подошёл к двери.

– Руки в кормушку! – прозвучал голос корпусного.

После того как наручники были надеты, его повели по коридору к следователю. В следственной камере сидел всё тот же Тащи. Увидев Единственного, он заулыбался и вежливо поздоровался.

– Садись. Если хочешь – кури, но главное – слушай. На меня давят и торопят. Адвоката, конечно, назначат, но в основном защищать себя будешь ты сам. Последнее слово тебе дадут. Сейчас мы запротоколируем все твои показания. Я не имею права оглашать показания потерпевших, но скажу честно: дела твои плохи. Показания потерпевших и администрации колонии почти не оставляют шансов. Применение против тебя табельного оружия признано законным. Я не буду отвечать на твои вопросы, но хочу сказать одно: за тебя беспокоятся. И я сделаю всё возможное, чтобы подать на суд материалы следствия, более или менее оправдывающие твой поступок. Ты должен помочь мне лишь в одном: внимательно ознакомься вот с этим протоколом допроса и распишись. Позже я принесу обвинительное заключение, и мы подпишем протокол об окончании следствия.

После этой длинной речи Тащи передал Единственному папку с готовым протоколом допроса. Общая суть показаний состояла в следующем: Единственный утверждал, что в момент нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшим он находился в невменяемом состоянии.

Маленькому плешивому следователю удалось составить и ещё один важный документ. В нём было сказано: в момент проведения медицинского осмотра, когда обвиняемого доставили в сангород с тяжёлыми пулевыми ранениями, на его теле было обнаружено множество свежих рубцов – типичных следов от ударов дубинками. Под этим документом стояла подпись главного хирурга, майора медицинской службы Внутренних войск Светланы Сорокиной.

У Единственного потеплело в груди. Он подписал протокол допроса, отчётливо понимая, что от вышки ему всё-таки не уйти. Потом сказал:

– Спасибо вам, гражданин следователь! Я всё понимаю, от вышки мне не уйти, но я ни о чём не жалею. Передайте это тем добрым людям, которые беспокоятся за меня. Ещё передайте им мою безграничную благодарность. А теперь пусть меня отведут в камеру.

Тащи засуетился, собирая бумаги. На него смешно было смотреть: маленький, толстенький человечек с забавной к тому же фамилией.

«Он будет жить, шуршать бумагами, а меня расстреляют», – пронеслось в голове у Единственного.

Его увели в камеру. «Корпусной», узбек по национальности, прежде чем захлопнуть за ним дверь камеры, передал ему «маяву» от братвы, ещё одно письмо и кешер с гревом. Единственный поблагодарил корпусного, зашёл в камеру и поставил кешер на стол. Вернулся к открытой кормушке и сунул в неё руки, чтобы избавиться от «браслетов». Потом стал разбирать письма.

Первая маява была от «положенца» тюрьмы. В ней Единственному передавали всего доброго и светлого, пожелания фарта, и прочее, и прочее, всё от души.

Он с нетерпением развернул вторую маяву, запечатанную в обычный почтовый конверт. Это было письмо от Светланы.

«Здравствуй, мой Единственный! – писала она. – Я молюсь за тебя днём и ночью. Порой мне кажется, что не выдержу. Лишь дочь моя даёт мне силы жить. Я верю, что тебя оправдают. Я не для того тебя спасла, чтобы снова потерять. Целую тебя тысячу раз! Светлана». Это письмо было исполнено болью и нежностью. «Загадочная женская душа!» – подумал Единственный и покрыл поцелуями письмо, написанное её рукой.

«Твои сильные руки вынимали из моего израненного тела мен-товские пули – благодарю тебя! Твои добрые руки перевязывали

меня – благодарю тебя! Твои ангельские руки ласкали моё тело – благодарю тебя! Твои чистые руки писали мне эти строки – благодарю тебя!» – шептал он, нежно поглаживая конверт. Единственный бережно положил письмо под подушку. Потом он приступил к своей обычной тренировке.

Отдав немало сил физическим упражнениям, Единственный тщательно умылся, обтёр тело мокрым полотенцем, а потом рухнул на шконку и уснул мёртвым сном. Его нервы были на пределе.

Через несколько дней Единственный получил обвинительное заключение, которое не стал даже читать. За последние дни он осунулся, глаза и щёки ввалились. Он беспрестанно ходил по камере, куря сигареты, одну за другой. Единственного мучил единственный вопрос, который он задавал сам себе. И хотя ответ на него уже был в подсознании, всё равно, вышагивая по камере, он снова и снова спрашивал себя о том, что не давало ему покоя: нужно ли отвечать на письмо Светланы?

«Нет, тысячу раз нет!» – закричал он бешеным голосом и бросился к ненавистой двери, обитой железом, долбя её кулаками, разбивая их в кровь. Быстро прибежал корпусной и, посмотрев на него в «волчок», громко спросил, в чём дело. Единственный извинился и сказал, что занимался тренировкой кистей рук.

– Каншай, каншай это, нашальник придёт, ругать меня будет. Тэбэ зашэм это?

– Ладно, командир, больше не буду, – успокоил его Единственный.

Заседание выездной коллегии проходило в клубе той самой ИТК. Единственного привезли на этот показательный суд под усиленным конвоем. Руки и ноги его были закованы в кандалы, соединённые между собой тонкой стальной цепочкой.

В клуб согнали весь лагерный контингент. Сняли с работы даже тех, кто в дневную смену трудился в промзоне. Такого в лагере ещё не бывало.

«Устроили зверинец, б...ди!» – Единственный сплюнул на пол, под ноги.

Его поместили в специальную клетку, заранее подготовленную, сваренную из металлических прутьев. Он сел на железную скамейку, которая находилась в этой клетке, и огляделся по сторонам.

В зале, в первом ряду, сидели представители администрации колонии и крупнорогатые активисты: сам хозяин колонии, Ирод, Алпус, Булка, ещё какие-то офицерики – видимо, начальники других отрядов. Чуть дальше, через пять-шесть мест от них, в первом ряду сидел Очкарь.

Он смотрел на Единственного сочувственно и будто бы просил прощения. Единственный кивнул ему, отметив тут же благодарность, мелькнувшую в глазах завхоза.

На судей Единственный не смотрел. Как только боковым зрением он увидел харю прокурора, красную от беспробудной пьянки, то сразу понял, что на милость здесь ему рассчитывать не придётся.

Уже начали зачитывать дело, шёл допрос потерпевших, а Единственный всё продолжал внимательно оглядывать зал.

«Зрительный зал», – он усмехнулся, когда это словосочетание промелькнуло в его возбуждённом мозгу. В толпе стоявших поодаль зэков Единственный заметил лихого карманника Кайло, своего горемычного товарища, и рядом с ним мальчика, того самого Живого.

«Живой! Живи сто лет! – прошептал он про себя. – А вот эти глаза чьи? Светлана!!! Зачем же ты пришла на это судилище! Не надо было этого делать. Ведь мне теперь будет больше больного. Боже мой!»

«О Алла тағала, күш бер, қуат бер маған тілеймін сізден!» – Единственный просил у Аллаха силы и выдержки...

Как на всяком таком судилище, потерпевшие и представители администрации колонии давали показания, которых и следовало ожидать. Они характеризовали его отрицательно: как заключённого, который не пожелал становиться на путь исправления, как циничного и опасного рецидивиста.

Педераст Ирод, заканчивая свои показания, с пафосом произнёс целую тираду. Она оказалась настолько непривычной для его лексикона, что он чуть не вывихнул язык:

«И это, когда страна напрягается, чтобы пережить шоковую терапию! В колониях нехватка продуктов, медикаментов, даже мыла хозяйственного нет. А такие, как он, покушаются на жизнь людей, которые охраняют их, не получая при этом зарплаты по пять месяцев. Я как истинный офицер прошу суд вынести ему высшую меру наказания, чтобы другим осуждённым неповадно было».

Единственный, не выдержав, громко расхохотался. Судья посту- чал по столу костяшками пальцев.

– Подсудимый! Прекратите смех!

Затем Единственного заставили встать и приступили к допросу. Он без особого энтузиазма рассказал обо всём, что произошло тог- да в ШИЗО. Прокурор несколько раз перебивал его, не давая воз- можности договорить: «Суду нет необходимости знать о конфлик- тах, возникающих между войсковым нарядом и заключёнными, не подчиняющимися требованиям администрации колонии. Отве- чайте на задаваемые судом вопросы по существу».

Последовало и краткое выступление адвоката, бывшего проку- рора. В своей речи тот вроде бы и выдвигал аргументы, свидетельст- вовавшие в пользу подзащитного, но тут же сам и опровергал их, противореча самому себе.

Наконец Единственному предоставили последнее слово. Он поднялся со скамьи и заговорил, обращаясь не к судьям и не к про- курору, но к заключённым:

– Сегодня здесь, в этом зале, судят меня. Я не тешу себя надеж- дой на снисходительный приговор суда. Я знаю, что этого не будет. Но всё, происходящее в этой зоне, есть не что иное, как целенап- равленная и изощрённая политика администрации колонии. Ад- министрация, в лице

известных вам сотрудников, прилагает все усилия для того, что- бы мы пожирали друг друга как крысы в бочке, тем самым давая им возможность получать новые звёзды на свои погоны. Система построена на массовом доносительстве, на извращении общечело- веческих ценностей, на целенаправленном уничтожении в людях как духовного, так и физического «я».

Мне бы очень хотелось, чтобы вы, так называемые «вступившие на путь исправления», поняли: нельзя быть Иудами и продавать друг друга за тридцать сребреников. Нельзя отдаваться милости оперчасти за «жирный кусок». Вы же убиваете в себе то бесценное, что в вас ещё, быть может, есть.

При вынесении приговора я прошу высокий суд отнестись ко мне объективно, – с достоинством закончил свою речь Единствен- ный и попросил у суда разрешения сесть.

Суд удалился на совещание, сообщив, что оглашение приговора состоится через двадцать минут. «Всего лишь двадцать минут они будут решать – жить мне или не жить», – подумал Единственный.

Он встречался взглядом с Кайло и Живым. Кайло вздыхал, после этого надрывно кашлял, а затем опять находил взгляд Единственного и смотрел на него, будто призывая к мужеству. Живой же глядел на Единственного, не отрываясь. И этому мальчишке предстояло провести в зоне ещё восемь лет! Ему Единственный казался великомучеником.

«Не надо! Не сотвори себе кумира, пацан!» – шептал Единственный.

И вот послышался лёгкий шум, в зале все заёрзали и задвигались на своих местах – для оглашения приговора свои места занял суд.

Судья потребовал тишины и начал скучно и монотонно зачитывать длинный приговор. Зэки в зале терпели в абсолютной тишине: слышно было, как жужжат на оконных стёклах жирные мухи. Наконец прозвучали слова: «Именем Республики Казахстан выездной суд в составе судьи такого-то, заседателей таких-то, государственного обвинителя такого-то, приговорил: применить в отношении подсудимого высшую меру наказания – расстрел».

После этих слов в зале наступила мёртвая тишина. Нарушал её только один звук: чуть слышное позвякивание тонкой стальной цепи, обвинявшей руки и ноги Единственного. Его била мелкая дрожь, потому цепь тихонько звенела.

«Я буду молиться о спасении твоей души, брат!» – неожиданно раздался крик лихого Кайло.

Единственный бросил на него прощальный взгляд. Потом посмотрел на Живого, кивнул Очкарю. И тут его взгляд остановился, словно он споткнулся о взгляд Светланы. Наверное, во всём мире в этот момент не было глаз, распахнутых шире. В этих глазах застыла бескрайняя немая боль. И по этой боли Единственному нужно было достойно пройти. Пройти по собственной боли!!!

Пролетело немало времени с того дня, когда жирный женоподобный судья огласил приговор. Высшая мера. Девяносто дней. Согласно нашим «гуманным» законам, «положняковый» адвокат передал в Верховный Суд прошение о помиловании, но Единственный знал, что за изрезанных гайдамаков пощады ему не будет.

«Никуда не уйти, намажут мне лоб зелёной», – думал он, беспрерывно шагая из угла в угол по маленькой тесной одиночной камере.

Сейчас, по прошествии более семи месяцев после случившейся трагедии, Единственный отчётливо понимал суть того, что с ним произошло. Он не раскаивался ни в чём. Ему было только немного жаль себя, ничего в жизни толком так и не изведавшего.

Его продолжали беспокоить огнестрельные раны, полученные во время той яростной схватки с ментами.

«Шмонать» его камеру контролёры теперь заходили только после того, как через кормушку защёлкивали наручники на его запястьях. Днём нару к стене не пристёгивали. Вероятно, начальник тюрьмы дал приказ оставить её как есть.

Расшатанные вконец нервы не давали Единственному возможности сосредоточиться. Он то читал газеты, то вдруг отбрасывал их в сторону, падал на дощатый пол камеры и принимался что было сил отжиматься. А потом снова часами вышагивал по камере – из угла в угол.

Тюрьма, наслышанная о нём, из солидарности «грела» Единственного. Ему присылали продукты, чай, курево, тёплые вещи. Из многих хат приходили малявки: от «смотрящих» за «продолами», от положенца тюрьмы. От малолеток приходили малявы, написанные под диктовку всей хаты, по типу письма запорожских казаков турецкому султану, хотя другого, конечно, содержания. Женская половина тюрьмы, именуемая «монастырём», умудрялась регулярно загонять ему приветы в виде заботливо связанных шерстяных носков и джемперов. Оттуда же приходили длинные-предлинные любовные малявки от цыганочки Латвины.

Из «монастыря» Единственному писали многие девочки. Однако малявки от цыганочки Латвины были настолько необычными, проникнутые верой в скорую волю, что Единственный, незаметно для себя, втянулся в эту грустную переписку. Он с усмешкой ловил себя на мысли о том, что начинал уже ждать этих малявок, написанных её рукой – красивым, ровным почерком. Единственный долго рассматривал фотографию, изучая её, любовался запечатлённой на ней красотой девушки. Сидела она за участие в рэкрете. «Ракетчица» – так называют в Доме сидящих по этой статье.

«Угораздило же такую красоту за стальную решку и баян», – удивлялся Единственный.

Латвина, дочь богатого цыганского барона, с детства росла непоседой. В семье она была любимицей. Её удалые братья души в

ней не чаяли, и, стараясь угодить, буквально заваливали подарками. Барон с женой не спускали дочурку с рук и не давали упасть на её прелестную головку и пылинке.

Девочка с детства безумно любила цыганские песни. Старая цыганка, бабушка со стороны отца, передала ей великое множество цыганских песен: волнующие душу напевы, легенды о красивой любви. Латвина росла красивой озорной девочкой, всех задевала, тербила, куда-то тянула, ото всех что-то требовала.

У барона часто собирались гости. Цыгане приезжали издалека: из Киева, Ростова, Одессы, Сибири, с Кавказа. И тогда в доме вовсю шла гулянка. Столы ломились от снеди и спиртного. Часто после застолья гости начинали петь под гитару и баян. В такие моменты из соседней комнаты, потряхивая бубном, выплывала Латвина, звончайшим голосом выводившая первые ноты всем известной и любимой цыганской песни.

В красном, искусно отделанном позолоченными блёстками платье, на шее монисто, собранное из царских червонцев чистейшего золота – такое появление девушки разило гостей наповал.

Их лица расплывались в улыбках. Цыгане восхищённо щёлкали языками, начинали в такт песне похлопывать в ладоши, бросая Латвине под ноги новые хрустящие купюры.

Так и росла она в своём мире, распускаясь подобно бутону. И постепенно превратилась в прекрасную розу с острыми шипами.

Сколько богатых цыган приезжали издалека взглянуть на неё! Пытаясь засватать Латвину, многие не раз предлагали барону богатый выкуп чистым золотом. Но девушка лишь звонко смеялась в ответ отцу-барону и сватам: «Мой парень ещё не приехал! Он приедет ко мне на белой красивой машине. Я во сне все видела. Ждать буду!»

Барон разводил руками перед сватами: ничего мол не поделаешь, не могу против её воли, не обессудьте, дорогие гости. Обескураженные гости хлопали себя ладонями по бёдрам: «Ай, что делает девка-а! От такого парня отказывается. Ай, гляди, барон, как бы беды не было-о! Огонь-девка, ой огонь, сторит где-то!»

А Латвина смеялась в ответ, смех звенел колокольчиками, и убежала в свою комнату. Там становилась перед зеркалом и долго-долго рассматривала своё отражение.

Да! Она была очень красива! Высокая и стройная, как большая чинара. Дерзко выступающая грудь, тонкая талия, подобно стеб-

лю луковицы, перетекала в упругие девичьи бёдра. Изумительно ровные икры завершались маленькими, точёными, аккуратными ступнями.

На мраморной шее Латвины гордо восседала изящная головка, украшенная густыми иссиня-чёрными волнистыми распущенными волосами, схваченными сверху золотой заколкой. Из-под тонких вразлёт бровей на мир смотрели огромные, доверчиво распахнутые глаза, обрамлённые длинными, загнутыми кверху ресницами, напоминающими бархатные опахала. Тонкий, озорно вздёрнутый носик, красиво очерченный, с нервно подрагивающими ноздрями. И жаркие губы, похожие на спелые, налитые соком ягоды черешни. Чуть приоткрытые, они обнажали два ряда ровных молодых белоснежных зубов.

Латвина, довольная собой, цокала языком, вскрикивая: «Ай, чавэлла! Ай! Достанусь же я кому-то! Ох, и любить он меня будет! Ай!»

И высунув кончик розового влажного язычка, обводила им губы, словно поддразнивала саму себя.

На Латвинины малявки Единственный отвечал серьёзно и сдержанно, как это делал бы старший брат. То он журил её за дерзость, которую она проявляла по отношению к ментам, озлобляя их. То советовал быть более осмотрительной в общении с сокамерницами. Поддерживая веру в скорейшее её освобождение, давал советы, как вести себя на следствии. Но всегда умело отводил он её надежды на их встречу на свободе.

«Со мной всё кончено, моя девочка! – писал ей Единственный. – Менты никогда не оправдают меня и не отменят свой приговор. Ведь я пролил их поганую кровь, а они мстительны, как гиены. Жаль лишь, что не дорезал, выжили гады!»

Живу теперь в ожидании: когда откроется дверь и палачи уведут меня на исполнение. Смерти я уже не очень боюсь. Как-то удалось за прошедшее время приучить себя к мысли, что это произойдёт. Я проклинаю своё тело, которое не умерло от мусорских пуль, а выжило для того, чтобы теперь меня, как скотину какую-то, увели на заклание.

Жизнь – это песня, моя девочка! Красивая песня. Вот только моя жизнь... Как там у Некрасова? «Этот стон у нас песней зовётся». Вот такая у меня жизнь получилась: вся – как мучительный стон!

Прости, моя девочка, если я тебя опечалил. С тобой всё будет хорошо, я это знаю. Эти стальные засовы не для тебя. Твои ангелы-хранители не допустят, чтобы твои красота и юность увяли в мрачных стенах этого Дома. Ты скоро выйдешь на свободу, будешь дышать полной грудью. А эти томительные дни – они останутся в твоей памяти лишь маленькой огорчительной страничкой! С поклоном тебе, Единственный».

Сутки тянулись тягостно и изнурительно, Единственный пытался пробуждать в себе приятные воспоминания. Он рылся в своей памяти, будто бы перекадывая с места на место старые, ненужные, изношенные вещи.

Чаще всего к нему на память приходили далёкие, полузабытые картины детства. Их чистота и безоблачность поражали его. Он пытался мысленно воссоздать образ матери, притушенный временем, будто снегом заметённый.

Единственный прикрывал глаза, и мать явственно вставала перед ним. Высокая и гибкая, с толстой косой, которая опускалась ниже пояса. Она была настоящей дочерью степей. В дни своей молодости она повстречала разбитного дерзкого джигита, и они полюбили друг друга. Вспыхнувшее между ними чувство круто изменило их судьбу.

Мать Единственного, происходившая из известного рода найман, была просватана за сына влиятельного человека. Её же возлюбленный в тех местах был пришлым. Он происходил из воинственного рода адай, населявшего пески Мангышлака. За ним тянулась к тому же какая-то тёмная история, связанная с кровной мстостью.

Как ни старались влюблённые сохранить свои встречи втайне, шила в мешке не утаишь. Тайное стало явным. И тогда они бежали подальше от родового гнева. Вероятно, рассчитывали влюблённые на то, что со временем всё утрясется и они будут прощены. К сожалению, Единственный знал о них только это и ничего больше.

Когда они жили втроём, к ним никогда не приезжали родственники. Гостями, которые бывали у них в доме, оказывались в основном друзья отца с работы. У матери никогда не было своих подруг. Она жила и довольствовалась своим мирком: домом, которым им удалось обзавестись после долгих мытарств, мужем, которого продолжала беззаветно любить, и сыном.

Единственный вспоминал, какую нежность мама проявляла к нему. Как гордилась им, как плакала от счастья в день, когда сама

отвела его за руку в первый класс. А как они с отцом мечтали! О том, что их сын вырастет, закончит школу и поступит в институт. Получит высшее образование.

Лёжа на наре в камере смертников, Единственный метался от обиды и боли, охватывающих его. Почему так нелепо сложилась жизнь у этих двух прекрасных людей, его мамы и отца? Почему так жестоки люди друг к другу? Ведь прости родители и родственники двух молодых влюблённых – совсем по-другому повернулась бы к ним судьба. И совсем по-другому сложилась бы судьба Единственного.

Незаметно для себя Единственный уснул. Во сне он увидел степь. Бескрайнюю летнюю степь, с колышущимся на лёгком ветру ковылём, теряющимся в зарослях густого колючего чия, с трелями степных жаворонков и призывными посвистами невидимых сурков.

Вот у родника сгрудились в стайку белоснежные юрты, будто им мало места в степи. Какие-то люди снуют между юртами, занятые домашними хлопотами. Позади на зелёной сочной траве вольно пасутся стреноженные лошади, коровы, овцы. И среди юрт ходит мальчик – он сам.

Вдруг из-за небольшого холма появляется всадница на молочно-белой кобылице и направляется прямо к нему. Единственный всматривается и узнаёт в этой приближающейся женщине свою маму. Как красиво она одета! В национальную одежду: поверх белого платья тонкий камзол из зелёного бархата. Камзол украшен серебряными, искусно отделанными пряжками. Голова покрыта тоненькой белой косыночкой. Мама – светлая, одухотворённая.

Единственный бросается ей навстречу, сгорая от радости, однако она не сходит с лошади.

«Тебе больно сейчас, сынок! Потерпи, всё пройдёт. Скоро ты будешь в степи, сынок. Под тобой будет белый красивый конь. Тогда не забудь провести нас с отцом, ты ведь давно у нас не был. Мы с отцом скучаем по тебе. Ну, поеду я, сынок, нельзя мне долго задерживаться».

Она трогает поводья и удаляется. Единственный бросается следом, но вокруг него внезапно вырастает невидимая преграда. И преодолеть её нет никакой возможности. Единственный едва ли не рычит и бросается из стороны в сторону, пока белая лошадь с мамой не исчезает из виду. И тогда он кричит утробным голосом: «Ма-ма! Ма-ма!»

Единственный и проснулся от собственного крика, с лицом, мокрым от слёз. В груди надрывно болело сердце. Давно-давно ему не снилась мама.

Единственный взял чифирбак и принялся варить чифир. Надзиратели не обращали внимания на это «нарушение».

Вот страшный парадокс: в лагере, за попытку сварить чифир их чуть не убили. А теперь – пей, сколько душе угодно, никто тебе и слова не скажет. Потому что ты как бы ещё есть, но для надзирателей – уже покойник.

Единственный сварил густой чифир и вволю напился чёрного как дёготь горячего варева. На сердце немного полегчало. Боль, постепенно затухая, тихонько уходила куда-то внутрь. Он снова зашагал по камере.

Теперь в памяти почему-то всплыло то самое ограбление, из-за которого он получил свой первый срок. Попались тогда Майдан, Зель и – впервые – Единственный.

Он никогда не любил грабить. Больше всего ему нравилось грамотно выпасти жирную хату, а потом умело отмыкнуть её. Войти в чужое жильё – богатое, с красивой мебелью. Посидеть на шикарном низком антикварном кресле, походить, сняв обувь, в носках по мягким ворсистым коврам. Хоть на мгновение почувствовать себя хозяином всех этих дорогих вещей. Наверное, так происходило оттого, что у Единственного ничего подобного никогда не было. В такой роскоши жили только барчуки – сыновья власть имущих.

Единственный испытывал настоящий азарт. От этого азарта у него загорался бешеный огонь в глазах и рождалось и разрасталось чувство особого возбуждения где-то в нижней части живота.

Они с Майданом приехали в тот вечер на танцы в железнодорожный Дом культуры. Внизу в фойе встретили Зеля. Тот стоял в окружении своих парней, вместе они громко смеялись над чем-то. Зель, заметив Майдана, шагнул к нему и они обнялись. Единственный поздоровался со всеми. Тем временем Зель с Майданом отделились от компании, вышли из Дома культуры и направились в сторону вокзала. Единственный пошёл за ними.

Втроём они вошли в вокзальный буфет и заказали по двести граммов водки. Выпили, закусили. В этот момент объявили прибытие московского поезда.

– Выйдем на перрон, подышим, – предложил Майдан. Они вышли на оживлённый перрон.

Единственному всегда нравилось смотреть на прибывающие поезда.

Вот поезд, скрипя тормозами, остановился. Из вагонов стали выходить пассажиры, началась обычная вокзальная суета.

Из вагона, остановившегося напротив Единственного, вышла красивая девушка, одетая очень дорого. На ней была богатая шуба из чернобурки, на голове такая же пышная шапка. В руках девушка несла два дорогих чемодана из жёлтой натуральной кожи. Через плечо у неё была перекинута сумочка.

Девушка огляделась по сторонам, затем спросила у стоявшего неподалеку Майдана, где стоянка такси. Майдан объяснил ей.

Когда девушка отошла от парней метров на двадцать, Майдан и Зель молча переглянулись и последовали за ней. В тот момент, когда девушка проходила мимо туалета – кирпичного домика, стоявшего отдельно от здания вокзала, Майдан и Зель догнали её и, подойдя с обеих сторон, приставили ножи.

– Быстро и без шума заходи сюда. Крикнешь – сразу зарежем.

Майдан и Зель с девушкой скрылись в туалете. Через несколько минут Майдан свистнул Единственному, стоявшему на атаке. Когда тот вошёл в туалет, девушка была почти полностью раздета. На ней оставались только комбинация и сапожки на ногах. Девушка всем телом дрожала от страха и бросала косые взгляды на ножи в руках Зеля и Майдана. Эти финские ножи, изготовленные в зоне, тщательно отполированные, производили зловещее впечатление. Бедняжка упрашивала:

– Возьмите всё, но только, пожалуйста, не убивайте меня! Я никому ничего не скажу.

Она почему-то обращалась не к взрослым – Майдану и Зелю – а к подростку, и её взор светился мольбой. У Единственного сердце сжалось в груди. Неужели они пришьют её? Единственный знал, что у Зеля рука не дрогнет. Жестокий, злой был Зель.

Майдан медленно поднёс нож к нежному белому горлу девушки и проговорил:

– Мы не тронем тебя. Видишь, мы даже не пользуемся твоей беззащитностью и не коснёмся твоего тела, мы не насильники. Выйдешь отсюда через тридцать минут, не раньше.

Девушка утвердительно кивала, на всё соглашаясь. Было видно, что она смертельно перепугана. Майдан сложил снятые с неё вещи

в шубу, вывернутую мехом вовнутрь, и передал Единственному. Затем они с Зелем взяли по чемодану и выскочили из туалета.

На перроне уже почти никого не было. Внимания на них никто не обратил. Сначала по степи, потом по окраине городка они добрались до дома Майдана и решили зайти отогреться. Все трое сильно продрогли, мороз ударил в тот вечер не на шутку. Возле дома было тихо и спокойно.

Обычно чрезвычайно осторожный Майдан никогда не приносил в дом ворованного. Да и в этот вечер парни думали только зайти отдышаться, отогреться, просмотреть содержимое чемоданов и уж потом куда-нибудь затарить вещи. Это возвращение и стало их роковой ошибкой.

Они вошли в дом, стряхнули с обуви налипший снег, разделись и принялись вскрывать чемоданы. В этот момент в дверь громко и требовательно постучали. Майдан метнул взгляд на Алика. Карнаухий вскочил и бросился к выходной двери.

– Кто там?

– Это милиция. Немедленно откройте дверь! Предупреждаю: дом окружён. При попытке к бегству будем стрелять.

Майдан с Зелем посмотрели друг на друга. Зель вынул из кармана нож:

– Уходить надо.

Майдан глянул на пацанов.

– Вас не тронут. Валите всё на нас. Ну, а теперь – или пан, или пропал.

Он быстро обнял Алика, Единственного, подошёл поцеловать спящую Аллочку, а потом бросился к окошку на кухне. Сначала послышался звон разбитого стекла, потом топот множества бегущих ног, крики и выстрелы на улице.

Вскоре всё было закончено. Майдана взяли. Зель ушёл, при побеге подрезав мента. А наутро забрали Единственного. Его и Майдана девушка опознала на очной ставке. Ещё через два дня привезли и Зеля.

В КПЗ Единственному передали малявку от Майдана и Зеля, в которой они советовали, чтобы он грузил всё на них. Однако воровская этика, прочно в нём укоренившаяся, не позволила Единственному поступать таким образом. Да и попасть в зону ему тогда очень хотелось – столько он был наслышан об этой воровской ухарской романтике.

Поэтому на следствии Единственный ничего не отрицал, а рассказал о себе всё как было. Жалел он только об одном: что садится не за кражу, а за ограбление.

Процесс над ними состоялся в здании городского суда. Разбирался судья в деле недолго. Зелю, который «загрузился паровозом» и подрезал мента, дали десять лет. Майдану – шесть лет строгого режима. К Единственному, как малолетке и сироте, проявили снисхождение и дали всего три года.

На суде была вся городская шпана. Единственный чувствовал себя героем. Наконец-то он идёт в зону!

Глава 2.

МАЛОЛЕТКА

Этап в тридцать человек погрузили в «вагонзак» и увезли в город Петропавловск. Здесь всех их перегрузили в «автозак» и доставили в тюрьму. Это была большая старая тюрьма, построенная ещё до революции. Тут и пришлось Единственному начать освоение азов тюремного университета...

Единственный сидел вместе со взрослыми и быстро усваивал формулы воровского закона. Его учили старые зэки: «Не кури, пацан, на-ка лучше поешь, – и угощали его чем-нибудь вкусным. – Водку не пей, пацан, не приучайся к зелью, пропадёшь. Лучше красиво живи. Кради. Одну треть украденного отдавай в общак, на терпигорцев. На остальное покупай красивые шмотки. Заводи красивых подруг и дари им дорогие подарки. Красивые девки любят дорогие подарки».

Вокруг все одобрительно смеялись, а пожилой авторитетный каторжанин по кличке Акула продолжал учить Единственного, беспрестанно угощая то шоколадными конфетами, то медовыми пряниками: «Воровской закон гласит: с ментами не якшайся, заботься об общеке, в зоне не работай, на свободе беспокойся о лагерях и тюрьмах, кради на благо своё и воровское, уважай старших. Так-то вот, парень, – и замечал одобрительно, обращаясь к Майдану, сидящему рядом. – Хорошего парня ты воспитал, Майдан, фарту тебе!»

После месяца пребывания в тюрьме Единственного отправили в «малолетку», воспитательно-трудовую колонию усиленного режима для несовершеннолетних.

Когда он уходил на этап, провожал его Акула. Майдана и Зеля давно уже раскидали по другим хатам. Акула напутствовал его:

«Давай там, держи уши остро, присмотрись вначале. Там у них, у пацанов, порядки дурные. Помни главное: не ментуй, не шестери, не прощай обиды. Что есть – делись с достойными. Не забывай о тех, кто на киче и на кресте, – он подтолкнул Единственного к двери. – Ещё увидимся, наш мир тесен».

Малолетка. Сколько пришлось Единственному драться, утверждая себя!

Порядки, существующие там, поразили его до глубины души. Воспитатели уговаривали «ментовать», обещали за это выпустить до срока.

«Роги» отряда заставляли выполнять норму, били за двойки, полученные в школе, требовали выполнять всю грязную работу – мыть полы, стирать их грязные вещи, застилать их кровати, чистить толчок.

Функции палачей выполняли «помроги» и «шустряки». Им было выгодно держать большую часть осуждённых пацанов «чуханами», чтобы не работать самим.

В зоне было много «опомоенных», «опущенных», «вафлёров». Почти у каждого рога был свой пидор или вафлёр. У некоторых были тайные вафлёры, о которых никто не знал. Когда рогу хотелось кончить, он шёл к своему тайному вафлёру, который в зоне «канал» как пацан. Они уединялись где-нибудь в курке, чтобы их никто не увидел, и там рог давал тому отсосать. За это рог обеспечивал ему поддержку в зоне, «кнокал» его продуктами, куревом. Были в зоне и конченные вафлёры, которые сами навязывались к пацанам, готовые за несколько сигарет «взять за щёку». Таким было уже всё равно: обслужить двоих, троих или пятерых.

Воспитатели смотрели на всё это сквозь пальцы. Для них самым главным было, чтобы в бараке обеспечивался «порядок», на производстве норма, а в школе – успеваемость. Тогда воспитатели получали премию, а их фотографии украшали Доску почёта.

Юному узнику необходимо было также помнить о различных «заподлянках», которых существовало великое множество. Запад-

ло было есть колбасу – она на член похожа. Западло было курить сигареты «Прима», потому что они в пачке красного цвета, а красный цвет – западло. Западло было есть, когда над зоной летит самолёт, потому что там, может быть, кто-то сидит в туалете по большой или малой нужде. Западло было «крысить» у своих. Западло выйти на свиданку, если к тебе приехали в одежде красного цвета.

Единственного в малолетке встретил парень по кличке Ласточка. Он провёл в зоне чуть больше года, но уже был вором. Оказалось, что он земляк, из Рабочего посёлка, и в прошлом они с Единственным несколько раз видели друг друга.

На свободе Ласточка не крал. У него была своя шайка, состоявшая из таких же, как и он, дерзких пацанов. Они занимались вымогательством – отбирали у подростков деньги, мопеды, облагали налогом детей богатых родителей. В случае неповиновения жестоко били. Дрались с «зелевскими» и с «площадскими».

Ласточка был добрым по природе, но если его выводили из себя, то превращался в настоящего зверя. Иногда он заглушивал по отряду с дужкой от кровати в руках и бил по чему придётся всякого, кто попадался ему на пути. Мог взяться и за нож. Под матрацем у него всегда лежали два остро заточенных «штыря».

В зоне Ласточку побаивались и воры, и роги отрядов. Сам он первым никого не трогал, но и спуску никому не давал.

Ласточка сразу всем рогам и ворам объявил, что Единственный – его земляк и находится под его защитой. Очень многим это не понравилось. Им бы хотелось видеть Единственного совсем в другом качестве, но они боялись Ласточкиного гнева. К тому же у Ласточки было очень много сторонников в зоне. Если бы он захотел, то за ним бы пошло ползоны. Единственный с Ласточкой стали не разлей вода.

Срок у Ласточки был меньше, чем у Единственного – два года. И как только он освободился, недоброжелатели и завистники набросились на Единственного. Но к тому времени он и сам успел отрастить острые клыки, умел пользоваться ими. У него уже было немало сторонников, которые пошли бы за ним до конца. Роги других отрядов косились на Единственного, словно голодные гиены. Щёлкали клыками, но напасть не решались.

За годы, проведённые на малолетке, Единственный закончил школу. У него была приличная «успеваемость», поскольку он сам

тянулся к знаниям: интересовался историей, литературой, физикой, биологией.

Ещё тогда он понял, что выживают только те, кто сильнее духом и телом. И поэтому стал тренироваться, пропадая на спортивной площадке почти всё свободное время. Было и ещё одно занятие, которому он посвящал много времени – игра на гитаре. Единственный всегда хотел научиться владеть инструментом, способным породить изумительные звуки, украшающие любую песню.

В зоне работали многие вольнонаёмные: в школе – преподавателями, на производстве – мастерами. В столярном цеху мастером была молодая и очень красивая девушка – с распущенными светлыми волосами. Она безупречно строго вела себя, не позволяя никому воспринимать себя иначе, как мастером столярного цеха.

Единственный знал, что Ласточка влюблён в неё без ума. Об этом знал весь отряд, знала вся зона. Знала об этом и сама Инга Дмитриевна.

В зоне многие мечтали о ней, но вели себя осторожно, поскольку боялись Ласточкиного гнева. Единственный тоже был страстно влюблён в Ингу Дмитриевну и в те часы, когда она находилась в цеху, не мог не любоваться ею.

Как-то раз он передавал ей тетрадь с отчётом – о выполнении месячного плана. Она протянула руку за тетрадь и нечаянно коснулась его руки. Единственного тогда обожгло как кипятком, он резко отдернул руку и посмотрел на мастера так, что она не выдержала и отвернулась.

Многие из их отряда жаждали её. Некоторые, наглядевшись на Ингу Дмитриевну во время работы в цеху, забирались в свои курки – среди гор всевозможных заготовок их было немало – и там занимались онанизмом, пытаясь вообразить, что обладают её желанным телом.

Ко многим осуждённым приезжали родители, братья, сёстры, разные родственники. Привозили с собой гостинцы. Время от времени администрация колонии устраивала родительские дни.

К Единственному приезжать было некому. В такие часы он сатанел, бродил по зоне и вёл себя вызывающе. Ему хотелось сотворить что-нибудь такое, чтобы отомстить всему миру за свою обездоленность.

Несмотря ни на что, три года на малолетке пролетели быстро и незаметно. Пришло время освобождаться. Единственному к этому времени должно было исполниться восемнадцать лет.

Ему было известно о том, что Яша и Чёрный – подельники и сидят где-то в зонах. Яшу вывезли в Приморский край, кажется, в Благовещенск, а Чёрный попал куда-то на лесоповальную зону. Знал Единственный и о том, что сели они за магазин и дали обоим поровну – десять лет разделили на двоих, чтобы никому не было обидно. По странному стечению обстоятельств судил их тот же судья, что и Единственного.

После освобождения Единственный поехал домой. В новой зоновской телогрейке, в ладно подогнанной шапке-ушанке, в новой лагерной хэбэшке, перешитой по фигуре, в перешитых же, отдраенных кирзовых сапогах с модным обточенным каблуком – таким появился он на крыльце дома, где вместе с Карнаухим провёл столько лет. Немного волнуясь, он постучал в дверь.

Встретил его Карнаухий, который, всегда сдержанный в проявлении эмоций, крепко обнял его и пропустил в дом.

– Проходи, каторжанин! Ну, как отсидел? Ты же сам хотел в зону.

Единственного всегда поражала сухость Карнаухого. Ему вдруг захотелось нагрубить, наехать на Алика, спросить, почему тот не навещал его в зоне. Не отправил за весь срок ни одной посылки, ни одного письма. Но Карнаухий, предвидя эти вопросы, сам завёл разговор:

– Я знаю, ты на меня в обиде. Все на меня в обиде – и Майдан, и Зель, и Яша с Чёрным. Вы забыли только об одном: вы крали, крали, а на чёрный день ничего не схоронили. Разговоры разговаривали, а никто не рассчитывал на отсидку. Вы думали, что вам всегда всё будет сходить с рук. Вы-то сели все, а менты до сих пор у меня с хвоста не слазят, пасут днём и ночью. А мне надо дом для вас сохранить, ведь все освободятся – сюда придут. Аллочку надо на ноги ставить. Самому что-то жрать надо, одеваться тоже, не будешь же голым ходить. Я уже два года как честно работаю, грузчиком на межрайбазе. Где-то что-то перепадает из дефицита – подторговываю, перепродаю. Скажешь, барыга, да? Это Майдан вам навнушал бред сивой кобылы, а у меня всегда были свои планы на жизнь. Я не собираюсь гнить по тюрьмам и работать на хозяина! – распалился Карнаухий. Обычно спокойный, тут он разошёлся. – С меня вас достаточно! Достаточно того, что вы все сидите.

– Ну ладно, Алик, хватит. Не распаляйся, всё уже позади.

Единственный был поражён, увидев Аллочку. За пролетевшие три года она выросла, вытянулась, похорошела. Единственный до сих пор помнил её, замотанную в тряпье, оставленную в холодном доме, когда они с Аликом убегали через окно от милиционеров.

Он раскрыл свой чемоданчик и стал раздавать подарки, привезённые с малолетки. Аллочке Единственный подарил несколько красивых наборных эбонитовых авторучек, изящно переплетённый фотоальбом и альбом для песен. Карнаухому подарил замечательные резные шахматы и искусно сделанную камчу, в рукоятку которой был хитро вмонтирован нож-стилет.

Аллочка накрыла на стол, Карнаухий достал из шкафа водку и стаканы. Выпили понемногу. Покурили. Карнаухий обстоятельно рассказал, как подсели Яша и Чёрный. Также сообщил, что Майдан регулярно пишет ему из лагеря, посылает немного денег и уже интересовался, не освободился ли Единственный.

Вволю наговорившись, рассказав друг другу о многом, что произошло в их жизни за эти три года, они легли спать. Больше всего Единственного тогда потрясла пересказанная Карнаухим дикая история о том, как погиб Ласточка. Единственный, предвкушавший радостную встречу со своим другом, помертвел.

Ласточка сидел с девушкой в местном ресторанчике, когда за ним подъехал милицейский уазик. Его арестовали и привезли в горотдел. Там начальник угро начал допрашивать его по поводу какого-то ограбления, в котором Ласточка участия не принимал.

Зайдясь в гнев, Ласточка выговорил начальнику всё, что о нём думал, потом вдруг успокоился, встал и вышел из кабинета. Он уже покидал здание, спокойно миновав дежурного старшину, когда из кабинета выскочил начальник, красный как рак, визгливо кричавший:

– Задержать! Уходит!! Задержать!!!

Дежурный выскочил на крыльцо и тоже закричал:

– Стой! Не двигаться! Буду стрелять!

Ласточка, по-прежнему спокойный, только обернулся на миг и зашагал ещё быстрее. Тут-то всё и произошло. Начальник продолжал орать:

– Задержать!!!

Дежурный выстрелил в воздух, Ласточка ускорил шаги.

– Стреляй в ноги! – приказал начальник.

Раздался выстрел. Ласточка упал как подкошенный. Подбежавшие менты перевернули его – он был мёртв. Пуля вошла ему прямо под левую лопатку, пробуравив благородное Ласточкино сердце.

– Ты что наделал? Я же приказал: в ноги! – орал начальник.

– Я и стрелял в ноги. Пистолет не пристрелян... – растерянно бормотал старшина.

До утра Единственный ворочался, думая о Ласточке, и лишь под утро задремал. В малолетке в лице Ласточки он обрёл настоящего друга, с которым прошёл через многое. И вот этого друга на свободе убили менты.

«Что же я теперь, встану к станку? – спрашивал себя Единственный. – Нет, ни за что! Я буду им, гадам краснощёрым, мстить, за всё, за Ласточку».

Наутро Карнаухий ушёл на работу, а Единственный отправился на кладбище. На то самое кладбище, где когда-то мальчики сидели, прячась от ментов, и где недавно похоронили Ласточку. По дороге он взял в магазине бутылку водки и буханку хлеба, а стакан прихватил с собой ещё дома.

Кладбище было замечено снегом. Единственному с трудом удалось обнаружить могилу своего друга. Это был просто занесённый снегом холмик, даже без ограждения. В изголовье могилы из снега торчала доска, на которой химическим карандашом были выведены фамилия, имя и отчество Ласточки.

Единственный сдёргнул с головы лагерную ушанку, обнажая голову, и сел прямо у снежного холмика. Он раскупорил бутылку, налил себе полный стакан и выпил водку большими глотками, заедая её куском хлеба. Хлеб был замёрзший, от него стыли зубы, но водка быстро растеклась по внутренностям, и в груди потеплело, будто там кто-то вдруг запалил костерок. Хмель мгновенно ударил Единственному в голову, возвращая его мысли за высокий бетонный забор спецмалолетки. Он сидел на корточках у холмика с зажжённой сигаретой в руке и рассказывал Ласточке, словно живому, про зону. «Когда ты *откинулся* – мне было тяжковато без тебя, друг. Как же так получилось, что ты меня не дождался?»

Смахнув набежавшие слёзы, Единственный поставил бутылку с оставшейся водкой и хлеб на могилу, прямо в наметанный сугробик, прошептал: «Это тебе, друг, не обессудь!» – и пошёл прочь от кладбища.

Дни в камере смертников тянулись мучительно долго. Единственный ожидал ответа на прошение о помиловании из Верховного суда СССР. Верховный суд – последняя инстанция. В том случае, если и там приговор оставят в силе, придётся дожидаться лишь приведения его в исполнение.

Единственный не прекращал тренировок ни на один день. Он непрерывно читал. Ему удалось раздобыть классику: Пушкина, Достоевского, Некрасова, Чехова.

Он продолжал отвечать на письма Латвины, то радуя её подходящими к ситуации стихами Некрасова, то иронизируя по поводу чеховского «Человека в футляре», то выражая скорбь по прочтении хрестоматийной тургеневской «Му-му». Единственного потрясли «Битва при Валерике» и «Мцыри» Лермонтова. Он был поражён неуёмной жаждой свободы, жившей в Мцыри. Он испытывал чувства восхищения и преклонения перед ним. Единственного изумляла безумная, страстная любовь Печорина – сначала к княжне Мери, а после к прекрасной черкешенке Бэле. Удивляясь тому, он находил в себе многое от Печорина и искренне сожалел о том, что не родился в то время. Ему хотелось верить, что он ещё побывает на Кавказе и проедет по Лермонтовским местам.

Порой, закрывая глаза, Единственный видел перед собой свою первую любовь – Ингу, Ингу Дмитриевну. Воспоминания о ней текли как кадры кинохроники и были такими ясными, будто всё происходило только вчера. Удивительная штука память!

Глава 3.

ИНГА

Пазик медленно пылил по старой, затвердевшей, как бетон, степной дороге. Единственный трясся на заднем сидении битком набитого автобуса, терпеливо разглядывая расстилавшуюся перед его взором выжженную палящим зноем степь, наводящую уныние. Не было видно никаких признаков близкого жилья. «Значит, ехать ещё долго», – решил он, откинувшись на нагретую дерматиновую спинку сиденья. Пазик тем временем вскарабкался на невысокий холм, с вершины которого внезапно открылась панорама близкого уже города.

Автобус медленно катил по новым улицам городка, видимо, недавно застроенным панельными домами. То там, то тут торчали, ещё не убранные строителями, башенные краны, видом своим напоминавшие шеи и головы жирафов.

У невысокого здания автостанции пазик устало затормозил. Будто бы всхлипнув напоследок, открылись двери. Один за другим пассажиры покидали душное, пропылённое чрево автобуса, на ходу разминая затёкшие от долгого сидения ноги.

Щурясь после яркого дневного света в полумраке коридора паспортного стола, в который Единственный и направлялся, он споткнулся о ножку одного из стоящих вдоль стены деревянных кресел и невольно выругался:

– Мать твою!

– Ушиблись, молодой человек? Под ноги смотреть надо... – раздался женский голос.

Раздосадованный, он поднял голову, намереваясь бросить что-нибудь резкое в адрес той, что умничает не ко времени. И не поверил своим глазам. Перед ним стояла девушка, которая снилась ему ночами, ради которой он приехал к чёрту на кулички: Инга. Инга Дмитриевна. Прекрасная фея из их малолетки.

Зажмурившись на мгновение, он помотал головой. Фея не исчезла.

– Здравствуй, Инга, – с трудом выдавил он.

Она удивлённо приподняла брови, всматриваясь и с трудом узнавая его.

– Единственный? Как ты сюда попал?

Тогда он решительно взял её за руку и вывел на улицу.

– Я приехал сюда, чтобы разыскать тебя, Инга, – боясь услышать в ответ что-либо, способное разрушить созданный им длинными ночами в малолетке храм любви к ней, он принялся горячо и путано объяснять...

– Давай лучше пойдём ко мне. Не стоять же здесь, – проговорила девушка.

Они не спеша шли по недавно заасфальтированному тротуару, и она рассказывала ему про свою теперешнюю работу и жизнь.

Как и в любых других новостройках, район не отличался изобилием деревьев. Проходим где-то было укрыться от палящего зноя.

Потом заговорил Единственный, рассказывая о своей жизни сбивчиво, но искренне. За разговором он и не заметил, как они оказались на окраине города. Прямо перед ними на ржавых, заросших травой рельсах стояло множество вагончиков на колёсах. Целый городок. К каждому из вагончиков была пристроена лестница, сколоченная из неструганных досок и горбылей.

– Вот и мой дворец! – повела рукой Инга, останавливаясь перед одним из сооружений. – Здесь я и живу.

Выкрашенный когда-то зелёной, а теперь уже выгоревшей на солнце, отслаивающейся краской, её дом на колёсах ничем не отличался от остальных.

Грубо сколоченная лестница закрипела под ними, угрожая развалиться. Внутри «дворец» состоял из двух крошечных комнаток, разделённых тонкой кое-как покрашенной фанерной перегород-

кой. В передней комнатухе стоял большой старый диван. Напротив него на стене висела, угрожающе накренившись, самодельная полка, загромождённая немудрёной посудой. Под полкой располагался стол, рядом с ним – плита с немытыми кастрюлями.

– Целый день на работе, некогда прибраться, – несколько смутившись объяснила Инга.

Единственный заглянул за перегородку. Там он обнаружил шифоньер, стол, на котором стоял портрет Инги, и двухспальную кровать с никелированными стойками.

– Ну что, осмотрелся? – спросила Инга.

Она поставила на стол бутылку трёхзвездочного коньяка и высыпала из бумажного кулька конфеты.

Осторожно, боясь показаться нескромным, Единственный распечатал бутылку. Потом почти беззвучно плеснул в стаканчики коричневой влаги и предложил: «Давай за встречу!» Он лихо, погусарски, опрокинул в себя содержимое своего стаканчика и прислушался к тому, как приятно горючит алкоголь, растекающийся внутри.

Одна за другой летели минуты. Единственный осмелел и стал говорить Инге о своих чувствах, выношенных там, в малолетке. Рассказал ей, как сильно любил её Ласточка и как потом он нелепо погиб.

Инга пила, не жеманясь и не отказываясь, наравне с ним. С каждой новой рюмкой в Единственном всё больше закипали горечь и злость. Когда он рассказывал ей о том, как посетил могилу Ласточки, голос его звенел от боли и ярости, от сожаления о судьбе друга.

Инга вдруг разрыдалась. Это было так неожиданно, что Единственный даже растерялся. Уронив белокурую голову на руки, Инга плакала, вздрагивая всем телом.

– Бедные вы мои! За что вам выпало такое? Почему вы такие несчастные! – голос её был полон искреннего сострадания. – У меня сохранились ваши письма. Он же мне написал со свободы, – сказала она, имея в виду Ласточку. – И твоё есть письмо, из зоны. Я эти письма читала и рыдала над ними. Это ведь я только в зоне ходила такая строгая. А как выйду за вахту, так плачу от той боли, что постоянно видела на лицах мальчишек. Я потому и уволилась оттуда. Чувствовала, что свихнусь.

Единственный сидел, потрясённый, не замечая, что гладит её, в одночасье ставшую ещё более родной и близкой. Он начал с нежностью вытирать ей слезы, льющиеся из синих глаз. Инга прижалась к нему так сильно, что стало трудно дышать.

Единственный едва ли не физически ощутил то далёкое, почти забытое прикосновение. И воспоминания потекли дальше рекой, такие яркие, красочные...

Это было похоже на затмение солнца. Единственный, уже раздетый, сидел на кровати, проваливаясь в провисшую панцирную сетку, и сквозь пелену возбуждения, застилавшую глаза, смотрел, как Инга раздевается. Она беззвучно сбрасывала с себя на пол одежды. Потом Инга – его мечта, его первая любовь – легко скользнула под жёлтый, в шахматную клетку, плед. Прикрыв заплаканные глаза, она прошептала: «Скорей!»

Старая, выдавшая виды кровать всхлипывала в такт движениям тел, будто бы украдкой радуясь их молодой безудержной страсти.

Инга нежно улыбалась Единственному, разжигая в нём ещё большее желание. Он что-то бессвязно шептал, словно в хмельном угаре прижимался к тугим налитым грудям, гладил пышные её волосы, рассыпавшиеся по подушке, сводившие его с ума. Единственный испытывал страстное желание целовать Ингу бесконечно, любить её такую, наконец, близкую и доступную.

Он боялся, что кто-то может прийти и нарушить эту идиллию, о которой столько мечталось на малолетке. Он чутко прислушивался к разным шорохам и после каждого из них всё сильнее прижимал девушку к себе, шепча ей на ухо ласковые и нежные слова, называя ласточкой, солнышком, счастьем!

Было уже далеко за полночь. Единственный с Ингой лежали под пледом, обнявшись, тесно прижимаясь друг к другу. В открытое настежь окно вливалась ночь, заполнявшая вагончик тёплой нежностью. В тёмной, как бархат, выси рассыпались, маня к себе тусклым светом, мириады звёзд – будто кто-то с пьяного куражу разбросал щедрой рукой по небу серебряные монеты. Заглядывая прямо в окно, словно напрашиваясь к ним в гости, правильным ковшом светила Большая Медведица.

«Господи, какая ночь! Я её никогда не забуду», – прошептал Единственный. Инга поцеловала его, в губы, долгим, благодарным поцелуем.

Сейчас, лёжа на наре, Единственный явственно ощутил прикосновение тугих грудей Инги. Казалось, оно продолжается, что от него буквально исходило и передавалось ему почти материнское теп-

ло. Он помотал головой, пытаясь избавиться от этих видений, и мучительно застонал, придавленный нахлынувшей на него болью утраченного. «Если бы я тогда от неё не уехал, в моей судьбе всё могло бы сложиться иначе», – думал он, скрежеща зубами.

Единственный прикрыл глаза, а воспоминания как лента немого кино раскручивались дальше, вновь безжалостно возвращая его в то далёкое время.

Прошло несколько дней.

Вечерами Инга возвращалась с работы, вбегала в жилище, ставшее для них сказочным раем, и повисала у Единственного на шее, осыпая его поцелуями. Потом восхищалась вымытой посудой и наведённым порядком. Прижавшись к любимому, она рассказывала о работе. Он внимательно слушал, временами касаясь губами её щеки, и вдыхал в себя пьянящий аромат её волос...

Качели! Тот вечер, легко всплывающий в памяти, как будто всё было лишь вчера... В стусившихся сумерках они гуляли по улицам городка, и в одном из дворов наткнулись на качели.

– Смотри-ка, Самат! Я уже забыла, что это такое. Покачай меня, пожалуйста, – попросила Инга.

Они взобрались на шаткую, поскрипывающую, грозящую развалиться под ними доску – двое влюблённых, внезапно ощутивших себя детьми. Единственный начал раскачивать качели – сначала с осторожностью, а потом, захлебнувшись от нахлынувшей на него беспшабашности, изо всех сил. Тёплый летний ветер освежал их раскрасневшиеся от счастья лица. В сумерках звенел, рассыпаясь, звонкий Ингин смех.

– Ещё! Ещё сильнее!!! – просила она и смеялась.

– Они же сейчас развалятся, Инга, – как бы осторожничал Единственный, призывая её образумиться.

– Ну пожалуйста, Самат, ещё немного!

Теперь уже оба они безудержно хохотали, просто так, от счастья! Ветер, качели, счастливый смех!

* * *

Воспоминания текли, струясь тихой речушкой. Единственный лежал с закрытыми глазами. Память, будто мощная лупа, выхватывала отдельные впечатления и события тех дней, то чуть отдаляя их, то безжалостно приближая. Приближая настолько, что он

вдруг ясно начинал различать цвета тоненького сатинового халатика, тесно облежавшего чудную фигуру Инги.

В передней комнатухе стоял большой эмалированный таз, в котором тихо шипела мыльная пена, переливавшаяся всеми цветами радуги.

Инга совсем по-домашнему суетилась, отстирывая рубашки Единственного, и без умолку рассказывала о чём-то незначительном, будто боялась тишины.

А Единственный сидел на кровати и наблюдал, любуясь Ингой. Она была такой милой и родной! Ему было приятно, что она стирает его вещи. Нравилось наблюдать за тем, как она хозяйничает.

С тех пор как Единственный появился здесь, обе комнатки вагончика приобрели уютный, жилой вид.

Глядя на хлопочущую Ингу, он думал: «Здесь меня любят. Здесь я отогреюсь душой. Здесь я соскребу с души, как засохшую грязь, всё чёрное, что пристало за годы сиротства и лагеря. Вот только надо съездить туда, к Карнаухому – пусть даст мне жирную наколку. *Молотнуть* что-нибудь стоящее, а потом вернуться сюда, к любимой, уже навсегда. Одну её, как королеву! Надарю ей всего! И к морю, к морю!»

Такие вот выстраивались у него планы на ближайшее будущее.

Инга же тем временем закончила стирку и, устало смахнув со лба прилипшие белокурые пряди, присела рядом с ним на кровать. Единственный положил ей руку на плечо и проговорил, ещё не зная, как лучше преподнести ей своё решение:

– Инга, мне надо сегодня уехать. Ненадолго. Есть дела, которые я хочу сделать прежде, чем вернуться к тебе навсегда.

Инга отстранилась от него и долго, пристально смотрела ему в глаза, словно надеясь прочесть в них истинный смысл услышанного.

– Ты уверен в том, что тебе надо уехать? – спросила она.

– Да.

– Ненадолго – это на сколько? Я боюсь потерять тебя, Самат.

Она держала его руку в своей руке, пальцы её нервно подрагивали. Чувствовалось, что она с трудом сдерживается, чтобы не расплакаться.

– Я обещаю тебе, Инга: разлука наша будет недолгой. Поверь мне, счастье моё!

Потом они лежали, усталые после бурного обладания телами

друг друга. Единственный, поскуливая как молодой волк, вылизывал, припухшие от предательски катящихся слёз, прекрасные глаза Инги, целовал её молодые молочно-белые груди.

– Самат! – воскликнула Инга. Голос был полон отчаяния. Она вдруг тихо и грустно запела:

*А любовь у нас с тобой была недлинной.
Может, просто не дождались мы любви!
Позови меня на свадьбу, мой любимый...*

Единственный лежал, застыв как каменное изваяние, боясь шелохнуться, а Инга продолжала тихонечко, с болью в голосе, напевать:

*Не грусти, мой неверный мальчишка.
Ты ни в чём, ты во всем виноват...*

Дрожь прокатилась по его телу. В словах песни было что-то роковое, нехорошее.

Он посмотрел на висевший над кроватью плюшевый коврик, на котором был изображён пруд с парой плывущих белых лебедей – по коврику скакал неутомонный и весёлый солнечный зайчик. Единственный попытался поймать его, накрыв ладонью, но зайчик выскользнул из-под руки и отскочил, метнувшись в другой угол ковра. И опять по телу пробежала противная дрожь.

Уставшие от любви и мыслей о предстоящем расставании, они незаметно уснули. Проснувшись, Единственный глянул на часы и увидел, что стрелки показывают девять. Осторожно соскользнув с кровати, он отдернул шторку: за окном вечерело. До поезда оставалось совсем немного времени.

Тихо, боясь нарушить сон любимой, он подошёл к столу и взял сигареты. Закурил, а потом засмотрелся на спящую Ингу.

Она лежала, слегка повернув голову набок. Волосы цвета спелой пшеницы змейками расползлись по подушке, обвиваясь вокруг высокой шеи. Рот был чуть приоткрыт – мило, как-то по-детски. Дышала она ровно и тихо. Прикрывающая её простыня сбилась, обнажив мерно вздымающиеся белые груди, ровные полусферы, перевёрнутые чаши. Красивыми и сильными были раскинутые во сне ноги, взгляд Единственного притягивал лобок, увитый колечка-

ми тускло отсвечивающих золотистых волос. Свет в комнате посерел. Единственный бережно поправил простыню.

Инга проснулась. С минуту она молча вглядывалась ему в лицо, затем рывком притянула к себе и простонала: «Самат!»

На вокзал они пришли, когда до отправления поезда оставались жалкие десять минут. В карликовом окошечке кассы Единственный купил билет, и они с Ингой поспешили на перрон.

Он взглянул на билет и плюнул с досады: тринадцатый вагон.

– Какое сегодня число? – спросил он у Инги.

– Тринадцатое.

Единственный всегда был суеверным. От совпадения этих тринадцатых чисел на него повеяло холодом.

Подошёл, гроыхая, поезд. Единственный и Инга прощались без слов, которые застревали в горле, холодным жиром застывали на губах. Он жадно целовал её, задыхаясь сам, не давая вздохнуть и ей. Чтобы хоть как-то успокоить её, а может, себя – скорее даже себя – он прошептал:

– Я прошёл тот сучий лагерь. Теперь нас ничто не разлучит. Ты подожди меня немного – я приеду.

Инга ничего не говорила, только согласно кивала ему. В её синих озёрных глазах стыли слёзы. Состав лязгнул железом и тихонечко тронулся в сторону разлуки.

– До свидания, любовь моя! – Единственный напоследок сжал кончики милых пальцев и встал на ступеньку вагона.

Инга пошла вслед за вагоном, всё больше ускоряя шаг. Поезд, гад, набирал ход, и теперь она почти бежала.

– Прощай! До свидания!

И уже гроыхали на стыках колёса, выбивая: про-щай! про-щай! Дрожали уходящие вдаль жёлтые огни вокзала. Среди них с трудом можно было различить ставшую теперь совсем маленькой фигурку Инги.

Полгода пролетело с того вечера. Ах, если бы он тогда не уехал! Сердце Единственного тихо плакало, терзая изболевшуюся душу. Полгода прошло прежде, чем он написал Инге письмо.

Он сидел на строгом режиме после неудавшегося ограбления небольшого магазина. Взяли его там прямо с поличным. Говорят же: «Уж не везёт, так не везёт!» Шесть лет дали! «Скупые» судьи! Вот прокурор – тот щедрее, просил все восемь. А судья пожадничал», – ёрничал Единственный, исполненный сарказма. Зла не хватало на покинувший его фарт.

Из лагеря он написал Инге письмо, в котором теперь объяснил ей цель и истинную причину того своего отъезда. Конечно же, просил прощения:

«Хотел свозить тебя к синему морю, любовь моя! Не фарт! Забудь меня, я невезучий. Ты молода и красива, а мне предстоит долгий срок и тернистый дальнейший путь.

Прости меня, дурака. Я ведь хотел жениться на тебе, видел в этом своё счастье. Да вот нашёл себе срок. Что ж! Я всегда буду хранить твой образ в своём сердце. Знай, что ты подарила мне давно забытую мной материнскую ласку и любовь, чистую, как утро в горах. Благодарю тебя!

Это письмо я отправляю тебе через «вольняшку». Он пообещал мне, что кинет его в почтовый ящик в другом городе. Не ищи меня, я специально не сообщаю тебе свой почтовый адрес.

Помнишь, уезжая, я сказал тебе «до свидания». А ты мне сказала «прощай»! Так прощай и прости меня, свет мой!»

Такое письмо отправил Единственный Инге. Больше он ей не писал никогда. Ничего он не знал о её дальнейшей судьбе.

Как будто бы предвидел тогда, что дальше пойдут раскрутки, одна за другой. Образ Инги действительно поначалу приходил к нему в мыслях постоянно, мучая его. Единственный понимал, что дни, проведённые с ней тогда, были самыми счастливыми в его жизни.

Глава 4.

ГУРЬЕВСКАЯ ТЮРЬМА – ГОЛУБЬ, БУРАН, ДЕНИКИН

С новым сроком ему пришлось намыкаться. И всё же Единственный перенёс его относительно легко. Самые трудные испытания выпали на его долю на Мангышлаке. Там администрация зоны такого наворачивала!

В то лето температура не опускалась ниже сорока пяти по Цельсию. По этой сумасшедшей жаре заключённым приходилось работать на карьере, где некуда было деться, спрятаться от испепеляющего зноя. Воду вовремя не подвозили, а если и привозили, то она была уже противно тёплой и пить её было невозможно.

Отвратительное питание, постоянные шмоны в бараках довели ээков до отчаяния. А когда, в связи с ремонтом их половины барака, гарем лагерных петухов перевели в общий барак – это стало последней каплей.

На утреннем разводе зона отказалась выйти на работу. Пожаловала вся администрация колонии во главе с Хозяином. За невыход на работу Хозяин грозил зону разогнать, а зачинщиков отправить в крытую.

Заключённые требовали улучшения режима содержания. Также они требовали отселить лагерных петухов в отдельный барак. Представители же администрации стояли и только посмеивались над заключёнными.

Десятый отряд, в котором был Единственный, не выдержав насмешек, бросился на офицеров, кто с чем в руках. Обезумевшая толпа эков погналась за сволочами-офицерами, от бывшего самодовольства которых не осталось к тому моменту и следа. Надо было видеть, как они летели стремглав, кто вперёд!

Через локалку десятого отряда толпа прорвалась к вахте. Там солдаты стали стрелять заключенным под ноги, вынуждая их остановиться.

Так или иначе, но эки доказали чекистам, что с заключёнными нельзя обращаться как с животными.

Десять человек из отряда – Единственного в том числе – вывезли в Гурьевскую тюрьму, где в течение полугода их пытались раскрутить как организаторов бунта и попытки покушения на администрацию колонии.

Однако сделать этого не удалось. Все десять пошли в отказ. Мен-ты призывали в свидетели то одного, то другого заключённого из десятого отряда. Так постепенно почти весь десятый отряд переехал в Гурьевскую тюрьму. Парни держались дружно и вконец запутали следователей.

В итоге весь десятый отряд развезли по разным зонам, и на этом чекисты закрыли дело. Но к этому пришли намного позже, а пока...

Автозак наконец-то остановился. По металлическому лязгу скользящих по полозьям ворот Единственный на слух догадался, что они въехали во внутренний дворик тюрьмы.

В этот раз не пришлось, как это бывало во многих других тюрьмах, томиться в длительном ожидании. Видимо, начальник конвоя попался расторопный, а может, ДПНСИ – дежурный помощник начальника следственного изолятора – подсутился. Этап быстро разгрузили, построили в колонну по одному и бегом, руки за спину, погнали в большую транзитную камеру.

По всей вероятности, администрация тюрьмы была готова к приёму этапа с козлячьей зоны. Не успели прибывшие этапники оглядеться и передохнуть, как их тут же по одному стали выдёргивать в шмон-камеру. Там в буквальном смысле перетрясали сиротливые арестантские торбы. После шмона тут же разводили заключённых по хатам.

– Здорово, геолог! – шутливо бросил Единственный высохшему тощему прапорщику, начальнику шмона. – «Прямо кашей какой-то» – подумал он.

– Котомку, одежду на стол, сам – раздетым за перегородку. А при чём здесь геолог? – спросил прапорщик.

– Ты же, как геолог: ничего не потерял, а всю жизнь что-то ищешь!

Единственный отрешённо разделся, беспрекословно выполняя все приказания Кащея. За годы отсидки Единственный выработал в себе правило: никогда без причины не ссориться со служащими СИЗО.

Большая часть работающих в СИЗО оказались здесь после службы в армии, во Внутренних войсках. Возможность получения лёгкого левого приработка – от продажи зёкам запретных чая, анаши, водки – манила сюда в основном тех, кто не хотел напрягать свои силы, работая на шахтах или стройках.

Были, конечно, здесь и такие, кто пришли работать по убеждению, во имя субъективно понимаемой идеи справедливости. Но со временем и эти работники не могли удержаться и становились похожими на остальных – по причине мизерности зарплаты и соблазна подзаработать, из-за постоянных косых взглядов сослуживцев, которые давно уже договорились со своей совестью и что ни день таскали запрещённое подследственным в тюрьму.

Тюрьма – это очень особое пространство. Оно отгорожено от остального мира высоченным забором и бесчисленными рядами колючей проволоки. В ней всё порочно. В ней ежедневно заступают на смену одни порочные люди – «дубаки» – и несут свои обязанности по контролю за другими порочными – подследственными.

Весть о прибытии этапа с козлячьей зоны моментально разнеслась по тюрьме – по беспроволочному тюремному телеграфу. Блатота тюрьмы с нетерпением ожидала, когда этапников раскидают по хатам, чтобы узнать, что же произошло там, на «красной зоне».

Единственного после тщательного шмона втокнули в «нулёвку», откуда впрочем его сразу же забрал седой нерусский прапор. Держа в руках карточку Единственного, он повёл его по лабиринтам тюрьмы.

– Так, говоришь, с Мангышлака приехал? – с видимым безразличием спросил он.

– Оттуда, – кивнул головой Единственный.

Прапор остановился, ещё раз заглянул в карточку, сверился с

номером камеры на двери, потом, поковырявшись в замочной скважине, приоткрыл дверь.

– Заходи!

Переступив порог камеры, Единственный огляделся по сторонам и увидел знакомое ему лицо – симпатичного парня с усами. Тот бросился ему навстречу.

«Да это же Тагир!» – поразился Единственный. Тагир уже обнимал его, чуть не отрывая от дощатого пола. Видно было, что он искренне рад встрече. Похлопывая Единственного по плечу, Тагир повёл его в свой угол и усадил на шконку, говоря при этом:

– Вот так встреча! Я знал, что ты чалишься, но не успевал следить за твоими передвижениями. Ты, как Сенкевич, всё время путешествуешь с одной командировки на другую.

– Да, не дают мусора засиживаться, – согласился, улыбаясь, Единственный.

Двое татуированных парней подтянулись к шконке Тагира познаться с вновь прибывшим. Один из них, высокий худощавый парень, поблёскивая золотыми фиксами, протянул ему руку, назвав себя Скобой. Другой, чернявый, плотного телосложения, лет за тридцать, тоже крепко пожал руку Единственному.

– Меня Дёготь зовут, Санька.

Тагир представил Единственного сокамерникам. Потом заорал, обращаясь к небольшому юркому мужичку с прыщеватым лицом, завхозу хаты:

– Ну хули ты сидишь, как в театре на первом ряду! Хавальник разинул: где, что? Накрывай на стол, человек же с этапа, – и, немного успокоившись, проворчал. – Бля буду, от камерной системы тупеют, что ли? Пока не крикнешь, ни фуя не зашевелятся. Закуришь? – Тагир протянул Единственному сигарету и щёлкнул зажигалкой.

Единственный кивнул в знак благодарности и попросил Тагира ввести его в курс дел по тюрьме.

– Ход в Доме нашенский, воровской. Мусора не загуливают. В принципе всё необходимое есть, дачки заходят. Отрава, чай гуляют в Доме, у мужиков с куревом проблем нет. Воров не завозят. Недавно мимо проезжал вор Гуго, от него прогон был, «салам» всем достойным арестантам. Из бродяг в Доме Карась заехал, Урка в подвале чалится, Закир Заика с полосатого здесь проездом, вроде на чёрную зону едет. Государь под следствием сидит на старом корпусе.

– Это какой Государь, не Богомаза поделщик? – поинтересовался Единственный.

– Да, он самый. Подвис за магазин какой-то фаршированный. Общаемся, пишет он нам. Ты с ним знаком? – спросил Дёготь.

– Так себе, шапочное знакомство, на пересылке встречались. А под нами кто?

Тагир закатил глаза, улыбаясь:

– Там мазевые тёлки сидят, первоходчицы. В основной массе торгашки и прочая публика. Так что здесь ты не соскучишься.

– Всё готово, Тагир, – позвал завхоз.

На столе лежали: нарезанный крупными кусками хлеб, лук, курица, колбаса, маргарин, конфеты, печенье. В кружках дымился «купец» – густо заваренный чай.

За стол сели вчетвером. Тагир как хлебосольный хозяин угощал Единственного, придвигая к нему курицу, солёные огурцы.

– Поешь, братан, купца попей. А после отдохнёшь, ты же с дороги.

Однако не судьба была Единственному как следует перекусить. В дверь громко постучали ключом и дубак выкрикнул фамилию Единственного: «Приготовиться с вещами на выход».

Тагир и Дёготь с недоумением взглянули на Единственного.

– В чём дело? Чего они хотят?

Единственный пожал плечами.

– Фуй знает, что они там мутят. Может, в другую хату кинут.

И тут Тагира словно озарило. Он заговорил быстро и негромко. Так, чтобы не слышали остальные:

– Братан, ты же на раскрутку пришёл! Тут в Доме есть плавающая пресс-хата. Никто доподлинно не знает, где она. Мусора всё время спецом перетасовывают. Там заправляет гад по кличке Полковник. Бывали случаи, когда туда закидывали хороших парней и там их кололи. Этот Полковник – гад конченный, в прошлом был по нашей жизни. Говорят, в годах он. Я от кого-то слышал, что у него на правом плече выколот царский полковничий эполет.

Единственный успокоил Тагира:

– Не волнуйся, может, что другое.

– Да, всякое может быть. Но ты возьми *ступик* на всякий случай. Что-то здесь не ладно, я ж чувствую.

Единственный спрятал ступик, незаметно переданный ему Тагиром, за свой широкий пояс, который зэки в шутку называли «про-

тивобетонным», и поблагодарил Тагира. Ему что-то и самому стало не по себе.

– Куда придёшь сейчас, сразу извести, хорошо? – настаивал Тагир. – Если до вечера не будет известий, я закачу кипеш и весь продол подниму.

Раздался лязг открываемой двери. В проёме возник корпусной, а рядом с ним — незнакомый Тагиру и Дёгтю молодой лейтенант. Единственный взял под мышку матрац, подхватил кешер и шагнул к двери. Тагир и Дёготь провожали его.

– Ладно, братва. Бог не выдаст – свинья не съест, – бросил он напоследок парням и вышел в коридор.

Его повели по лабиринтам тюрьмы. Тюрьма была незнакомой. До этого Единственному здесь бывать не приходилось, поэтому он никак не мог разобраться в расположении продолов.

Сначала его повели прямо. Он шёл и запоминал порядковые номера камер. Затем они повернули влево, спустились на этаж, опять поднялись на один этаж. Единственный понял, что менты специально путают его, чтобы он потерял всякую ориентацию. Он действительно потерял её и теперь уже понятия не имел, где они находятся.

Наконец его остановили перед одной из камер, на которой вообще не было номера. Тут по позвоночнику Единственного холодной противной змейкой заструился пот. «Да, кажется, Тагир не ошибся. Может, не заходить? – промелькнула у него мысль. – Но чем обосновать отказ?»

Он посмотрел на лейтенанта и успел заметить усмешку, мелькнувшую в глазах этого молодого щенка. Дубак, гремя ключами, открыл дверь и посторонился, пропуская Единственного вперёд. Единственный правой рукой слегка коснулся ступика, и это его подбодрило. Хорошо, что его не догадались обшмонать!

Когда дверь за ним захлопнулась, Единственный окинул камеру опытным взглядом. Сотни раз, в самых различных тюрьмах, ему приходилось вот так заходить в камеры, но в этой даже воздух говорил сам за себя. «Тагир не ошибся», – опять обожгла Единственного невесёлая мысль. И как бы благодаря Тагира за предусмотрительность, он ещё раз незаметно коснулся ступика.

Единственный громко и внятно поздоровался с обитателями камеры. По реакции, с которой они отнеслись к его приветствию, он окончательно утвердился в своей страшной догадке. «Теперь глав-

ное – быстро вычислить Полковника. На моей стороне внезапность. Надо блефовать, иначе – смерть», – пронеслось в его голове.

Всего в камере было человек пятнадцать. Слева на нижней шконке, сбоку от Единственного, лыбился весь изукрашенный татуировкой молодой парень, щерящий золотые фиксы. «Не этот», – сразу решил Единственный.

Двое, расположившиеся внизу поодаль, играли в шахматы. Прервав игру, они взглянули на вошедшего. Один из них, повернутый спиной к Единственному, здоровенный бугай, имел татуировку на всю спину, изображавшую двух дерущихся гладиаторов. Второй был горбоносый, щедедушный. «И не эти. Быстрей, быстрей», – подгонял себя Единственный, скользя взглядом по физиономиям сидящих внизу шестерых, прислушиваясь к тому, что подсказывала ему интуиция.

Единственный понимал, что он уже непозволительно долго рассматривает эту гнилую публику. Мозг его лихорадочно работал. На самом же деле прошло не больше минуты с того момента, как он зашёл в этот безномерной зверинец.

Справа, не обращая на него внимания, сидел на шконке пожилой зэк, который держал в руках газету, делая вид, что увлечён чтением. «Он!!!» – будто бы вспыхнула и погасла лампочка в недрах напряжённого мозга...

Единственный расчётливо швырнул матрац – так, чтобы накрыть играющих в шахматы. Кешер запустил в голову зэку, который привстал было со шконки, находящейся рядом с Полковником. И тут же со звериным криком в огромном прыжке завис над головой пожилого зэка. Мгновенно выхватив обоюдоострый ступик, он нанёс рукояткой страшной силы удар сверху вниз по его голове. Зэк обмяк. Ещё через мгновение Единственный очутился между ним и стеной. Прижавшись спиной к стене, он приставил острейшее жало ступика к горлу Полковника.

Фактор внезапности сработал и на этом этапе принёс свои плоды. Пока те двое выбирались из-под матраца, упавшего на них неизвестно откуда, а ещё один приходил в себя после удара увесистым кешером по голове, Единственный уже успел выхватить из колоды козырного короля. Теперь можно было играть. Но и сейчас играть нужно было тонко, потому что даже козырь мог не спасти.

Единственный дёрнул ворот рубахи на Полковнике и под ним увидел на правом плече искусно выколотый полковничий эполет.

Обитатели камеры – разношёрстная публика – вскочили на ноги и, как стая шакалов, стали придвигаться к шконке Полковника. У многих в руках были ступики и заточенные о бетон обоюдоострые столовые ложки.

Единственный вдавил ступик в горло Полковнику.

– Сделаете ещё один шаг – я вскрою кадык вашему боссу. Следующими будете вы: ты, гладиатор, и ты, недоносок, – он кивнул в сторону игроков в шахматы.

Психологически Единственный рассчитал всё правильно. Эти двое – непосредственные подручные Полковника. Убери их – остальные ничто. И он указал конкретно на них, пригрозил, что следующими будут именно они и никто другой. В этом можно было не сомневаться, судя по тому, как молниеносно Единственный объявил всем им шах.

«Шахматисты», встретив взгляд Единственного, поняли: если они не остановятся, всё будет так, как он сказал. Они остановились, толпа тоже.

Единственный продолжил:

– Меня зовут Единственный. Кто из вас был на той зоне, откуда я пришёл, знают, как мы там поступили. Вся тюрьма здесь знает, куда меня сейчас повели и где это. Я пришёл сознательно и говорю вам: кончайте свой беспредел. И ещё: откройте дорогу, которую вы заморозили. Если через час меня не будет в хате, откуда я пришёл, в тюрьме начнётся переворот. Сейчас ты, гладиатор, постучишь в дверь и скажешь ментам, что вы не возражаете, чтобы я ушёл отсюда. Стучи! – прикрикнул он на здорового зэка, растерянно глядевшего между тем на своего пахана.

– Стучи! – Полковник глазами подал разрешающий знак.

«Гладиатор» принялся колотить в дверь. Единственный левой рукой приподнял Полковника и, прикрываясь им как щитом шаг за шагом отошёл к двери.

– В чём дело? – за дверью раздался голос дубака.

– Открой, начальник. Человека к нам закрыли не по масти.

В дверях открылся волчок. Чей-то глаз изучал обстановку в камере. Увидев стоящую в напряжении толпу, дубак спросил:

– В чём дело, Полковник?

– Уведи его отсюда, начальник.

– Скажи, пусть мой сидор вернут, – шепнул Единственный на ухо пахану, незаметно для надзирательского глаза прижимая ступик теперь уже к брюху Полковника.

Заскрежетал замок в двери, раздалась команда:

– Выходи!

– Помни, о чём я просил тебя, – Единственный незаметным движением сунул ступик за пояс и, зацепив левой рукой свой кешер, пятясь вышел из камеры.

Дубак вёл его назад. Обратную дорогу они проделали вдвое быстрее, уже не было смысла петлять по тюрьме. Когда Единственному открыли дверь и он вошёл в свою камеру, Тагир и Дёготь бросились навстречу.

– Где ты был, куда они тебя водили?

– Ты не ошибся, Тагир. Как ты и предполагал, я был в гостях у Полковника.

– И что? – повис вопрос в воздухе. По камере разлилась тишина.

– Видно, не ко двору пришёлся. Они вызвали ментов и попросили избавить их от моего общества, – с улыбкой произнёс Единственный. – Тебе большое спасибо за ступик, очень уж он мне пригодился.

Единственный обнял Тагира. Ему казалось, что с момента, как его увели из этой камеры, прошло много времени. На самом деле он отсутствовал всего около получаса.

Единственный рассказал товарищам о том, что произошло в плавающей по тюрьме пресс-хате.

– Везёт тебе что-то, братан, на всех мастей гадов, – сказал Тагир.

– Да, тут уж кому какая карта выпадет, – откликнулся Единственный.

Нервное напряжение спало только после того, как он, поспав пару часов, попил хорошего чаю.

С Тагиром они сидели вместе ещё на малолетке. Тагир тогда тоже был в десятом отряде. Поначалу его здорово чморили роги, помроги и прочие прихлебатели, с утра до вечера отбивая ему грудянки. Сам Тагир был из далёкой Кумыкии. Внешне он выглядел казахом, вот только немного раздавшиеся скулы и тонкий орлиный нос отличали его.

На малолетке у Тагира не было ни одного земляка. Оттого ему приходилось очень тяжело, но он крепился. Тут-то над ним и взял шефство Единственный. Ему удалось без лишних конфликтов урезонить тех, кто имел свои виды на Тагира. С тех пор и до самого освобождения из малолетки они держались вместе.

Тагир, всегда весёлый и неутомимый, был постоянно в движении: успевал переброситься несколькими фразами с дубаками, высказать комплимент мамке – сотруднице, разносящей передачи по камерам, пококетничать с библиотекаршей, попроситься на приём к медсестре, уговорить сидящих под ними арестанток спеть несколько песен на решке...

В один из дней парень, сидящий «на конях», передал Единственному адресованную ему маляву. Отправитель малявы был некто Серый из камеры 59. В маляве было написано, что ему, Серому, стало известно, что Единственный побывал в пресс-хате у Полковника. И братва на тюрьме удивлена, что он благополучно выбрался оттуда. Ведь всем известно, что происходило с хорошими парнями, попадавшими к Полковнику. Одним словом, у братвы есть вопросы к Единственному. Поэтому, если он считает себя порядочным арестантом, то должен прийти сегодня же в хату 59, куда подтянется достойная братва.

Единственный дал почитать неприятную маляву Тагиру и Дёгтю. У тех вытянулись лица, когда они прочитали эту мерзость.

– Что ты думаешь по этому поводу? – спросил у него Тагир.

– Ментовская шняга, – Единственному с трудом удавалось сдерживать себя, руки и ноги уже начинали мелко подрагивать. – Вот что, Тагир. Вечером заступит нормальная смена. Вот деньги, тут хватит сполна. Договорись с ними, пусть меня отведут туда.

– Я с тобой, – Тагир сжал его предплечье.

– И я тоже пойду, – заявил Дёготь.

– Это невозможно. Троих нас никто не выведет. Пойдём мы с Тагиром.

Время словно остановилось. Единственный еле дождался, когда наконец поменяется смена. Им повезло – на их проход заступил корпусной, с которым у Тагира были отличные отношения. Этот корпусной таскал Тагиру чай, курево, продукты.

Они пошушукались через кормушку, затем Тагир рассмеялся и сказал: «Ладно!» Потом подошёл к Единственному и обронил всего лишь два слова: «После отбоя».

И опять мучительно медленно потекли минуты. Внутри у Единственного всё клокотало, бурлило, грозя выплеснуться. От нервного перевозбуждения заныла левая, больная, почка. Он старался зашнуровать, но безрезультатно, и потому лежал на шконке в полудрёме.

Наконец Тагир толкнул его. Единственный вскочил, прошёл к умывальнику, ополоснул лицо и спросил у Тагира:

– Идём?

– Да, вот он, уже пришёл за нами.

Дёготь без слов проводил их. Уже в коридоре Единственный боковым зрением заметил, как Тагир передал корпусному деньги.

«Пятьдесят девятая» была на втором этаже, через две камеры после лестничного марша. Они вошли в неё. На верхних шконках всё было, как обычно бывает в курятнике. Зэки там лежали буквально друг на друге. Одни гуртовались, что-то прикалывали друг другу, другие играли в нарды. Кто-то курил, кто-то храпел во сне.

Единственный с Тагиром прошли вглубь и сели на свободную шконку внизу. Он сразу вычислил Серого – слишком уж тот выпячивал себя на передний план.

«Ага, а вот это кто такой?» – Единственный быстро «прокрутил» физиономию, обрамлённую огненно-рыжими волосами, через компьютер своей памяти. И сразу же – стоп! Память его не подвела.

Внизу, на соседней шконке, сидели ещё трое заключённых. Хорошо одетые, аккуратно подстриженные и выбритые, они смотрелись внушительно. Единственный представился сам, представил Тагира и попросил представиться этих троих.

Зэк лет пятидесяти, среднего роста, с головой, покрытой едва отросшим ёжиком седых волос, ответил ему:

– Я Государь. Это мои старые однохлебники – Урка и Карась. Вместе мы кушали хлеб ещё на печах, – он улыбнулся. – На свободе не встречаемся, а всё только в тюрьмах и лагерях. Должен был ещё и Закир прийти, да не смог. Отписали с его хаты: не ходит, с печенью мучается. Это вот Серый, тоже нашенький парень, а это... – он махнул рукой в сторону рыжего, вспоминая, – забыл. Обзовись.

– Голубь.

Единственный медленно посмотрел на Тагира. Тагир понимающе опустил глаза. Снова заговорил Государь:

– Серый имеет к тебе претензию. Он собрал нас присутствовать. Мы знаем, что ты был одним из первых, кто бросился долбить вязанных в красной зоне. Ты был одним из первых в козлячьей зоне. За это мы преклоняемся перед тобой. Расскажи нам, однако, Единственный, что произошло с тобой в хате у Полковника.

– Если у Серого претензия ко мне, пусть он её и выскажет. Так ведь должно быть?

Но тут вмешался Голубь:

– Из того, что ты был в пресс-хате и ушёл оттуда нетронутым – а это тебе ещё придётся доказать нам, мы можем сделать следующие выводы: либо ты там колонулся и выложил, кто был организатором бунта на козлячей зоне, либо ты выломился с той хаты. Ну и последнее: ты должен доказать нам, что тебя там не опустили.

– А ты, Голубь, у Серого за переводчика канаешь? – спросил Тагир. Теперь за Голубя ответил Серый:

– Он достойный арестант и имеет слово. Он изложил суть моей претензии к тебе, Единственный.

Единственный видел, что Государю и его друзьям не очень нравится происходящее. Но занимать тут оборонительную позицию он не собирался. Напротив, теперь он точно знал, что сейчас «съест» их обоих: и Серого, и Голубя.

– У вас обоих мозгов ровно столько, сколько нужно, чтобы оправдать ваши клички. Если я в пресс-хате сдал кого-либо из организаторов бунта на зоне, то как бы я успел это сделать за время, которое там пробыл? Я там был не более пяти минут. И потом: кого мне сдавать, если я первым кинулся на козлов там, на Мангышлаке? Теперь по поводу пяти минут: это подтвердит Тагир. Меня в хате не было от силы минут двадцать – с момента, как забрали, и до того, как привели обратно. Отвечаю и по поводу того, что я не выломился. Хотя выломиться из пресс-хаты, где одни негодяи и их много, в этом падло нет. Когда я уходил туда, мы с Тагиром предполагали, что может быть такой вариант. Тагир настоял, чтобы я затарил с собой ступик. Так вот: я ушёл со ступиком и пришёл со ступиком. Вам это о чём-нибудь говорит? – обратился Единственный к Серому и Голубю.

Потом он повернулся к Государю и его старым товарищам и поведал им о том, какая катавасия произошла с ним. Государь одобрительно кивал головой, побрякивая от удовольствия. Видно было, что он не сомневается в правдивости рассказываемого Единственным. И логика была на его стороне. Карась и Урка возмущались:

– Это хорошо, ты ещё молодой, быстрый. А нас бы туда закрыли – что нам делать? Правда, одного-то, первого, всё равно загрызли бы, а дальше – вилы!

– У вас есть вопросы ко мне? – спросил Единственный.

За всех ответил Государь:

– Я сижу вот уже больше тридцати лет. За это время насмотрел-

ся всякого. Через многое прошёл сам, прошли и мои товарищи. Мы считаем претензию парней к тебе необоснованной.

Единственный молча дослушал Государя, дождался, когда тот закончит, и тогда заговорил сам:

– Я и Тагир были на одной малолетке. Мы оба прошли её, не запятнав себя, – теперь он повернулся к Голубю. – И вот сегодня волею случая мы повстречались с тобой, Голубь, да ещё при таких обстоятельствах. Ты был помрогом в девятом отряде на нашей малолетке, ярим активистом. Ты, мразь, колотил пацанов за двойки, за норму. Ты загнал в петлю пацанёнка по кличке Одуванчик. Ты хотел, чтобы он брал у тебя за щёку и давал тебе, а он отказывался. Из-за этого ты днём и ночью чморил его, и он, не выдержав, вздёрнулся.

– Неправда! – заорал Голубь и бросился на Единственного.

Но Тагир был настороже и с размаха влепил нападавшему в челюсть. Голубь растянулся на полу, ударившись о толчок. Тагир молниеносно отпрыгнул к двери, преградив Голубю путь к отступлению.

В камере наступила тишина. Она была обманчивой, она буквально стучалась, угрожая превратиться во что-то ей противоположное. Все в камере чувствовали, что должно было произойти нечто страшное. С Голубя будет спрос и получать с него будут как с гада!

Единственный свинцовым взором обвёл камеру и произнёс, обращаясь не к бродягам, а к мужикам:

– Мужики, этот гад пил кровь у живых людей. Я получу с него и я отвечу.

Резким взмахом ноги Единственный нанёс поднымавшемуся с пола Голубю сокрушительный удар в солнечное сплетение. Голубь закатил глаза, схватился руками за живот и, хватая широко раскрытым ртом воздух, упал на пол.

Единственный прыгнул на него, обеими руками стиснул голову Голубя особым захватом и резко крутанул. В тишине отчётливо слышался хруст ломаемых шейных позвонков, и голова Голубя с безжизненным стуком откинулась на дощатый пол камеры. Всё было кончено.

Единственный подошёл к Серому. Не говоря ни слова, он что было сил отхлестал его по щекам. Государь, несколько раз мелко перекрестившись, поднялся с места. Не глядя ни на кого, уставив мутный взгляд на мёртвого Голубя, он негромко произнёс:

– Истинно сказано в святой книге: «Не рой яму другому, ибо попадёшь в неё сам».

Много повидавший за свою жизнь старый бродяга крикнул и, обращаясь ко всем в хате, проговорил:

– Уберите его. Положите до утра на шконку. Никого из нас здесь не было. Не дети, знаете, что вас ожидает, если кто-то вздумает заложить.

Он дождался, когда убрали Голубя, и негромко постучал в дверь. Они ушли втроём: Государь и два его старых товарища. Ушли, ни на кого не глядя и не прощаясь.

Теперь, находясь в камере смертников, Единственный по крупницам восстанавливал в памяти этот сюжет, будто выкладывал разноцветную мозаику из крошечных кусочков стекла. Ничуть он не раскаивался в содеянном.

«Да, я убил Голубя, – размышлял Единственный. – Но разве я мог поступить иначе? Голубь на малютке издевался над Одуванчиком. Ему нравился голубоглазый и белокурый парнишка. Голубь жаждал склонить его к половой связи, к оральному сексу. Но Одуванчик не видел никакого выхода для себя и предпочёл: «Лучше уж умереть, чем сосать». Голубь убил Одуванчика. Такие, как Голубь, всюду умеют приспособиться, надеть в нужный момент нужную маску. Он и в тюрьме хотел прокатить за порядочного блатного. Будь на моём месте кто другой, слабее духом, Голубь и ему положил бы жизнь. Каждый взойдёт на Голгофу – кто раньше, кто позже – и ответит перед Богом за свои деяния!»

Нет, Единственного не мучила совесть за то, что он прикончил Голубя.

Тогда они с Тагиром пробыли вместе ещё около месяца, затем Тагира увезли на суд. Дали ему, наверное, лет восемь и спустили «на подвал в осуждёнку».

Распорядок дня обитателя камеры смертников был нехитрый. В восемь часов утра надзиратель стучал тяжёлым ключом по двери, объявляя подъём. В девять давали завтрак. В одиннадцать его руки заковывали – через кормушку – в браслеты и заходили в камеру делать шмон и осмотр. Затем, в два часа, давали обед. Потом приходил врач, спрашивал, есть ли жалобы. Вечером, в семь часов, – ужин. В одиннадцать – отбой.

Прогулок не полагалось. Передачу разрешали раз в месяц. Всякая переписка была запрещена. Два раза в неделю приходила библиотечкарь и меняла книги.

В один из таких обычных дней надзиратель подал завтрак в кормушку. В хлебе Единственный, как обычно, обнаружил маляву. Поставив завтрак на стол, он развернул малявку. Она была краткой по содержанию, написана незнакомым почерком.

«С благими пожеланиями к тебе, Единственный, – вор Казанец! Меня несказанно радует, что ты не теряешь присутствия духа. Говорят, ты каждый день тренируешься. Если ты помнишь последние фразы, произнесённые мной во время нашей короткой встречи, то хочу сказать: то и происходит в эти дни. Надейся и не теряй веры! Привет тебе шлют все, кто рядом с воровским миром. Казанец».

Надо было видеть состояние Единственного. Он почти бегал по камере. Ещё и ещё раз перечитывал малявку. Сомнений быть не могло. Во-первых, сама малява от Казанца много значила. Единственный прекрасно как сейчас помнил его слова, сказанные тогда в сангороде: «Мы, воры, будем делать всё возможное, чтобы спасти тебя». И во-вторых! Казанец обещал передать сыну Сатаны предсмертное завещание отца.

Тут Единственный вспомнил и туманные намёки следователя на то, что на свободе о нём беспокоятся. Сведя все детали в одно целое, он не на шутку разволновался. Самым страшным для него было бы начать верить в отмену приговора. Нельзя было этого делать!

Захлёбываясь от ярости, он зажевал малявку и проглотил её. Нет! Нет! И ещё раз нет! Есть приговор суда. Высшая мера – расстрел. И глупо верить в чудеса, чудес в жизни не бывает. Существует только закономерность – это Единственный знал точно.

Буря мыслей бушевала в его мозгу. Одна противоречила другой: «Чёрт с ним! В конце концов: что изменится во Вселенной, если меня расстреляют? Ровным счётом ничего. Мир не потеряет в моём лице ни Джордано Бруно, ни Галилео Галилея. Сколько всего было за словами: «И всё-таки она вертится». Вот истинная убеждённость и убеждение, за которое можно умереть!

А что дал миру я? И вообще: кто я такой? Ворюга! Миру я не дал ничего, ровным счётом. Многим людям принёс слёзы – этих ограбил, у тех украл. Голубя убил, гайдамаков тоже чуть не отправил на тот свет.

И всё-таки что-то тут не так! Когда у меня умер отец, за мной

никто не пришёл. Никто из друзей отца, из знакомых! Я один лежал в пустой холодной землянке. Никому не был нужен лишний рот, лишние хлопоты.

За мной пришёл только Карнаухий. Почему Карнаухий? Потому что он такой же, как я! Сирота! Мы с ним одной крови! Вот почему я пошёл за ним!

Почему я пошёл за Майданом? Он дал мне кусок хлеба. Нам, замёрзшим, настрадавшимся, наголодавшимся, он не просто дал что-то, он стал делить свой кусок с нами. Никто не был так чуток к детской обнажённой душе, как Майдан.

А та, из детской комнаты милиции? Ведь могла же она прийти одна, в штатском. Но она пришла в форме и с милиционерами. Они хотели забрать меня с Аликом насильно, против нашей воли, не спрашивая нашего согласия. Мы не были для них личностями. Она же напильником полоснула по тонким струнам израненной детской души, – Единственный едва не засмеялся. – Достойные последователи Макаренко и Дзержинского! Ваша последовательность привела меня к закономерному финишу. Bravo! Bravo!

Нет, так нельзя. Так ведь можно свихнуться раньше времени. Если мне суждено дойти до конца, до самого края, я дойду».

Он бросился на пол и, отгоняя ненужные мысли и лишние эмоции, в остервенении стал изводить себя энергичными отжиманиями.

Попав в камеру смертников, Единственный поставил перед собой цель – довести количество возможных отжиманий от пола на кулаках до пятисот раз за один подход. И теперь он уже приближался к этой цифре. От раза к разу он насыщал свои тренировки новыми и новыми приёмами, усложнял и модернизировал старые.

Вечером после отбоя, лёжа в постели, Единственный пересчитывал «Хаджи-Мурата» Толстого и думал о Буране.

Буран был в авторитете на продоле. В камеру к Бурану Единственного перевели после того, как Тагира забрали на суд.

Известный в среде конокрадов, сам потомственный конокрад, Буран сидел в СИЗО уже без малого два года. Статья, по которой ему предъявили обвинение, была подрастрельной. Ввиду тяжести её, поначалу, на протяжении девяти месяцев, его держали в одной из одиночек. А сколько таких одиночек – доподлинно не знает ни один из узников СИЗО.

Грамотный, юридически подкованный парень, от природы наделённый тонким аналитическим умом, Буран сумел перестроить ход следствия. Он постоянно ломал, как карточные домики, выстраиваемые версии и доказательства простоватых следователей. После того как Бурану удалось добиться замены следователя, вновь назначенный следователь перевёл его в общую следственную камеру.

То ли так было задумано новым следователем, то ли оперчастью, но после девяти месяцев одиночки Бурана забросили в камеру к отъявленным блатюкам. Но он, первоходочник, не спасовал перед блатующей публикой.

Блатюки, конечно, сразу же решили вогнать новичка в стойло. Ему предложили вымыть полы в камере. Буран отказался, чем привёл блатных в ярость.

– Ты что, фурман? Две старые кобылы шизданул и хочешь теперь за парнягу прокатить? Барымтач сраный, – раздвинув татуированные перстнями пальцы веером, к нему подвалил блатной по кличке Волчок.

– Да у тебя на твоей калбитской роже прописано мужицкое.

Буран был не робкого десятка. Потомственный конокрад, праправнук знаменитого в степи Сулеймена-каракши, отбывавшего срока ещё в сороковые годы, Буран и не подумал включать заднюю скорость. От природы отчаянный и дерзкий, он был ещё и хорошим спортсменом, мастером спорта по дзюдо.

Понтовитый Волчок остановился, два шага не дойдя до конокрада.

– Возьми тряпку и вымой полы, – с угрозой произнёс он.

– Обращаюсь ко всей хате, – произнёс Буран. – Кто я по жизни – знает вся степь. Вам скажу особо: я крадун. Мусора мне лепят двести сорок чистокровных лошадей, за это я девять месяцев страдал в одиночке. Если вы называете себя блатными, то должны знать воровской закон. По закону никто не может обидеть крадуна без основания. За это спрос, – обращаясь теперь отдельно к Волчку, Буран краем глаза успел увидеть блатюков, присевших после его слов на свои места. – Ты обидел и оскорбил крадуна, Волчок. За это я с тебя спрошу сейчас.

Волчок, от ярости потеряв над собой всякий контроль – ему бы оглянуться на своих дружков и сделать грамотный отход, бросился на Бурана, выхватив из носка острый ступик. Это был глупый бросок. Через мгновение он уже лежал на том самом полу, который так

настойчиво требовал вымыть, со сломанной челюстью, свёрнутым носом, из которого обильно лилась кровь, и разбитыми губами.

– Этой рукой ты хотел ударить крадуна ножом! – сказал Буран. В следующее мгновение он схватил правую руку Волчка и с хрустом переломил её в локтевом суставе о своё колено.

Крик Волчка был ужасен. Он орал и катался по хате, вымазывая пол кровью и зовя на помощь мусоров.

– Помогите, а-а-а-а, – орал он.

Буран обвёл взглядом камеру. Все сидели как одеревеневшие. Ни у кого и в мыслях не было броситься на него.

Буран приколот об этом Единственному, сидя рядом с ним на шконке.

– Что было потом? – спросил Единственный, выдержав положенную паузу.

– Прибежали мусора, забрали эту гниду, а на следующий день всю хату келешнули. С той поры я здесь, – закончил свой рассказ конокрад.

– Дерматиновые фраера, – выругался Единственный.

– Да, ништяк, братан. Сам знаешь, на Востоке говорят: «Собака лает, а караван идёт». Лучше я тебе за весёлое приколю. Тут же у нас в хате *кабур* пробит, а под нами монастырь девичий. Там такие девочки сидят! Щас купцанём и я тебя познакомлю с одной симпатюлей.

– Ты лучше скажи, кто на продоле сидит.

– Многих ты знаешь, наверно. Тут вот, за стенкой, Резван рулит, знаешь его? Кумовской он. Через него мусора все малявки пробируют, но на продоле все знают это, поэтому серьёзное не отписывают. Дальше – Хвост сидит, с наркотзоны заехал, вроде бы за довеском, подробностей не знаю. Так у этапников поинтересовался – ничего особенного из себя не представляет, да и по лагерю что-то мутное за ним. Однако мусора держат его в той хате. За ним Чёрный сидит. Плотно рулит в хате. Блатной аж до подошв прохорей. Срок у него с России, а сюда – вроде бы висячку зацепил. Для чего – не пойму, может, с зоны хотел выехать, может, просто покататься. Одним словом, у тебя будет время для собственных выводов. За Чёрным Ивелия парится.

– Знаю его, – одобрительно кивнул головой Единственный. – Нашенский он. При мне в БУРе был на вязаной зоне, голодовку му-

тил. Сорок дней не хавал, его в сангород вывезли – тридцать восемь килограмм. А ещё кто в Доме есть?

Бурани подул на кружку с горячим купцом, отхлебнул пару глотков и протянул Единственному.

– Купцани, братан. В Доме сейчас Вага есть, Урка сидит в осуждёнке, этапа ждёт. В полосатой хате, в осуждёнке, сидят Горбатый и Иван Хохол. Знаешь их?

– Знаю обоих.

Тоненький свист, раздавшийся в этот момент из камеры девчат, прозвучал призывно и заманчиво.

– Бурани! – чей-то голос, приятный, грудной, звал Бурана к решётке.

Бурани мгновенно соскочил со шконки и, гибко, по-кошачьи, изогнувшись, запрыгнул на решку.

– Здорово, девчонки! Как ваше ничего? Освободиться не думаете, что ли? Ведь понравится у хозяина сидеть, а привычка – дело дурное, – шутил он. – К нам в хату хороший человек пришёл. Фотки загоните, мы смотрины устроим. Ладом?

– Ладом, ладом, сейчас загоним.

Слышно было, как под ними в камере раздался громкий смех девчонок.

– Женщины, они и в Африке женщины, – многозначительно произнёс Единственный, чуть улыбнувшись.

Вечером того же дня Единственный, лёжа на угловой шконке, переговаривался с обитательницей нижней камеры, по имени Валентина. Разговор он вёл через отверстие в бетонном полу, диаметром сантиметров двадцать, пробитом арестантами и именуемом здесь кабуром. Разглядеть собеседницу удавалось, но с большим трудом.

– Значит, говоришь, тоскливо на душе? Что сделаешь, милая, терпеть надо. Кому весело у хозяина? Бог даст, выпрыгнешь из клетки, так что не отчаивайся! На фотографии ты красивая, хотя в кабур плохо видно. Думаю, дадут нам мусорки встречу, тогда и поговорим. Ты не против встречи, девочка?

Единственный говорил негромко. Говорил как бы всерьёз, но в голосе сквозила лёгкая ирония и напускная удаль.

В течение дня он по верёвочным «коням» получал малявки из многих камер. В этих малявках были, как обычно в арестантском мире, пожелания доброго и светлого, а также рядовые новости: ко-

го куда вывезли, кто в БУРе, кто освободился, а кто снова сел – запрыгнул в несуразные ээковские прохоры.

Единственный знал, что тюрьме известно его имя и что пройденный им путь вызывает к нему уважение со стороны порядочных арестантов.

Ох, уж эта козлячья зона! Там вязанные козлы настолько оборзели, что заставляли блатных в карантине писать заявление в СВП или ломали круто, а могли и опустить. И Единственного с этапом в двенадцать человек – из отрицалова, этапированных с разных зон – бросили специально туда, чтобы сломать.

Понимая, что судьба заготовила им тяжёлое испытание, забыв всё человеческое, в зверином порыве ээки с того этапа прорвались через карантинку. Похватили – кто ломы, кто лопаты, кто топоры с пожарного щита – и пошли по баракам бить всех козлов подряд.

После козлячьей зоны нервишки у Единственного пошаливали, грозя сдать. Допустить этого было нельзя и тогда он щипал себя до боли, до крика.

– Туго пришлось бы нам тогда, убили бы козлы! – рассказывал он Бурану. – Но, как сказал русский поэт Пушкин, «из искры возгорится пламя». На помощь нам бросились те, кто в душе остался человеком, хотя по злой воле судьбы одел лохматину.

Мы долбили козлов – кого где заставляли. Фаэтон одному из главных топоров в башку вогнал, так и оставил. Арбуз Колька четверых багром проткнул. Ох, и визжали они! Летели огромной толпой – кто на вахту, под крыло мусорам, кто в какие щели. Прятались как тараканы.

Единственный свирепел, рассказывая, от него повеяло холодом. Лицо напоминало в тот момент высеченную из камня маску, глаза метали молнии. Даже Буран поёжился, хоть уж он-то не робкого десятка.

– А как развезли? – спросил он.

– Так и развезли. Загнали солдат. Всех, кто бил козлов, оцепили и в трюм. Пробуторили знатно и быстренько всех на этап. Теперь крутка идёт за козлов. Хорошие парни довесок получают, а кто и под вышак уйдёт. Ну я, конечно, был там в центре событий! – он заскрежетал зубами, сжимая кулаки до побеления суставов. – Ладно, всех козлов не перебеёшь. Но стремиться к этому надо, – философски закончил он...

Дни шли непрерывной чередой, тоскливой и невыразитель-

ной, как мелководная степная речка. В один из дней в камеру к ним пришёл невысокий и худенький смуглый парень по кличке Деникин. Его привезли с зоны на раскрутку. За ним был труп – по игре. Страшным и в то же время поучительным был его рассказ.

Деникин был – «играющий». Несмотря на сравнительную свою молодость, он отсидел уже одиннадцать лет и успел побывать в шести лагерях. Играл он во все лагерные игры: «третьями», «рамс», «терц».

В зонах Деникин не работал, покупал норму у других эзков. В столовую не ходил, жил привольно, на выигранные деньги покупал продукты и всё необходимое для себя и своей семейки. Не забывал он и тех, кто сидел в изоляторах, БУРах или лежал на больничке.

Очень многие в зоне ходили у него в должниках, так что врагов, недоброжелателей и завистников у него хватало.

В лагере была ещё одна группировка играющих и возглавлял её известный игрок по кличке Каро. Каро проехал по многим лагерям. Его завозили в Киргизию, Туркмению, он сидел в крытой, был и в Сибири.

И вот эти двое – самолюбивые профессиональные игроки – встретились по игре в одном лагере. Каро предложил Деникину поиграть. Деникин не отказался. Однако Каро сел играть не сам, а посадил своего ученика по кличке Мастер.

Деникин и Мастер закрылись в будке инструментальщиков и начали играть вдвоём, лоб в лоб. Всю ночь игра шла с переменным успехом, но под утро фарт отвернулся от Деникина и он проиграл всю имевшуюся наличность.

Деникин потребовал у Мастера дать ему возможность отыграться и теперь уже играл в долг. Были оговорены условия: в течение трёх суток Деникин должен рассчитаться.

Они засекали время и продолжали игру. И опять фарт отвернулся от Деникина – он просадил приличную сумму. Мастер, ссылаясь на то, что оговоренное время вышло, закончил игру.

Весть о том, что Деникин попал на крупную сумму Мастеру, разошлась по зоне. Об этом шептались мужики в жилзоне и на промке, это обсуждали блатные, это знали и кумовья.

Оперчасть давно давила, хотела стравить Деникина с группировкой Каро. И вот подворачивался подходящий случай.

Оперативники умышленно перекрыли все доступы к зоне, чтобы никто извне не совершил переброс с деньгами для Деникина. Под каким-то предлогом запретили Деникину выход на промзону. Одним словом, обложили его, как зверя, и ждали дальнейшего развития событий. Менты знали: если Деникин через трое суток, до двенадцати часов ночи, не рассчитается с Мастером, то можно считать, что этого блатного уже нет.

В картёжном лагерном мире действуют очень жестокие законы. От проигравшего, который не может в срок рассчитаться, могут потребовать кого-нибудь завалить. Могут его и опустить.

У Деникина были деньги. Большие деньги. Но они были спрятаны в курке на промзоне, а менты отрезали его от курка, и теперь он лихорадочно думал: на кого можно положиться, кому доверить курок, чтобы принесли так нужные ему «филки». Никого, однако, из членов его семейки на промзону не выпускали.

Прошло уже двое суток, потянулись третьи. Целый день Деникин ходил по барaku, не зная, что предпринять. Он решил уже для себя: если до половины двенадцатого ночи никто не сможет закинуть деньги в зону, тогда он пойдёт на вахту и зарежет ДПНК – дежурного помощника начальника колонии – или кого-нибудь из крупных козлов.

Уже давно прошёл съём первой смены, закончился ужин. Вся семейка Деникина сидела в бараке, в своём проходе, и не знала – что предпринять. Было уже без четверти одиннадцать.

И тут одного из семейников Деникина, по кличке Медведь, позвал ничем не примечательный мужичок и попросил закурить. В момент, когда мужик брал сигарету из рук Медведя, он шепнул: «Выйди, доктор зовёт».

Медведь, стараясь не привлекать внимания, незаметно выскользнул из барака и прошёл за угол. Там в тёмном, недостижимом для света, месте, прячась за стволом огромного тополя, стоял Доктор.

Доктор был евреем и сидел за незаконные операции по абортam. Срок у него уже подходил к концу. В своё время Деникин оказал Доктору какую-то важную услугу, и тот чувствовал себя перед ним в неоплатном долгу.

Это был далёкий от блатного мира, интеллигентный человек, который даже здесь ко всем обращался на «вы». Он, волею судьбы попавший в лагерь, терпеливо отбывал свой срок в должности начальника лагерной санчасти.

Доктор чуть выступил навстречу Медведю:

– Слава Богу, что вы оказались на месте! В промзоне человек попал под пресс, ему оторвало ногу. Я бегу туда оказать помощь. Говорите, где ваши деньги, я принесу их. Меня вчера просил об этом Камал, но у меня не было повода выйти в промзону. А теперь, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Медведь торопливо объяснил Доктору, где находится курок и что надо сделать, чтобы он открылся. Он напомнил, что времени осталось не более часа.

– Я понял. Вы можете не переживать, я постараюсь сделать всё наилучшим образом.

В бараке давно уже был дан отбой. Зэки лежали на шконках, но ни один человек не спал. Каждый отдавал себе отчёт, что близится развязка.

Деникин, сидевший на нижней шконке, обняв голову руками, распрямился и глянул на часы, загасил сигарету и произнёс, обращаясь к своим семейникам – буднично, словно собирался в обычную дорогу:

– Ну что, уже время. Надо идти. Кешер собран, филки знаете где – часть тусанёте мне, часть оставите на свои нужды. Где этот Медведь? Вечно в нужный момент его нет рядом.

Семейники-однохлебники молчали, всё уже было оговорено. Балда протянул ему остро заточенный металлический штырь. Деникин сунул его за голенище сапога и досадливо хмыкнул:

– Говорила моя мама: не играй в карты, сынок!

И в этот момент вошёл Медведь. Глаза его озорно поблёскивали. Он подошёл к своим и прошептал:

– Мазя, сейчас филки будут здесь. Там на промке кому-то ногу оторвало. Доктор выдернул меня. У тебя, оказывается, был базар с ним. Я ему объяснил, где курок, он всё понял. Он сейчас уже там. У нас ещё есть время, будем ждать.

В тот же самый момент в другом бараке в проходе у Каро сидела вся его группировка. Зэки были вооружены. Слово держал Каро:

– Филок у него нету, это ясно. Он попал, он наш. Нельзя дать ему ни одного шанса уйти! Зона наша. Он своей игрой встал нам поперёк дороги. Закон на нашей стороне – он не может выплатить игровые деньги. У него осталось сорок пять минут. Вы поставите под ножи его троих семейников, а вы – его самого. Мастер, ты сделаешь объявку и проведёшь ему членом по губам. На этом генерал Дени-

кин прекратит своё существование и появится молодая «генеральша». Наверно, генеральшу никто ещё не пробовал, а? Хотите?

Раздался дружный хохот. Приближённые Каро, накурившиеся анаши, теперь пребывали в предвкушении скорой расправы.

В другом же бараке никто не смыкал глаз. Деникина здесь все уважали, он был по-своему щедрым и справедливым. Никому и никогда он не отказывал в помощи. Зэки определённо сочувствовали, но помочь ему был не в силах никто.

Семья Деникина сидела в тесном проходе, и все, почти не дыша, следили за минутной стрелкой на часах. Она показывала без десяти двенадцать.

– Ну где же этот чёртов Доктор! – воскликнул Деникин. Нервы у него были на пределе.

За окнами барака раздался топот многих ног, дверь распахнулась и вошёл Каро со своей многочисленной, вооружённой ножами, группировкой. Все, кто был в бараке, привстали со шконок.

Приспешники Каро окружили семейников Деникина и поставили их под ножи. Два человека подошли вплотную к нему самому и приставили ножи к горлу. Деникин вынул из голенища нож. Вперёд выступил Мастер:

– Весь барак видит: ты попал, генерал! Ты не можешь рассчитаться по карточному долгу. По закону я вправе получить с тебя так, как посчитаю нужным.

Деникин, смутлокожий, теперь стоял блее снега. В его лице не было ни кровинки.

– У меня есть ещё пять минут, Мастер, – произнёс он отчетливо и громко на весь барак.

Раздался оглушительный хохот. Дружки Каро смеялись, им было весело. Они обкурились – сегодня их босс не пожалел для них анаши. Сейчас они опустят генерала и появится новая «девка» в гареме, свеженькая. И пахан будет щедр, ведь ему, наконец, удастся убрать самого сильного своего конкурента.

– Твоё время вышло, генерал, – сказал Мастер и, расстегнув ширинку, вывалил свой большой, толстый, похожий на сардельку, член.

Приспешники Каро плотнее прижали ножи к горлу Деникина. Мастер сделал шаг вперёд, руками удерживая член. Деникин нацелился своим ножом себе в сердце. Ни один человек не лежал на шконке. Все были на ногах, и все подтянулись к месту развязки.

И в этот момент, когда настенные часы показывали, что оставалось ещё целых четыре минуты до двенадцати часов, в барак с диким криком влетел Доктор. Он кричал, как сумасшедший, пританцовывая, хохоча и показывая на часы. В руках у него были пачки денег:

– Успел, успел, успел!!!

Внимание всех переключилось на Доктора. Каро подошёл к нему и забрал из рук деньги. Пересчитал и досадливо произнёс:

– В расчёте!

Вдруг раздался какой-то грохот и затем шум падающего тела. Толпа отпрянула. На свежеокрашенном полу лежал Мастер, в его груди торчал штырь Деникина. На серой футболке расплывалось тёмное пятно крови. Из распахнутой ширинки нелепо высовывался член, теперь уже сжавшийся и жалкий.

Толпа взревела. Все как обезумели. Группировку Каро били чем придётся: табуретками, арматурой. На выставленные против нападавших ножи набрасывали матрацы, а дальше уже ничто не могло спасти недавних героев от мужицкого гнева.

Самого Каро только что не разодрали на части, одежда висела на нём клочьями. Потеряв разум, он пытался прятаться под шконками, но его вытягивали за ноги и били табуретками, ножками от табуреток, ломая ему руки и рёбра.

Когда Деникин закончил, наконец, свой невесёлый рассказ, все долгое время сидели молча. Давно уже в кружках остыл чай, истлели в руках зажжённые сигареты. Первым заговорил Единственный:

– Не суди, да не судим будешь. Все мы, преступники, называем себя братвой. Но сколько среди нас бродит мразей, хиляющих за бродяг! На самом деле это настоящие твари, своими гадскими поступками рушащие веру в чистоту и порядочность арестанта. Они убивают веру в нас в мужиках, молодёжи. Чему они могут научить молодёжь? Только грязному.

– Мне доводилось слышать за тебя, Единственный, – проговорил Деникин. – За твои дела по зонам. Я слышал про твою историю с Серым и встречался с ним. Он с нашей зоны замутил побег. Хороших парней с толку сбил, за собой увлёк, и в оконцовке их всех расшмалили менты.

После той трагической разборки, в ходе которой Серый получил хороший урок, он ушёл этапом на зону. По приходу в лагерь

сразу стал мастером на производстве. А известно, что блатному зашло быть мастером.

Потом ему удалось подбить двух нормальных парней, увлечь их бредовой идеей, и они стали готовить побег. Они написали явку с повинной, взяли на себя «висячку», и их вывезли в город на следственный эксперимент. Расчёт у них был прост: либо захватить конвой, а затем автозак, либо бежать во время проведения следственного эксперимента. Но мусора спутали им все карты, надев всем наручники.

Только по окончании следственного эксперимента, когда сняли наручники, закрыли всех в автозак и привезли обратно в зону, они решились пойти на крайнее.

Случилось же так, что конвой нарушил порядок. Начальник конвоя пошёл на вахту сдавать документы, а молодой сержант в это время в одиночку открыл решётку внутри автозака, где сидели заключённые, и захотел сам вывести их наружу.

Заключённые накинулись на сержанта и в одно мгновение обезоружили его, приставив к горлу нож. Они забрали автомат, связали незадачливого вояку по рукам и ногам и забросили внутрь автозака. Потом потребовали хозяина колонии, для острастки выпустив в воздух очередь из автомата.

Когда сбежалось всё лагерное начальство, Серый предъявил хозяину свои условия. Либо им дают ещё два автомата с полными запасными боекомплектами, миллион рублей в банковской упаковке и предоставляют автомобиль «Волга» с заправленным баком и двумя полными канистрами в багажнике, либо они убивают сержанта.

Хозяин попросил отсрочки до вечера, якобы для того, чтобы привезти из банка деньги. На самом деле он созвонился с начальником Управления лагерей, а тот, в свою очередь, со столицей, чтобы заручиться поддержкой министра.

Ближе к ночи, когда Серый и его дружки уже начинали паниковать, в зону въехал бронетранспортер с крупнокалиберным пулемётом. Был отдан приказ: расстрелять автозак. Заговорил пулемёт, превращая фургон с укрывающимися в нём в сплошное решето. И скоро всё было кончено.

Когда в изрешеченный автозак вошли вооружённые автоматами начальник колонии и его заместитель, то обнаружены были три истекающих кровью трупа заключённых и... связанный, но живой и, более того, абсолютно целый сержант.

У Серого очередью было снесено полчерепа, его мозгом, действительно довольно серым веществом, были забрызганы пол и стенки машины. Удивительно, но в незадачливого сержанта, который натерпелся страха, не попала даже щепка.

С самого его начала это был глупый, обречённый на провал побег, и финал его был вполне закономерен.

Тюремная одиссея Единственного продолжалась. Приходили и уходили этапы – на ближние и дальние зоны. В СИЗО привозили людей на следствие и увозили оттуда на суд.

Тюрьма жила своей обычной – обыденной жизнью. В ней ломались судьбы: сотнями, тысячами. Тоска, поселяющаяся в сердцах узников тюрьмы, приживалась настолько, что никогда и ни при каких условиях её нельзя уже было вытравить, и была она всепоглощающей и неуёмной, эта тюремная тоска.

Мусора делали свою работу: придумывали всевозможные пресскаты, обиженки, сажали «наседок» по хатам, тасовали людей, как карты в колоде, келешуя их по разным камерам, при том носили зэкам наркотики, водку, чай за немалые деньги, кого-то загоняли в карцер, кого-то водили в «монастырь», к девкам.

Зэки же делали свою работу: с утра до вечера били кабуры под шконками, плели коней, «заезжали» в соседние камеры, мастерили кустарщину, обыгрывали под интерес друг друга в шашки, шахматы, нарды, карты, варили чифир, выясняли, кто меж них блатнее, пудрили мозги следователям, сочиняли бесконечные кассационные жалобы, кого-то опускали. Одним словом, жили по принципу «курятника».

У этапников, вывезенных с козлячьей зоны, продолжалось следствие. Зэки как могли путали ментов. Списываясь друг с другом, давали противоречивые показания. А то все в один голос начинали утверждать совершенно противоположное. Были исписаны уже горы бумаг, передопрошены многочисленные свидетели, десятки командировок были изъезжены следователями. Этапники знали: чем дольше протянется следствие, тем меньше они пострадают на его финише.

Им удалось затянуть дело на полтора года, заставить поменять трёх следователей, скомпрометировав их то вымогательством взятки, то применением недозволённых методов ведения следствия. Несколько раз они предпринимали массовые голодовки, добиваясь вызова прокурора по надзору.

Руководил всеми действиями этапников и координировал их Единственный, самый грамотный и дальновидный в этой команде. За это время он очно или заочно перезнакомился с великим множеством людей.

Ушёл на суд Буран, получил свои шесть лет и уехал досиживать срок в какие-то лагеря. Где-то на пересылке скончался от туберкулеза Государь. Вновь на тюрьму на переследствие завезли Дёгтя. К своим одиннадцати годам ещё четыре за соучастие в массовых беспорядках получил Деникин.

Единственный обдуманно создавал для следователей ситуацию такого рода, что этапников невозможно было судить всех вместе. Одни из них по его подсказке специально мастырились и уходили на больничку. Другие начинали косить «дурочку» и их вывозили на СПЭК – специальную психиатрическую экспертизу. Третьи писали явки с повинной, цепляли на себя висячки – нераскрытые преступления – их развозили на следствие по разным городам и тюрьмам.

У следователей тем временем появлялись другие дела и им некогда было завершать старые.

В конце концов этапников стали судить поодиночке. Первым осудили Единственного. Не удалось пришить ему организацию, не удалось вменить нанесение тяжких телесных повреждений. Не смогли, как ни пытались, вменить ему и убийство в порядке лагерного бандитизма. Как и Деникина, его осудили в конечном счёте за соучастие в массовых беспорядках и приговорили к шести годам лишения свободы, присовокупив новые шесть к шести предыдущим, полученным ещё со свободы.

А ещё через месяц был большой этап на лесные зоны, и Единственного в составе этапа в сорок человек погрузили в вагонзак и повезли в Краслаг – Красноярские лагеря. И двинулся Единственный колесить по таёжным лагерям и весям. И как там, в песне:

*И вот пошли вагоны,
Вагоны, перегоны,
А с насыпи мне машут пацаны...*

И развернулась перед ним география лагерей, тюрем и пересылок, и закружилась круговерть разных этапов, судеб и людей – разных национальностей и этнических меньшинств.

Это была последняя всесоюзная келешовка по программе ГУИТУ – Главного управления исправительно-трудовых учреждений. Это было всё равно, что в один котёл бросить селедку, залить её коньяком, побросать туда же конфеты, мясо, покрошить арбузные корки, сверху засыпать куриным помётом, поставить на огонь и заставить вариться, всё в одном котле. Такой, почитай, и была та всесоюзная келешовка.

Этапы с юга, Кавказа и Закавказья гнали в Сибирь, на Урал, Дальний Восток, на Север и Колыму. Из азиатских лагерей часть потоков направили туда же, другие развернули в сторону Украины и Прибалтики. Хохлов, латышей, литовцев, бульбашей погнали в Азию, на Кавказ, в Сибирь. Сибиряков же повезли в Мордву, в Коми – Потьму, Тотьву, Сосьву, Высьву и другие лагеря. Сколько пищи для малярийных болотных комаров и таёжного гнуса!

А Единственного везли и везли в «Столыпине». Омская тюрьма, Томская тюрьма, Новосибирская тюрьма, знаменитая Иркутская тюрьма. Оттуда только их развернули на Краслаг. В Краслаге его не приняли: слишком ярко была расцвечена его делюга, поперёк папки жирная синяя полоса – склонен к организации массовых беспорядков. Повезли дальше.

Печорлаг не принял, Усольлаг не принял, Ветлаг – не принял, и опять поехали в Краслаг. Смешно, да не до смеха:

*Паспорта нету –
Садись в карету.
Кареты нет – садись в тюрьму,
Тюрьма закрыта –
Садись в корыто,
Корыто полно поросят...
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный!!*

Смешение религий, вероисповеданий, менталитетов, темпераментов, диалектов, цвета кожи, разрезов глаз. И тут же различный подход в трактовке воровских понятий – вот что такое была всесоюзная келешовка.

Ментам важно было оторвать заключённых от лагерей, слишком близких, по их понятиям, к местам проживания их подопечных. Важно было разорвать нити, связывающие заключённых с во-

лей. Хотелось им пресечь поступление в зоны с воли запрещённых предметов, как-то внедрить в среду заключённых своих агентов. Такими были цели, которые преследовали карьеристы из ГУИТУ.

И потянулись на север матери с далёкого горного Кавказа и солнечного Закавказья, из жаркого степного Казахстана и песчаной Туркмении. Обняв свои чемоданы, сумки, кульки, торбы, везя по килограмму конфет и печенья в далёкие, куда Макар телят не гонял, лагеря Сибири, Коми, Урала, Колымы. А молодые разбитные чернобровые жёны-хохлушки повезли килограммы сала в жаркую Туркмению, Киргизию. Поехали к своим мужьям-лабусам на суровый, нестигаемый со времён Шамиля, Кавказ педантичные, европеизированные, свободные в любви русоволосые литовки, везя в сумках лесные орехи для мужей, а себя и заморские коньяки – со словами «Лаба дена» – для начальников колоний.

И началась резня в таёжных бараках и на делянах: местные против южан, как раньше суки против воров. Шла резня в лагерных бараках и в Казахстане, и в Средней Азии, и на Кавказе. Гнули католиков мусульмане, а мусульман в Прибалтике гнули католики. И шло так до тех пор, пока из Владимирского централа не прогремело воровское воззвание: по всем лагерям, тюрьмам, пересылкам – по поводу лиц, преследующих националистические цели. Воры Владимирского централа объявили широко и громко, почти по Киплингу: «Мы все одной крови: ты и я! Нет места национализму!»

У смертников было неписаное правило: ежедневно по утрам перекликаться, чтобы знать, не увели ли кого на исполнение. Если узник не откликается, значит, его можно встретить уже только на том свете, в другом измерении.

Напротив камер смертников располагались тюремные карцеры. Те, кто сидели в карцерах, уносили и приносили вести, сообщали смертникам новости тюрьмы, толкали малявы.

Смертники из солидарности перегоняли в карцеры чай, курицу, пищу, пользуясь своим положением – надзиратели не любили отказывать смертникам. Обитатели камер шутили над теми, кто сидел в карцерах: «Что бы вы делали, если бы не наши предсмертные просьбы надзирателям!»

Через стену от Единственного сидел Вагиф. Он застрелил мента, когда уходил с дела. Его и самого подранили, когда брали. Вагифу Верховный суд утвердил «пыж». Теперь он каждый день ждал, ког-

да за ним придут. Все эти месяцы он изучал Коран и с утра до вечера молился, совершая ежедневно пятикратный намаз. Всё остальное время он пел заунывные азербайджанские песни.

Дальше сидел знаменитый Коля Ачалов. Судьба этого человека распорядилась с ним самым страшным образом.

Этот парень на свободе работал фрезеровщиком, был специалистом высокого класса – где-то в Иркутске. Занимался коллекционированием полудрагоценных камней. У Николая был друг, которому он доверял как себе. И случилось так, что однажды у Николая из дома пропала богатая коллекция минералов, а позже она обнаружилась у одного из известных коллекционеров.

Николаю, предъявившему права на эту коллекцию, коллега рассказал, что принёс минералы тот самый друг и заплачены были хорошие деньги. Понятно, что Николай пошёл к другу выяснять отношения. Само собой возникла драка, в ходе которой друг был случайно убит.

Николаю дали шесть лет и отправили его в Туркмению, в усиленный лагерь. Пробыв там три года, он проделал подкоп и бежал. В бегах, во время конфликта, он зарезал такого же, каким был сам. Затем ему удалось, уже пребывая во всесоюзном розыске, пробраться в воинскую часть, где когда-то сам он отслужил срочную службу, и совершить классическое ограбление воинского оружейного склада.

А дальше – как в западном вестерне: вооружённое ограбление Сбербанка, унесена огромная сумма. Лучшие сыскари Петровки бросились расследовать ограбление отделения банка, из которого Николай на угнанной автомашине увёз большие деньги, ранив при этом сотрудника. С подстреленным таксистом в багажнике, на этом же авто, Николай сделал бросок в двести километров. Потом бросил такси с открытым багажником и несчастным таксистом в нём и поездом подался в Казахстан.

Тут-то специальные сотрудники уголовного розыска и вышли на него. В квартире одного из многоэтажных домов, взяв в заложники целую семью, Николай отстреливался больше суток, но был взят специальной группой «Вымпел». Николай был обречён.

Вместе с этими двумя терпигорцами исполнения приговора ждали ещё двое смертников. А один парень, как и Единственный, ждал ответа из Верховного суда СССР.

Единственный ходил взад-вперёд по камере и читал толстенную книжищу – «Анна Каренина». Было ему чем восхищаться, вместе с Вронским, умиляться – вместе с главной героиней. Было чему возмущаться вместе с Облонским. Неизведанные глубины человеческой души, морали, духовных ценностей, чувств!

В голову ему приходили невероятные, просто чудовищно-идиотские мысли: «Что бы такое было, если, скажем, Вронского – вот совсем какой он есть, с его принципами, манерами, аристократизмом – посадить, скажем, на вязаную зону, на первую пятнашку в ШИЗО, под гайдамацкие дубинки. И вот когда он выйдет оттуда – и интересно, кем – устроить бы им свидание с Анной».

Единственный на минуту представил себе Вронского, лощёного блестящего офицера, в мундире дорогого сукна, с эполетами на плечах и серебряными аксельбантами на груди, в начищенных сапогах со шпорами – в изоляторе вязаной зоны, где сидели он и Ирод. Мысли бежали дальше: «А то, пожалуй, его не стали бы лечить дубинками. Не исключено, что он с гайдамаками ещё бы и сдружился. А вот Левин никогда. Этот больше нашенский, хотя маленько заторможенный. Да и все мы тоже заторможенные. А вот Анна! Куда же её-то мне пристроить? Стоп! Но ведь это и есть Светлана, то есть Светлана – это Анна. Анна Каренина. Но тогда, выходит, я – Вронский?»

Вконец запутавшись в этой галиматье, Единственный принялся дико и истерично хохотать. Он хохотал, не мог остановиться, только приговаривал: «Вронский и Ирод, они стали кентами, то есть они оба – скоты». И опять закатывался неудержимым, нездоровым смехом. Бросив книгу на пол, он смеялся до тех пор, пока его не стало рвать.

Опять на смене был узбек. Надзиратель подбежал к камере и постучал ключом по железу двери:

– Каншай, каншай. Ты што, мозга повернулся? Нашалник мэ-нэ ргать будэт.

Смертники никогда не ссорились со своими надзирателями. Так уж повелось: перед смертью те не грубили этим, эти, в свою очередь, не грубили тем. Так и сосуществовали.

Узбек приоткрыл кормушку и забросил в камеру свёрнутый в трубочку конверт. Единственный подобрал его, вскрыл и стал читать. Это было письмо от Светланы. Она писала, обрушивая на него потоки страдальческой любви и нежность чистой своей души.

«Я полюбила тебя с той самой минуты, когда каталку с тобой завезли в операционную. Не зная, будешь ли ты жить, я освобождала твоё тело от пуль, зная, что просто обязана спасти моего любимого. Я выдёргивала их, зная, что они – мои враги и могут отнять у меня мою радость.

Больше недели ты находился в коме, а я перебинтовывала тебя и мысленно целовала каждый сантиметр твоего обнажённого тела, отгоняла духов смерти. Уходя, оставляла рядом с тобой свой крестик. Хранишь ли ты его? Береги. Я точно знаю: с ним ты будешь в безопасности, он сохранит тебя для меня. Ты можешь думать: возможно ли такое? А я говорю: да, да, да! Я люблю, люблю, люблю! Во мне живёт ощущение того, что мы скоро встретимся. Это бабье. Но бабу не обманешь, она сердцем чувствует.

Я глажу твои руки, целую твоё тело, твои глаза, губы! Я рядом с тобой! Протяни же! Протяни руку и ты коснёшься меня. Единственный мой! Светлана».

Единственный понюхал письмо – оно хранило запах нежнейших духов. Он поднёс листок к губам и осторожно прикоснулся к нему. Нет, не поцеловал, только прикоснулся. Что мог он, уходящий, дать ей? Ей – молодой, красивой, желанной. И опять принялись одолевать его чудовищно нелепые мысли:

«Светлана – это Анна, Анна – Светлана! Нет, я не хочу быть Вронским. Принципиально. Поставь меня сейчас перед выбором: будь Вронским, иди на место Вронского, а Вронского сюда, вместо тебя, или всё остаётся как есть. Уж лучше как есть! Вронского сюда можно на моё место, но мне на его место нельзя, – всеми фибрами души Единственный ненавидел Вронского. – Тьфу ты! Опять началось. Нет, лучше поотжимаюсь-ка я ещё пятьсот раз».

Он рухнул на пол, на кулаки, и принялся отжиматься.

Остаток дня он «бил пролётки», из угла в угол. В голову ничего не шло. Он забросил «Анну Каренину» и принялся за «Мороз, Красный нос» Некрасова.

Уже вышли все сроки, давно должен был прийти ответ на его прошение. Так уж устроен человек. Казалось бы, чем дольше нет ответа, тем дольше он проживёт. Но человеку нужна определённость: и в жизни, и в смерти.

Перекликаясь однажды, они не докричались Сашко. Видимо, это за ним приходили глубокой ночью. Как менты ни старались

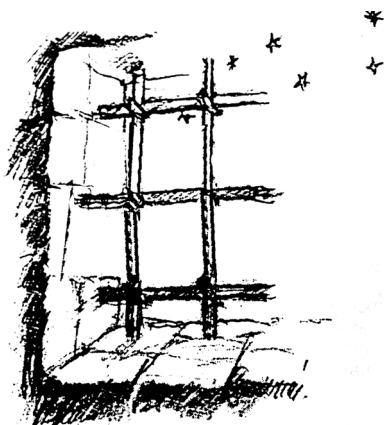
без шума открыть дверь, смертники и не хотели слышать, так слышали на коридоре каждый шорох. Не зря, очевидно, в нём никогда не выключают «музыку». Она звучит негромко, но страшно давит на психику.

Сашко убил свою жену и её любовника, застав их в постели. Он обоим отрубил головы. Тела вывез в карьер и закопал, а головы зарыл в лесу.

Наверное, Сашко выводили, засунув ему в рот резиновую грушу. Смертники слышали, как их собрат приглушённо мычал в коридоре и как звенели его цепи.

Два дня после того, как увели Сашко, стояла зловещая тишина. Не пел свои песни Вагиф, не шутил Николай, никто ничего не просил от них из карцера.

Тюрьма знала: Сашко больше нет. Тюрьма справляла по нём поминки.



Глава 5.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА – ЛАТВИНА

На третий день, сразу после завтрака, в двери камеры Единственного открылась кормушка и раздалась вроде бы обычная команда: «Руки в кормушку!»

Единственный, однако, подобрался, напрягся. Вот оно. Он привычно просунул руки в кормушку, и на них защёлкнулись стальные браслеты. Кормушка закрылась, но тут же с лёгким скрипом открылась дверь и в камеру вошли два дюжих офицера. Они с двух сторон взяли его под руки, у каждого был «электрошок».

Затем в камеру вошли несколько высоких чинов: прокурор по надзору, начальник тюрьмы – полковник по прозвищу Волк, замначальника тюрьмы, адвокат и врач.

Единственный стоял перед ними. Внешне он был спокоен, но внутри всё дрожало, ему с трудом удавалось сохранять достоинство. В правой руке он сжимал крестик Светланы.

Прокурор достал из кожаной с медной застёжкой папки несколько листов бумаги и принялся зачитывать постановление – долго, медленно и гнусаво. И вот, наконец, главное...

«Рассмотрев прошение о помиловании по делу номер такой-то, Верховный суд СССР под председательством юриста такого-то в составе судей таких-то – шёл перечень фамилий – постановил:

Отменить приговор выездной коллегии суда от такого-то чис-

ла, такого-то года под председательством судьи такого-то. Высшую меру наказания – расстрел – заменить двадцатью годами лишения свободы, с отбывтием наказания в течение пятнадцати лет в лагерях особого режима и пяти лет на поселковом поселении без права выезда. Срок, отбывтый по предыдущим приговорам, в общий срок не засчитывать.

На основании помилования Верховным судом СССР осуждённого такого-то перевести на общее основание для осуждённых согласно статье номер такой-то Уголовного Кодекса Казахской ССР».

Как во сне, Единственный расписался под решением Верховного суда СССР. Сердце в груди его, казалось, замерло. Ясно осознавая происходящее, он всё ещё отказывался верить в него: «Может быть, это какая-нибудь уловка? Хотя нет, так не должно быть».

И только когда он остался один, к нему вернулась способность мыслить логически. Он курил в напряжении сигареты – одну за другой и ходил по камере.

«Значит, случилось то, о чём писал Казанец, – рассудил он. – Значит, воры нажали на все свои рычаги, чтобы спасти меня. И я спасён. Буду жить!»

Больше всего Единственный бесился, когда его жизнь зависела от какого-то другого человеческого существа. Он же всегда считал, что его жизнью могут распоряжаться только Аллах или он сам.

Но как бы там ни было, внутри у него уже нарастало ликование. Девять долгих месяцев, проведённых в камере смертников, наложили, конечно, безрадостный отпечаток на его и без того суровый характер. Но сейчас радость, как тесто, заквашенное на хороших дрожжах, поднималась, росла и уже не уместалась в груди.

Единственный присел на шконку, обхватил голову руками и заплакал навзрыд.

Вспомнилась мама. Хоть и смутно запечатлел её Единственный, но берёт этот образ, с годами, наверное, понемногу пополняя его от себя. Нежность рук, поцелуи – забыть невозможно. В подсознании отпечаталось, что она любила носить светлые одежды, и память о ней была такой же светлой.

Единственный вспомнил и об отце. Это был высокий, сильный, суровый человек. Как всё-таки сыновья тянутся к своим отцам! Маленьким Самат как липучка лънул к отцу, не отходил от него ни на шаг.

Сколько же боли, оказывается, накопилось в душе! Как исстрадалась его душа за эти годы! Её вместе с ним самим резали, били, кромсали по живому, гнули, ломали. Но, как ни странно, от этого она становилась только сильнее.

Сейчас внутри Единственного с чудовищной скоростью раскручивалась стальная пружина, которую он сам виток за витком закручивал все прошедшие годы и скрутил, наверное, уже до отказа. А теперь отпустил её.

Сердце жгло нестерпимым огнём, ручьями текли непрошенные слёзы. Было жалко себя, обойдённого радостями детства, юности. Обращаясь к памяти своих родителей, он вслух произнёс: «Отец, мама! Ну почему вы так рано ушли?»

В памяти всплыли мелодия и слова песни. Называлась она «Бозторгай», что означало «Одинокый воробышек». Пелась она от имени мальчика-сироты, который в песне горюет:

*Не сосал материнского молока,
не чувствовал объятий матери,
тепла её ладоней.
Нет родных, лишён был детства.
Не довелось, как мальчишкам,
поднявшись на холмы,
гоняться за бабочками.
Была бы мама, она бы пришла,
увидела сына и обняла.
Серый воробышек, ты такой же, как я, сирота.
Я окошко отворю, брошу тебе корм.
И не нужно никому,
что было в жизни у меня.
Если бы была мама, ничего такого
не случилось бы со мной!*

Единственный прервал песню и приподнял голову. Дверь в камеру была открыта. В проёме стоял его старый знакомый – узбек. Никто не потребовал: «Руки в кормушку!» Ещё раз ёкнуло в груди. Узбек с доброй улыбкой смотрел на него:

– Давай шмутки вазми, пайдом друтой камэра. Наверх пайдом. Якши булады! Ти хороший парэн. Давай, давай, радовать нады, а ты плачишь. Я чириз пят минут прыду.

Он закрыл дверь и ушёл по своим надзирательским делам. Единственный стал собирать свои нехитрые пожитки. В первую очередь он проверил, на месте ли крестик. Через пару минут он был готов: личные вещи, книги, бумага, письма уложены в тощую торбу. Узбек вновь открыл дверь и спросил:

– Готова?

Единственный молча кивнул головой, обвёл взглядом камеру и вышел.

– Дай попрощаться с ребятами! – попросил он узбека.

– Ти што, нашалник придёт, давай, давай, пайдом.

– Я не могу уйти, не попрощавшись, – проговорил Единственный, и узбек, взглянув на него, уступил.

– Давай, друг, быстро.

Единственный подошёл к двери Вагифа и заглянул в волчок. Вагиф, с чёрной недавно отпущенной бородой, в белой мусульманской шапочке на голове, в спортивном костюме, «бил пролётки». Почувствовав спиной чей-то взгляд, обернулся к волчку. Единственный позвал его по имени, и тот шагнул к двери.

– Вагиф, это я, Единственный. Меня помиловали, брат. Вышак заменили двадцатью годами. Выводят наверх, я прощаюсь с тобой.

Вагиф на чистом русском языке с едва уловимым акцентом произнёс:

– Я понял, что тебе пришёл ответ. По топоту в коридоре догадался. Услышал, ты плачешь, плохое подумал. Я счастлив за тебя, брат. Мои просьбы помнишь, конечно? Поклон передай моим. И ещё прошу, брат: если будешь плясать – за меня допляши, если будешь любить – за меня долюби! Давай, брат!

Единственный быстро подошёл к камере Николая. Тот, видимо, услышал предыдущий разговор, и уже стоял у двери:

– Прощай, брат лихой. Не поминай нас недобрым словом! – сказал он. После этого выдал тираду трёхэтажным матом в адрес своей злой судьбы. Тут же улыбнулся в волчок и поднял правый сжатый кулак, прощаясь.

Единственный обратил внимание – двери были без отверстий для ключей. Электронные замки приводились в действие, чтобы открыть ту или иную камеру смертника, где-то наверху, на пульте, по письменному приказу начальника тюрьмы. Коридор просматривался скрытой камерой. Узбек поторопил его:

– Всё давай, пашол, пашол, зачим мэнэ подставишь, я тэбэ плохо нэ дэдал!

И тогда Единственный крикнул на весь продол:

– Братья, это Единственный говорит! У меня помиловка, заменили на двадцать лет. Меня уводят наверх. Прощайте!

Узбек почти волоком тащил его наверх, чертыхаясь и матерясь на ломаном русском. И только тогда Единственный впервые за долгое время от души, беззаботно рассмеялся.

Его привели в камеру осуждённых, сидящих в ожидании этапа. Тут обычно задерживались ненадолго, не более, чем на месяц, и то только в исключительных случаях, если кто-то ждал наряд на дальняк.

Здесь Единственный встретил – Живого. Мальчишка смотрел на него, словно на пришельца с того света, и ничего не мог понять. Он долго хлопал глазами, потом бросился обнимать его.

– Это же Единственный!!! – кричал он, как сумасшедший. – Мы с ним вместе в трюме терпели.

В камере было человек десять-двенадцать. Все повскакивали со своих мест и начали обнимать Единственного, здороваясь с ним.

Единственного все знали, все слышали за его поступок с гайдамаками. Тюрма хотела иметь своего героя и боготворить его. Постепенно его образ обрастал дополнительными деталями, передаваемыми из уст в уста. О нём говорили, что он гроза ментов и козлов. И вот теперь этим парням посчастливилось увидеть его воочию.

Единственный в двух словах объяснил, что на него пришла помиловка и показал Живому копию. Братва суетилась, что-то положили на стол. Шутка ли, не каждый день доводится видеть человека, девять месяцев просидевшего в камере смертников. Тем более этот человек — кумир зэков, непримиримый борец за права заключённых.

Живой рассказал Единственному, что его последнее слово на суде сильно подействовало на вязаных, после него они поутихли. И прекратили беспрецедентные экзекуции в ШИЗО.

После суда над Единственным блатные собрались в одном бараке и позвали хозяина колонии и главного козла, представителя СКК. Зэки так и заявили, что если те не прекратят свои навороты, то все блатные пойдут вслед за Единственным – поклялись в этом. Одним словом, им удалось переломить зону. Блатные тоже не борзят. Зона так и держится на нейтралитете.

Живой рассказал и про Кайло. Того увезли в туберкулёзную больничку, он совсем дошёл, остались одни кожа да кости, начался открытый распад лёгких. Сам Живой приехал в тюрьму по визитке, захотелось сменить обстановку, покататься. Завтра утром его должны были увезти.

Они попили чаю, а есть Единственный отказался. Сославшись на то, что плохо себя чувствует, он лёг спать. Нервная система, которая не давала сбоев все эти минувшие месяцы, теперь подослабла. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями, наметить план дальнейших действий.

Единственный провёл в объятиях морфея, не просыпаясь, двое с половиной суток. Живой несколько раз подходил, прислушиваясь, дышит ли он. На третьей сутки, проснувшись в полдень, Единственный почувствовал в себе прилив сил, бодрость и энергию. И самое главное: впервые за долгое-долгое время он по-настоящему ощутил, что очень хочет есть. Он обнял Живого и спросил его:

– Тебя что, не увезли ещё?

– Я без тебя теперь никуда, – преданно заявил парнишка.

Тут Единственный продекламировал:

*Бродяга, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья!
И зоны вспрянут ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!*

Камера дружно захлопала в ладоши.

– Кто написал эти строки? – задал он вопрос Живому. Тот покоился на сокамерников, напрягая свой интеллект, и ответил: «Наверное, Есенин». Все рассмеялись. Единственный похлопал Живого по плечу, улыбаясь поправил: «Почти правильно сказал. Это Александр Сергеевич Пушкин написал».

По тюрьме уже разнеслась весть о том, что Единственного помиловали. В камеру одна за другой шли малявы с поздравлениями, вопросами, просьбами. Ему шли гревы отовсюду: со всей тюрьмы, от малолеток, из «монастыря». Переданного стало набираться столько, что Единственному пришлось разгонять всё это по святым для каждого истинного арестанта местам – в карцера, на больничку и этапникам, выезжающим на особый, крытый режимы.

Общими усилиями им удалось собрать самое необходимое и переправить по назначению для вышakov – смертников.

В тюрьме, как и всюду по жизни преступного мира, часто возникали беспрецедентные конфликтные ситуации, идущие вразрез с воровскими и даже общечеловеческими понятиями. К Единственному стали приходить малявки с просьбой разобрать тот или иной вопрос.

В силу своей отзывчивости и чуткости к чужой боли, чужой беде, он, естественно, не мог не отвечать на идущие к нему вопросы. Но всегда предупреждал, что, как и всякий земной человек, может ошибаться. Поэтому высказывает только своё видение вопроса, свой взгляд на ту или иную проблему. Единственный каждый раз давал понять, что его мнение можно принять во внимание. Но при этом будет ошибкой считать сказанное им непреложной истиной, аксиомой.

* * *

На дворе уже вовсю бушевала весна. Ей долго пришлось бороться с остатками зимы, никак не желавшей уходить. Шаг за шагом весна вытесняла зиму. Там и здесь на месте бывших сугробов растекались мутные лужи. Где снега было поменьше, чернели прогалы. Самое главное – вместе с солнышком пришёл дух весны, он проникал везде и всюду.

Проник он и в тюрьму – пройдя сквозь шестиметровые заборы с вышками на углах, миновав запретную полосу и ряды колючей проволоки и паутин. Поднырнул под металлические жалюзи на окнах, перепрыгнул через решётки и, пройдя сквозь разбитые стёкла, заполнил камеры, разливая божественный аромат и вселяя в сердца обитателей камер чистоту и надежду.

В один из таких дней, сразу после полуночи, Единственного вывел из камеры корпусной, пожилой старшина, и повёл куда-то по коридору.

– Куда вы меня ведёте? – спросил он у старшины.

– Там одна необыкновенно красивая женщина ждёт тебя с нетерпением. Она очень волнуется. У тебя, сынок, есть время побыть с ней до подъёма, – проговорил, улыбаясь, старшина.

– А вы меня ни с кем не перепутали? – на всякий случай спросил Единственный, недоумевая.

– Тебя ни с кем не перепутаешь, сынок. Я в этой тюрьме уже

тридцать пять лет служу и стараюсь зла не делать. Мы здесь тоже разбираемся в людях и всё про всех, кто сидит, знаем. Знаем, кто есть кто. Кто действительно чего-то стоит, а кто просто благует, пока серьёзного не коснулось. Ты не обижайся, сынок, но среди вас дерьма хватает, я тебе как старый дубак говорю. Вот и пришли.

Они остановились перед ничем не примечательной дверью. Старшина открыл её и легонько подтолкнул Единственного вперёд. В пустой одиночной камере, в пол-оборота к нему, сидела Светлана. Какие только мысли не пронеслись в его голове!

Они долго, без слов, смотрели друг на друга. Наконец Единственный нашёл в себе силы и сделал шаг ей навстречу. Светлана вскрикнула, раскинула руки, став похожей на большую красивую птицу, и бросилась ему на шею. Обнимая, рыдая и смеясь, она целовала своего ненаглядного.

Голова у Единственного закружилась, будто он был пьян. Ему стало трудно дышать. Он взял Светлану за руку, подвёл к шконке, усадил перед собой и в то же мгновение растворился в её больших синих глазах.

Она продолжала целовать его, что-то говорила. Они оба чему-то смеялись. Единственный с трудом понимал, о чём они говорили. Он достал из кармана крестик и, раскрыв ладонь, показал ей. И опять они смеялись как дети. Светлана задрала на нем футболку и пальцем отметила места, откуда вынула пули: «Вот тут, тут и тут. А две остальные – одна в бедре и одна в бок».

Она достала из сумки груды всяческих гостинцев и лакомств. В числе прочего там оказался и отличный французский коньяк, а также две хрустальные рюмки.

Единственный разлил коньяк по рюмкам. Одну подал Светлане, другую поднял сам. Он хотел произнести тост, но любые слова, приходившие на ум, казались ему слишком банальными. «После всего, что было, что могут выразить какие-то слова?» – подумал он и, взглянув на неё, молча выпил.

Светлана поняла его состояние и разом опорожнила свою рюмку, тоже без слов, лишь тряхнула головой, отбрасывая назад спадающие на глаза светлые волосы.

Потом они выпили ещё, также молча. Светлана отставила свою рюмку. Единственный опустился перед ней на колени.

Эта ночь для них была безумной. Что это было – едва ли можно найти подходящие слова. Единственный и Светлана делали то,

что могут делать только два израненных, обездоленных, жаждущих друг друга существа.

Они обнимали друг друга, целовали, гладили, покусывали, терблили, опять и опять соединялись в плоти. Но их души, словно две реки, вдруг слились в одну полноводную реку, и текли теперь вместе, но как бы отдельно от их тел, как бы забыв даже об их существовании.

Снова и снова Единственный овладевал бесконечно желанным телом, а Светлана предавалась и отдавалась ему с радостью и неиссякаемым желанием, крича и кусая до крови губы.

Какие забытые ощущения! С той поры как не стало мужа Светланы, её самого любимого человека, она не допускала к своему телу ни одного мужчины. И вот теперь, в одиночной тюремной камере, на металлической арестантской шконке, она, раз за разом отвергавшая и назойливые, и соблазнительные предложения, отдала себя ставшему самым близким, после дочери и мамы, человеку – Единственному.

Неисповедима душа любящей женщины!

Сразу же после того, как Верховный суд СССР отменил смертный приговор и Единственного подняли наверх, в общую камеру, он написал малявку Латвине.

Тюрьма мгновенно окружила его вниманием. Со всех продолов к нему по коням шли поздравительные малявки, «ракетки» с гостинцами. Паренёк-«коневой» не успевал перегонять коней из камеры в камеру. Принимая очередной груз, он, пользуясь своими правами, громко прочитывал имя адресата и, чуть заикаясь, прибавлял от себя: «Снова Единственному». При этом он смотрел на Единственного, как будто тот был Сыном Божиим, спустившимся вдруг на землю и решившим почему-то заглянуть к ним в камеру на огонёк.

Единственный и сам находился в состоянии, не поддающемся рациональному объяснению. То он расспрашивал всех: кто, когда, где и с кем был на зоне. То вдруг ему с каждым хотелось пошутить, поозоровать. Иногда он, казалось бы, беспричинно, вдруг взрывался громким хохотом. А порой откуда-то из тёмных глубин его звериного сознания медленно всплывало нечто шарообразное, наполненное странной, щемящей болью. В какой-то миг этот шар взрывался внутри его измученного мозга. Белый взрыв на долю се-

кунды ослеплял сознание Единственного и его самого. Он вскрикивал, останавливался, шаря вокруг руками, как слепой, пока окружающее не прояснялось и не принимало привычные очертания.

Сокамерники переглядывались, делая вид, что не замечают ничего необычного. Казалось, что каждый из них увлечён чем-то своим. В такие минуты находиться рядом с Единственным, да и просто смотреть на него со стороны, было страшновато. Многие, далеко не робкие, сами блатные с головы до ног, втягивали худые шеи в плечи и отводили взгляд в сторону, незаметно для него сочувственно вздыхали: «Натерпелся Единственный, озверел малость».

Ответ от Латвины пришёл без промедления. Надпись на маляве гласила: «Единственному литер «А». Чуть дрожащими пальцами он взял её из рук коневого, зубами сорвал с малявки целлофановую обёртку, и, развернув, принялся читать. Листочек бумаги был исписан красивым почерком, каждое слово было исполнено восторга.

«Ура! – писала Латвина, наверное, и кричала во весь голос, выводя эти три буквы. – Я верила, знала, я всем говорила, что тебя не посмеют расстрелять. Не могло быть, чтобы такого, как ты, расстреляли. Кто же тогда должен жить? Хочу встречи, немедленной встречи! Хочу повиснуть у тебя на шее, золотой мой! Я сама всё устрою. Боже! Ты услышал мои молитвы. Целую тебя, Единственный, – до встречи!»

Единственный сложил маляву, убрал её в карман и вновь принялся отмерять шаги по камере. «Да она напридумала себе чёрт знает что, вот непутёвая девчонка!» – поругал он её мысленно. Вдруг в голове у Единственного прояснилось, он понял, наконец, что с ним происходит и весело рассмеялся.

Его состояние невозможно было измерить ни в микронах, ни в каратах, ни в граммах, ни в тоннах. Оно не поддавалось ни одному известному человечеству измерению. Оно даже не ограничивалось пределами этой камеры.

Оно как бы проникало теперь за порог этой мрачной обители и растекалось по необъятной казахской степи, где вроде бы уже вечерело. Речушка за юртами, днём весело щебетавшая, теперь чуть примолкла, словно прислушивалась к бляению – возвращалась отара – и игривому ржанию жеребят, стремглав несущихся к юртам.

А степь бескрайняя, ковыльная – сама как огромная юрта под прекрасным куполом вечного синего неба!

Единственный осознал природу чувств, охвативших его. Это было – вновь обретенное право на жизнь.

Страшное это место – тюрьма! Человечество придумало его для самих себя. Люди понастроили каменные крепости с мрачными стенами. Повсюду решётки. А для того, чтобы к несчастным заключённым не проникал свет божий, придумали жалюзи – так называемый «баян». Железные двери, стальные засовы и – надзиратели, специально натасканные, как и их псы. Всё продумано изощрённым человеческим мозгом, всё – чтобы раздавить психику любого попавшего сюда.

И Единственный вспомнил вдруг о «вологодском конвое», печально знаменитом на весь арестантско-уголовный мир. Этих конвоиров подбирали специально – все они были из глухих вологодских лесных, пропахших болотами, деревень. С детства насквозь пропитанные сивухой, оторванные даже от советской «цивилизации», они были лишены нормального школьного образования. Зачатые пьяными родителями в тёмных рубленых избах, зачастую сами по пьянке трахавшие своих же сестёр, матерей, тёток, крестниц, племянниц, эти здоровенные как на подбор дебилы по призыву приходили служить во Внутренние войска. Из них-то ГУЛАГ формировал печально известный вологодский конвой.

Как правило, это были высоченные парни, рыжие либо белёсые альбиносы, с красными как у кроликов глазами и белыми ресницами. Им внушали одно: зэк – не человек, а скотина. С ним можно делать всё что угодно, но убивать не обязательно.

Им, человекоподобным роботам, чужды были любые духовно-нравственные ценности. Даже конченные преступники, отбывающие срок за самые гнусные злодеяния, с ужасом переходили в руки вологодского конвоя, заранее проклиная свою, столь безжалостную по отношению к ним, судьбу.

Эти конвоиры могли пойти на всё. Для начала они выворачивали наизнанку скудные арестантские торбы, забирая понравившееся себе. Остальное нередко просто выбрасывали. Потом начинались экзекуции. Первого попавшегося под руку выводили в проход, прикладами ставили на колени и заставляли мяукать, лаять, хрюкать, кукарекать, понукая несчастного увесистыми пинками, сопровождаемыми диким тупым хохотом. Тех, кто пытался

хоть как-то уберечь своё человеческое достоинство, били так, будто это был их личный враг. Такого бедолагу на протяжении всего пути запирали отдельно, лишая его пищи, воды, не выводя в туалет. Ещё изощренней был такой приём: они выдавали арестантам ржавую пересолённую селедку, а потом – ни грамма воды. И при этом радовались как дети.

Чего только не предпринимал арестантский мир! Сколько их, вологодских, резали! Сколько заключённых погибли потом под их безжалостными прикладами и подкованными сапогами! Сколько лагерей объявляли голодовки! Но всё было бесполезно. Вологодский конвой – это грозный кованый каблук блестящего хромового Гулаговского сапога.

На ум Единственному пришли строки Высоцкого:

*Вологодского – с ног
И – вперёд головой.*

*Девять граммов горячие,
Как вам тесно в стволе!
Мы на мушках корячились,
Словно как на войне...*

Уж неведомо, какими чарами одурманила Латвина корпусное или, бери выше, тюремное начальство! Скорей всего, золотом посыпала. Ведь недаром говорят: «Посыпь в реку золото – и брод откроется».

Вечером, как обычно, в шесть часов произошла смена. Через час, не более, открылась кормушка и крючковатый, узловатый палец дубака поманил Единственного. Единственный выглянул. Пожилой незнакомый дубак сунул ему записку и тут же захлопнул за ним окошечко. В записке было всего одно лишь слово. Однако по содержанию было оно столь объёмно и значимо, что Единственный заметно разволновался. Почерком Латвины было выведено: «Сегодня!»

«Да ведь она же меня никогда не видела. Что она там себе понапридумывала? В общем, никаких с ней вольностей», – решил для себя Единственный.

Он попросил у ребят зеркальце. Ему достали откуда-то из внутренних ватного матраца осколок толстенного, видно трельяжно-

го, зеркала. Единственный, присев на шконку, принялся внимательно разглядывать своё лицо, словно увидел себя сегодня впервые.

«Ну, что ж!» – вздохнул он, закуривая очередную сигарету.

Густой дымок потёк сквозь его пальцы, будто обволакивая их морозным воздухом. В памяти замелькали маленькие чёрно-белые верстовые столбики, что томятся вдоль всякого железнодорожного полотна.

То был спецэтап. Их тогда во время всесоюзной келешовки везли куда-то за Иркутск, на лесоповал.

Рядом с Единственным ехал старик-чеченец – небольшого роста, высохший, но крепкий, как корень чинары, злой и весь как бы окаменелый. Старик немного подволакивал ногу, поэтому не расставался с тросточкой. Звали его Имран Гучиев.

По тем годам дело его было нашумевшим. Сам Имран и его пять сыновей, оснащённые армейским оружием, атаковали поочередно три инкассаторские машины, забрав очень большие деньги. На третьей машине им пришлось стрелять, поэтому на совести старика висели четыре трупа.

Все сыновья были в розыске, а старику с барской руки полной мерой отвесили двадцать лет. Теперь он ехал в неведомые сибирские края и слушал монотонную песнь колёс. А по обе стороны долгого его пути текла бескрайняя, вечнозелёная тайга-матушка.

Ещё с царских времён сюда длинными вереницами тянулись пешие этапы, разносившие над Сибирью-матушкой кандалный звон. Их сопровождали ехавшие на лошадях солдаты. Этап замыкали гружёные тощим арестантским скарбом повозки.

Этапы порой переправлялись месяцами. Женщины шли вместе с мужиками. Особо приглянувшихся солдаты брали с собой на повозки и тут же, под занудный скрип давно не мазанных колёс, по очереди драли их, как бы взимая плату за провоз.

Сколько тайн хранили эти молчаливые, угрюмые таёжные буреломы! Во времена столыпинского переселения сюда тянулись сотни возков, гружёных немудрёным хохляцким, либо кацапским добришком. И выходили на большую дорогу удалые сибирские мужики с кистенями, поджидая возки за глухими буераками в таёжной глухомани.

И откуда только бралась звериная ярость, когда хрустели мужицкие косточки под ударами их дубин, топоров, кистеней? Что

можно было нести – уносили, кто из потерпевших успевал – убегал. А потом прямо возками уводили всё добро в глухомань – попорбуй сыщи. Да и кому это надо было – искать? И баб уводили с собой. Бабы – народ нужный. И работа в хозяйстве будет кипеть, и детишек они нарожают, и опять же под боком всегда, тешить будут лихое сибирское мужское естество.

Спецэтап привезли в одну из многочисленных зон под Иркутском. Холодным таёжным утром, когда над покряхтывающей тайгой стояло голубое марево, этапников разгрузили и посадили на снег. Снег был рассыпчатый, радужно поблёскивающий, совсем не такой, как в родном Казахстане.

За дорогу почти и не говорившие меж собой Единственный и старик Имран как-то незримо сблизились.

Как бывает это во всех лагерях, они прошли переключки, пересчёты и, наконец, под надрывно-злобный хриплый лай бешеных лагерных псов вошли – сквозь широко распахнутые ворота – в предзонник.

Хорошо, что хоть тут не было всей этой карантинной галиматии, как в южных зонах. Этап быстренько разобрали по баракам завхозы. Единственный со стариком попали в один барак, а всего с этапа их было шестеро.

Во всех таёжных лагерях тогда царил межнациональный беспредел, продуманный в кабинетах ГУЛАГа и теперь претворявшийся в жизнь по всей заснеженной Сибири-матушке. Этапы с юга местные ээки встречали с угрозами и насмешками. Вовсю катил принцип: «Я – товарищ бригадира».

Вечером вновь прибывшие собрались вшестером в одном «кутке», обсуждая зверинец, в который их занесло. Ни один из местных порядочных арестантов не подошёл к этапникам, не встретил, как принято в их миру. Лишь завхоз, выдавая постельные принадлежности, предложил:

– Есть на продажу чай, водка, педерасты. У кого есть хрусты – заходи, поторгуйся, – и улыбнулся такой плодово-ягодной улыбочкой, что Единственного замутило. Он поспешно отвернулся, боясь, что его стошнит.

В проходе, рядом с весело потрескивающей печкой, расположилась местная братва. С лагерной администрацией у них, видно, всё было налажено. На низеньком столе громоздились снедь и выпивка. Братва сидела, отвернувшись от этапников, обнажив синие

наколки во всю спину. Никто и не подумал предложить прибывшим перекусить с дороги.

Единственный понял. Сейчас они поддадут газу, а потом начнут разборки. Было ясно, что они решили сразу поставить приезжих на место.

Молодой паренёк, приехавший вместе с Единственным, возмущённо произнёс:

– Они че к нам спиной, как будто мы... – его трясло от возмущения.

– Успокойся, там видно будет, – осадил его пожилой зэк из Карлага.

– Они нас не трогают, пусть бухают.

Однако никому из приехавших не нравилось то, что здесь назревало. Единственный понимал, что ждать, пока к ним придут – это значит заранее отдать выигрышные карты противникам. Такой расклад его не устраивал.

– Курицу уже ошипывали, а она ещё надеялась, что её не бросят в кипяток, – решительно произнёс он. – Нет смысла ждать, когда они, бухие, придут качать нам. Я пойду и задам им несколько интересующих меня вопросов.

Имран, всё это время молчавший, также без слов взял свою тросточку и, подволакивая правую ногу, потянулся вслед за Единственным. Остальные переглянулись между собой и тоже двинулись в сторону нехлебосольных хозяев.

Единственный подошёл и поздоровался. Братва взглянула на него настороженно.

– Ну здорово, здорово. Что скажешь нам, мил человек? – произнёс один из них, весь сплошь татуированный.

Единственный обезоруживающе улыбнулся, нейтрализуя их косые взгляды.

– У нас на Востоке говорят: если гора не идёт к Магомету, то Магомет сам идёт к горе.

– И чего же ты, Магомет, хочешь от горы?

– Того, что необходимо каждому арестанту! Немного тепла и взаимопонимания. А пайкой и сроком мы все обеспечены.

– Вы только приехали и уже хотите к костру подвинуться. А мы ещё не знаем, можно ли сидеть с вами у одного костра. Что-то от всех приезжающих с юга говнецом пахнет, – высказался тот, что был помоложе, сидящий рядом с «главшпаном».

– Ты за базар отвечаешь? – взорвался молодой паренёк с этапа.

– Заглохни, тебе ещё слова не дали.

– А ты че, прокурор?

– А за прокурора ты сейчас ответишь и, может, даже мягким местом!

Татуированная братва поднялась – кроме одного, главного. В руках у них как бы сами собой оказались здоровенные ножи. Тот, что сидел рядом с главарём, в сопровождении дружков с ножами в руках направился к молодому этапнику.

Единственный встал на их пути, заслонив парнишку собой. Он опять улыбнулся во весь рот, обескураживая воинственно настроенных братков, сбивая их с толку.

– Сибиряки, да ещё с ножами! Вы словно на медведя собрались, – и тут же, сменив тон на серьёзный, продолжил. – Мусора спецом стравливают нас друг с другом. Они в своих целях затеяли всесоюзную келешовку. Вы только подумайте: кто выиграет от того, что мы перережем друг друга. Представьте себе, что ваши этапы сейчас таким же образом встречают в южных зонах. Что тогда получится? Какая разница, что вы местные, а мы – с Азии. Все мы одинаковые зэки, и в нашем мире нет места национализму. Мы друг друга оцениваем по поступкам, а не по национальной принадлежности.

– Ты всё сказал? – глухим голосом спросил пожилой зэк, главарь. – А теперь слушай сюда. Блатовать вам здесь мы не позволим. В этом бараке я бригадир. Будете работать и выполнять норму. Кто не станет работать, тот останется в тайге-матушке, – немного помолчав, он добавил. – Навсегда. Здесь закон – это бригадир, запомните. И идите ложитесь спать, а утром – на работу.

Опешившие этапники буквально потеряли дар речи. Такого им в зонах ещё встречать не доводилось. Навидались они всякого, но такого не было никогда.

Лишь старик Гучиев вдруг, впервые за всё время их знакомства, улыбнулся, успокаивающе похлопал Единственного по плечу и побрёл в угол, где этапникам дали места. Единственный и остальные молча пошли за ним.

В проходе у Единственного все шестеро уселись друг против друга и молча закурили. Чеченец, поковырявшись в своей торбе, достал пятидесятиграммовую пачку цейлонского чая и попросил молодого этапника сварить чифир.

– Угощаю вас от души. Больше не получится.

Он не совсем хорошо владел русским, поэтому Единственный не обратил тогда внимания на последние слова чеченца. Только потом он поймёт, что этими словами хотел сказать старый Имран Гучиев.

Они попили чифир, который немного взбодрил их после дальней дороги и всего пережитого. Теперь было самое время прилечь отдохнуть, но всех мучил ещё один нерешённый вопрос.

– Так что, блатные, работать будем? – спросил Единственный. Спросил не затем, что сам собирался работать – он знал, что не будет. Не потому, что ему запахло, и не потому, что лентяй, а потому, что тут уже «закусилось», и он знал, что пойдёт до конца.

– Ты что, Единственный? Среди нас мужиков нет, – ответил за всех пожилой зэк из Карлага.

– Да? – будто удивившись спросил Единственный. – Ну, давайте тогда поспим, – предложил он и стал готовиться ко сну.

Чеченец сделал омовение, совершил намаз и прилёг на кровати, расположенной рядом. Он долго кряхтел, устраиваясь поудобней, а потом вдруг сказал Единственному:

– Мои сыновья в бегах, но рано или поздно их поймают. Сейчас те трупы, которые были в деле, висят на них. Я заберу их себе, чтобы молодым не дали вышки. Я старый, а вам молодым жить да жить надо, – высказал он и замолчал.

Единственный тоже не стал ничего говорить в ответ, лишь негромко вздохнул. Он быстро заснул и, хотя очень устал после дальней дороги, спал, как всегда, чутко – вполуха.

В какой-то момент в дремоте он услышал какие-то тупые удары и хруст. Не желая просыпаться, подумал: «Наверное, снится мне это». Но всё же открыл глаза и глянул на кровать старика.

Чеченца там не было, лежала лишь его трость. Единственный стал цепким взглядом прощупывать тёмный спящий барак. Вдруг до его слуха явственно донёсся чавкающий звук очередного удара. Он бросил быстрый взгляд в противоположную сторону и обомлел. Старый Имран ходил по барaku и широкими взмахами топора рубил спящих людей. Единственный заметил, что многие в бараке проснулись, привстали и замерли, оцепенев.

Чеченец, прихрамывая, вернулся на своё место. Спокойно положил рядом с собой окровавленный топор, на который упал тусклый луч света от мерцающей ледяным холодом луны. Старик промолвил, обращаясь к Единственному, хладнокровно, будто только что закончил очень нужную работу:

– Всех семерых кончил. Пойду умоюсь.

Старик поднял топор и захромал в сторону умывальника. В бараке стояла тишина. Пахло человеческой кровью.

Умывшись, Имран вернулся, присел у кровати на корточки и стал читать молитву. Читал долго, еле слышно произнося гортанные звуки, взывая к Аллаху, затем провёл обеими ладонями по лицу и поднялся на ноги.

– Пойду сдаваться, – произнёс он, застёгивая бушлат на все пуговицы. Он закинул сидор за плечо, взял в правую руку свою неизменную трость, а в левую – топор. – Ты хороший парень, будь здоров.

Он повернулся и направился к выходу. Хлопнула дверь, и в бараке повисла гробовая, гнетущая тишина.

Единственный сунул босые ноги в валенки, набросил на плечи бушлат и вышел на крыльцо барака. Зона была как вымершая.

Сверху, с тёмного бархатного неба, кружась, словно опускаясь на невидимых парашютах, медленно падали редкие снежинки. Один единственный фонарь слегка покачивался на металлическом крюке. Он издавал противные скрипучие звуки, рассеивал вокруг себя дрожащий и тусклый жёлтый свет.

Старый чеченец Имран Гучиев шёл в сторону освещённой вахты с тросточкой в руках. Обычно сутулый, сейчас он шёл удивительно прямо, и даже его хромота была незаметна. Топор он, видно, забросил куда-то, левая рука была спрятана в кармане бушлата.

Оцепеневший Единственный стоял на крыльце, глядя на удаляющуюся спину старика, и проклинал всё на свете. Свою несложившуюся жизнь, ментов – этих многоликих рыжих мангустов, лагеря и тюрьмы, разбросанные по стране как грибы-поганки, наплодившиеся после дождя.

Старик уже скрылся в поглотившей его темноте, слышен был лишь скрип снега под его сапогами.

После отбоя всё тот же пожилой дубак вызвал Единственного на продол и повёл по коридору. Он сопровождал Единственного к кабинету начальника медслужбы тюрьмы. Открыл дверь и посторонился, пропуская его внутрь.

Единственный шагнул вперёд и обалдел от увиденного. За хорошо сервированным столом сидела девушка изумительной, редкой красоты. Единственному вначале даже не поверилось, что это явь. Он похлопал глазами, но дивная пери не исчезла. Напротив, она легко поднялась с места и качнулась навстречу Единственному.

Одета она была в ослепительной белизны спортивный костюм, прекрасно облегающий её гибкую фигуру. Он не скрывал дерзко выпирающую грудь – словно два огромных яблока были спрятаны у девушки за пазухой. Тонкая талия перетекала в прекрасные бедра, которые, очертив положенное, переходили в длинные стройные ноги. Иссиня-чёрные волосы, волнистые, распущенные, были перехвачены через лоб алой ленточкой. Чёрные брови вразлёт – словно два крыла вольной степной птицы – оттеняли огромные чёрные глаза под густыми бархатными опахалами ресниц.

Единственному показалось, что эти широко распахнутые глаза смотрят на него с каким-то изумлением, чуть испуганно. Под тонким, изящно очерченным, чуть вздёрнутым, носиком с маленькими, нервно подрагивающими ноздрями, рдели алые лепестки распустившейся сказочной розы – полоски чуть влажных губ. Они приобнажали изумительно ровные крупные белоснежные зубы.

Два лёгких порхающих шага, и красавица оказалась рядом с ним. Она чуть виновато взглянула на него и обвила руками его шею.

В жизни Единственному встретилось не так уж много женщин. Его первая любовь – Инга. Остальные же отношения – лишь краткие встречи в тюрьмах, на пересылках, на дальних этапах в «Столыпине». Связи те были быстрыми, как диктовали время и обстоятельства, чем-то сродни вспышкам молнии в душной и тёмной июньской ночи.

Единственный до того разволновался, что совсем забыл о том, что сейчас они находятся в тюрьме, а не на воле. Латвина взяла его за руку и повела к столу. Она усадила его на стул, обошла стол и села напротив, внимательно его разглядывая. Почти забывший, что это за чувство – смущение, Единственный невольно смутился и растерялся.

– Вот таким я тебя и представляла: высоким, сильным, мужественным, – заявила красавица-цыганка, заставив отнюдь не робкого Единственного залиться пунцовым румянцем – тоже впервые за долгие годы.

Ему удалось всё-таки собраться с духом. Он взял со стола бутылку шампанского и откупорил её – да так неудачно, что весь облился. Латвина схватила со стола салфетку и бросилась его вытирать. Она заразительно смеялась.

– Боже! Да ты совсем не умеешь открывать шампанское.

– Ты знаешь, девочка, я уж и не помню, когда я его пробовал последний раз. Закон подлости: все последние годы – как Новый год, так кумовья гасят меня в трюм. Впрочем, не буду о плохом. Рассматривая твои фотографии, я поражаюсь – какой может быть красота! Увидев же тебя сегодня, клянусь, я потерял дар речи.

Он заметил, как заалели ямочки на белых щёчках Латвины.

Из тех писем, что им удавалось передавать друг другу, Единственный узнал многое о жизни дочери барона. В своих письмах он старался направлять её мысли в нужное русло. Она многим с ним делилась, советовалась, интересовалась его мнением. Он как-то вдруг рассказал всё, без утайки, о себе.

И когда писал он о себе, то впервые по-настоящему поразились жизни своей волчьей. Он словно руками содрал с живой своей жизни кожу, и увидел её, как она есть, и был поражён её неслаженностью. Заглянул он тогда и в душу свою, и как бы со стороны увидел её – корчащуюся, судорожно сжимающуюся, истекающую кровью. И тогда-то, в камере смертника, он в первый раз за долгое время почувствовал на губах солёно-горькие слёзы. И завыл утробно и протяжно, по-волчьи, от этой боли.

Он вдруг вспомнил тот день. А сейчас, при взгляде на Латвину, его сердце наполнялось чем-то большим и добрым. Единственный даже позавидовал тому, кто станет её избранником.

– Ты опять ушёл в себя, Единственный. Пожелай нам что-нибудь!

Латвина кокетливо улыбалась, протягивая навстречу ему свой бокал. Шампанское бледно-жёлтого цвета искрилось, маленькие пузырьки воздуха неспешно, стайками, всплывали, чтобы воспарить затем – в никуда.

– Я несказанно рад нашей встрече, девочка моя! Я даже не представляю, как тебе удалось устроить это, – он широким жестом обвёл стол. – Весь этот день как праздник. Я думаю, что Аллах и так многое сделал для меня, отменив приговор, а тут ещё наша встреча. Я чувствую себя баловнем судьбы. Спасибо тебе, девочка моя, за всё, за твою человечность. Ты не дала мне зачахнуть там внизу, в проклятой камере вышakov. Я хочу выпить за твоё красивое сердце, за то, чтобы ты сама скорей вышла отсюда. Но главное – мне

очень хочется, чтобы ты по-настоящему полюбила. За твою будущую любовь, девочка моя!

Она слегка коснулась своим бокалом его бокала. Было заметно, что она погрузнела.

– Не сказала тебе сразу, хотела сделать сюрприз. Меня давно уже могли освободить, ещё месяц назад. Отец всё развёл с ментами. Я просила его, чтобы он подождал, сказала: так надо. Ждала ответа Верховного суда. Я знала, чувствовала, я верила, что приговор отменят, и хотела увидеться с тобой. А это! – она небрежно кивнула в сторону стола. – За хорошие деньги тут и не такое можно устроить.

Латвина враз опорожнила свой бокал, взяла со стола яблоко и вонзила в него белейшие свои зубки, да так, что брызнули янтарные капли сока. Она подошла к Единственному и протянула ему яблоко, повернув тем местом, где только что откусила сама.

– Откуси тут, из моей руки.

Единственный впился зубами в яблоко, специально при этом чуть прикусив её мизинец. От неожиданности Латвина отдёрнула руку, но яблоко не выронила, а погрозила Единственному пальчиком и весело рассмеялась. Затем она обвела розовым язычком пунцовые, как переспелые вишни, губы. Дыхание её было и глубоким, и жарким.

Единственный поднялся со стула. Он прекрасно понимал, что девчонка решила отдаться ему. Он же при всей её обворожительности не мог переступить через самим установленное табу. За время пребывания в подрастрельной камере Единственный, от письма к письму, стал воспринимать её как младшую вздорную, хотя и любимую сестрёнку.

Латвина потянулась к нему, прогнувшись в талии.

– Я хочу, чтобы ты был у меня первым! – прошептала девушка. – Возьми меня, Единственный...

Он почувствовал, как в мозгу застучали сотни микроскопических молоточков, всё более и более ускоряя темп. В паху приятно потеплело – и уже снизу вверх начала подниматься горячая волна...

Он сильно тряхнул головой, взял Латвину за руку и повёл к обшарпанному дивану. Усадил и, не выпуская её руки из своей, ощущая тепло горячей ладони, напряжённость хрупких пальцев, заговорил быстро и убедительно:

– Золотая моя девочка! Я прошу тебя, успокойся и выслушай. Уверен, что ты поймёшь меня. За те долгие месяцы, что я провёл там внизу, ты была единственным лучом света, проникавшим ко мне в камеру. Ты освещала её. Только ты давала мне силы выстоять, и я держался. Я сберёг все твои письма. Пройдут годы, и мы с тобой вместе их перечитаем. Я сирота, у меня никогда не было сестрёнки. Я всегда мечтал о ней, и в моих мечтах она была такой красивой, как ты. Благодаря тебе и только тебе я вынес весь этот кошмар. Я прошу: во имя всего святого, что есть у тебя, у меня, у нас с тобой, поцелуй меня как старшего брата и с этой минуты стань мне сестрой. И я клянусь тебе, что буду любить тебя и заботиться о тебе не меньше, а больше твоих родных братьев.

Латвина смотрела на него. Огромными были чёрные-чёрные её глаза, по уголкам этих глаз росли, тяжелели прозрачные бусинки-слёзы.

– Прости меня! Прости меня, Единственный. Я тут, в тюрьме, наверное, уже свихнулась. Я же чувствовала по твоим письмам твоё ко мне отношение. Ты, хотя прямо и не писал, но понемногу подводил меня к этой мысли. Какая же я глупая, какая вздорная девочка!

Слезинки-бусинки, радужно переливаясь, дрожали на её густых, загнутых кверху ресницах. Латвина потянулась к нему, обвила свободной рукой его шею. Опалила жаром, поцеловав в левую щёку, и прошептала:

– Я согласна, Единственный. Будь моим старшим братом.

Потом она отстранилась. Прямо на глазах у Единственного эта девчонка, ещё не женщина, всего минуту назад страстно желавшая его, превратилась в обворожительно-красивую, но холодную Снежную королеву.

– Ну что ж, – провозгласила она. – Я с удовольствием хочу поднять тост за своего старшего брата – такого, как ты, Единственный. О тебе по тюрьме складывают легенды, и я горжусь, что у меня есть теперь такой брат. Разливай шампанское, а я спою тебе и станцую.

Латвина вскочила с дивана, и это было нечто!

– Эх, давно я не пела! – воскликнула она. – И не танцевала! Спой, спой, чавэлла, песню Рады. Видел фильм «Табор уходит в небо»? Эх, да где ты мог его видеть! – она, как бы прощая его, махнула рукой.

Единственный во весь голос расхохотался.

– А вот и видел! В таёжной зоне сидел, когда показывали! Я ещё влюбился в неё, в Раду.

– Ну вот и люби свою Раду! – Латвина показала кончик языка, поддразнивая его. И вдруг запела высоким переливистым голосом, казалось – звонкий бубен сопровождал её песню, и пошла по кругу, заламывая в танце руки.

– Эх, не в то я одета, девка! Но ничего, в следующий раз в длинном красном платье для тебя станцюю. Опалеешь, Единственный!

А песня звучала, голос звенел. Слова лились, наполняя комнату праздником. И словно не было ничего: ни сроков, ни лагерей, ни камеры вышakov – а только её песня и этот чудный танец. Единственный хохотал, прихлопывал в ладоши, приговаривая:

– Да, да, девочка моя золотая! – и кричал, забыв что он в тюрьме. – Какая же ты красивая!

– Да, достанусь я кому-то! – смеялась Латвина в ответ, как охапки цветов, рассыпая по комнате свой смех. – Думала, что волку хищному, а теперь знаю: орлу вольному!

– Дай Бог, девочка! Сам на свадьбе буду! Мухе не дам сесть на твою голову, пылинке не дам упасть. Лучшую машину тебе пригоню в подарок! – кричал Единственный, совсем позабыв уже, что расстрел-то ему заменили двадцатью годами тюрьмы. – Давай выпьем, сестрёнка! Первый раз за столько лет сегодня счастливым себя почувствовал. Давай за тебя, бриллиантовая моя!

Он поцеловал девушку в щёку и, чокнувшись, опрокинул шампанское в себя, опустошив бокал до дна. Они ещё долго ели и пили. Латвина кормила Единственного, почти насильно заталкивая дары «скатерти-самобранки» ему в рот.

– Поешь, ну поешь, ради меня. Ментам столько денег отвалила. Братья всё из ресторана привезли, вместе с посудой и приборами.

Единственный чувствовал, что уже опьянел, но опьянел как-то по-доброму, по-хорошему. Совсем отвыкший от спиртного, сегодня он пил с большим удовольствием, смакуя.

– Спой ещё, сестрёнка! – просил он Латвину, и она не отказывала, пела. – Какие жгучие песни у цыганок! – хвалил он. – За душу берут, в дрожь бросают. Эх, мне бы такую жену! Освободился бы и больше не сидел. Целыми днями ходил бы следом и любовался. А что ещё в жизни надо? – спрашивал он вслух сам себя.

– Я тебе подберу жену – красивую, каких свет не видел. А если сам найдёшь... – она погрозила пальцем с бриллиантовым перстеньком. – Дай слово, что не женишься, пока я на неё не взгляну.

– Даю, даю тебе слово, сестрёнка! – хохотал он.

В камеру Единственный вернулся утром – довольно пьяный и бесконечно счастливый.

Тюремное начальство не хотело долго держать Единственного у себя. Уже слишком популярным становился этот заключённый. По тюрьме давно разнеслась весть о том, что один из авторитетнейших воров в законе по кличке Сатана передал Единственному свой воровской наказ.

Со всей тюрьмы на имя Единственного шли малявки. Ему писали зэки из окрестных лагерей. К нему обращались с вопросами, с просьбами развести конфликтующие стороны. Многим хотелось знать его мнение по поводу того, что происходило в той или другой зоне.

Имя Единственного определённо уже было овеяно славой. Он сам постепенно превращался в легенду. Его поступки обсуждали в мрачных бараках разных лагерей. Многие блатные, терпигорцы и отчаянные бродяги по арестантской жизни, сами прошедшие горнила ГУЛАГа и «Крым и Рим», невольно склоняли головы перед авторитетом Единственного.

За годы пребывания в том, что называли советской пенитенциарной лагерной системой, Единственный ни разу не позволил себе компромисса со своей совестью. Ни единого раза он не пошёл вразрез со своими принципами.

В какой бы зоне ни появлялся Единственный, он сразу же начинал налаживать движение в замороженный дубаками изолятор, БУР. Своё личное, кровное отсылал больным на крест. Со всякой отоварки отправлял с этапниками грёв на туберкулёзную зону. Личным примером он действовал на массы заключённых.

Не угасала в нём любовь к спорту, возникшая ещё с подростковых лет. Верный своим принципам, Единственный продолжал ежедневно тренировать своё тело, не обращая внимания на голод и холод. Он гнул свою линию – будь то камера, зона, автозак или «Столыпин».

Своей целеустремлённостью он заражал окружающих. Порой даже старые чахоточные зэки, выхаркавшие по трети своих погубленных болезнью лёгких, которым жить оставались считанные недели, наполнялись исходящей от Единственного энергией. Отставив в сторону кружку с чифиром, единственным удовольствием зэка,

они принимались кое-как отжиматься от пола, смешно задирая кверху тощие зады.

Единственный всегда находил слово, чтобы каждого поддержать и подбодрить. В Писании сказано: «Есть время раскидывать камни и время собирать их».

Вот и у Единственного наступило время собирать камни. Теперь его имя работало на него. Он ещё не был коронован вором в законе, но обладал тем не менее весомым словом. Он весь, от головы до пят, был уже дитя воровской системы.

Латвину сразу же после их памятной встречи освободили вчистую. Теперь она, через подкупленных ею дубаков, заваливала Единственного всевозможной снедью, дорогими винами и коньяками. Пару раз она устраивала короткие с ним свидания. Встречи происходили радостно, бурно. Латвина бросалась и повисала у Единственного на шее, целовала его в щёку, а потом хвасталась. Хвалилась она новым нарядом, золотыми перстнями и серьгами тонкой работы с бриллиантами и природными камнями – сапфиром, изумрудом, гранатом.

Она собственноручно надела Единственному, несмотря на все его протесты, золотую массивную цепь с кулоном тонкой дорогой работы. Кулон представлял собой прямоугольный природный камень зелёного цвета – цвета знамени ислама, обрамлённый витым золотом. На нём платиновый волк, задрав голову, выл на платиновую луну. Под луной небольшой чистой воды бриллиантик изображал далёкую звезду. На обратной стороне кулона была выгравирована надпись: «Брату Единственному от любимой сестрёнки» и дата.

– Да ты что делаешь, проказница! Я в жизни своей ещё не носил золото. Это я тебе должен делать подарки!

– Ничего, освободишься, устроишься работать проходчиком на шахте. И с первой зарплаты купишь мне бриллиантовое кольцо!

И они хохотали во весь голос над её шуткой. Единственный был смущён и тронут подарком до глубины души.

В один из дней Латвина привела с собой на свидание старшего брата. То был среднего роста, красивый, смуглый, с хорошо уложенными выющимися чёрными волосами молодой человек. Высокий открытый лоб подчёркивали чёрные, вразлёт, смелые брови. Взгляд умных, цепких чёрных глаз оцупывал Единственного с не-

скрываемым интересом. Брат был похож на Латвину: тот же изящно очерченный нос, только под ним красовались тонкие чёрные усики.

Парень был дорого и модно одет. На правой его руке сверкал массивный золотой браслет. На левой – часы с тонким золотым браслетом. На среднем пальце красовался небольшой перстень с бриллиантами, обрамляющими природный гранат, на котором лазерным лучом было выгравировано изображение: «Мадонна с младенцем-Христом на руках». Очень тонкая работа.

Парень протянул Единственному руку и представился:

– Руслан! Латвина мне все уши прожужжала о тебе, весь дом на дыбы подняла. Там, говорит, мой старший брат сидит, а вы даже не съездите к нему, не проведаете, не познакомитесь. Она тебя так любит.

Латвина не смутилась, услышав эти слова. Она дурачилась, прижималась к Единственному и грациозно выгибалась, комично изображая, как вчера к ней в диско-баре подкатывал какой-то фрейер. Они весело смеялись и пили красное французское «Бордо», закусывая его шоколадом.

– Бессовестный, – укоряла Единственного Латвина. – Мне дубаки тебя заложили: встречаешься с какой-то дубачкой!

Единственный растерялся, не зная, что ответить. Латвина подловила его, как нашкодившего мальчишку, поставила в неловкое положение. Вместо ответа он лишь засмеялся, не переставая поразжаться ей.

Действительно, ещё дважды к нему приходила Светлана. Один раз она пришла в форме, которая очень ладно сидела на ней. Она оправдывалась:

– Не успела даже заскочить домой, переодеться. Тебя не очень смущает, что я в форме?

А Единственный уже валил Светлану на диван. Он задрал на ней юбку и одним движением сорвал чёрные кружевные трусики, обнажив белые как молоко бёдра и золотой треугольник волос на лобке. Потом он навалился на Светлану, больно впиваясь в её теплые, полные, вкусные губы, и вошёл в неё весь, без остатка.

Светлана негромко застонала, обвила его руками и жадно отдавалась в его власть. Единственный словно сошёл с ума, он вонзался и вонзался в мягкую, обволакивающую плоть. Наконец, извергнув-

шись в неё, он неожиданно зарычал. Наверное, так же рычал бы дикий зверь, набивший свою утробу сытным свежим мясом.

Единственный отстранился от Светланы. Она, всё ещё вздрагивая, спросила вдруг полушёпотом:

– Что с тобой? Почему ты сегодня со мной так...

Он не знал, что ответить. Хотя понимал, почему он с ней «так». За время странствий и мытарств по зонам и лагерям вид этой формы стал совершенно ненавистен ему. Сегодня это отношение провалилось на Светлану: она пришла в форме. Что-то в Единственном возмутилось, и он не сумел сдержать себя. Всё получилось так, хотя ему было жалко Светлану и немного стыдно перед ней.

Светлана полюбила Единственного, что называется, с первого взгляда.

Ей пришлось применить всё своё врачебное искусство, чтобы вырвать его из костистых лап смерти, уже предъявившей свои права на тяжело раненного заключённого. Светлане удалось совершить, как ей самой казалось, невозможное. Она молила Бога и просила, чтобы Он услышал. Просила сохранить Единственному жизнь и благодарила Всевышнего, когда её любимый стал понемногу поправляться, медленно, шаг за шагом, выходить из комы, возвращаясь к жизни.

А потом, когда Единственного увезли и осудили к высшей мере, Светлана ночами скулила как сука, потерявшая только что родившегося щенка. Она до крови кусала себе губы и руки. Она страдала от боли, сидящей в ней настолько глубоко, что не было сил вытянуть её оттуда. Проклинала свою жизнь и себя, влюбившуюся вдруг в подрастательного зэка. Ведь столько же было вокруг мужиков-офицеров, что похотливыми взглядами провожали её в полной мере по-бабьи расцветшую фигуру.

Кудри Светланы, выбиваясь из-под пилотки золотыми колечками, тяжёлыми локонами спадали на погоны. Из-под изогнутых, как крылья парящей чайки, бровей искрились синие глаза. Строгий носик был усыпан чуть заметными глазу веснушками, брызгами солнца. Пунцовые губы были свежи, щёки – украшены милыми ямочками.

Вся она была будто младшая дочь солнца. От неё самой, от её фигуры, исходило тепло, притягивающее жадные взоры мужиков. Даже сукно форменного кителя не могло скрыть тяжёлые, ту-

гие, как грозди спелого винограда, груди, гибкую талию и высокий стан. Юбка скрывала от нескромных глаз прекрасные, и стройные, и в то же время сильные ноги.

Среди ночи вскакивала Светлана и бежала к кровати, где, разметавшись и сладко посапывая, спала её дочурка. С нежностью всматривалась Светлана в её лицо, прислушивалась к дыханию, потом возвращалась в свою успевшую остыть постель. Она падала в неё, обнимала руками подушку и никак уже не могла уснуть. Ей так хотелось ощутить мужскую ласку, сильного мужчину рядом с собой!

Хотелось вначале осторожно прикоснуться к нему, потом всё более смело ласкать его тело. Вроде бы нечаянно охватить его мужское начало и ощущать, как оно восстаёт, возбуждаясь. А потом, как это бывало когда-то с мужем, целуя грудь, живот, спускаться губами всё ниже. Захватить восставшую плоть горячим ртом, обволакивая гладкую, будто выточенную из нефрита, головку, нежно обвести её языком. Пропустить его, уже рвущегося глубже, до самого горла, вобрать всего без остатка. Затем, дразня, освободить, движением воздуха из полусомкнутых губ чуть остудить его. Наконец, пустить его в себя, в пылающее пламенем золотое лоно. Ощущать в себе его – бешеного жеребца, вырвавшегося из тесного стойла, скачущего во весь опор. Позволить измять её налитые соком белые груди, измять её всю, как колышущуюся траву. И потом присмирившего, усталого, излившего в неё свою силу, выпустить на свободу и омыть ртом, не возбуждая теперь, а наоборот, успокаивая.

Долгие девять месяцев Светлана вместе с Единственным ждала ответа из Верховного суда, по-бабьи надеясь на чудо. Узнав, что приговор отменён, она пылала от охватившей её радости.

Неразгаданная, вечная тайна – женщина!

Когда Единственного подняли наверх, в общую камеру, Светлана, используя свои связи, устроила то памятное свидание. Она постаралась сделать так, чтобы обошлось без огласки, и всё же сильно рисковала. Она вполне могла потерять работу. Придумав в качестве причины очевидный вздор, она понимала, что всё, что наплела, шито белыми нитками.

И сбылось то, о чём она терзалась долгими ночами. Понимай, что та самая сука, которая потеряла щенка, чудом вдруг вновь обрела его.

Светлана буквально обнюхивала Единственного, чем очень удивляла его, гладила, целовала жёсткие губы, разглаживала пальцами упрямые морщины у переносицы...

Она осторожно, как солнечный зайчик, скользила своими молочно-белыми персями по его телу, едва касаясь татуированной груди, где была искусно выколота картина «Отцелюбие римлянки». Опускаясь всё ниже, распаляя Единственного жарким дыханием, она достигла, наконец, желанного и медленно, миллиметр за миллиметром, вобрала его губами. Слегка покусывая зубками, поддразнивая, она то почти останавливалась, будто прислушивалась к далёким звукам, то снова начинала быстро-быстро скользить по всей его длине. Тесно обжимая губами и проводя языком вдоль крепнущего стебля, она жадно приняла в себя с несказанной радостью всю упругую, солоновато-сладкую волну его скопившейся ярости. Не стесняясь ни его, ни себя, вылизывала принадлежащее ей, забирая всё – до последней капли...

Потом Светлана сама поправила его плавки и подняла вверх брюки спортивного костюма, прижалась к животу Единственного и шептала, как в бреду, ласковые слова.

Единственный и видел, и ощущал, как безумно любит его эта прекрасная женщина. И он нервничал оттого, что не мог ответить на её чувства тем же.

Светлана увлекала его, но сам-то он понимал, что по-настоящему не любит. Единственный был благодарен ей за всё, но не испытывал того, что называют любовью. И хотя он с искренней страстью обладал этой женщиной, всё же чувствовал себя безмерно виноватым перед ней. Единственный осознавал: то, что она делает, есть человеческий, очень женский, подвиг.

– Ты понимаешь, – говорила она. – У меня уже три года не было мужчины. После мужа – никого. Я никого не могла допустить до себя.

Светлана рассказала Единственному о том, как страдала вместе с ним все эти девять месяцев, как надеялась, верила и молила Бога о спасении возлюбленного... Потом она достала бутылочку коньяка, которую сама же принесла в сумочке. Они вместе с удовольствием выпили, и Светлана уселась к Единственному на колени, крепко-крепко прижавшись. Так, обнявшись, они курили.

– Я понимаю, у тебя огромный срок впереди. И не обещаю, что буду ждать – это было бы огромной ложью. Скорее всего, после те-

бя я выйду замуж за тихого обеспеченного интеллигента. Но я всегда буду гордиться собой, радостью мне будет вспоминать о том, что, увидев тебя, влюбилась – с первого взгляда. И в кого – в полутруп! Потом я своими руками вытащила тебя с того света, опоив живой водой, и передала в руки палачам, – Светлана тряхнула головой. – Боже! Что я такое говорю! Наверное, скоро совсем уже рехнусь. Хотя нет, теперь нет. После всего, что было! Я – самая счастливая баба на свете, я тебя оживила для самой себя.

Ты ужасно странный: то нелюдимый, как зверь, то нет никого добрее и честнее тебя, и всегда ты такой справедливый. Я понимаю, странным тебя сделала эта вонючая Гулаговская система. Но я люблю тебя, родной мой, и всегда буду помнить о тебе и грустить. И ты тоже не забывай меня.

Она говорила и плакала, плакала и говорила, а он сидел, сведя брови у переносицы, поскрипывал зубами. Думая о своём, Единственный нежно гладил её по голове.

Был понедельник. Сразу после завтрака Единственного с вещами вывели из камеры и сопроводили в «этапку». Он уже знал, что его сегодня увезут в зону на особый режим. Знала об этом и тюрьма, знала об этом и зона – там его уже ждали. Знаменитый каторжанский беспроволочный телеграф сработал без осечки.

Накануне к нему приходили Латвина с Русланом. Они собрали его в дорогу, принесли с собой кучу продуктов, белья, денег. Он пообещал сразу оповестить их, как только доберётся до места.

Расставание со Светланой прошло намного тяжелей. Хотя оба они знали, что смогут встретиться там, на зоне, почему-то никто из них об этом не говорил.

Тюрьма тоже собирала его в дорогу. Единственный отписывал, что уже загружен по уши, но ему продолжали присылать деньги, чай, курево и всё остальное, необходимое в непростой арестантской жизни.

В этапке он был один. «Значит, повезёт спецконвой», – понял он, меряя шагами небольшую камеру.

Когда Единственного перед обедом вывели на тюремный двор, чтобы посадить в автозак, тюрьма стала прощаться со своим миром. Зэки кричали со всех продолов, изо всех камер, желая ему бродяжьего фарта. Он не мог разобрать, кто кричит. Видны были лишь десятки, сотни рук, просунутые сквозь жалюзи и машущие

ему. Конвой торопил. Из своего окна что-то вопил, разбрызгивая слюни, начальник тюрьмы.

Единственный, обернувшись к протянутым рукам и подняв высоко над головой свои руки, сцепил и потряс ими. Потом поклонился низко, до самой земли, вызвав тем самым взрыв эмоций у арестантов, в принципе абсолютно чуждых таким проявлениям чувств.

Единственный запрыгнул в чёрный «ворон». Конвойные, загрузившись следом, немедленно захлопнули дверь, и «ворон», взревев и надсаживая свой двигатель, рванул с места.

В «Столыпине» Единственный успел даже отоспаться и в лагерь приехал прилично отдохнувшим.

Особая зона, особый «полосатый» режим. Здесь содержат особо опасных рецидивистов. Здесь бараки состоят из камер и после работы всех заключённых разгоняют по этим камерам, до утра закрывая на замок. Здесь на вышках стоят не солдаты с автоматами. На турелях стоят пулеметы, грозно уставившие свои рыла на зону.

Единственный впервые попал на зону такого рода. Все эти годы он сидел по строгим – чёрным – зонам, а теперь вот дошёл до полосатой.

Зона была воровской, и его тут встретили по достоинству. В общаковской камере для него уже было приготовлено место, и вечером сюда собралась достойная братва.

Хозяин лагеря не захотел с первого дня портить отношения с Единственным, поэтому сделал вид, что его не волнует и не интересует содержимое его пухлых, туго набитых сидоров. И теперь в камере был накрыт стол по-барски. На столе было всё лучшее: и икра, и балык, и дорогие вина, и коньяки – всё то, что собрала Единственному в дорогу Латвина.

Смотрящим за зоной был молодой парень, лет тридцати, по кличке Туркмен. Сидел он за ряд тяжких преступлений, связанных с разбоем и убийствами. То ли он был родом из Туркмении, то ли сидел там. Туркмен был высок, тощ, одет в спортивный костюм «Адидас».

Заключённым разрешалось носить «вольные вещи» в камере, и лишь на работу они должны были выходить в «полосатом». В советских лагерях это были первые вольности, которые пришли с началом «горбачёвского» периода.

Единственный вместе со смотрящим и братвой обсудили, куда и по каким камерам разогнать братский привет – от самого Единственного и от арестантов тюрьмы. Что нужно отправить в санчасть, больным, что – на изолятор. Только покончив с этой процедурой, все уселись за стол и с чувством исполненного долга принялись гулять.

Поднимали тосты за Единственного, за воровское, за всех достойных бродяг. Когда попросили сказать тост самого Единственного, он поднял свой бокал за упокой души патриарха воровского мира – Сатаны.

Во многих камерах особой зоны той ночью гуляли до утра. Смотрящий дал слово хозяину, что всё будет без ЧП. Хозяин и так понимал, что гулянка неизбежна, и потому умыл руки.

В полночь Единственный вместе со смотрящим обошёл все камеры барака, поздоровался с обитателями. Многие были ему знакомы по чёрным зонам. Кое-кто прятал свой пушистый хвост, стараясь не встречаться взглядом с Единственным. Так как Единственный был в курсе их нелегальных деяний.

Потом они вернулись в общаковую камеру, где уже звенела гитара. Гитарист был знатный и пел на зависть хорошо, выжимая слёзы из давно уже сухих глаз «полосатиков». Когда он вдруг исполнил в честь Единственного «Бесаме, мучо!», будто догадавшись, что это была его любимая песня, тот собственноручно поднёс ему бокал тёмно-рубинового, как кровь, французского вина.

Потом гитарист пел песню Звездинского «Очарована-околдована». Всех он растрогал, в очерстевших сердцах «особняков» разбудил ещё не до конца угасшие надежды.

Больше месяца прошло со дня прихода Единственного в зону.

Он написал одно письмо Латвине, в котором подробно рассказал, как прошла его встреча и как «полосатые» рецидивисты пили за её, Латвины, здоровье и красоту. Написал он письмо и Светлане – короткое, но нежное.

Обитатели зоны работали на небольшом заводе, производившем сельскохозяйственную технику. Утром, после завтрака, их по баракам выводили на работу. Обедали они в столовой, расположенной в рабочей зоне, а после работы их опять разгоняли по баракам и камерам. В камерах сидели по восемь-десять человек.

В один из дней за Единственным пришёл дневальный и отозвал его в сторону. «Хозяин зовёт», – сообщил он. Недоумённо посмотр-

рев на него, Единственный махнул рукой глядевшим на него приятелям и последовал за дневальным.

В кабинете хозяина, начальника зоны, сидел невысокий симпатичный мужчина, чуть полноватый, дорого и модно одетый. Он поднялся при виде Единственного, шагнул ему навстречу и, оценивающе оглядывая, протянул руку, украшенную массивными дорогими золотыми, швейцарской фирмы, часами «Ролекс».

– Яков, – представился он, хотя Единственный внутренним чутьем уже догадался, кем был этот дорогой гость.

В нём просматривалось что-то от Сатаны, хотя его подбородок, более мягкий и податливый, говорил о меньшей жесткости, чем у покойного вора-отца.

Яков, видимо, уже засыпал золотом потайной карман хозяина. Тот находился поблизости, был доброжелателен и благодушен, говорил что-то одобрительное о Единственном. «А как же, – талдычил он. – Мы в таких случаях идём навстречу. Единственный режим не нарушает, проблем нам не создаёт. Наоборот, с его приходом контингент подтянулся и с выполнением плана на производстве всё в порядке».

Он провёл их в пустой кабинет, сказал, что у них есть времени два часа, и удалился, закрыв за собой дверь на ключ.

Яков раскрыл дорогой кожи «дипломат» и извлёк оттуда бутылку коньяка замысловатой формы, с выпуклыми этикетками и золочёной печатью, свисающей с пробки на двух шёлковых нитях. Он повёл рукой, как фокусник, и в руках у него оказались две серебряные рюмки, изнутри покрытые золотом.

– Настоящий «Камю»! Специально для тебя подобрал, для нашей встречи. Казанец с зоны отписал нам, ворам, за тебя. Мы сделали всё возможное, заплатили зеленью в Верховном суде и добились отмены твоего приговора. Но ты нам ничем не обязан. Ты достойный бродяга. Мы, воры, навели справки за тебя со всех лагерей, где ты сидел – отзывы хорошие. А щекотались мы за тебя ради Сатаны – предка моего. Ты ведь ментов за него резал, так ведь? – он испытующе посмотрел на Единственного.

– Так, – кратко подтвердил Единственный.

– Давай первую выпьем за наше знакомство, а второй помянем отца моего.

Они чокнулись и выпили. Тут же Яков разлил по второй, и они выпили, уже не чокаясь, за раба божьего Сатану. Третью выпили за скорейшее освобождение Единственного, а четвёртую – за воров

и воровское, за всех достойных, кто сейчас на нарах. Яков начинал нравиться Единственному.

– Что завещал тебе Сатана? – спросил Тюрьма.

– Мы с ним о многом беседовали. Сатана говорил о старом, о новом. Сказал, чтобы я известил воров о том, как он умер. Вообще-то он был недоволен тем, что сейчас происходит. Говорил, что многие воры отошли от старых принципов, за коммерческий разбор деньги принимают. Наказал: за разбор денег не брать! Завещал мне нести в чистоте воровские идеи – это его воровской наказ. Сказал, пусть я передам вора, чтобы они рассмотрели мою кандидатуру. Велел мне поклясться, что понесу воровское в чистоте, если стану вором. Просил быть рядом с тобой и оберегать тебя.

– Я поставлю воров в курс, – произнёс Яков, отчего-то вдруг нахмурившись. – А сейчас я бы хотел поговорить о другом. За отмену приговора ты нам, вора, как я уже говорил, ничем не обязан. Сейчас на свободе наступают интересные времена. Наконец-то пришло наше время – воровское! Твой авторитет в преступном мире, твоё имя могут принести пользу воровскому делу. Поэтому мы, воры, хотим устроить тебе побег. Чин-чинарём. Всё будет предусмотрено. Слово за тобой, Единственный, – Яков замолчал, давая Единственному время собраться с мыслями. – Ну? Что скажешь?

– А что тут говорить? Вперёд – и весь разговор.

– Я хочу, чтобы ты понял всю серьёзность этой акции. Побег будут готовить воры. Уйти из зоны – это ещё полдела. Хорошие специалисты сделают потом тебе пластическую операцию. Это стоит больших денег. Потом ещё несколько паспортов. Тебе дадут деньги на первое время, хорошие деньги, зеленью, несколько явочных квартир. Но даже и это – не главное. Главное – ты войдёшь в дело. Но вход туда рубль, выход – два. Подумай. Нет, так расстанемся друзьями.

Яков прикурил от дорогой зажигалки, крутанул её перед лицом Единственного и вновь спросил:

– Так каков будет ответ?

– Вперёд! – ответил Единственный.

– О'кей! – Яков от души обнял его и троекратно расцеловал. – Другого ответа я, признаться, и не хотел услышать. Сейчас в преступном мире появилось новое – бандитские группировки. Они вооружены, многочисленны, мобильны, сила из них так и прёт. Рвутся к деньгам как взбесившиеся псы. Мы, воры, должны заставить их считаться с нами и поставить под свой контроль. В этом

сегодня главная и первостепенная задача воров в законе, – Тюрьма ещё раз разлил по рюмочкам коньяк, выпил содержимое своей без остатка. – Будешь уходить через подкоп. Подкоп будут бить два фраера, заберёшь их с собой. Тебя известят в последний момент, это твоя страховка. Тебе дадут карту. На ней будет обозначена тропа к реке, там будет ждать моторная лодка. Она довезёт до машины. А дальше тебя доставят в нужное место. Всё необходимое будет в машине.

– Я вижу, воры не сомневались в моем согласии.

– Ты прав, бродяга. На то мы и воры. Мы собрали по лагерям всю информацию о тебе. Не скрою, собирали не только у эков, но платили и кумовьям, чтобы узнать, нет ли за тобой грешка-запашка. Но, на твоё счастье, всё оказалось чистым. Поэтому за хорошие деньги мы подключили специалистов не откуда-нибудь – из аналитико-психологического отдела, не удивляйся, Главного разведывательного управления. Они изучили всё что можно и составили твой психологический портрет. Поэтому работа по подкопу находится уже в последней, завершающей стадии. Не за горами то время, когда мы встретимся с тобой уже на воле.

Тюрьма курил сигареты, одну за другой, гася их о кожаный каблук лакированного штиблета. Потом продолжил:

– Да, и ещё я хочу предупредить тебя. Все связи на воле: друзей, подруг, родственников, хотя у тебя их и нет, – придётся забыть. Это твоя жертва, и эту жертву ты должен положить на алтарь воровского. Согласен ли ты пойти на это?

– Да! Кроме двух людей – я хочу, чтобы ты передал это ворами. Я хочу оставить за собой право увидеть друга детства Карнаухова и никогда не откажусь от дочери барона Латвины, моей названной сестрёнки. А в остальном — даю клятву ворами в том, что отрежу всё, что связывает меня с моим прошлым.

Яков поморщился, как от зубной боли, и долго молчал, крутя зажигалку в руке. Наконец он произнёс:

– Думаю, что мне удастся убедить в этом братьев-воров. Но запомни: это будет уже моя первая личная услуга тебе, Единственный. Когда-то ты должен будешь отплатить мне за это услугой, о которой я тебя попрошу. Согласен?

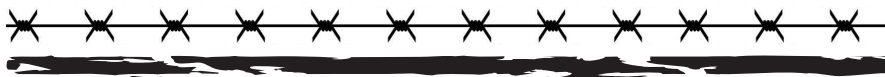
Они ударили по рукам и допили коньяк, уже разлитый по рюмкам. Показали друг другу, что в рюмках ничего не осталось, перевернув их вверх дном, а потом крепко обнялись.



Часть 3

ВОЛЯ





Глава 1.

ПОБЕГ

Единственный зигзагами бежал впереди. За спиной у него со всех вышек без умолку били пулеметы, тархтение которых, по звуку – бешено трясущиеся трещотки, сливался в единую какофонию. С левой вышки, стоявшей со стороны рабочей зоны, солдат шмаллял «трассерами». Пунктирные полосы пуль ложились то слева, то справа, то чуть впереди мчащихся в ночь полосатых беглецов. Рой пуль, посылаемых с других вышек, проносился над их головами. Единственный беспрерывно молил Аллаха, чтобы пронесло.

Сзади вдруг раздался короткий вскрик, будто один из бежавших неожиданно напоролся в темноте на что-то острое. Послышался шум падающего тела. Единственный обернулся и разглядел Клинка, упавшего на землю. Тот хрипел и глядел на Единственного с застывшей в глазах мольбой.

Единственный, подскочив к нему, присел, схватил Клинка поперёк туловища, рывком забросил себе на плечо и метнулся вперёд.

Теперь он бежал строго по тропе, ещё днём хорошо изученной по карте. Тогда он тайком взобрался на чердак инструменталки и через небольшое окно внимательно, буквально по метрам, изучил тропу.

Единственный бежал упруго, размеренно, быстро. Клинок, в которого попала пуля, был худ телом и поначалу казался лёг-

ким, теперь он вдруг отяжелел. Единственному стало трудней его удерживать, Клинок без конца сползал с плеча. Вот уже пошёл спасительный камыш. Теперь с вышек утратили возможность вести прицельный огонь.

«Лишь бы шальная не зацепила», – подумал Единственный.

В небе, будто в новогоднюю ночь, продолжали вспыхивать разноцветные огни. Вновь и вновь в воздух взмывали новые ракеты. Продолжали брехать крупнокалиберные пулемёты – так в туберкулёзном бараке заходятся в неумолчном сухом кашле безнадежные эки.

Камыши больно хлестали по лицу, секли до крови руки. Вот уже белеет спасительная лодка, и кто-то в нетерпении машет руками: «Сюда! Сюда, скорее!» Единственный осторожно снял с плеча отяжелевшего собрата, положил его на песок и попытался нащупать пульс. Пульса не было.

Тогда он сунул руку под куртку Клинка, туда, где сердце. Рука Единственного ощутила скользкое и липкое. Он распахнул куртку и задрал майку: в груди было отверстие размером с мелкую монету. Единственный перевернул его на живот – пуля прошла навывлет прямо под левой лопаткой.

Бедный Клинок был мёртв, и тащить его дальше не имело смысла. Единственный, как полагается мусульманину, провёл ладонями по лицу. Только после этого он запрыгнул в лодку, откуда его беспрестанно торопили. Взревел мотор, и лодка, задрав нос над свинцово-чёрной водой, рванулась прочь, унося уцелевших беглецов.

Со стороны зоны темноту озаряли сполохи медленно гаснущих ракет. Пальба утихла, зато теперь всюду ревел лагерный «квакун»: была поднята вселагерная тревога.

Побег! Сердце, вдруг сжавшись в комочек, замерло, словно его и нет. На висках, в набухших венах, кровь бьёт, как молотком по наковальне. И жар, нестерпимый, как у горна в хорошей кузне. Льётся противный, липкий пот. И мчится беглец, петляя как заяц, пытаясь обмануть посланную в него чужой рукой пулю. Да разве можно уйти от судьбы? Тут уж только фарт беглеца. Либо он есть, либо его нет! Слава Богу, что тот страшный бег уже позади.

Лодка неслась вниз по течению. Лодочник выжимал из двигателя максимально возможное. Он, видимо, отлично знал реку. Сидя

на корме, невозмутимо вглядываясь вперёд, в темноту, ориентируясь по ему лишь известным приметам, он одной рукой удерживал румпель – рукоятку подвесного мотора.

Лодка мчалась так около полчаса, не меньше. Единственный уже стал подозрительно поглядывать на лодочника: не проскочил ли он то место, где их ожидает машина. Но нет. Вот из темноты по правому борту, на секунду вспыхнув, моргнули фары автомобиля. Лодочник заглушил двигатель и направил бесшумно скользящую посудину к берегу.

Через три минуты они уже располагались на заднем сидении машины, и водитель гнал её в ночь по степной дороге.

Лодочник остался на берегу, даже не махнув им вслед. Просто сделал человек свою часть работы, сделал хорошо и, наверное, неплохо при этом заработал.

– У нас впереди тридцать минут езды, – быстро заговорил водитель. – Через эти тридцать минут мы будем на взлётной полосе военного аэродрома. Через сорок пять минут вы улетите военным самолётом. Там, сзади, военная форма, размеры ваши. Быстренько переодевайтесь. Я думаю, разберётесь что к чему. Свои робы сложите вот в эту сумку, – он показал на переднее сиденье, где стояла большая спортивная сумка.

Единственный со Скулой поспешно, тяжело дыша, переодевались. Скула нервничал и матерился, вызывая раздражение Единственного.

– Заглохни и молчи, понял? – внушительно произнёс он, дёрнув Скулу за руку.

Скула кивнул и теперь уже молча пыхтел, впервые в жизни напяливая на себя военный мундир. Одежда и впрямь была подобрана по размеру. К удивлению Единственного даже ботинки не жали.

Впереди уже показались огни аэродрома. Вскоре машина остановилась у КПП. Водитель предъявил сонному солдату бумагу, и тот, даже не глянув внутрь автомобиля, пошёл открывать шлагбаум. Водитель въехал на поле и повёл машину к темнеющему невдалеке ангару. Он направился за ангар, остановил автомобиль, заглушил двигатель и выключил фары.

– Теперь будем ждать. К нам подойдут. Если хотите, можете покурить, – разрешил водитель.

Единственный взял предложенные сигареты. Закурил сам, дал закурить Скуле. Наконец к машине приблизился человек в форме офицера. Водитель вышел к нему. Они обменялись парой негромких фраз, после чего водитель открыл дверь со стороны Единственного и бросил в салон всего одну фразу: «Идите за ним».

Через пять минут Единственный и Скула сидели в военно-транспортном самолёте, гружёном какими-то ящиками. Они оглядывались по сторонам, рассматривая эти ящики, а лётчики уже проверяли двигатели, поочерёдно запуская их один за другим.

«Вот что такое воровской побег», – подумал Единственный, реально убеждаясь в нешуточном воровском могуществе.

Полёт длился часов пять. За это время Единственный не увидел членов экипажа, даже того, кто привёл их и усадил в самолёт.

Все последние перед побегом дни нервы Единственного были в крайнем напряжении, как снасти тугих парусов, что дрожат под нагрузкой, ежеминутно готовые лопнуть. И тут они вдруг обвисли так, будто наступил штиль и пришло время немного передохнуть.

Единственный незаметно для себя крепко заснул в самом начале пути и проспал почти весь полёт. Уже на подходе к Москве, по изменившемуся шуму двигателей и накренившемуся борту, Единственный сквозь сон догадался, что самолёт стал снижаться, и раскрыл глаза.

Скула, сидящий рядом, продолжал спать, нервно вскрикивая во сне, ругая кого-то лагерной отборной бранью: «Козлы вонючие, бухтосмазчики, полупидоры!» Единственный больно ткнул его кулаком в бок и жестом приказал заткнуться.

А под крыльями самолёта уже плыла Москва. По левому борту в отдалении можно было разглядеть микрорайоны, шоссе и даже автомобили, похожие на коробочки. Они смешно двигались цепочкой, один автомобиль за другим.

Наконец, описав один только широкий круг над взлётной полосой, воздушный корабль пошёл на снижение. Вскоре экипаж точно и плавно посадил многотонную, гружёную громадину, и теперь она мчалась по взлётной полосе. Противно визжали тормоза и самолёт стремительно терял скорость.

Единственный, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. Он заметил, что прямо к месту парковки, куда сворачивала огромная стальная птица, мчалась чёрная волга с наглухо затемнёнными стёклами.

Скрипнули ещё раз, словно на прощание, тормоза. Корпус самолёта трянуло, по нему пробежала дрожь, и гигант остановился. Тут же, натужно гудя, стали распахиваться створки люка. На землю опускался трап. Навстречу трапу быстрым шагом шёл человек в штатском. Увидев Единственного, которого всё ещё не покидало чувство тревоги, он призывно махнул рукой.

Единственный и Скула стремительно сбежали по трапу, не успевшему коснуться земли, и нырнули в открытую заднюю дверь волги. Машина рванула с места так, что пробуксовали задние колёса. Она лишь немного притормозила у поста, дав короткий сигнал, и, вновь добавляя газу, понеслась по хорошо заасфальтированному шоссе.

Ещё через час, проехав по неприметной лесной дороге, волга миновала открывшиеся перед ними ворота. Высокий забор окружал красивую двухэтажную дачу, расположенную в глубине соснового бора. Единственный вышел из машины.

Где-то на полпути сюда волгу поджидал неброский жигулёнок. Парни, высунувшиеся из него, спросили у Единственного, кто из них двоих Скула. Они забрали беглеца, после чего жигулёнок развернулся и быстро скрылся из виду.

Навстречу Единственному по крутой лестнице спускался Яков. Уже вовсю пригревало солнце. На дворе оттаивали последние пятна снега и досыхали лужи. Яков был в тёмных очках, на плечи накинута светло-голубая кашемировая куртка. Отшвырнув окурочек, он подошёл к Единственному, внимательно взгляделся в него и вдруг, совершенно неожиданно, громко расхохотался. Он смеялся так заразительно и искренне, что Единственный, сначала немного смутившийся, теперь тоже развеселился, глядя на Якова. А тот потащил его по лестнице в дом и там поставил прямо перед зеркалом.

Из зеркала на Единственного уставился совершенно незнакомый ему тип в военной форме, сидевшей на нём, кстати, мешком. Только сейчас Единственный обратил внимание на майорские погоны на кителе.

Теперь уже он и сам хохотал во весь голос, указывая на своё отражение пальцем. Яков стоял поодаль и ждал, когда Единственный успокоится. Затем быстро шагнул к нему, крепко обнял и, отстранившись, спросил:

– Теперь ты понял, что это значит – воровской побег?

– Да, Тюрьма. Организация побега, за исключением некоторых деталей, отмененная. Тут и слов нет.

Яков нахмурился и спросил:

– Что ты имеешь в виду?

– Клинок и Скула неправильно взяли направление подкопа. Он вывел нас прямо в запретку, пришлось идти на рывок. Клинка убили. Я нёс его до лодки на себе, уже мёртвого.

– Я в курсе. В таком деле всё гладко не бывает. Мы допускали десять процентов риска, но не более того. Клинок был нашенский. В молодости он получил горное образование, был маркшейдером по специальности. Поэтому его взяли в побег, ему поручили делать подкоп. Труп Клинка уже нашли. Отдадут родителям, царство ему небесное, – Яков перекрестился. – Мы позаботились о помощи старикам в организации похорон. А на оставшемся пути вы были подстрахованы. Мы предусмотрели два варианта ухода.

Летуны на этом деле хорошо заработали, а встречала вас машина Министерства обороны. Да и дача, на которую ты сейчас приехал, принадлежит большому генералу. Здесь тебя никто не станет искать. Ну ладно, это всё уже позади. Сегодня и завтра ты мой гость, будешь отдыхать. Тебе надо прийти в себя, отдышаться, – Яков глянул на часы и продолжил. – Сейчас ты переоденься. За тобой придёт человек, покажет тебе баню и приведёт в порядок. Не торопись, расслабься. Я вернусь к вечеру, и тогда мы с тобой поговорим.

Яков достал из нагрудного кармана маленькую телефонную трубку, пощёлкал по кнопкам и вызвал водителя.

– Ну, давай! Осмотрись тут пока. Скучать тебе не дадут. Да, на улицу пока не ходи! – он кивнул Единственному и вышел.

Единственный взял из стоящей на столе сигаретницы одну сигарету, прикурил её от большой настольной зажигалки и отправился осматривать комнаты дачи. Скорее, это была даже не дача, а загородный дом. На первом этаже находился просторный холл, в котором стоял полукруглый диван, перед ним располагался длинный журнальный столик с крышкой из толстого стекла. Пол был устлан мягким ковровым покрытием. С потолка свисала огромная люстра.

Двери из холла вели в две другие – большие смежные комнаты – по всей вероятности, зал и гостиную. Обе комнаты были об-

ставлены недорогой, но добротной мебелью. Везде наблюдалась идеальная чистота. В больших напольных вазах росли незнакомые Единственному растения, из настенных ваз свисали цветы.

Наверх, на второй этаж, вела витая деревянная лестница с покрытыми лаком ступеньками, устланная красной ковровой дорожкой. Туда Единственный подняться не успел. Внезапно открылась дверь и в проёме возникла фея. Это была высокая блондинка с распущенными волосами и ярко накрашенными губами. Одета в плотно облегающую небольшие грудки кофточку и короткую кожаную юбочку, позволяющую её хозяйке демонстрировать длинные стройные ноги, блондинка на секунду задержалась в дверях, разглядывая Единственного. Затем она смело подошла к нему и «доложила»:

- Прибыла, товарищ майор, разрешите привести вас в порядок?
- Да? Ну, хорошо! Я-то тут совершенно не ориентируюсь.
- Не волнуйтесь, сейчас мы найдём всё необходимое.

Она потянула его за собой вниз по лестнице, которая привела их в цокольный этаж. Здесь находилась небольшая комната, служащая для отдыха после бани. Комната была обставлена деревянной мебелью: стол, лавки вокруг стола и четыре широких удобных лежака.

Девушка показала Единственному, где раздеться. Потом, совершенно не обращая на него внимания, скинула с себя то небольшое, что было на ней. Оставшись в чём мать родила, она удалилась в душевую комнату. Единственный тоже разделся и нагишом проследовал за ней.

За душевой располагался небольшой круглый бассейн. Ещё одна дверь вела, по всей вероятности, в баню. Да, банька эта была сделана что надо! Это не те сибирские лагерные бани, что топились почти по-чёрному, где зэки часами стегали изрисованные синим цветом тела – один другому – еловыми вениками. Понимал, видно, армейский чин толк в банях.

Баня блестела чистотой. Хорошо обструганные и ладно пригнаные друг к другу доски были обшиты сосновыми рейками. В углу стояла печь, наполненная гладкими валунами. По стенам были развешаны пучки пахучих трав. Фея расстелила на верхней полке большую белую махровую простыню для Единственного. Дождалась, пока он уляжется, и душевно плеснула из ковшика водой на раскалённые камни.

Она что-то ещё поколдовала с травами, запаривая то один пучок, то другой. Затем, надев на руки рукавицы, а на голову спортив-

ную шапочку, девушка принялась охаживать разомлевшего Единственного свежим берёзовым веником.

– Так, а теперь в бассейн. Потом опять пожалуйста на полочку. Я должна честно выполнить просьбу Якова, – командовала фея.

Через час пропаренный до последней косточки Единственный, напившийся чаю, блаженствовал на шезлонге, лёжа на животе. Белокурая красавица, взобравшись на него верхом, делала ему массаж. Надо сказать, массаж Единственному делали впервые в его жизни.

Длинные тонкие пальцы феи гуляли по его влажной спине, то пощипывая, то ударяя, то разминая. Девушка натёрла его спину чудной пахучей мазью. Затем перевернула Единственного на спину и, совершенно не обращая внимания на его восставшее естество, намазала ему тем же кремом грудь, живот и бёдра.

Потом взяв Единственного за руку, как мальчишку, повела в душ и заставила там ополоснуться, потом набросила на него мягкий банный халат и усадила в кресло. Взяла бритвенные принадлежности и собственноручно, удивительно правильно, не причиняя боли, побрила его. Закончив бритьё, девушка обрызгала ему лицо приятно пахнущей жидкостью.

По завершении банных процедур блондинка повела Единственного за собой наверх. Там усадила на диван и принялась накрывать на стол. Только сейчас Единственный заметил, как сильно он проголодался. У него уже вовсю «текли слюнки», и он, не дожидаясь, пока девушка закончит сервировку, набросился на еду.

Теперь он снова превратился в давно не пробовавшего вкусной еды мальчика. То он набрасывался на маленькие, как пальчики, слегка промаринованные огурчики, запивая их сладким апельсиновым соком. То выпивал рюмочку коньяку, закусывая его солёными грибочками, поражая фею и приводя её в ужас своей кулинарной невежественностью. Но он не замечал этого. Да, собственно, ему было наплевать на мнение совершенно чужой ему длинноногой «тёлки».

Единственному хотелось отведать всего, что было на столе. Хотя он и приучил свой желудок в лагерях обходиться минимумом еды, и был умышленно неприхотлив, но сегодня понял, что значит вкусно и сытно поесть. Он однако много не пил, так как знал, что придет Яков и что предстоит серьёзный разговор.

Сегодня был – его день!

Он был на воле!

Что такое воля, может понять лишь тот, кто сам страдал, кто прошёл все ужасы лагерей. А эти КПЗ, полные клопов, тюрьмы со вшами ужасающих размеров! Нет, там совсем не те безобидные вши, что заводятся от грязи, но те, что рождаются от безысходности арестантских дум. Такие вши покрыты прочным панцирем, не хуже, чем у черепахи. Когда они падают на бетонный пол, не раздавить их порой и каблуком. Это может понять лишь тот, кто не сломался перед системой и подлыми кознями кумовьёв, режимников и прочей лагерно-административной сволочи. Это поймёт лишь тот, кто устоял и не нацепил на руку лохматину, открывающую дорогу к жалким зонавским льготам и досрочному освобождению.

Поймёт, кто предпочёл всему этому – сохранить в неизменности свои моральные принципы, кто предпочёл гнить заживо за эти самые принципы в БУРах и изоляторах, в крытой тюрьме, кто получил статус отрицалова, прошёл все эти сучьи и козлячьи зоны, пресс-хаты и бесконечные – этапы, этапы, этапы!

Да, сегодня был его день, и Единственный радовался этому. Ах, какое же это наслаждение – распарившись в баньке, сытно и вкусно поев, вот так, сидя на мягком диване, выкурить хо-ро-шую сигарету! А теперь можно взять эту длинноногую цаплю в постель и посмотреть, что она там нафантазирует. Если она и в постели столь же умела, как в бане, то значит фыркает она не напрасно.

Единственный был разморён и ленив. Лёжа в постели, он лишь пассивно поощрял действия блондинки. Но зато она, наверное, превзошла себя. То она ласкала его ртом, то садилась верхом, с силой насаживая себя на него. Когда он закончил, девушка сводила его в душевую, где тщательно обмыла, а потом снова отвела в постель и принесла ему рюмку коньяку и дольку лимона.

Она включила магнитофон и поинтересовалась, что поставить, но Единственный только отмахнулся. Веки его вдруг налились свинцом, а тело размякло, и он уже проваливался в мутную пелену сна.

Во сне он опять бежал из зоны, а вслед ему строчили пулемёты и неслись спущенные с поводков псы... Он рвётся вперёд, но ноги, как ватные, отказываются подчиняться. Тогда он в ужасе начинает понимать, что Яков, роскошная дача и белокурая фея приснились ему. А явь – она

вот: он в побеге и его уже достают эти злобные, натасканные специально на людей, лагерные псы.

С воплем безысходного ужаса Единственный вскочил с кровати. Он до смерти перепутал девчонку, которая сидела на диване в соседней комнате и смотрела телевизор.

Единственный обвёл помещение бешеным взором, выглянул в окна, в одно-другое, – псов нигде не было. За окнами, мирно колышась, покачивались сосны. Он посмотрел на блондинку, подошёл к ней, дотронулся до неё рукой и только тогда поверил, что блондинка – это действительная явь, а псы были там – во сне.

Он сходил в ванную, умылся холодной водой, тщательно причёсаясь и, вернувшись в комнату в одних плавках, спросил у девушки: – Что бы мне надеть?

Блондинка провела его к платяному шкафу. Здесь висела одежда, видимо, купленная специально для него. Белоснежная рубашка его размера. Тёмно-синие брюки из хорошей тонкой шерсти. Модный брючный пояс. Отличной выделки кожаные чёрные туфли.

Девушка помогла Единственному одеться, завязала на шее галстук модным узлом и подала, сняв с плечиков, белоснежный «клубный» пиджак. Единственный, конечно же, пока ещё был далёк от терминов и наименований фирм. Он лишь интуитивно чувствовал, что всё это – «хорошие тряпки».

Потом блондинка подвела его к зеркалу. Единственный взглянул на своё отражение и не на шутку удивился. Он оказался совсем недурён собой. Строгое мужественное лицо под короткой причёской было внушительным. Из-под изогнутых тёмных бровей смотрела из зеркала пара цепких пронизывающих тёмно-карих глаз. На левой щеке, ближе к скуле, был небольшой шрамик, но он никак не портил, а наоборот украшал лицо. Полные губы крупного рта были чувственными и хорошо дополняли остальное. Белый пиджак прекрасно сидел на его тренированной фигуре, широкие плечи развёрнуты. Что Единственному удалось, на удивление, – так это сохранить в тисках лагерной системы эту гордую, почти монументальную осанку.

Лагерное начальство, в своём большинстве, ненавидело его именно за это – гордость и осанку. Они хотели видеть зэка согбенным, сутулым – такая манера вести себя внушала им мысль, что именно перед их мощью и могуществом согнулся заключённый.

Не было никаких сомнений: зеркало отражало ещё не старого, зрелого, интересного мужчину, хорошо одетого и, может статься, перспективного.

Единственному понравилось, но на всякий случай он поинтересовался у блондинки:

– Ну как?

Она прищёлкнула языком и показала руку с отогнутым вверх большим пальцем, что означало «отлично!». Довольный собой, в прекрасном настроении, Единственный продефилировал по комнате. Хотя его так и подмывало вновь подойти к проклятому зеркалу, он завернул к столу, уселся в кресло и попросил девчонку заварить ему густого чаю.

– И ещё я бы хотел чего-нибудь сладкого, вкусного. Пирожное, можно? – с надеждой спросил он и расцвёл, услышав в ответ:

– Нет проблем! Минутку, и я всё принесу. Я ведь тоже ужасная сладкоежка! – поделилась девушка своим секретом, не подозревая о том, что в последний раз в своей долбаной жизни Единственный ел пирожное лет двадцать назад. Тогда он, освободившись из малолетки, гулял с Ингой по парку, угощал её вкусным пирожным. Соблазнился и сам и съел с чаем сразу два.

Сейчас Единственный пил густой индийский чай, сопровождая его фантастически вкусным пирожным. Он уже был погружён в свои мысли.

– Яков приехал, – сообщила блондинка, у которой он даже не спросил, как её зовут. – Ну всё, теперь я пошла. Ещё увидимся, – она приветливо махнула ему рукой и исчезла за дверью так же неожиданно, как и возникла несколько часов назад.

– Ну как ты тут? Да на тебя посмотреть любо-дорого! Ну и мастерица Наталья! – воскликнул совершенно искренне вошедший Яков. – Я тут привёз тебе кой-чего, по мелочи! – он махнул рукой. – Это, так сказать, презент от меня в честь твоего, назовём так, освобождения!

Яков положил перед ним роскошную коробочку. Единственный открыл её и залюбовался увиденным. Дорогие швейцарские часики с четырьмя бриллиантами и тонким золотым браслетом смотрелись отменно. Он извлёк их из коробки и примерил на руку. Браслет был чуточку великоват. Яков подал ему и красивую зажималку:

- Необходимые аксессуары нового русского. Сейчас появилось такое понятие. Они подчёркивают принадлежность к этой масти.
- Что это ещё за масть? – с удивлением спросил Единственный.
- Это значит новые, внезапно разбогатевшие, имеющие полные карманы халявных денег, русские. На эту тему послушай анекдот, в зоне ты его наверняка не слышал.

Заходит новый русский в ювелирный магазин в Америке и примеряет на обе руки самые дорогие перстни. Надел восемь перстней с бриллиантами, сапфирами, изумрудами – по штуке на каждый палец, кроме больших. Но почему-то все повернул камнями внутрь, к ладони. Еврей-продавец удивлённо спрашивает: «А почему камнями внутрь?» Новый русский отвечает: «Хоть ты и еврей, а тупой до ужаса! Я же приеду в Москву, приду в казино, где гуляет братва, подниму обе руки вверх и скажу: «Братва! Я вернуся!»

Единственный хохотал от души.

– Да! Мне сейчас трудно это понять.

– Ничего, поймёшь! А это пусть на всякий случай будет в кармане. Они тебе сейчас не понадобятся, но всё равно, когда ощущаешь в дармовом пресс, не чувствуешь себя сиротой. – Яков протянул ему новый, туго набитый бумажник крокодиловой кожи, тёмно-зеленого, почти болотного цвета. – Там пять косарей зеленью! И последний штрих, как дополнение к твоему костюму.

Он вынул из кармана миниатюрную коробочку и, раскрыв, поставил её перед Единственным. В ней лежали золотые запонки и такого же металла закладка для галстука.

– Ты меня осыпал сегодня золотым дождём, Яков. Я привык быть скромным в своих запросах, – произнёс Единственный.

– Тебе многое придётся переосмыслить, дружище. А сейчас, когда ты уже в норме и я успокоился – тоже ведь переживал, как пройдёт операция в целом, – я предлагаю: давай выпьем по-человечески!

Они пили коньяк, закусывая его лимоном, обваленным в сахаре. Единственный подробно рассказал Якову о своём пребывании в изоляторе вместе с Сатаной. Яков, выслушав его, горячо заговорил:

– Ты пойми, бродяга, переменился социальный строй! Приказал долго жить социалистический принцип. Это по нему все должны быть одинаково бедными. Теперь пришёл рынок. А это означает капитализм, от слова капитал. Частный капитал. Его надо

заработать, и неважно как. Это и породило революцию в преступном мире. Отец мой, что и говорить, вор был авторитетнейший. Мне до его авторитета далеко. Но он в лагерях поотстал от жизни. Эту часть воров, старых, вроде него, мы называем нэпманскими. Они консерваторы и до сих пор призывают нас заниматься по ночам налётами на извозчиках. Но это время безвозвратно ушло. Так ушли в небытие, скажем, «этажерки» в самолётостроении, на смену им пришли сверхзвуковые «Боинги». Понимаешь? – он упёрся взглядом в Единственного, отчаянно желая услышать слова согласия.

Яков был блондином, среднего роста, чуть пониже, чем Единственный. Полноват, с белёсыми бровями и серо-голубыми, как у Сатаны, глазами, такими же цепкими и буравящими. На вид – преуспевающий бизнесмен, как он сам сказал, «новый русский», ни дать ни взять! И умён! Умён и хитер! И грамотен: смотри, как чешет про политику, про перемену строя.

Хотя Единственный считал себя достаточно грамотным и образованным человеком, он отдавал должное кругозору Якова. Единственный в лагерях много занимался самообразованием. Были периоды, когда он мог найти время и возможность заняться классикой, русской и зарубежной поэзией, авторами Европы и Востока, специальными науками и даже историей живописи.

Яков продолжал:

– Для того, чтобы понять, что же в действительности делается на воле, тебе, Единственный, придётся раскинуть мозгами, как следует вникнуть в самую суть происходящего в настоящее время. Я должен буду дать тебе небольшую информацию. Ты убедился в том, что есть всё же фарт для бродяг. Давай же выпьем за фарт, пусть его будет у нас побольше!

Они пригубили коньяк, Яков спросил Единственного:

– Ты как, в состоянии воспринимать наш разговор или будешь отдыхать?

– Продолжай, Яков. Мне необходимо это знать, и я готов слушать тебя.

– Так вот. Не знаю, слышал ты или нет, но ещё при Горбачёве, в Нальчике на воровской сходке присутствовали тенивики-цеховики. Воры подошли к тому, что цеховики будут добровольно отдавать десять процентов прибыли в общак, и тогда к ним не будет претензий, и никто не в праве будет посягать на нажитое ими.

А с развалом Союза в стране победила так называемая демократия, во главе с Ельциным. В России, как и в бывших союзных республиках, началась неразбериха рыночной экономики. Как грибы после дождя, тысячами начали появляться банки. Они, эти банки, самым настоящим образом подрывали экономику. Действовали по очень простой схеме: брали у госбанка кредиты и за солидный процент раздавали их псевдо-фирмам. Те, в свою очередь, получив деньги на свои счета, под липовые контракты отправляли их за бугор, там обналичивали их и исчезали сами. Это был первый, но самый страшный удар по уже захромавшей экономике.

Разумеется, это породило полчища рэкетиров, которые ставили перед собой цель заставить *нуждающейся* поделиться с ними огромными прибылями – под давлением, физическим или психологическим. За короткое время рэкетирские организации организовались в *бригады*. А ещё через некоторое время бригады, понимая что в одиночку им трудно будет выжить, слились в *группировки*. В одной только Москве сейчас существуют порядка двадцати группировок. Они объединены по национальным, этническим, географическим признакам. Они многочисленны, при деньгах, моторизованы, хорошо оснащены всевозможными средствами мобильной связи, вооружены – отечественными и иностранными видами оружия, армейским и специальным.

В стране зацвела коррупция. Чиновники всех мастей и калибров, за хорошую злду, принялись торговать различными льготами для фирм, квотами, лицензиями. Пошёл повальный грабёж страны в полном смысле этого слова. За бугор вывозили всё, на чём можно было сделать бабки. Эшелонами уходили лес, нефть, бензин, цветные металлы, железо. Туда же начали качать зерно, шерсть, шкуры, оружие, редкоземельные элементы, радиоактивное сырьё.

Наступил золотой век для дельцов всех рангов. Забыты были ценности, которые вколачивались в умы советских людей на протяжении семидесяти лет. Наверх, как после сильного шторма, море – общество – вышвырнуло всё говно.

Вот в это время мы и поняли, что надо брать ситуацию под свой контроль. Это была задача – будьте-нате!

Рэкетирские, как обезумевшие мустанги, не хотят идти под узду. Уже ушло на тот свет немало воров. Вспоминать всех – слишком длинный получится список.

Дальше пошла приватизация – переход, так сказать, капитала в

частные руки. На фальшивых авизо чеченские группировки зарабатывали астрономические суммы. Они вывозили наличку из России рефрижераторами.

Затем пошли совсем чудные дела. Они стали вкладывать деньги в уставные фонды банков. Потом сами же, под угрозой оружия, вынуждали совладельцев переписывать свои доли акций на них. «Совладельцы» стали бесследно исчезать.

Евреи пошли дальше. Они начали создавать финансовые пирамиды на основе нескольких банков. Слышал, наверное – «МММ», «Русский Дом Селенга». Эти – обманом и радужными лжеперспективами затянули в свои банки, в качестве вкладчиков, толпы простого народа, приняв их деньги на депозиты. И в один прекрасный день потом просто полопались. Но денежки те были уже на других, надёжных счетах.

Группировки начали войну за раздел сфер влияния. Никто никому не хочет уступать. Кровь рекой льётся по всему бывшему Союзу.

Мы знаем, что потом спецслужбы обвинят во всём нас и на нас спишут все грехи. Так мы должны предупредить ситуацию. Нам нужно заставить лидеров группировок признать, что воры есть короли преступного мира! И тогда все станут выполнять нашу, воровскую волю!

Яков не на шутку завёлся. Единственный предложил ему сигарету. Яков закурил, выпил ещё одну рюмку и, втягивая дым глубоко в легкие, сказал:

– Нет, я утомил тебя. Договорим завтра. Да и мне пора возвращаться – жена ждёт.

Единственный был ошеломлён, услышав, что у Якова есть жена.

– И давно ты женат? – спросил он.

– Не очень, – ответил Яков. – Наташа не даст тебе скучать, я её пришло. За домом приглядывают наши люди. Отдыхай.

– Спасибо. Не стоит утруждать девчонку, я хочу побыть один.

– Ну, смотри. Хозяин – барин.

Единственный проснулся в прекрасном настроении. Сегодня он впервые за долгое время спал крепко, не видел никаких снов. Подействовал видимо выпитый накануне коньяк.

Он бодро вскочил с кровати и глянул на часы, подарок Якова. Было десять часов утра.

Единственный распахнул окно, давая возможность войти в ком-

нату весне. Воздух был прекрасен. Единственный стоял у открытого окна и только что не пил воздух, втягивая его глубоко в лёгкие, испытывая несказанное наслаждение. Закружилась даже голова. Со сна за окнами едва заметно покачивались из стороны в сторону. Казалось, что они тоже мгновение назад пробудились после прохладной ещё весенней ночи и теперь понемногу разминались, кивая кронами, похрустывая ветвями.

Со стороны столовой донёсся звук бьющейся посуды. Единственный быстро направился туда. К своему удивлению он застал там обескураженную Наташу, ползающую по полу и собирающую осколки разбитой чашки. Наташа сконфуженно посмотрела на Единственного и, совсем по-детски оправдываясь, проговорила:

– Я нечаянно её уронила! Хотела сначала приготовить тебе чай, а потом разбудить тебя.

– Не расстраивайся, это к счастью. Знаешь слова Расула Гамзатова, великого горца? «Посуда бьётся – жди удач». Кстати, ты меня не разбудила. Я уже сам проснулся и стоял у окна, дышал, любовался природой.

– И очень хорошо. Ты иди тогда умываться, а я всё-таки закончу с чаем.

Единственный прошёл вниз, принял тёплый душ, привёл себя в порядок. Посвежевший, он надел спортивный костюм и вернулся в столовую.

На завтрак Наташа приготовила отменную глазунью и подала густо заваренный чай. Зазвонил телефон. Наташа подняла трубку и кивнула ему:

– Тебя Яков просит.

Единственный взял трубку. Яков поздоровался с ним, поинтересовался, как он отдохнул и чем теперь занимается.

– Спасибо, Яков. Отлично выспался, завтракаю.

– Я сегодня не приеду, нет возможности, серьёзные дела. Ты отдохнай, увидимся завтра к полудню. Приведи себя в порядок, оденься как следует. Нас с тобой завтра будут ждать люди, – пророкотал Яков, и Единственный понял, что за люди будут ждать их завтра.

– Хорошо, Яков, не волнуйся. Наташа заботится обо мне. До встречи, – Единственный попрощался и пожелал собеседнику удачи.

Полдня Единственный слонялся по дому. Он то брался за книгу, то пытался смотреть телевизор. Наташа хотела увлечь его игрой в бильярд, но игра не пошла. То ли кий был кривой, то ли Единственный бил неумело. Шары катились совсем не туда, куда он их

направлял. Блондинка не упускала возможности поиронизировать над ним. Наконец он забросил это занятие и попросил Наташу заняться баней.

– Ерунда все это. Растопи-ка лучше баньку, – и он пропел куплет из песни Владимира Высоцкого:

*Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык!*

Наташа заплотодировала ему, а Единственный, с видом заговорщика склонясь к ней, проговорил ей на ухо:

– Повторим вчерашний день – он мне понравился. Только, чур, сделаем наоборот.

– То есть? – блондинка удивлённо расширила синие глаза.

– Сначала в постель, а потом в баню! – открыл он ей «секрет».

Она деланно засмушалась, но тут же, театрально отставив правую ногу назад, глубоко прогнулась и сделала взмах правой рукой вдоль пола:

– Повинуюсь, мой господин!

Единственный прошёл в комнату, где закурил, сидя у окна, дожидаясь фею. Она пришла, улыбающаяся, сообщила:

– Всё о'кей! Через два часа баня будет готова.

Сегодня Наташа выглядела более чем аппетитной. Дождавшись, когда она включит музыку, Единственный поманил её к себе. Сегодня он был в приличной «форме», получше, чем вчера, поэтому взял на себя первую роль в их дуэте. Они прозанимались любовью около двух часов.

Девушка сегодня тоже была на высоте. Неистощимая на ласки и любовные игры, она без слов понимала его желания, идя им навстречу. Она меняла позиции, давая ему отдохнуть, брала на себя первую роль, ласкала его ртом и трижды заставила извергнуться. При этом и сама испытывала оргазм. Кстати, в отношении два к одному, если только она не притворялась.

Так или иначе, но Единственный успокоился наконец. Немного уставший, но удовлетворённый, он спустился вслед за ней в баню. И опять, как вчера: клубы пара, обжигающий жар берёзового веника, растирка чудными мазями. И опять бассейн, баня, снова бассейн!

Глава 2.

КОРОНАЦИЯ

Яков приехал за ним, немного запоздав. Единственный встретил его одетым и полностью готовым к поездке. Они обнялись, здороваясь.

– Выглядишь превосходно, – оценил Яков. – Однако в пиджаке ещё холодно ходить. Я захватил для тебя плащ, набрось его и поедем. Мы немного опаздываем.

– Я готов. Знаю: точность – вежливость королей!

Они сидели на заднем сидении, стремительно летевшей по шоссе, белой волги с затемнёнными окнами и молчали. Каждый думал о своём. Время от времени Яков доставал из кармана сотовый телефон, набирал нужный номер и, дождавшись ответа, говорил заготовленные, видимо, заранее две-три рубленые фразы. После этого сразу же прекращал разговор, складывая трубку.

– В Москве появилась пара умников, которые могут каким-то образом прослушивать любой сотовый телефон, – пояснил Яков Единственному. – Номер абонента достать нет проблем. Все разговоры фиксирует компьютер. Эти умники продают информацию за большие бабки. Причём им нет разницы, чей базар они продают и кому, лишь бы платили. У них грамотная система получения денег. Всё проходит через банковский счёт и компьютер. Найти их очень трудно, а главное – они нужны всем. Поэтому мы не доверя-

ем этой штуке, говорим лишь коротко и условно. Уже столько боссов группировок *пощёлкали*, *выпасая* и прослушивая их связь.

Единственный немало удивлялся тому, что слышал. Действительно, как всё переменилось на свободе! Садился – была одна жизнь, теперь – совсем другая. Конечно, по мере сил следя за прессой, он имел представление о событиях в стране: в политике, экономике, сельском хозяйстве. Что-то знал об общественной, культурной и криминальной жизни. Но ведь это было всё равно, что наблюдать за происходящим, находясь где-то в другом измерении, как бы в другом государстве.

– Тебя ждут воры! Будет обсуждаться твой вопрос. Так что будь на стрёме.

– Благодарю, Яков, я готов.

Ехали они по шоссе около часа, потом волга свернула в рощу, а ещё через двадцать пять минут завернула в расположенный в лесу городок. Машина остановилась около дома средних размеров, окружённого кирпичным забором высотой в человеческий рост. У высоких металлических ворот водитель вышел из машины, шагнул к переговорному устройству, нажал кнопку и назвал пароль. Ворота автоматически открылись и водитель загнал машину во двор.

Яков и Единственный поднялись в дом. Там сняли в холле плащи, поздоровались со встречающим их мужчиной и прошли в большую светлую комнату.

Она была хорошо обставлена. Белая, словно облитая молоком, мебель. Ковровое покрытие на полу тоже было белого цвета.

На полукруглом кожаном диване сидели три человека, все старше Единственного. В большом кресле дремал старичок с седой бородкой, в бежевом берете.

Заслышав тихие, скрадываемые ковром шаги, старичок мгновенноотреагировал: раскрыл глаза и уставился на Единственного.

Якова он узнал. Яков, а за ним Единственный, поздоровались за руку со всеми. Старичок спросил у Якова:

– Как ты, Яшенька? Давненько тебя не видел, не заглядываешь. Неинтересно тебе со стариком!

– Да будет вам, дядь Саша! Вам ли горевать о возрасте? На днях, как мне сказали, дядь Саша в «Метелице» сначала всадил пять штук зелени, а потом отбил. Ещё прибил потом за половину. И угощал шампанским всё казино, и на каждое колено по козочке посадил, – Яков рассмеялся. – Ну что, сдал я вас?

– Да, был такой грешок. А что мне под старость? Старухи у меня нет. Скоплю грошик, да и выеду поиграть по маленькой, нервишки пощекотать. А девочки... – он махнул рукой. – Так, одно баловство.

– Вот сколько тебя знаю, дядя Саша, ты всегда прибедняешься, – произнёс мужчина в белой шёлковой косоворотке.

Яков вынул из кармана сигарету, закурил её и поочерёдно представил каждого из находящихся в комнате Единственному. Указывая на высокого худощавого мужчину с чёрными как смоль волосами и зачёсанным набок чубом, с худым, смутлым и хищным, восточным лицом, сказал:

– Это братан наш, Вахтанг. Слышал, наверное.

Невысокого располневшего грузина с добродушным лицом, относящегося к типу рыжих и голубоглазых, Яков представил:

– Наш брат Мераби.

Далее последовал кучерявый, с мужественным лицом, словно высеченным из горного камня, ширококостный плечистый мужчина. Одет он был дорого, держался вальяжно, поигрывал янтарными чётками. Он сам протянул Единственному руку, крепко сжал его ладонь и назвал себя:

– Валико! – и добавил, обращаясь к сидящим с чуть заметным грузинским акцентом. – Меня завезли в восемьдесят шестом на зону под Иркутск, на строгую. Там нормально. Говорили, была красная. Выясняю: там были такие навороты со стороны местного контингента, что какой-то чечен загулял, семерых за одну ночь отправил к Богу. А потом за тебя зона сказала, – он пальцем показал на Единственного. – Будто там чуть бойня не началась. И ты там остановил всё, и поставил зону на воровской ход. Было такое?

– Было, – Единственный кивнул головой, подтверждая.

– Босяки, всякое было, если начать вспоминать, – проворчал дядя Саша. – Пойдём-ка, Мераби, на природу. Подышим божьим воздухом. Кто, ты говоришь, Яша, должен ещё приехать?

– Алмаз уже где-то на подъезде, и Тайга тоже.

– Ну ничего, встретим на улице.

Той же компанией они начали медленно прогуливаться по двору. Стоял прекрасный весенний день. Ребячливый ветерок не пронызывал, а, наоборот, освежал, кружа голову, через лёгкие пробиваясь в кровь.

Двор привлекал внимание чистотой, бетонные тропинки тщательно выметены. Участок, на котором располагался дом, захватил и сегмент естественного бора, и глазу было на чём отдохнуть.

Дядя Саша шёл впереди, взяв Мераби под руку и чуть опираясь на него. Единственный разговорился с Валико, который ему сразу стал симпатизировать. Он казался простым, доступным. Но в нём чувствовалась звериная хватка: такой скрутит – не вывернешься.

Во двор вкатились сразу две машины: первая – «шестисотый», на котором приехал Алмаз, вторая машина тоже была иномарка – красивая, элегантная.

– Ну вот, и Тайга туда же! Все как с ума посходили от этих иномарок, – проворчал дядя Саша, обнимаясь с Тайгой.

– Хорошая машина, чем она тебе не нравится?

– Скромнее надо быть. Я езжу вон на той белой. «Семёрка», что ли, называется. «Жигуль», одним словом. А вам надо иномарку. Яша вон тоже, скромно, на «Волге». Гаишники не останавливают, думают, директор завода едет.

– Хорошая тачка – это как шикарная тёлка, пахан! – воскликнул Алмаз, самый молодой из них. – Таких вот аппаратов, как мой, во всей Москве штук десять, а может, и того меньше.

– Ты помалкивай пока. С тобой я отдельно буду говорить, ругать буду.

Алмаз примолк, косясь на старика.

Все собрались в белой комнате, расселись и ждали, когда дядя Саша начнёт разговор. А тот не очень торопился, возился со своим браслетом, никак не мог застегнуть.

– Подарили браслетик – одно мучение, – высказался он.

Собравшиеся молчали, ждали, когда он заговорит о главном. Все знали, для чего сюда приехали, однако соблюдали воровской этикет.

– Так вот, воры! – начал, наконец, дядя Саша. – Вот тот бродяга, о котором отписывал нам Казанец. Тот самый, у которого на руках отошёл Сатана, отец Яшеньки. Он и ментов там покрошил за Сатану, и сам под пыж пошёл. Да Яша там перебил, отменили парню пыж. Ему мы и устроили побег воровской, хоть и не вор он. Ну а дальше – пусть он нам сам расскажет, за жизнь свою. Может, мы чего не знаем.

Все взгляды обратились к Единственному. Он заметно волновался. Выходило так, что сегодня он должен был сдавать экзамен за прожитое.

И тогда он начал говорить.

– В одиннадцать лет я остался сиротой. Похоронил маму, а потом отца. Есть у меня друг детства – Алик Карнаухий, он забрал меня к себе. Были ещё двое друзей – Чёрный и Яшка. Чёрный в Кемерово на строгом умер от чахотки, Яша закончил свои дни в дурятнике.

С одиннадцати лет я крал. Был и краснушником, и домушником. Потом пришёл старший брат Карнаухого – Майдан. Со строгого, тогда уже почти червонец отпыхтел. С ним и ходил на дело. По налёту ходили, хлопали магазины во всей округе. Был у него подельник Зель. Они дали мне всё хорошее, понятия о жизни нашей, как и что должно быть. С ними по одному делу и спалился, за гоп-стоп. Первый срок был на малолетке, на спецу три года. Жил пацаном в зоне.

Освободился, недолго погулял и опять устроился на шесть лет. А потом пошли *крутки*, *крутки*, и так до сегодняшнего дня. Крутился с Мангышлака, с козлячьей зоны. Там козлов крупнорогатых рубили. Откусались, никто под пыж не ушёл. А зона после нас стала на воровской ход. Крутился в Карлаге, крутился с Печоры за организацию бунта, там мы разморозили зону. После под Иркутском строгую зону поставил на воровской ход. После Сатаны ушёл под пыж, девять месяцев под пыжом сидел, заменили двадцатью годами особого. Благодаря вам ушёл побегом, земной вам поклон, – он низко поклонился вора и продолжил. – Проехал семнадцать зон, всюду БУР, изолятор. С Сатаной встретился в изоляторе в вязаной зоне. Кумовья его в зону не выпускали, морили. Вместе с ним две пятнашки страдал. На моих глазах ушёл он к Всевышнему. Ему стало плохо, я стал звать мусоров. Они, б...ди, спецом отморозились, не идут. А когда пришли – уже было поздно. И меня тут заклинило: такого человека угробили! Выхватил у мусора штык и давай крошить. Трех пробил, но все выжили.

– Они живучие, мусора, – высказался Алмаз.

– Пять пуль всадил в меня мусор, – продолжил Единственный. – В сангороде вытащила с того света хороший человек, счастья ей!

Все молчали. Дядя Саша прервал это молчание:

– Расскажи нам о последних часах Сатаны. Казанец писал нам, что он оставил тебе воровской наказ?

Единственный подробно рассказал, почему именно ему Сатана оставил наказ:

– Он, умирая, сказал: «Мне повезло, что Бог послал тебя. Думал,

умру среди б...дей, и некому будет сказать». Он сказал, чтобы я известил воров о том, как он умер. Велел передать, чтобы воры рассмотрели меня. Он был многим недоволен. Говорил, что многие воры отошли от старых принципов, стали забывать о главном. О том, что тюрьма – наш Дом родной. Рассказал, что раньше-то как было: если до воров доходило, что на той или иной зоне надо выправлять положение, то по решению сходки кто-то из них спецом брал срок. Чтобы потом, добравшись до проблемной зоны, выправить там ситуацию. Сатана наказал мне всегда помнить об этом. И велел мне поклясться, что понесу воровское в чистоте, если стану воров.

Единственный закончил говорить и опять наступило молчание. Лишь Яков ходил по комнате туда-сюда, но никто не укорил его, ибо речь шла о последних часах жизни его родителя.

– А сам-то ты хочешь стать нашим братом? – спросил дядя Саша.

– Да, – ответил Единственный.

– Здесь присутствуют восемь воров... – начал дядя Саша.

– Семь, пахан, – поправил его Алмаз.

– Я сказал – восемь. Ты думаешь, Алмаз, я от старости до десяти считать разучился? У меня в руках ксива от Казанца. Нас восемь, – ещё раз подчеркнул старик, окончательно оконфузив невыдержанного Алмаза. – Я зачитаю, что нам написал Казанец.

Дядя Саша неторопливо полез во внутренний карман своей светлой курточки и вынул оттуда кожаный футлярчик. Неторопливо раскрыл его, достал очки, дорогие, в золотой оправе, и не спеша надел их на кончик носа. Оттуда же, из футляра, он извлёк листок бумаги, аккуратно сложенный вчетверо. Дядя Саша развернул его и стал просматривать написанное, выискивая нужное место.

– Вот, – произнёс он. – «Гостинец ваш мы получили, сердечно благодарим. По поводу Единственного моё мнение таково: как я писал вам ранее. Парень пошёл под пыж за вора! Он достоин быть нашим братом. Его образ жизни нашей системе соответствует, я знаю. Я в курсе того, что пыж ему отменили. Дай Бог ему форта!» Вот мнение Казанца.

Кто из воров хочет спросить Единственного?

– Я хочу спросить, – отозвался Мераби. – Как нам рассказал Яша, у него был с тобой разговор по организации побега.

– Был такой разговор.

– Ты убедился в том, что побег был воровской. Его готовили воры для тебя, хоть ты и не был воров! Это стоило немалых денег. До

конца ли ты всё взвесил, желая взвалить на себя тяжёлый крест воровской?

– Да, до конца. Яков сказал мне, что я должен буду отказаться от всех, кого знал в прошлом. Я предупредил его, что от двух человек не откажусь никогда: это мой друг детства Карнаухий и дочь барона, моя названная сестрёнка.

– Да, он нас убедил в этом, – улыбнулся, сверкнув парой золотых зубов вор Тайга. – Это для твоего же блага.

– Кто ещё хочет сказать? – спросил дядя Саша. В ответ было молчание. – Тогда поклянись вора́м!

Единственный произнёс глухим, но отчетливым голосом клятву:

– Я, Единственный, перед лицом воров, будущих собратьев, клянусь быть достойным в семье нашей, и если надо, положу свою жизнь на алтарь воровского!

Дядя Саша, один из самых авторитетных воров в законе, подошёл к Единственному, обнял его и трижды расцеловал.

– Отныне ты наш брат, и все вору́ – твои братья! Но теперь нет больше Единственного – ни для мусоров, ни для братвы. Какое воровское имя ты выбрал себе?

– Амур, – твёрдо ответил Единственный.

– Почему Амур?

– Вся моя жизнь похожа на течение этой чёрной реки.

– Ну что ж, так тому и быть, Амур.

Вору́ подходили к нему, душевно поздравляли, и каждый обнимал и троекратно целовал его. Последним к нему подошёл вор Яша Тюрьма. Он от имени воров надел ему на палец правой руки небольшой золотой перстень с платиновой, усыпанной бриллиантами короной – знак вора в законе. Затем, также соблюдая ритуал, обнял его и три раза поцеловал.

– От души рад за тебя!

Растроганный Единственный тоже обнял его.

– А теперь прошу всех за стол. Надо хорошо отметить такое событие! – Мераби, на правах хозяина, пригласил всех в гостиную.

– А я думал, ты нас хочешь насухую выпроводить! – пошутил Валико, и все рассмеялись.

– Обижаешь, дорогой Валико! – деланно обиделся Мераби.

Гостиная была готова к шикарному приёму. Очевидно, что хозяин дома – хлебосольный и гостеприимный человек.

На огромном круглом столе, за которым могли бы свободно разместиться двадцать человек, были расставлены такие разносолы, каких Единственному ещё ни разу не доводилось не только есть, но даже видеть.

Во главе стола, неподалёку от растопленного камина, усадили дядю Сашу. Рядом с ним, по правую руку, Мераби посадил известного вора Тайгу. По левую сторону от дяди Саши устроился вор Вахтанг. Тюрьма сел между Тайгой и Алмазом. Единственного Мераби посадил около Вахтанга, а рядом с ним устроил вора Валико.

– Всегда меня ближе к порогу сажаешь.

– Это потому, что я хочу рядом с тобой сидеть, дорогой! Алмаз, дорогой, ты давай разливай как самый молодой.

Мераби подождал, когда бокалы у всех наполнятся, потом на правах хозяина и тамады поднял свой бокал и рассказал кавказскую притчу, Единственный слышал её и раньше. Общий её смысл сводился к тому, что первый тост Мераби предлагал выпить за друзей.

Воры с удовольствием чокнулись и выпили. И сразу же принялись с шумом и оживлением пробовать разные блюда.

Холодные закуски были великолепны! Тут была представлена и грузинская кухня: сациви, хачапури, чахохбили, чанахи. И, разумеется, традиционно русская: солёные огурчики, помидорчики, большие солёные грузди, маленькие скользкие маслята, холодный язык, посыпанный сверху серебристыми кольцами лука, и, конечно же, селёдка.

Нет, не та ржавая, пропущенная насквозь крупной поваренной солью селёдка, что выдавал знаменитый вологодский конвой. Эта была словно отлита из серебра, она тускло светилась на столе, истекая собственным жиром, чуточку маринованная. Она будила бешеное желание съесть её.

Глядя на то, с каким уважением ест её дядя Саша, Единственный не удержался, и сам съел несколько кусочков. Селёдка действительно была прекрасна! Мераби встал из-за стола и, держа в руках бокал, предложил:

– Пусть уважаемый дядь Саша скажет нам. А потом я буду вести стол по грузинскому обычаю. Дядь Саша, скажи, дорогой!

Дядя Саша встал и взял в руку рюмку с водкой. Он пил водку «Смирнофф» и отдавал предпочтение русской закуске. Если посмотреть со стороны, то дядя Саша выглядел человеком среднего роста, лет за шестьдесят, а может, чуточку больше. С хорошо со-

хранившимися ухоженными, но уже тронутыми серебром волосами, с аккуратно подстриженной белой бородкой – ни дать ни взять старый мудрый шкипер со страниц книг Джека Лондона. Одет он был в белую рубашку с бежевым галстуком и добрый голландский вязаный джемпер с красивыми металлическими застёжками вместо пуговиц.

– Мераби, родной, пусть всегда в твоём доме будет такой стол и за столом хорошие люди. Давеча я сказал: если всё вспоминать – сердце не выдержит, лопнет. Сколько мы потеряли наших братьев! За нашу идею отдало свои жизни огромное число воров и хороших парней. Вот и Сатана... – он помолчал. Голос старика чуть дрогнул, но он тут же справился с собой и продолжил. – Умер как истинный вор. Не в барской постели, а в изоляторе, рядом с нашим братом Амуром, – впервые вор назвал воровское имя Единственного. – Давайте помянем в лице Сатаны всех их, царство им небесное!

Дядя Саша, обратив голову к небу, трижды перекрестился и выпил водку до дна. Воры встали и, не чокаясь, опустошили свои рюмки.

Мераби был хорошим тамадой и прекрасно вёл застолье. Пили за родителей, за тех, кто «там». Когда, наконец, подали горячее, все были уже навеселе. На горячее был большой индюк, фаршированный яблоками, обложенный вокрут красным сладким перцем и целиком отваренным и слегка обжаренным картофелем.

– Ты специально в самом конце подал нам индюка, когда все уже наелись! – пошутил опять Валико в адрес Мераби.

Они были друзьями. Неистощимый на колкости, обладающий тонким грузинским юмором, жизнерадостный Валико не устал шутить над Мераби.

– Я люблю мясо. А ты накрыл стол какими-то растениями. Может, ты нас перепутал, Мераби? – опять шутил он.

– На вот тебе мясо! Ещё столько же будем сидеть, ешь, дорогой! – говорил Мераби, отрезая здоровенный кусок индюшатины. При помощи ножа и вилки он положил горячее в первую очередь на тарелку Валико.

Индюшатиной всем понравилась. Алмаз тоже приналёг на неё, подбрасывая огурчики, грибочки.

– Алмаз, ты что увлёкся? Давай наливай, уважаемый. Я предлагаю выпить за нашего брата Амура. Сколько он, бедолага, потерпелся, пока судьба довела его до этого стола! – Валико уже был

хорош. Он обнял Единственного за плечи. – За тебя, брат, я поднимаю этот бокал.

Дождавшись, когда все выпьют, Единственный произнёс ответный тост:

– Братья! Я хотел бы многое сказать, но вы сами знаете: в нашем мире судят не по красивым словам, а по поступкам. Раз вы меня признали своим собратом, значит я того заслуживаю. Но мой язык слаб для того, чтобы высказать моё уважение к вам. Я предлагаю выпить за воров и за наше воровское братство!

Закончив говорить, Единственный обошёл всех и каждого обнял.

Застолье закончилось поздно. Собравшиеся ещё долго говорили, шутили, смеялись. Алмаз, как оказалось, прекрасно умел играть на гитаре. С присущим ему, чуть напоказ, кавказским акцентом – он был курд по национальности – задумчиво спел «Долю воровскую». Даже уставший от всей этой суеты дядя Саша зааплодировал.

Разъехались гости за полночь. Все пребывали в хорошем настроении оттого, что сложился такой хороший вечер.

Незаметно, день за днём, пробежал месяц. В одной из клиник Министерства обороны, в хирургическом отделении, Единственному сделали пластическую операцию.

Врач – доктор военно-медицинских наук, профессор – при помощи компьютера рассчитал те изменения, которые можно было внести во внешность Единственного, в соответствии со строением его черепа, овалом лица, натянутостью кожи. Показал, каким лицо станет после операции. В принципе, лицо Единственного должно было напоминать прежнее, но всё-таки стать немного другим. Врач планировал изменить разрез глаз – убрать азиатский прищур, сделать тоньше нос и убрать на нём горбинку. Также он рекомендовал изменить овал лица – за счёт большей прижатости ушных раковин.

Посоветовавшись с Яковом, Единственный дал согласие на операцию. Неделю его готовили, а затем прооперировали.

Теперь он лежал один в палате. Голова его была забинтована полностью, в сплошной повязке оставили отверстия лишь для глаз и рта.

За эти дни ему сделали и ещё одну операцию. Лазерным лучом устранили татуировку на груди. Единственному было немного

жаль её. На одной из пересылок хороший художник тонко, с тенями и оттенками, выколол известную картину: «Отцелюбие римлянок» Рубенса. Однако с картиной пришлось расстаться.

Единственный с нетерпением ждал того дня, когда с него снимут бинты. Кожа на лице ужасно чесалась, да так, что он с трудом терпел. Иногда Единственный ругался, и тогда ему делали укол лёгкого снотворного. После этого он успокаивался и засыпал.

Наконец наступил долгожданный день. Единственного привели в процедурную и сняли повязки.

Профессор разматывал бинт медленно, виток за витком. Так скульптор снимает покрывало с законченной и готовой к всенародному обозрению скульптуры. Когда все бинты были удалены, Единственный, сидящий перед профессором, почувствовал себя так, словно он был нагишом. Кожу непривычно тянуло.

Профессор осветил лицо Единственного лампой-прожектором, надел себе на глаза прибор, напоминающий бинокль, и внимательно обследовал своего пациента. Вероятно, он остался доволен увиденным. Профессор отступил на несколько шагов и долго любовался своим произведением. Так художник, закончив работу, ходит вокруг созданного им творения, разглядывая полотно с разных сторон.

Наконец, удовлетворённый медик снял со стены висевшее над умывальником небольшое зеркало и поднёс Единственному.

Из зеркала на Единственного смотрел вроде бы он – и не он.

Этот стал красивее и моложе и был каким-то другим. Единственный понял, что теперь ему ещё долго придётся привыкать к своему новому лицу.

Профессор отпустил Единственного из клиники только через несколько дней, убедив в том, что должен проконтролировать процесс реабилитации. Все эти дни Единственный то и дело вскакивал с кровати и бежал к зеркалу, висевшему в палате. Потом долго, придирчиво рассматривал своё отражение.

– Красавец! Ну просто Майкл Джексон преступного мира! – пропел Яков, неожиданно появившийся в дверях.

Они не виделись с Единственным почти месяц.

Яков уезжал в Италию по важным делам, он не сказал, по каким именно. Единственный предположил, что эта поездка как-то связана с налаживанием контактов с сицилийской «Коза ностра». Теперь Яков с Единственным обнялись, искренне радуясь встрече.

За те дни, что они провели вместе, Единственный успел полюбить Яшу. Яков был непосредственным по характеру, как и сам Единственный, к тому же – пунктуальным, щедрым, умным. Помимо того, он обладал врождённым даром предвидения. К Единственному он относился не как к вору, а как к старшему другу. Яков был на пять лет моложе Единственного.

– Ну-ка, дай, я тебя рассмотрю! – восхищённо произнёс Яков. – О-о! Все топ-модели Москвы теперь твои! Ну всё, собирайся, я за тобой.

Этот энергичный мужчина, как всегда, торопился. Сын вора, сам вор, родившийся и росший в тюрьме, сделавший первые шажки в женском лагере.

В машине Единственный поинтересовался, как Яков съездил.

– Нормально, ничего особенного, деловая поездка. Италия, она и есть Италия. Итальянки красивы, пугливы как серны. Хорошее вино, солнце. Ты ещё наездишься. Я постепенно буду вводить тебя в курс дел. Очень много проблем в Москве и вообще по стране. Все – проблемы нашего мира. Конфликты между группировками, конфликты между ворами. Это отвлекает от главного – бизнеса.

– Конфликты между ворами? – удивился Единственный.

– Ещё какие! Ты что думаешь? Воры, как и все люди, разные. Одни не терпят присутствия других, роют друг под друга. Воровской мир изменился, в нём тоже происходят определённые процессы. Хорошо, нас цементирует сходка: всё же она одних одёргивает, других наказывает, принимает общую стратегию. Ну, об этом мы ещё поговорим.

– Я могу созвониться с Латвиной? – спросил Единственный.

– Конечно. Ты можешь сделать ей звонок. Но не давай ей пока номера своего телефона и не называй по телефону имени. Ты сейчас в розыске, твои ориентировки повсюду, надо быть осторожным. Твои паспорта уже готовы. По одному из них ты русский, гражданин России. По другому – ты русский, но гражданин Греции. Паспорта хорошие, проведены по всем компьютерам. Биографии свои выучишь позже, я тебе их дам. Жить будешь пока там же. Ухаживать за тобой будет Наташа. Ты не возражаешь? Если она тебе не нравится, я познакомлю тебя с другой. Но это будут лишние проблемы, возможна утечка.

– Да нет, я уже привык к Наташе.

– Ну и хорошо. Теперь ты можешь гулять по лесу. Только прошу: не уходи от дома далеко и надолго.

– Договорились.

– Шаг за шагом я буду вводить тебя в общее дело. Но спешить не будем. Ты должен как следует всё осмысливать. Кстати, Наташа хорошо знает банковское дело и ведение бизнеса. Она во многом окажется тебе полезной в плане изучения этих двух китов.

Волга Якова подъехала к дому и подала короткий сигнал. Ворота открыл пожилой мужчина, плотный, угрюмого вида.

– Кто это? – спросил Единственный.

– Он будет присматривать за домом и твоей безопасностью. Можешь ему доверять. Это очень преданный человек, он мне многим обязан. Его зовут Герасим. Жить он будет в помещении за домом. Ну всё, я тороплюсь. Давай, занимайся.

Они попрощались, потом машина Якова круто развернулась и уехала.

Единственный пошёл навстречу Герасиму и подал ему руку, здороваясь. Потом спросил, где Наташа. Герасим махнул рукой в сторону дома. Рядом с Герасимом семенила беспокойная маленькая собачка. Обнюхав ноги Единственного, она, видимо, признала его своим, вильнула хвостом и отбежала.

В доме Единственного встретила Наташа. Она пристально всмотрелась в его новое лицо, но ничего не сказала. Ей тоже нужно было время, чтобы привыкнуть к изменившемуся облику Единственного.

– Я приготовила тебе борщ, не возражаешь?

– Принципиальных возражений не имею! – шутливо отозвался он, входя вслед за девушкой в столовую.

Глава 3.

НОВЫЕ ЛИЦА – НАТАША, ГЕРАСИМ, ПАУК

Наташа. Наташа родилась в небольшом городке, недалеко от Москвы. Мама её, по специальности учительница, теперь уже была слаба здоровьем. Когда-то, в молодости, Наташина мама была хороша собой. Она встречалась с парнем, которого очень любила. Дружила она с ним ещё со школы. Потом его забрали в армию.

Три долгих года она ждала своего избранника. За это время поступила в институт и училась на педагога. Пока её подруги бегали на танцы, она сидела за учебниками и зубрила, зубрила, зубрила. Ни с кем из парней не встречалась, ждала жениха из армии. Будто монахиня, давшая обет целомудрия, почти не выходила из своей кельи-комнаты.

И вот он приехал – высокий красивый старшина. Но приехал не один, а привёз с собой... невесту.

Когда подруги рассказали ей об этом, она не поверила своим ушам и бросилась к нему домой. Встреча получилась холодной. Её бывший жених, её долгожданный возлюбленный смотрел на неё так, будто она была совершенно чужим для него человеком.

Сколько слёз она выплакала в подушку! А по утрам вставала и с опухшим лицом брела на лекции. Сердобольные подруги учили отчаявшуюся девушку: «Плюнь и размажь! Найди себе другого парня и подай с ним заявление в ЗАГС. Тот узнает – сам прибежит, на коленях приползёт!»

Так она и сделала. Отважно пошла на какую-то вечеринку и там познакомилась с симпатичным парнем. Несколько дней они встречались. Не прошло и недели, как она потащила его в ЗАГС. Он не возражал – и было подано заявление о регистрации брака.

Шло время, а бывший возлюбленный всё не возвращался и на коленях не приползал. Родители будущего мужа, с которыми тот познакомил свою невесту, всюю готовились к свадьбе.

Наступил день бракосочетания, и пара отправилась в ЗАГС. Всё было «как у людей»: и разукрашенные машины, и белая фата невесты, и свадьба в ресторане – не было лишь любви.

Муж оказался человеком слабохарактерным. Он не очень-то и любил жену. Она же продолжала любить своего первого парня. Год шёл за годом, а она так и не потеряла надежду на то, что тот бросит свою жену. Мужа своего лишь терпела.

Через положенное время у них родилась дочь – плод их безрадостной совместной жизни. Назвали девочку Наташенькой. Вот в неё и вложила мать всю свою любовь – и ту, несбывшуюся, и материнскую.

Наташа росла худенькой, длинноногой. Училась она всегда отлично и, закончив школу, уехала в Москву поступать в институт. Отца она не любила. Он к тому времени начал потихоньку спиваться и частенько поднимал руку на жену. Мать же Наташи постепенно превращалась в полную, большую женщину, нервную и несдержанную в своих эмоциях.

В Москве Наташа поступила в финансово-экономический институт. И здесь она училась прекрасно. Закончив институт по специальности «банковское дело», Наташа мыкалась в поисках работы. Иногородней девушке, не обладающей необходимыми связями, найти работу в Москве было практически невозможно.

Наступил день, когда в институтском общежитии ей сказали, что сдавать ей комнату больше не могут. Наташе ничего не оставалось, как ехать обратно домой, в свой родной городок. Именно в тот день она случайно познакомилась с Яковом.

Девушка рассеянно переходила улицу. Из-за поворота неожиданно вылетела волга. Водитель отчаянно тормозил, но всё равно машина ударила Наташу. Та упала. Выскочивший из машины Яков, это был он, помог девушке подняться и, убедившись в том, что она цела и невредима, предложил подвезти.

Идти Наташе было немного больно, и она согласилась сесть в машину. Когда же водитель спросил, куда её всё-таки доставить, девушка растерялась. Комнату в общежитии её попросили сегодня же освободить. Фактически ей надо было бы взять свои вещи и ехать на вокзал.

Тут она вдруг разрыдалась. Изумлённый Яков несмотря на то, что очень торопился, подробно расспросил Наташу о её бедах. И когда узнал всё, то уже не смог отпустить её просто так, на улицу.

Сначала она жила в этом самом доме, просто присматривая за ним. Позже Яков подыскал ей работу в солидном банке, где она отработала больше года.

Устроив Наташу на работу, Яков снял для неё недорогую однокомнатную квартиру. Потом, когда зарплата стала побольше, Наташа перебралась поближе к работе. Платить, правда, приходилось изрядно, но зато теперь ей не надо было толкаться по утрам в переполненном метро.

Наташа была очень благодарна Якову. Понемногу она даже начала помогать маме. Та уже несколько раз бывала у дочери в Москве, но пока никак не хотела перебираться жить к ней. Так привыкла к своей Твери.

Единственный был хорошим, внимательным слушателем. Недаром в лагерях многие открывали перед ним душу. Он умел расположить к себе людей. Он не стал спрашивать девушку об отношениях между ней и Яковым. Наташа сама рассказала Единственному, что у них ничего не было. Она всем обязана Якову, он для неё друг, защитник, советчик – но не более того.

– Было у меня два парня, – говорила Наташа, продолжая рассказ о себе. – Первый оказался женатым. Второй закончил аспирантуру и уехал к себе на родину. Впрочем, я и не переживаю. Сначала самой надо встать на ноги, научиться быть материально независимой. А потом видно будет.

– Ты не пропадёшь. Тебе крупно повезло. Такие люди, как Яков, встречаются один на тысячу. Специальность у тебя хорошая, да и сама ты девчонка что надо! – высказал Единственный, чем привёл Наташу в восторг.

Она и вправду была симпатичной девушкой: блондинка, строй-

ная фигура, высокая причёска, интересное, всегда улыбающееся лицо.

В этот момент Наташа сидела на диване. В белом с красными горошинами бюстгальтере и таких же плавочках, подобрав ступни под себя и руками опершись о колени, прогнувшись в талии, – вид её был чуть вызывающим.

Единственному опять захотелось овладеть ею. За дни, проведённые в клинике, он успел соскучиться по женщине. Теперь Наташа уже сама тянулась к нему, с радостью уступая его желаниям, с каждым разом отдаваясь ему всё более страстно.

Герасим. Это было его новое имя. Яков подобрал его на Ленинградском вокзале, где провожал в Петербург жену – та хотела съездить погостить домой к матери. Посадив жену на «Красную стрелу», Яков шёл по перрону к стоянке, где оставил свою машину.

Человек, одиноко стоявший у табло в начале перрона, чем-то привлёк его внимание. То ли своим угрюмым видом, то ли безысходностью, застывшей во взгляде, который он бросил на бодрого, уверенно шагнувшего Якова. А может быть, Якова растрогал вид маленькой кудлатой собачонки, которую незнакомец бережно держал на руках.

Яков подошёл к нему и спросил:

– Ты куда едешь? – и спросил, видимо, так, что тому не ответить было нельзя.

– А куда не еду. Стою и всё.

– А стоишь что?

Мужчина с удивлением посмотрел на Якова. Решив вероятно, что ничего не теряет, ответил:

– Думаю: как дальше жить?

– А до этого как жил?

– А до этого и не жил толком – то воевал, то сидел.

Яков присвистнул негромко, глянул на свои часы и предложил:

– У меня есть свободных пять минут. Уложишься с рассказом в это время, может быть, что-то и решим. Только не ври! – предупредил он.

– Да уж лучше врать, чем такую правду рассказывать. Офицер я. Майор, спецназовец из десанта. Семь лет воевал в Афгане, от лейтенанта до майора дорос. Мог бы и выше пойти, да не дали. Отворачивался, приехал домой. Дома жена с чужим мужиком, оба в посте-

ли. Ну, кончил я её из трофейного пистолета, что с собой привёз. Мужика не стал убивать, отпустил. А он, сука, ОМОН привёл. Отстреливался я, да не рассчитал в горячке патронов, расстрелял все. Влупили восемь лет, как в копеечку. Скостили немного как афганцу, боевому офицеру. Молодцы наши афганцы – выручили, горой встали. Вот и всё, парень, – закончив рассказ, мужчина улыбнулся и сразу как будто стал моложе. – Ну, посмотри, уложился в пять минут?

Яков посмотрел на часы и подтвердил:

– Да, уложился. А я вот уже не укладываюсь. Давай-ка, поехали со мной, по пути разберёмся. Тебе ведь всё равно, где думать, как жить дальше, – что здесь стоять, что ехать.

Так Герасим попал к Якову. Поначалу Яков держал его на своей конспиративной квартире. Долго присматривался, проверял «досье» офицера-афганца. По своим связям вскрыл архивные документы на Герасима в Министерстве обороны. Затем пробил про него по лагерю, где тот отбывал срок.

Когда выяснилось, что всё, о чем рассказал Герасим, правда, Яков заплатил большие деньги и сделал ему новые документы. Так Герасим стал Герасимом.

Имя это Яков дал ему за молчаливость и утрюмость, а ещё за привязанность к маленькой собачонке.

Герасим попал в Афганистан после окончания десантного училища – молодым лейтенантом, полным романтики и чувства патриотизма. Первые два года он воевал в полной уверенности, что исполняет интернациональный долг. Только позже, насмотревшись, как советская авиация и артиллерия сравнивают с землёй мирные кишлаки, он стал задумываться: правильно ли всё это?

Потом стал терять друзей, одного за другим, и начал ожесточаться. Пристрастился к гашишу, находя в нём способ отвлечься от страшного. Постепенно он дорос до капитана спецназа. Стрелял из всего, что стреляет, воевал зло и нахраписто.

Когда потерял своего лучшего друга, старлея Пашку, с которым и ложка была – одна на двоих, то просто осатанел. Солдаты пребывали в ужасе, когда на боевом выходе он на пленных собственноручно отрабатывал удары, после чего хладнокровно и безжалостно их пристреливал.

В одном из боёв спецназ атаковал кишлак. После массовой обработки авиацией и артиллерией нужно было выбить засевших в нём «духов». Когда кишлак в основном был взят, пошли делать «зачистку».

Выкурив перед операцией косяк крепкого гашиша, Герасим шёл впереди всех, первым из роты вламываясь в глинобитные жилища. В каждый дом – сначала «втыкали» очередь из «калашника», а потом врывались внутрь.

В одном из домов-землянок, куда ворвался Герасим, он обнаружил белобородого старика, обнимавшего девочку-подростка, испуганно жавшуюся к его груди. Кем была ему эта девочка? Дочерью, внучкой?

С перекошенным от злобы лицом и «обкуренными» дикими глазами Герасим вырвал девочку из объятий старика, хотя тот жестами показывал, что они мирные жители и не воюют.

Герасим выпустил в старика короткую очередь, и тот бесшумно завалился на бок. Потом Герасим содрал с девочки и без того рваный, залатанный халат, широкие шаровары, завалил её на покрытый кошмой земляной пол. В нём росло безумное возбуждение от её маленьких, только начавших формироваться, грудей с острыми коричневатыми сосками и от худого смуглого, по-змеиному гибкого тела, которое извивалось под ним. Герасим вначале со всей силы наотмашь ударил девочку ладонью по лицу, потом стал насиловать её обмякшее тело.

Насиловал долго и яростно, точно на ней хотел выместить боль, сидевшую в нём со дня Пашкиной смерти.

Когда Герасим кончил и поднялся, то увидел глядевшие на него в упор глаза старика. Старик был ещё жив. Он истекал кровью и в бессильной ненависти наблюдал за происходящим. Герасим поднял автомат и выпустил в живучего старика длинную очередь. Потом уже, вконец осатаневший, развернул ствол автомата и, не прекращая стрелять, прошёл тело девочки, так и не пришедшей в себя, от левого плеча до поясицы.

Даже не прикрыв её голых раскинутых ног, Герасим вышел из землянки, волоча за собой на ремне автомат.

* * *

Слухи об этом случае дошли до политотдела. Герасима чуть не отдали под суд, насилие он отболтался. Спасло его только то, что он был нужен начальству, такой злой и неразумывающий.

Со всех боевых операций Герасим набирал шмотки, импортную аппаратуру, копил заработанные чеки и переправлял в Союз, жене. Писал он ей не часто. Полюбить её по-настоящему ещё не успел. Сколько они там прожили после окончания им училища – месяцев пять, не больше. А потом он в Афган, а она – к своей матери в Ленинград.

За короткие периоды отпусков, когда Герасим приезжал в Союз, ему не удавалось на человеческом уровне сблизиться с женой. Она лишь мирилась с тем, что у неё есть законный муж и отметка о браке в паспорте.

Как только по окончании отпуска он улетап обратно, жена вновь оказывалась в привычном ей мире. Нет, она не была блядь! Но женщина её возраста не может не испытывать известную потребность, «физиология» не позволяла ей обходиться без мужчины.

Там, в горах чужого для него Афгана, Герасим сатанел от этих мыслей. Когда он возвращался к месту дислокации полка, то выискивал какую-нибудь русскую дуру, приехавшую в надежде заработать чеков. Герасим давал ей эти злосчастные чеки и беспощадно «драл» её, сходя с ума от мысли, что кто-то сейчас так же дерёт его жену. И проклинал Афган, армию, «духов», Брежнева, партию, генералов, сидящих в штабах и посылающих на смерть восемнадцатилетних, безусых пацанов.

Когда наступила горбачёвская «оттепель», все в армии радовались. А когда в прессе и по телевидению объявили о прекращении боевых действий и выводе советских войск из Афганистана, армия просто ликовала.

Радовался и Герасим. Он уже строил мирные планы. Спал и видел, как уйдёт в отставку и будет работать на заводе.

В свой последний приезд в Союз на собранные чеки Герасим купил в Ленинграде хорошую трёхкомнатную квартиру на Васильевском острове и неплохо, по тем временам, обставил её. Жена была довольна. Она подлизывалась к нему и убедила записать квартиру на её имя. Да и Герасиму, собственно, тогда было всё равно.

По ночам жена страстно ублажала его, стараясь попутно убедить мужа в своём целомудрии. Он овладевал ею жестоко, со злостью, пугая её. Потом успокаивал, говорил, что война скоро закончится и он оставит осточертевшую ему армию.

Армию выводили из Афганистана с оркестром. Мост через реку Пяндж содрогался от кативших по нему танков и бронетехники. С развёрнутыми знамёнами, укреплёнными на борту, ехали БМП десантников-гвардейцев.

Герасим в парадной форме сидел на броне. На солнце золотом сверкали его погоны с майорскими звёздами. Таким и запечатлел его военный фотокорреспондент. Журналы с изображением опалённого боями лица Герасима на обложке обошли весь Союз.

Ещё в Афганистане, за месяц до вывода войск, Герасим подал рапорт об увольнении из рядов Советской Армии. Уже в Союзе ему пришлось около месяца ждать приказа об увольнении. Наконец все бумаги были оформлены. Сослуживцы-однополчане, как положено, устроили грандиозную пьянку.

И Герасим, распрощавшись с армией, отправился домой в Ленинград.

Когда они с женой только въезжали в новую квартиру, он оставил один ключ себе – просто так, без особой надобности. В Афгане он показывал его друзьям и говорил: «Это ключ от моей новой квартиры».

Висевший весь тот год на груди, на одном шнурке с медальоном, этот ключ грел ему душу и внушал надежду на хорошую «гражданскую» жизнь в будущем.

Герасим добрался домой поздно, уже за полночь. Около дома он вышел из такси. Лифт не работал, и Герасиму пришлось подниматься пешком на шестой этаж. Он знал, что жена должна быть дома. Желая устроить сюрприз, он даже не предупредил её о своём приезде.

У него уже была заготовлена фраза, которую он хотел сказать первым делом – и только потом обнять жену. Хотел сказать Герасим: «Всё, родная! С армией я порвал вчистую». После этого он собирался с силой бросить фуражку на пол.

Сняв со шнурка ключ, он бесшумно открыл дверь квартиры. Тихо шагнул в прихожую и внёс свои чемоданы. Не разуваясь, прокрался к спальне, где должна была спать жена, отворил дверь и вошёл в неё.

Вошёл и остолбенел. В комнате горел ночник, отбрасывающий на постель слабый розовый свет. Жена стояла на четвереньках, уткнувшись головой в подушку, и сладко постанывала. Её большие белые

груди раскачивались из стороны в сторону. Сзади к ней пристроился мужчина, крепко обхвативший руками её аппетитный зад.

Герасима словно парализовало. У него отнялись руки и ноги, язык присох к нёбу. Лишь глаза, чуть не вылезая из орбит, смотрели на это бурное соитие.

Почти так же Герасима парализовало однажды в Афгане. Тогда он был ещё лейтенантом. Его взвод шёл гуськом по тропе. Герасим, как обычно, шёл впереди всех. Вдруг, огибая скалу, он нос к носу столкнулся с душманом.

Сколько они стояли так, застыв от неожиданности? Секунду, три? Тогда Герасим очнулся первым и первым нажал на курок.

В этот раз он тоже очнулся быстро. Тихонько вышел в прихожую. В одном из его чемоданов лежала, завёрнутая в тряпку, воронёная трофейная «беретта». Он и сам не знал толком, зачем вёз её с собой.

Герасим взвёл курок, послав патрон в ствол. Потом дважды громко стукнул в дверь дулом пистолета и вошёл в комнату.

Любовники даже не успели оторваться друг от друга. Жена была всё в той же позе, мужчина по-прежнему крепко обнимал её сзади. Лишь взгляды обоих теперь были устремлены на Герасима.

Ужаса в глазах жены он не увидел. Лишь страх и ещё какое-то чувство, напоминающее раздражение, промелькнули в её серых глазах. На мужчину Герасим не смотрел.

Подойдя поближе к жене, он поднял пистолет. Выстрела не услышал, но знал, что попал точно в голову.

Как в тумане, он повёл стволом пистолета, давая мужчине знак убираться. Тот моментально исчез. Сам Герасим опустился на кровать, где только что происходила любовная сцена. Он долго сидел так, разглядывая белое, такое желанное тело жены, незаметно для самого себя лаская и поглаживая его.

Сколько прошло времени – он не знал. Вышел из охватившего его оцепенения только тогда, когда услышал противный вой милицейских сирен.

Герасим метнулся к окну и понял, что уже поздно. Дом оцепляли омоновцы. Один за другим подъезжали уазики.

Он рванулся из квартиры, но на лестнице уже раздавался топот бегущих ног. И тогда он закричал страшным, непохожим на человеческий, голосом. В этом крике звучало проклятье всему: и тому, что произошло, и армии, и партии с её паскудной идеологией. И себе самому, превратившемуся в убийцу – и там, в Афгане, и теперь вот здесь, в своей новой квартире, в которой он ещё и не жил. И проклятье жене, так мерзко превратившей его в «рогоносца».

Если бы Герасим застал любовников просто спящими, он бы не стал убивать жену. Не для того он бесконечных семь лет воевал в чужой стране. Не для того терял боевых друзей, запаивал их в цинк и отправлял на Родину «чёрным тюльпаном», оформляя как «груз двести». Не для того, чтобы теперь прийти и убить.

Ах, если бы они просто спали! Герасим не мудрствуя лукаво прогнал бы этого мужика. Так матёрый волк, вздыбив шерсть на загривке и клацая грозными клыками, прогоняет молодого шелудивого волка, занявшего на время его место, пристроившегося к молодой, истекающей соком волчице.

А жену Герасим бы искусал, чтобы запомнила на всю жизнь. И потом сам, жалея её, зализывал бы языком нанесённые ей раны, в унисон поскуливая от боли.

Но любовники не спали. Жена отдала другому своё тело, которое Герасим всё-таки любил. Да ещё она и растопырилась в бесстыдной позе, которая ему самому нравилась, и постанывала от удовольствия! Нет, этого он простить не мог!

Герасим выстрелил в вынырнувшего из-за лестничного марша омоновца, но тот был в тяжёлом бронежилете и пуля «беретты» лишь швырнула его навзничь.

«Эх, сейчас бы «калашник» или хотя бы «стечкина!» – пожалел Герасим. Последний патрон себе! Этот закон он свято соблюдал в Афгане.

Пули омоновцев рикошетили от стены к стене. Герасим лежал на бетонном полу и отстреливался, посылая пули то в поднимающихся снизу, то в спускающихся сверху. В пылу сумасшедшей схватки он не заметил, как выпустил последний патрон. Хоть он и считал выстрелы, но видно ошибся. Когда по его расчёту в стволе оставался последний патрон, он хладнокровно направил пистолет себе в сердце и спустил курок. Вместо выстрела раздался пустой щелчок. «Осечка!» – подумал он, взводя курок вновь. Снова щелчок.

А сверху уже омовец прыгнул на Герасима, подминая его под себя. Можно было ещё побороться, показать, что такое настоящий спецназовец, семь лет ходивший на боевые. Но вдруг ему всё стало безразлично. Герасим покорно вынес побои налетевших омовцев и спокойно позволил им застегнуть стальные наручники на руках, заломленных за спину.

Четыре месяца, проведённые Герасимом в знаменитых «Крестах», прошли, как в тумане. Блатные в камере его не трогали. Они знали его дело, знали, за что он сидит, майор-спецназовец, прошедший всю войну.

На суде он отказался от предоставленного ему последнего слова. Только махнул рукой в сторону судьи, потом посмотрел вверх, в потолок, и произнёс:

– Только он мне судья. А вы, вы никто! – и сел. В этот момент он припомнил растерзанную и убитую им девочку-афганку и принял приговор как наказание свыше – от Бога!

Совет ветеранов Афганистана отстаивал его как мог. Как-никак майор спецназа, дважды орденосец. Врач-психолог предоставил справку, в которой утверждал, что у Герасима не всё в порядке с нервной системой, что он действовал в состоянии аффекта на почве ревности. Одним словом, получил Герасим восемь лет усиленного режима в сибирском таёжном лагере.

Восемь лет прошли, прокатились по Герасиму, будто траки тяжёлого танка. До конца они изуродовали всё, что оставалось в нём ещё от «хомо сапиенс». Восемь лет на лесных делянах, пропитанный дымом костров и вонью болот, он кормил таёжного гнуса. Герасим тихо зверел. Месяцами, годами никто не слышал от него ни единого слова. Многие эки думали, что он глухонемой. Обидное слово в свой адрес, порой срывавшееся с их уст, Герасим молча вгонял им обратно в глотку.

Герасим! Умевший всё: стрелять, взрывать, подкрадываться, уходить, резать, рубить – без слов, хладнокровно, безжалостно – он был страшным оружием Якова. Не имевший теперь на всём белом свете никого из близких, Герасим признавал только одного человека на земле – своего хозяина Якова!

Герасим ревновал Якова к Единственному, как верный пёс ревновал бы своего хозяина к его друзьям.

Паук. Офис, в который Яков привёз Единственного, находился на Тверской, в здании, которое ничем не выделялось и не бросалось в глаза. С фасадной стороны оно было поблекшим и выцветшим и украшала его лишь скромная табличка: «Фонд поддержки и развития правоохранительных органов».

Когда Единственный прочёл надпись на табличке, то споткнулся о ступеньку и чуть было не упал. По обыкновению он промолчал, хотя был сильно удивлён. Он спокойно проследовал за приятелем в высокие массивные двери.

Внутри здание имело совершенно другой вид. В нём был сделан дорогой, качественный ремонт. В большом, облицованном мрамором, холле Якова и Единственного встретил охранник. Яков предъявил пропуск, но охранник вызвал по карманной рации помощника.

Помощник – маленький, чрезмерно толстый, напоминающий колобок – не заставил себя ждать и возник точно из-под земли. Подкатившись к ним, он подобострастно потряс руку Якову, а затем, бегло ощутив Единственного скользким маслянистым взглядом, вложил ему в руку свою пухлую ладонь, дополненную пальцами-сосисками.

– Пожалуйста, проходите. Добро пожаловать!

Помощник катился впереди, указывая дорогу. По красивой лестнице он завёл их на второй этаж – прямо в приёмную, заставленную компьютерами, факсами и телефонами.

Куколка-секретарша при виде входящих встала и продолжала стоять до тех пор, пока они не прошли в кабинет. В просторном кабинете, обставленном с вызывающей роскошью, их встретил высокий, полный, лощёный молодой человек. Он вальяжной походкой направился к ним, раскинув руки и улыбаясь с явно показным радушием.

– Яша! А я уж заждался вас!

Он обнялся с Яковым, трижды по-русски расцеловал его, а затем протянул руку Единственному.

– Александр Мойшевич, – представился он.

– Единственный, – назвал себя Единственный, продолжая держать руку сына Мойши, рассматривая её.

Безукоризненно белую, с хорошо ухоженными ногтями руку Александра Мойшевича украшали два кольца. Одно золотое обручальное. Другое – с платиновой платформочкой, на которой был укреплён чистый бриллиант, не менее двух карат.

Хозяин кабинета широким жестом пригласил гостей устраиваться на шикарных диванах белой кожи.

Александр Мойшевич был высоким шатеном с густыми волнистыми волосами, очевидно причёсанными и уложенными в дорогой парикмахерской. У него было приятное, но полное лицо с начинающим расти вторым подбородком. Высокий, будто мраморный, открытый лоб без единой морщины говорил о том, что его обладатель располагал недюжинным умом. Красивые брови прикрывали глубоко посаженные цепкие серые глаза. Нос был полным и создавал иллюзию доброты. Единственный нутром почуял, что эта кажущаяся доброта – в действительности лишь иллюзия, потому что полные губы на этом лице были не мягкими, а наоборот, как бы подчёркнутыми жёсткой линией, а подбородок, если внимательно присмотреться, был немного скошен книзу.

Безукоризненно белую рубашку Александра Мойшевича украшали яркий красивый галстук с золотой заколкой и такие же золотые запонки. Галстук уверенно лежал на солидно выпирающем брюшке, хотя наверняка обладатель этого брюшка как-то пытался с ним бороться – посещал сауны со всякими джакузи, дорогой тренажёрный зал. Не исключено, что он даже соблюдал модные ныне диеты.

Хозяин кабинета расположился напротив Якова и Единственного. Увидев, что Тюрма достал из кармана сигареты, придвинул ему массивную мраморную пепельницу.

Правую руку Александра Мойшевича украшали небольшие, поблёскивающие бриллиантами, золотые часы, явно дорогие.

«Вот это да! – воскликнул про себя Единственный. – Пока я там гнил за решёткой, они тут плотно упаковались. Офисы, «ролексы», секретари!»

Единственный уже знал от Якова, что Александр Мойшевич известен в определённых кругах под кличкой Паук. Незаметно прощупывая взглядом сидящего напротив бизнесмена, Единственный задержал своё внимание на его руках.

Казалось бы – руки как руки. Правда очень холёные и ухоженные. Однако человек, умеющий наблюдать, сразу замечал, что руки Паука почти постоянно находились в незаметном движении. Пальцы этих рук, обильно поросшие блестящими чёрными волосиками, едва заметно шевелились, будто лапки паука. Чуть подрагивая,

они словно тихонечко переступали по существующей под ними, незримой для остальных, хитро расставленной сети паутины.

Этот человек сразу вызвал в Единственном чувство брезгливости. Единственный незаметно передёрнул плечами и последовал примеру Якова, закулив сигарету. Хотелось ему думать, что достаточно будет укутать себя дымом, чтобы защититься от нехорошего биополя Паука.

* * *

Яков же рассказывал Единственному о хозяине роскошного кабинета:

– Саша – мой партнёр по бизнесу. Светлейшая голова. Эта контора – лишь ширма для посторонних глаз. Саша, ты расскажи нашему гостю о бизнесе и ближайших планах.

– Боюсь, Яков, так мы перегрузим нашего гостя избытком информации. Не будем торопиться, – произнёс Александр Мойшевич, а его пальчики-лапки продолжали тихонечко шевелиться, причём все десять двигались одновременно. – Пойдёмте, дорогой, – он приглашающе протянул Единственному руку. – Я покажу вам свой аквариум. Правда, он не с рыбками, – при этом Александр Мойшевич многозначительно поднял указательный палец.

Он провёл Единственного в комнату отдыха, пропустив перед собой в овальную, почти незаметную дверь в углу кабинета.

Они оказались в довольно просторной комнате, в которой справа у стены стоял большой стеклянный аквариум на ножках с включённой подсветкой. Внутри аквариум был разделён до самого верха стеклянными перегородками, которые образовывали множество ячеек. В каждой ячейке, как в камере, сидел паук. Всего в аквариуме находились, наверное, сотни пауков.

Единственный аж отшатнулся при виде такого количества мерзости, собранной в одном месте, и обронил:

– Странное увлечение.

Александр Мойшевич заметил состояние Единственного, самодовольно улыбнулся и с гордостью проговорил:

– Там, – он указал пальцем на аквариум. – Только там и есть настоящая жизнь! – серые глаза его засверкали. – Борьба за выживание!

Он взял в руку небольшую пластмассовую указку и, направляя на одну из камер-ячеек, принялся возбуждённо рассказывать. Бриллиант на его пальце поблёскивал, рассыпая разноцветные искорки.

– Вот этот красавец – паук-скаун. Он способен прыгнуть на расстояние, в тридцать раз превышающее размер его тела. Всего лишь один укус этого тропического паука несёт верную смерть. Таких у меня штук десять. Я занимаюсь их размножением. А эта красавица – северная «Чёрная вдова». Она обитает на востоке США и часто оказывается незваным гостем в жилищах людей. Её яд вызывает у человека долгую мучительную агонию. Это австралийская «Чёрная вдова». Она имеет красивую окраску, но эта окраска очень обманчива, ибо укус этого паука смертелен для человека. Мне привезли этот экземпляр прямо из Австралии.

Александр Мойшевич водил указкой по ячейкам, продолжая давать пространные пояснения.

– Это банановый паук, он обитает в Перу, во влажных тропических лесах Амазонки, – указка поползла к следующей камере-ячейке. – Этот оранжевый паук-бабуин обитает в Африке. Он очень агрессивен, его яд постепенно парализует жертву. А вот это – паук-волк. Представители данного вида очень активные хищники из семейства Аукозид. Они обитают в лесах Амазонии и в пустынях Сахары. Паук-крестовик обитает в Малайзии. Он чрезвычайно агрессивен и готов атаковать любое существо, случайно оказавшееся на его пути. Его яд смертелен для человека. Ну, а этот красавец тарантул – теперь наш, его привезли мне из Америки, я заплатил за него пять тысяч долларов. Это паук-мегаломорф, он обитает в Северной и Южной Америке, относится к семейству тарантулов. Да, да, пять тысяч долларов, но посмотрите, какая это великолепная особь! – восхищался Александр Мойшевич. Указка поползла дальше. – Большой паук-птицеед обитает в тропических лесах Амазонии. Он незаметно подкрадывается к мелким птицам, укусом парализует их, а затем неспеша поедает. А это паук-рысь, он привезён из Коста-Рики. Это моя особая гордость. А тут сиднейский воронковый паук, печально известный своим укусом – он смертелен, вызывает у человека мгновенный столбняк.

Александр Мойшевич с воодушевлением рассказывал, забыв о времени, словно выступал перед многочисленной аудиторией.

– Вот ещё что интересно. Чтобы осуществить оплодотворение, паук-самец проделывает сложную процедуру. Он переводит сперму из ротового отверстия, укладывая её на небольшую паутинную нить. Затем, повернувшись задом, собирает её в особые органы, называемые цимбиумами. Потом самец вводит цимбиум в половое

отверстие самки и впрыскивает туда сперму. Процесс спаривания иногда продолжается несколько часов. Самец находит самку по выделяемому ею запаху. После спаривания самец поспешно спасается бегством, иначе самка его убьёт. Ядовитость пауков наиболее сильна в начальный период их жизни. Тяжёлые страдания человека, укушенного каракуртом, производят на окружающих неизгладимое впечатление. Медицина в этих случаях бессильна. В битвах с пауками погибают даже скорпионы, реже фаланги. Когда между скорпионом и каракуртом завязывается ожесточённая борьба, она всегда бывает исполнена редкого драматизма.

Александр Мойшевич длинными пластмассовыми щипчиками достал из одной ячейки каракурта, а из другой скорпиона. Он поместил того и другого в отдельный небольшой стеклянный аквариум, стоящий неподалёку на низком столике:

– Смотрите! Только для высоких гостей! Пауки эти очень дорогие.

Скорпион храбро защищался, размахивая хвостом, и пытался нанести противнику укол ядовитой иглой. Глаза Александра Мойшевича возбуждённо заблестели. Меланхолик по жизни, он теперь будто ожил. Каракурт отскакивал, легко уклоняясь от смертоносного оружия скорпиона. Наблюдая за этой баталией, Единственный стал очевидцем неожиданного конца. Укушенный пауком скорпион упал на спину и забился в смертельных судорогах.

Вслед за тем Александр Мойшевич достал из большого аквариума фалангу и поместил её к каракурту-победителю. Борьба каракурта с фалангой тоже закончилась торжеством паука, хотя на этот раз победа и была нелёгкой. Фаланга дралась смело и дерзко. Битва продолжалась с величайшим ожесточением и упорством с обеих сторон. Но фаланга была повержена, отравленная смертельным ядом. Её участь была решена, и каракурт приступил к поеданию своего противника.

Александр Мойшевич с удовольствием комментировал происходящее:

– Насытившись недоброкачественной пищей, каракурт нередко погибает сам, ведь фаланга ядовита. Ловок и искусен каракурт. Страшен его смертельный яд, и всё же у него много врагов. А впрочем, у кого их нет? – философствовал он. – Рассмотрите, кстати, фалангу поближе.

При помощи пинцета Александр Мойшевич достал из боль-

шого аквариума фалангу. Это был крупный экземпляр, около двенадцати сантиметров длиной. Тело фаланги состояло из большой мускулистой головы, относительно слабенькой груди и безобразно толстого, напоминающего мешок, брюшка. В передней части головы фаланги как кинжалы торчали две пары длинных тёмно-коричневых челюстей, вооружённых острыми шипами. Тело фаланги было серовато-жёлтого цвета, с небольшой тёмной полоской вдоль брюшка.

Убрав из маленького аквариума каракурта, Александр Мойшевич поместил туда фалангу, потом посадил к ней ещё одну.

Бой двух фаланг был скоротечен. Единственного поразила быстрота реакции той фаланги, у которой брюшко было тоньше. Она мгновенно, за ничтожную долю секунды, напала на свою соседку и ловко вцепилась челюстями в её горло. Маневр был молниеносным и расчётливым. Несчастная жертва не успела предпринять никаких мер для обороны. Поникшая, она отдалась во власть победительницы. А та, не медля, энергично заработала челюстями и начала уплетать свою добычу. Победительница быстро расправилась с головой, а затем с не меньшим усердием принялась и за брюшко. Вскоре от добычи остались лишь кончики ног, а брюшко удачливой фаланги заметно увеличилось в размерах.

Короткая и быстрая расправа, учинённая фалангой над своей соплеменницей, поразила Единственного и вызвала в нём довольно мерзостные ощущения. Он и не подозревал, что этот на первый взгляд пассивный хищник может с таким рвением и ловкостью заниматься поеданием себе подобных.

– Какие баталии! А! – глаза Александра Мойшевича возбуждённо сверкали, он был восхищён. – Вот от этого я получаю настоящий кайф.

В детстве семья Паука жила в новостройках города Электро-сталь.

Когда маленький Александр, нарядно и чистенько одетый, выходил погулять на улицу, соседские дети, сбиваясь в шумные компании, развлекались всякими известными играми. Но его их игры не интересовали. Он имел странную привычку – незаметно для неусыпного ока старушки-няньки уходить за дом. Там, где уже не было домов и начиналось поле, мальчик в траве находил жучков, паучков, маленьких серых ящериц. Он ловил их и смело засовывал в

карман, а потом показывал мальчишкам из своего двора. Своим пристрастием Саша шокировал их так же, как и свою няню.

Вскоре маленькие мальчишки и пацаны побольше в его дворе стали называть Александра Пауком. Эта кличка прилипла к нему на всю жизнь. Впрочем, ему она нравилась. Он абсолютно и бесповоротно был покорён своими любимцами, омерзительными насекомыми.

В школе Паук был всегда в числе лучших. Чистюля, прилизанный и ухоженный, что во многом было заслугой старушки-няни, он появлялся в классе вовремя, никогда не опаздывал, всегда был активен. Учителя нахваливали его на родительских собраниях, ставили в пример другим одноклассникам. Это была обыкновенная советская школа так называемого «застойного» периода.

Со всеми ребятами в классе Паук поддерживал ровные отношения. Но никто никогда не дружил с ним по-настоящему, ни девочки, ни мальчишки. Что-то заставляло их обходить его стороной. Нужно сказать, он и сам никогда не стремился к обществу. В душе он презирал своих одноклассников, так как большинство из них происходило из простых рабочих семей.

Родителями же Паука были «прогрессивные» советские евреи. Оба состояли в партии. Отец его занимал должность начальника управления комплектации завода «Электросталь». Ещё в те времена этот вёрткий человек имел огромные для простого начальника деньги.

Он вечно крутился в Москве, где-то в Госплане и Госснабе. Ещё чаще он ездил в командировки в Узбекистан, Таджикистан. Там он с проворными азиатами прокручивал различные тёмные делишки, прикрываясь красными «корочками» партийного билета.

Каждое лето родители возили Паука на море. Там они могли не бояться вездесущего столичного ОБХСС и привольно тратили деньги, обедаясь в жарких, душных южных ресторанах.

Как-то, во время одной такой поездки на море, отец и сын, который к тому времени изрядно подрос и закончил уже седьмой класс, катались на водном велосипеде. Лениво крутя педали, отец объяснял сыну:

– Сашенька, мы можем сейчас в два раза быстрее крутить педали этого водохода. Но тогда мы быстро устанем, и у нас не будет сил плыть дальше. А если мы будем крутить неспешно, но монотонно и настойчиво, то сможем ехать весь день без усталости и прой-

дём неизмеримо большее расстояние. При этом мы будем ещё и наслаждаться жизнью!

Так отец, перекрученный коммунака, учил жизни подающего надежды сына.

В девятом классе Паук был уже секретарём комсомольской организации школы. Этот статус поднял его высоко над одноклассниками. Перед ним расстилось обширное поле деятельности, а также прекрасные возможности для упражнений в словоблудии, и Александр не упускал своего шанса.

Закончив десятый класс, он, как и было запланировано, без особых проблем поступил на финансово-экономический факультет Московского института народного хозяйства. В те времена это был один из самых престижных вузов страны. Поступил он совершенно самостоятельно, без какого-либо участия отца, поскольку школу закончил с отличными оценками по всем предметам.

Его продолжали за глаза звать Пауком и в институте, так как прилипшая с детства кличка перекочевала за ним и сюда. Коль скоро он был Пауком, то здесь, в широких светлых коридорах и просторных аудиториях, юноша принялся ткать тончайшие, почти незримые, сети паутины. Терпеливо дожидался неизбежной жертвы, каждый раз преследуя новые цели.

Вскоре он занял пост заместителя секретаря комсомольской организации института, успешно совмещая общественные нагрузки с учёбой.

В группе вместе с Пауком училась высокая и стройная красавица Виктория, предмет особого внимания парней и зависти – девчонков. Виктория приехала в Москву из Приморья. Многие сокурсники охали, провожая «чудо Приморья» восхищёнными взглядами, когда девушка шла по коридору. До чего же она была привлекательна! Тонкая талия, высокая грудь, грива рассыпающихся по плечам светло-русых волос. У многих при виде Виктории вырывался из груди невольный стон вожделения.

Тем временем Паук, пользуясь высоким комсомольским статусом, внимательно изучил личное дело девушки, её анкету и характеристику из школы. Ему удалось узнать, что её родители — простые рабочие, оба с рыбоконсервного комбината, что Виктория их старшая дочь, и что в семье есть ещё две девочки и мальчик.

Виктория училась неплохо и всегда получала обычную стипен-

дию. С какого-то времени она вдруг начала лучше и моднее одеваться. На ней стали появляться дорогие «тряпки», приобретённые в чековой «Берёзке» на зависть однокурсникам, и без того испепеляющим Викторию ревнивыми взглядами.

Откуда, интересно, могли появиться у девушки такие наряды? Паук продолжил хладнокровно ткать свою паутину, умело раскидывая её в нужных направлениях. Вскоре он уже знал, что Виктория стала любовницей декана факультета, семейного человека, молодого кандидата наук и члена партии.

Используя услуги одного из проныр, которых в столице всегда предостаточно, Паук выяснил, что жена декана работает в прокуратуре. Викторию молодой ретивый учёный водил к себе домой в отсутствие жены. Там-то всё и происходило.

Проныра, нанятый Пауком, подкараулил декана с очаровательной студенткой во время их очередного вояжа, благо квартира декана располагалась на втором этаже. Спрятавшись на балконе, проныра ухитрился сделать несколько качественных фотоснимков, запечатлевших прекрасную Викторию в компании совсем потерявшего голову декана, изменяющего супруге-прокурорше. Любовники были в костюмах Адама и Евы. Не подозревая ни о чём, они предавались бурной страсти на широком брачном ложе, совместно нажитой собственности двух советских коммунистов. Фотографий было несколько, на них влюблённые были застигнуты пронырой в разных «ракурсах».

Паук, ухмыляясь, потирал руки. Он щедро заплатил проныре новенькими красными хрустящими червонцами, украшенными изображением головы вождя всемирного пролетариата.

Вскоре после того, как фотографии были готовы, Паук на отцовских жигулях привёз гордость факультета к себе домой. Виктории пришлось поехать с ним, так как он показал ей краешек одной из фотографий, прикрыв ладонью ту часть, на которой было изображение декана. Он увидел, как была потрясена девушка. Не давая ей прийти в себя, Паук усадил Викторию в машину.

– Куда ты везёшь меня? Откуда у тебя эта фотография? – спрашивала она, растерянная и испуганная.

– Мне передали её как замсекретарю комсомольской организации института. Ты ведь комсомолка? Таких фотографий много. Но я их никому не показывал. Сейчас мы приедем ко мне, и я тебе их отдам. Ты что же, думаешь, я собираюсь пускать их в ход?

Виктория была в шоке. От волнения у неё выступила испарина на лбу и стали влажными ладони.

В квартире Паук усадил девушку в мягкое кресло и принёс остальные фотографии. На одной из них попавшая в его паутину приморская красавица отдавалась декану в классической позе – лёжа, широко раскинув красивые ноги.

– У этих фотографий есть негативы, Виктория. Ты всегда с насмешкой относилась ко мне. А знаешь ли ты, что твой любимый декан женат? – Паук говорил вкрадчивым, едва ли не сочувствующим голосом, продолжая завлекать девушку в свою паутину. – Ты что, любишь его, да?

– Да, люблю! – прошептала еле слышно Виктория.

– Любишь? – он удивлённо присвистнул. – Так он же член партии, коммунист и молодой учёный, к тому же жена у него работник прокуратуры, – Паук умышленно округлил глаза. – Ты только подумай, Вика, куда ты его втянула из-за своей любви к шмоткам. Ведь это он тебе купил? – Паук потрогал красивую блузку Виктории, в том месте, где ткань тесно облегала грудь.

Девушка отстранилась, а он продолжал:

– Ещё он купил тебе... – и безошибочно перечислил все новые «чековые» наряды Виктории, совершенно шокируя её. – Наши девочки в недоумении: откуда у дочери рабочего рыбоконсервного комбината чековые тряпки? Ведь у этого рабочего зарплата всего сто сорок рублей, больная жена и ещё трое детей. Проституцией занимаешься, милая! – теперь Паук умышленно говорил громче, не скрывая угрозы. Затем уже мягче, как бы с сердечной укоризной, добавил. – А ведь ты комсомолка!

Видя, что Виктория совершенно подавлена происходящим, он хладнокровно и методично добивал её.

– Подумай, что будет, если я пушу это в ход, – Паук потряс фотографиями. – Любимого твоего исключат из партии за аморальное поведение, с треском выгонят с работы, возбудят уголовное дело за склонение студентки к занятиям проституцией. А ты? Ты такая красивая, ты любишь его! Тебя опозорят на весь институт и отчислят. А уж за то, что ты принимала от него эти шмотки из «Берёзки», его супруга-прокурор, в бешенстве от его неверности и от зависти к твоей красоте и молодости, засадит тебя в тюрьму, это точно! Видишь, что ты натворила? И все однокурсницы будут толь-

ко рады. Они ведь исходят злобой, видя как наши парни сохнут по тебе вместо того, чтобы любить их. А твои родители? Что будет с ними?

Он помолчал, давая ей возможность подумать, а потом тихо и вкрадчиво продолжил:

– Я ведь тоже твой поклонник, и совсем не собираюсь портить тебе жизнь. Хотя ты и разбила моё сердце, я верну тебе все фотографии и негативы. Ты собственноручно сожжёшь их, если уступишь мне всего один раз. Мы с тобой здесь вдвоём, и никто ничего не узнает. Подумай. Потом ты сможешь вновь любить своего декана и надевать красивые вещи, а они тебе очень идут. Ну, давай же, я помогу тебе раздеться. Пролой бальзам на разбитое тобой сердце!

Виктория дрожала крупной дрожью. Как во сне, она позволила Пауку раздеть себя. Её вещи лежали на кресле, а она, совершенно обнажённая, стояла перед Пауком и трепетала комариком, безысходно попавшим в хитро расставленные сети.

Паук включил видеомэгнитофон. На цветном экране возникла аппетитная развратная брюнетка, которая с наслаждением погружала себе в рот чей-то огромный, с синими прожилками член. Это была порнографическая кассета, привезённая из какой-то поездки его отцом.

Паук повернул лицо Виктории в сторону экрана, заставляя её смотреть на «киногероев». Девушка попыталась отвернуться, но он крепко держал её.

– А теперь сделай мне так же, – вождённо прошептал Паук. – Давай же, у тебя нет выхода! Встань на колени и возьми его. Ну!

Он силой заставил девушку опуститься на колени, рассматривая её прекрасное тело сверху вниз и возбуждаясь всё сильнее.

– Ну, давай же! – схватив белокурую голову Виктории, он прижал её к своему вспотевшему от возбуждения паху.

Загнанная в тупик, окончательно запутавшаяся в сетях расставленной им паутины, Виктория беззвучно рыдала. Из её глаз катились крупные слёзы. Захлёбываясь собственными слезами, подавляя в себе тошноту и отвращение, девушка совершила то, что требовал от неё секретарь комсомольской организации.

Он заставлял её брать поглубже, а Виктория, с отсутствующими глазами, только мотала головой, как сумасшедшая, подавляя накатывающие на неё позывы рвоты. Паук хотел извергнуться ей в рот, но девушка успела в ужасе отпрянуть. Упрутая белая струя его семени всё равно достигла её, пролившись на прекрасное лицо.

Потом Паук, сходя с ума от возбуждения, овладевал Викторией во всех возможных позах. Та оставалась совершенно безучастной к тому, что он делал с её телом.

Наконец выдохшийся Паук начал остывать. Насытившись прекрасным телом Викторией, он удовлетворённо отвалился от неё. Потом взял полотенце и обтёр девушку, стянул со своего члена предусмотрительно надетый презерватив. После этого заставил Викторию собственноручно сжечь фотографии и негативы.

– Ну вот, видишь, я сделал всё, как обещал. Теперь у тебя не будет неприятностей.

Виктория оделась сама, оттолкнув его руки. Паук провожал её до дверей квартиры. В дверях она повернулась к нему и произнесла одно единственное слово: «Скотина!»

Паук закрыл за ней дверь, прошёл в комнату и удовлетворённо развалился в кресле. Он обдумывал повестку дня завтрашнего отчётно-выборного комсомольского собрания и свою пламенную речь на нём.

На следующий день весь финансово-экономический факультет Нархоза пребывал в состоянии настоящего шока. Ночью в общежитии, в ванной комнате, повесилась Виктория. Все ходили подавленные, почти никто ни с кем не разговаривал. Если и говорили, то почему-то шёпотом.

Викторию хоронили всем институтом. Девчата рыдали, парни вытирали припухшие носы. Виктория не оставила ни письма, ни записки. Никто ничего не знал. Никому не были известны причины, по которым первая красавица института так жестоко покончила с собой.

Таков был Паук. В который уже раз судьба сводила Единственного с человеком, от общения с которым становилось мерзко и гадко.

– Мне он, может быть, тоже не совсем симпатичен. Но это эмоции, а бизнес не должен быть подвластен эмоциям. Думать нужно только о целесообразности. Большой же бизнес оправдывает абсолютно всё, – так мрачно и категорично Яков обрезал Единственного, который поделился своими впечатлениями. Продолжая мысль, Яков проговорил. – В большом бизнесе количество денег переходит в качество, а качество – это власть. Причём власть не только в преступном мире, но и во всей стране.

– Но если мы имеем определённое количество денег и власть в нашем преступном мире, разве мы не должны остановиться на этой черте? Ведь дальше идёт политика! – горячился Единственный.

– Вот именно, Амур! Там начинается политика, а за ней стоит экономика. В нашей порочной стране всегда было так: именно партийные бонзы были ворами в законе – их ограждали закон и партбилет. Они строили политику в стране и, управляя экономикой, набивали себе карманы, являясь паразитами на теле народа. Это же надо – восемнадцать миллионов коммуняк по стране! Ты только вдумайся в эту цифру! А сколько люда они извели, чтобы удержать свою порочную власть? Сколько одурманенных душ они погубили в гражданскую, называя это классовой борьбой! А разве плохо жили работающие мужики или казаки при царе-батюшке? Сколько народу сгноили во время раскулачивания! В одном только твоём Казахстане три миллиона умерли от голода, в то время как эти сволочи загорали на пляжах Крыма и Кавказа. А что было после войны с Гитлером? Мудрец Сталин, возглавляя армию партийных воров, ограждённых законом, дал ход сукам, потому что суки были безыдейны. Они лишь заглядывали в глаза ментам-хозяевам в ожидании брошенной кости. Они, с благословения государства, принялись уничтожать нас, истинно идейных.

Глаза Якова были исполнены злобной убеждённости. Левый его глаз начал слегка подёргиваться в нервном тике.

– Но теперь пришло время для нас, воров истинных, живущих по воровскому закону. Зовёт нас к этому кровь сотен наших собратьев, погибших в сучьей войне и казематах ГУЛАГа. И сегодня, переводя количество денег в качество, мы начнём управлять рычагами политики, а значит и влиять на экономику. Мы заставим работать на нас всех этих бывших партийных бонз, перекрасившихся нынче в демократов, либералов, народников. Ты думаешь, мне он по душе, этот Паук? Когда в детдоме, не помнящий ласки отца и матери, я под одеялом глотал горючие слёзы, этот Паук обжирался белыми пирогами. А его пахан? Тюрьма по нём плакала ещё в те годы, но он был закрыт от суда депутатским мандатом. Теперь его сынок пришёл на преступную тропу, сойдя с комсомольской трибуны. Он ведь был смотрящим за комсюками всей Москвы, ты представляешь? А мы с тобой – с тюремных нар. Но какие у него мозги! Он сплёл паутину, этот Паук, и в этой паутине оказались крупные банки, наши и зарубежные. Холдинги, финансовые

группы! Он контролирует их, а мы контролируем его. Это тонкая игра, и в ней мы соседствуем, пока это целесообразно для бизнеса. Но мы готовы съесть друг друга в любой момент, как те каракурты, бой которых ты видел. И не дай тебе бог, Амур, нарушить правила этой игры. Воры тебе этого не простят, и я тоже.

– Сатана мне завещал совсем другое. Я дал ему клятву и в политику не лезу, – жёстко ответил Единственный.

– Тьфу, – сплюнул Яков.

В их отношениях наметилась первая трещинка, которая со временем превратилась в пропасть.

Глава 4.

ЯКОВ И ЯНА

Яков. Яков по кличке Тюрьма. Вор в законе, сын авторитетнейшего в стране вора в законе. Несчастное дитя двух любящих друг друга людей с искалеченными судьбами, он родился за решёткой, в неволе.

После трагической смерти матери, известной воровки, его отдали в один из ленинградских детских домов. Мальчонка рос, как и все детдомовские дети, в системе советского общежития.

Не сказать, чтобы он был всегда послушным. Скорее, его можно было назвать думающим ребёнком. Он никогда не бежал сломя голову делать то же, что и все остальные. Прежде чем совершить поступок, обдумывал: каковы последствия? А надо ли ему это? Воспитатели и преподаватели, не вникавшие в душу ребёнка, считали его дисциплинированным мальчиком.

Яков рос щедрым ребёнком, но щедрость его всегда была предусмотрена заранее. Он обладал природными способностями к просчёту всего наперёд и анализу происходящего.

В детдоме, среди ребят, особо близких друзей у Якова не было. Однако многие тянулись к нему, интуитивно чувствуя, что рядом с ним будет надёжно. Он никогда не боялся драк и отлично дрался. Мог даже быть очень жестоким, если его расчёт доказывал, что так

надо. Но драться он не любил и считал, что нужно утверждать своё превосходство не кулаками, а умом.

Учился Яков хорошо. С успеваемостью у него всегда было в порядке. От природы одарённый живым, пытливым, проницательным умом, он легко осваивал науки. Особенно гуманитарные. Математику, физику, химию, геометрию он не любил, но был убеждён, что они необходимы. Поэтому силой воли заставлял себя вникать в самую суть точных наук.

Он не любил участвовать в детдомовской самодеятельности, хотя ему нравились гармонь и аккордеон.

Как и многие детдомовские ребята, с определённого момента он начал задумываться, где его родители, кем они были и почему вдруг он оказался в детдоме. Эти вопросы всё чаще мучили его.

Однажды Яков вместе со своим приятелем Рыжим Санькой сумел залезть в детдомовский архив – святую святых администрации. Ночью мальчишки притащили лестницу, приставили её к стене, и Яков поднялся к окну комнаты, где находился архив. Заранее приготовленной отвёрткой он вывинтил шурупы, которыми крепилась решётка форточки, и спустил её вниз Рыжему. Сквозь форточку Яков проник внутрь комнаты, а Рыжий на время убрал лестницу и сидел в кустах неподалёку, подстраховывая друга, дожидаясь Якова.

Архивные папки стояли рядами на полке. Мальчик потратил около часа, пока разыскал нужную ему папку.

Волнуясь, чуть дрожа, освещая содержимое скоросшивателя карманным фонариком, Яков перелистывал страницы и читал. Вот фотография мамы. Какая она молодая и красивая! Фотографий отца было несколько, и на них он был почему-то наголо бритым – так стригли мальчишек, только что поступивших в детдом и проходивших карантин.

Яков спрятал в карман по одной фотографии матери и отца. Из архивных документов он узнал, что его маму звали Татьяна и что она погибла при совершении кражи, попав под колёса трамвая. Узнал он и о том, что был рождён в тюрьме, где его мать отбывала срок. Дошёл Яков и до сведений об отце. Отец его, оказывается, отбывал срок. Сидел где-то на Дальнем Востоке, порт Ванино. Конечно, тогда ещё Якову трудно было понять до конца и осознать смысл рубленой фразы: «Отбывает срок».

Спустившись обратно, к Рыжему, Яков не стал ничего объяс-

нять. Собственно, тому и не было особо интересно. Фотографии Яков надёжно припрятал. После вылазки никакого шума в детдоме не возникло, поскольку предусмотрительный мальчик на обратном пути аккуратно прикрутил решётку на место.

Теперь Яков часто ходил к своему тайнику, доставал фотографии родителей и благоговейно рассматривал их. Особенно долго глядел на фотографию мамы. Какая всё-таки она красивая! Сам же Яков был – вылитый отец.

Несколько раз к нему приезжали друзья отца. Много замечательных вещей привозили: конфеты в разноцветных обёртках, пряники, мармелад, шоколад в плитках, одежду.

Один дядька долго гулял с мальчиком, держа руку на его плече. Он объяснял Якову, что уже скоро приедет отец, надо ещё немного подождать.

– Ты потерпи, брат, немного, – говорил он Якову, обращаясь к нему, как к взрослому. – А это тебе подарок от меня, – и вручил ему толстую книгу. – Это Джек Лондон. Ты прочитай. Там про волков, про золото. Одним словом, хорошая книга. Я сам недавно её прочитал.

Спустя много лет Яков узнает, что навестить его приезжал известный вор в законе по кличке Золотой, друг и наставник его отца.

Яков тогда принялся читать Джека Лондона и необычайно им увлёкся. Герои книги стояли у него перед глазами. Это были сильные, мужественные люди. Как они шли по бескрайним ледяным полям, покрытым торосами, впрягшись в сани вместе с собаками! Яков со временем и отца стал представлять себе таким, какими были герои книг Джека Лондона.

На географической карте мальчик отыскал порт Ванино и засыпал вопросами учительницу географии. Его интересовало всё: какова природа Дальнего Востока, какой там животный мир, народы каких национальностей там проживают.

Якову было девять лет, когда он впервые увидел своего отца.

Класс занимался уборкой закреплённой территории. Неожиданно во дворе появился незнакомый мужчина в белом плаще, кепочке на голове, с небольшим чемоданом в руке, в сопровождении воспитателя. Весь класс немедленно уставился на пришельца. И вдруг Яков взорвался громким счастливым криком: «Папа, папа! Папочка приехал!»

Нет, он узнал его не по фотографии. На ней отец был совсем, совсем другой. Мальчик и сам не понимал, почему он так решил. Наверное, кровь подсказала.

Яков рванулся к незнакомцу. А тот, отбросив чемодан в сторону, сам бежал парню навстречу. Он схватил Якова, крепко обнял и прижал к груди. Целуя мальчика, он приговаривал: «Мой сын, мой сын!»

Каким счастливым был в те дни Яков! Не было никого на свете счастливее его.

Отец встречал его после занятий и они вдвоём шли в город гулять: в зоопарк, в цирк, в кафе, где вкусно и сытно обедали. Яков буквально объедался пирожными, мороженым и опивался сладким лимонадом. Отец купил ему много хорошей новой одежды.

Однажды Яков набрался смелости и спросил у отца:

– Ты за что сидел?

Того словно током ударило. Он удивлённо спросил мальчика:

– Кто тебе сказал, что я сидел?

И Яков без утайки рассказал ему, как залез в детдомовский архив. Он повёл отца к своему тайнику и достал оттуда свёрток, в котором были заветные фотографии. Когда он передал их в руки отца, тот долго рассматривал фотографию матери, потом поцеловал её.

– Храни её, сынок! У меня тоже есть её фотокарточка. Мы с тобой мамой сильно любили друг друга. Души, можно сказать, не чаяли. Кто же мог подумать, что так всё получится... – произнёс он задумчиво.

– Отец, ты заберёшь меня отсюда? – прямо спросил Яков и застал, видимо, отца врасплох.

Он помолчал и, наконец, ответил:

– Заберу, конечно. Я же твой отец. Только ты потерпи немного, мне надо обзавестись хотя бы жильём.

Яков неохотно согласился.

Прошло не меньше месяца, пока отец собирал все необходимые бумаги. Ему нужно было подтвердить, что у него есть прописка, квартира, условия для жизни мальчика. Нужно было также предоставить справку с места работы. Как отец устроил всё это, Яков не знал. Он с нетерпением ждал того дня, когда наконец уедет отсюда.

В конечном итоге администрация детдома уступила требованиям отца и Яшу отпустили. Мальчик быстро распрощался с детдомовцами. Он ни к кому здесь особо так и не привязался, если только не считать Рыжего.

Они с отцом уехали и разместились на квартире у Червонки.

– Это временно, сынок. Поживём пока здесь. Тётя будет варить нам, стирать. А там, глядишь, появится у нас и своя крыша над головой.

Яков не возражал. Ему тут понравилось. Квартира была просторной: три комнаты большие, с высокими потолками. В одной комнате жили Яков с отцом, в другой – сама Червонка, а третья была одновременно и столовой, и кухней, и холлом. В ней стояли: огромный деревянный обитый кожей диван, большой обеденный стол, старинное трюмо, потемневшее от времени. В углу находился длинный кухонный шкаф с посудой. Тут Червонка готовила.

Немолодая, но ещё и не старая, Червонка была когда-то женой барыги, который сгинул где-то в лагере. Жила она тем, что держала жилища. Обычно это был кто-нибудь из уголовного мира.

Порой разворотливая бабёнка бегала по давним связям мужа, сбывала барахлишко, принесённое ей кем-нибудь из старых знакомых с удачной кражи. Кроме того, подрабатывала ещё и шитьем на дому. Шила она хорошо и имела довольно приличную клиентуру из среды жён номенклатурных работников.

Отец Якова переговорил с ней. Сошлись на том, что подрабатывать на перепродаже краденого она больше не будет, но присмотрит за мальчишкой. За это отец будет хорошо ей платить.

Неунывающая, энергичная Червонка, которая никогда не имела собственных детей, с радостью приняла Якова с отцом в свой дом и очень быстро привязалась к мальчику.

Она садилась делать с ним уроки, кормила, встречая из школы. По утрам провожала мальчика в школу, подкладывая ему в портфель, несмотря на бурные протесты, то конфеты, то пару яблок, то горячие, только что испечённые, пирожки с яблоками или капустой.

Потихоньку жизнь налаживалась. Посторонних людей в доме Яков почти никогда не видел. Мужиков к себе Червонка не водила, водку не пила – так разве чуть-чуть, за компанию. Она часто брала

Якова с собой, и они вместе ходили в кино. Мальчик очень любил кино. Иногда вместе с ними ходил отец, если не был занят.

Яков быстро привязался к отцу. Всегда с нетерпением ждал его прихода, прислушиваясь к шагам в подъезде.

Не по годам умный, мальчик не приставал к отцу с беспричинными расспросами, не ластился к нему без конца, хотя ему, обделённому лаской в детстве, часто хотелось прижаться к сильному мужскому плечу.

Яков интуитивно понимал, что отец живёт не так, как другие люди. У него всегда было много денег. Отец сам выглядел предстательно и следил за тем, чтобы и Яков был хорошо одет и обут. Вор часто делал подарки Червонке, чем доставлял ей неописуемую радость.

Друзья отца были под стать ему самому. Дерзкие, всегда при деньгах, они напоминали героев книг Джека Лондона. Яков понемногу перенимал от них манеру говорить, обсуждать что-то, вести разговор, не повышая голоса, вразумительно и убеждённо.

Мальчик рос, и его мировосприятие начало раздваиваться. В школе ему говорили одно, а дома он видел совсем другое.

Наступил долгожданный Новый Год!

Заснеженные улицы города были празднично украшены и освещены разноцветными гирляндами, составленными из сотен лампочек. Прохожие были ярко одеты и доброжелательны.

Яков закончил четверть на «отлично» и «хорошо». Все радовались: и учителя, и отец, и Червонка. Конечно же, и сам Яков чувствовал себя на седьмом небе. Это был самый счастливый период в жизни будущего вора в законе по кличке Тюрьма.

Дома Червонка посреди столовой установила большую красивую ёлку. Втроём они украсили её разноцветными игрушками, флажками, надули шарики и привязали их к веткам, осыпали ёлку серебристым дождём. Внизу, под ёлкой, поставили Деда Мороза и Снегурочку.

Сколько всего вкусного наготовила Червонка! Тут были и пирожки, и мочёные яблоки, и жареная утка, и солёные, пересыпанные маком, пироги. Стол просто ломился от обилия снеди.

В гости к ним пришли друзья отца – Золотой с красивой белокурой подругой, дядя Пантюха, как называл его Яков, с женщиной, и весёлый, всегда улыбающийся, парень по имени Антон.

Антон нравился Якову больше прочих друзей отца. Наверное, потому, что обращался он с Яковым как со взрослым другом.

Все были красиво и нарядно одеты, в хорошем настроении. Яков тоже надел новую белую рубашу и специально купленный к этому дню новый костюм – пиджак и брюки. Мальчик выглядел взрослым и серьёзным.

Ах, какой это был Новый Год! Все пили игристое вино, с удовольствием ели, нахваливая Червонку, чем приводили её в смятение. Ровно в полночь залпом открыли сразу несколько бутылок шампанского, проливая его на пол, на стол. С шумом и смехом наполнили бокалы и поздравляли друг друга, желая удачи, счастья, здоровья!

За столом было весело и беззаботно. Червонка поставила на проигрыватель пластинку, принесённую белокурой девушкой, подругой Золотого, и все стали танцевать. Танцевали долго, а потом снова сели за стол. Отец Якова попросил Антона что-нибудь спеть, женщины захлопали в ладоши:

– Просим, просим!

Антон взял в руки гитару, легко пробежал пальцами по струнам, широко и обезоруживающе улыбнулся и запел «Подмосковные вечера». Все стали подпевать и исполнение получилось очень задумчивым.

Затем Антон спел песню «Здравствуй, поседевшая любовь моя», так любимую отцом Якова. И мужчины опять поддержали, а женщины тихонько слушали.

Было уже совсем поздно, когда отец отправил Якова спать.

– Иди, ложись, сынок. Мы тут ещё посидим немного, попоём, а тебе уже пора.

Он обнял Якова, и счастливый сын ушёл смотреть чудесные сны.

Незаметно и быстро пролетел один год. Всё было хорошо, и ничто не предвещало беды. Но однажды Яков пришёл из школы домой и застал Червонку заплаканной и несчастной. Недоумевающий и встревоженный, Яков бросился к ней. Женщина обняла его и запричитала:

– Сгорел, Яшенька, твой папка! Забрали его сегодня мусора проклятые. Ой, что же теперь будет... – и завывала протяжно, по-бабьи.

Яков стоял, прижавшись к ней, и тоже плакал. Опять он почувствовал себя несчастным и одиноким.

Потом приходили друзья отца. Они о чём-то шептались с Червонкой. Все успокаивали Якова, говорили, что, может быть, отца отпустят. Но Яков видел, что они сами совершенно в это не верят. Потом они носили в «Кресты» передачи, которые собирала для отца Червонка.

Через три месяца после того, как отца арестовали, был суд. Дали ему десять лет. Когда его уводили, Яков закричал диким, пронзительным голосом на весь зал: «Не забирайте моего папку, мен-ты поганые!» До сих пор Яков помнил свой отчаянный крик – крик верблюдонка, у которого отнимают родителя.

Тогда он бросился на конвойных, сжав свои маленькие кулаки, пытаясь пробиться к отцу, но уса-тый начальник конвоя не пропустил мальчика, схватив за плечо. Тогда Яков уку-сил его за палец.

Червонка вырвала его из рук мусора, закатив «хай-вай». Яков не плакал, он лишь подвывал, как-то совсем не по-детски, и скрипел зубами, повторяя, как заклинание, только одно: «Отец, отец!»

Вскоре отца этапировали куда-то далеко-далеко, вроде в Ко-лымский край.

– Я что теперь, опять в детдом? – как взрослый спросил Яков у Червонки.

– Ну что ты, Яшенька, с чего ты взял! Я что тебе, чужая? Ни в какой детдом я тебя не отпущу. Вдвоём мы не пропадём. Я буду шить, а там, глядишь, отец будет присылать из лагеря. Ты только учишься, Яшенька, хорошо. Обещаешь? И прошу тебя – будь послуш-ным. Закончишь школу, там уже и отец освободится.

Так и зажили вдвоём – Яков с Червонкой. Мальчик учился без проблем. Заканчивая очередную четверть, он писал отцу письмо, в котором рассказывал, какие получил отметки.

Отец регулярно присылал деньги и писал Якову короткие пись-ма. Иногда в письмах попадались слова с ошибками, которые Яков аккуратно исправлял. Все письма мальчик складывал в особую ко-робочку.

Друзья отца навещали Червонку, приносили гостинцы, деньги, подарки для Якова. Не появлялся только Антон. Он тоже сидел. Ему дали немного, всего пять лет, и отправили куда-то в Мордовию.

Время шло. В школе Яков по-прежнему был на хорошем счету. Его успеваемость всегда удовлетворяла преподавателей. Он не до-

ставлял неприятностей, не хулиганил и пользовался заслуженным авторитетом и в классе, и во всей школе.

Дома мальчик всегда помогал Червонке по хозяйству, взяв на себя обязанность ходить в магазин и заниматься уборкой квартиры. Они с Червонкой решили, что, как бы трудно им ни было, но постояльца в дом брать не будут.

Яков был уже старшеклассником, ему исполнилось пятнадцать лет. Мальчик был не по возрасту рассудителен, расчётлив и подвёргал анализу любые, мало-мальски важные, события. Он наотрез отказался вступать в комсомол, объяснив, что имеет на то свои причины.

К тому времени освободился Антон. Он пришёл навестить Якова и был очень удивлён, когда увидел его.

– Да ты, брат, женихом уже стал! – присвистнул Антон. – Вот время летит! Я-то сел – освободился, а ты вон уже какой.

Антон остался таким же весёлым, только стал немного строже и задумчивей.

– Ну, пойдём, брат! Я там в зоне кое-что заработал, надо бы приодеться и мне, и тебе. Ты ведь жених уже.

И когда они возвращались из магазина, нагруженные свёртками с обновками, Яков впервые спросил как взрослый взрослого:

– Скажи мне, Антон, как ты дальше жить думаешь?

Антон удивлённо посмотрел на него и ответил, тоже как взрослому:

– Так, как и раньше, воровать буду.

– Тогда бери меня с собой, хорошо? – попросил Яков и добавил. – Я так решил.

Первая его кража была очень удачной. Они вместе с Антоном взяли добрую хату, прихватив два чемодана добра: меха, старинный фарфор, золотые изделия, фамильное столовое серебро и немного денег. Сбывал украденное по одному ему известным ямам Антон.

Четыре раза за тот год ходил Яков на дело с Антоном, и все «дела» проходили успешно.

– Ты фартовый, Яков! Такой кураж не каждому вору достётся с дела. И хвостов никаких нету. Чисто всё! – сказал как-то восхищённый Антон.

– Не воруй без меня, Антон, сядешь, – проговорил Яков. – Со мной – нет.

– Почему это? – удивился тот.

Яков же только пожал плечами и отвечать не стал.

С первой кражи, когда Антон принёс ему долю, Яков купил на базаре оренбургский пуховый платок для Червонки – белый как снег, лёгкий. О таком она давно мечтала. Пуховый платок по тем временам стоил очень дорого. Червонка подарок приняла, поняв всё как есть.

– Значит, избрал дорогу отца, Яков? – спросила она тихим голосом.

– Да, – ответил тот и ушёл в свою комнату.

Внешне в жизни Якова ничего не изменилось. Он так же аккуратно посещал занятия в школе, с прежней настойчивостью отдавался учёбе. Дома, как и прежде, исполнял принятые на себя обязанности.

С Червонкой они жили дружно. Яков относился к ней очень бережно, беспокоился, когда она жаловалась на боли в голове или отекавшие по утрам ноги.

Школу парень закончил на «отлично». Червонка настаивала, чтобы он поступал в институт. Яков не возражал, так как считал, что знания ему пригодятся. Однако и прекращать воровать пока не намеревался.

Выбирая институт и специальность, он решил остановиться на экономическом факультете. Почему-то молодой человек был убеждён, что в будущем ему потребуется хорошее знание экономики.

Яков уже знал, что отец его – вор в законе, и Антон – тоже вор в законе. И себе он поставил цель: когда-нибудь стать вором в законе.

Институт захватил его целиком: аудитории, лекции, студенты, сессии. И всё же Яков оставался самим собой.

Он никогда не сливался с общей массой, существуя её отдельной частицей. Определённая линия поведения, которой он строго придерживался, всегда ставила его над сверстниками. Масса принимала его не как лидера, но как человека, который больше знает, больше понимает – неважно даже в чём.

Почти целый год Яков не воровал, сильно увлечшись институтом. Антон же не мог не воровать – это был его хлеб. И на очередной краже попался с поличным. Дали ему в этот раз шесть лет, и поехал Антон – наставник, друг и подельник Якова – валить веко-

вую тайгу под Кемерово в горную Шорию. Яков безмерно переживал потерю друга.

Говорят, что беда не приходит одна. За организацию бунта в лагере отцу, которому оставалось всего несколько месяцев до освобождения, добавили новый срок.

А вскоре, после окончания второго курса, спалился на краже и сам Яков. Он получил свой первый и единственный срок – три года. Тогда он не знал ещё, что эти три года выльются в долгие-долгие десять лет.

Остались позади институт, весёлые друзья, подруги, в которых Яков никогда не влюблялся. Позади остался прежний уклад жизни.

Начался новый виток – пребывание в системе ГУЛАГа. Тут Яков получил «лагерное» образование, которое по широте и серьёзности проблем ненамного уступает институтскому. Отсюда, перешагнув десятилетний срок и порог зональной вахты, на свободу вышел не Яков, но коронованный во Владимирском центре по всем традициям известными ворами, вор в законе по кличке Тюрёма.

Но всё это будет лишь через десять лет.

Пока же Якова в составе огромного этапа, в который вошли человек двести, вывезли из старинной Тарской тюрьмы в городе Омске и повезли куда-то на север. Эшелон с этапниками добирался до места неделю. Время от времени его загоняли на тупиковые пути, и там он простаивал часами, уступая дорогу и скорым, и литерным поездам.

В дороге этапники играли в карты «под интерес». Яков отлично ориентировался во всех этих играх – «стос», «рамс», «третьими». Он познал эту науку ещё в детдоме и потому почти не расставался с картами. Молодой человек прекрасно владел всеми шулерскими приёмами. Так как он был отличным психологом, то умел легко внушить сопернику надежду, заставляя его сделать неправильный ход, а потом буквально громил.

И всё-таки любимой игрой Якова были шахматы. В этом деле он был корифеем.

Где-то за Новосибирском в «Столыпин» завели красивую даму. Хорошо одетая, с кожаным чемоданом в руке, она шла по вагонзаку, фыркая на конвой и не реагируя на сальности, которые отпускали эки при виде её. Когда она проходила мимо камеры Якова, тот

прилип к решётке, очарованный её красотой. Дама взглянула на него и благосклонно улыбнулась. Эта улыбка опалила сердце молодого арестанта жарким пламенем и заставила его трепетать.

Даму поместили в «купе», расположенное через стенку от Якова. Ночью, когда все уснули, даже конвой, дама окликнула Якова. Она была уверена в том, что не спит молодой красавец, заглянувший в колдовской омут её зелёных глаз.

– Не спишь, парень? – позвала она приглушённым шёпотом.

– Нет, не сплю. Я ждал, когда ты меня позовёшь.

– Почему ты был так уверен в этом?

– Потому что ты – моя судьба. Я прочитал это в твоих глазах.

– Ты кто будешь, и как тебя зовут?

– Меня зовут Яков. Еду с тремя годами к хозяину. Крадун я, питейский. Мой отец – Сатана, может слышала?

– Слышать – слышала. Меня Яна зовут. Одесситка я, поделница Миши Серебряного, одессита. За афёру спалилась, у меня червонец, Яшенька. Тебе сколько лет, Яша? – и, услышав в ответ, что ему девятнадцать, прошептала. – Ты ещё совсем юноша! А мне уже двадцать три года. А куда нас везут, Яша?

– Говорят, что в Ангарск. Точно не знаю.

– А на свободе кто у тебя остался? Девчонка есть?

– У меня нет девушки. А на свободе из близких только тётя Соня осталась, у которой я жил, вот и всё. Отец сейчас тоже где-то на Севере. Может, встречу с ним, если Бог даст. Я его уже много лет не видел.

– А ты кого-нибудь любил, Яша?

– Нет, не любил. Тебя полюбил, Яна! – прошептал Яков.

– Разве так бывает? Ты ведь меня не знаешь.

– Это не беда. Главное – я полюбил тебя.

Она тихонько смеялась, гордая красавица. Её развеселил совершенно серьёзно говорящий паренёк, который буквально ополоумел от её чар.

– Ну хорошо, Яша, я разрешаю тебе любить меня. Мне нравится, когда в меня влюбляются, – и она опять засмеялась. Смех её переливался, тихонечко позванивал, как монисто на шее цыганки. – Только ведь развезет нас конвой, тебя в одну сторону, меня – в другую. Где ты искать меня будешь?

– Дай адрес в Одессе, матери или ещё чей-нибудь. Через этот адрес мы с тобой споемся, и я тебя разыщу.

– Ну хорошо, записывай, я буду говорить.

Яков записал адрес в Одессе, где жила мама Яны. Они шептались почти до утра, пока не проснулся конвой.

Эшелон ехал полные сутки. Всю следующую ночь Яков и Яна снова шептались. Девушка рассказывала ему про Одессу: про знаменитый Привоз, Потёмкинскую лестницу, Дерибасовскую улицу, про свой любимый пляж «Аркадия» и Чёрное море.

– А у вас в Питере всё время дожди, дожди, – сказала Яна.

– Зато у нас белые ночи, — парировал Яков.

Эшелон наконец добрался до заснеженного, заваленного голубоватыми сугробами, пронизываемого продувными ветрами Ангарска. Здесь он простоял часа полтора. Потом понагнали автозаки и этапников начали выгружать – вагон за вагоном.

– Значит, меня оставят здесь, – крикнула Яна. – Здесь есть женская зона, найди меня!

Она уже уходила, оглядываясь на застывшего у решётки Якова, и вдруг бросила ему платочек, не обращая внимания на конвоира, подталкивавшего её в спину прикладом.

Яков сквозь решётку затянул платочек к себе, развернул его и понюхал. От него исходил тонкий нежный аромат. На самом платочке неизвестным художником искусно был исполнен портрет Яны. Яков завернул платочек в целлофан, чтобы не выветрился запах, и спрятал его на груди, во внутреннем кармане.

Сердце Якова было покорено красавицей-зэчкой.

Зона была воровской. Заключённых в ней было около двух тысяч человек.

Целую неделю Яков пробыл в карантине, дожидаясь, когда его выпустят в зону. В конце концов его распределили в одиннадцатый барак.

Завхоз отряда встретил Якова, проводил в барак и указал место. Потом вновь прибывший получил положенные бытовые принадлежности, заправил свою шконку и вышел на улицу – осмотреться.

У Якова в жизни были три принципа, которым научил его Антон: «Никогда ничему не удивляться. Никогда не показывать, что чего-то не понимаешь. Никогда не показывать, что у тебя нет денег».

Зона не была локальной, то есть можно было беспрепятственно ходить из барака в барак. В жилой зоне было двенадцать барачных, столовая, клуб, штаб и ещё какие-то склады. Одним словом, зона была большой и занимала приличную территорию.

Яков прогулялся по территории зоны, немного замёрз и вернулся в свой барак.

Якову дали два дня, чтобы отдохнуть и осмотреться. На третий день он вместе с отрядом вышел на работу.

В семь тридцать утра, в самый трескучий утренний мороз, когда багрово-красное солнце только ещё начинало подниматься над замёрзшей тайгой и застывшими под снегом далёкими сопками, отряд строем подошёл к вахте. На вахте, перебрав личные карточки, зэков пятёрками выгоняли в «конверт» – узкий проход, ограждённый с обеих сторон колючей проволокой, он тянулся до самого объекта на краю города. По конверту отряд брёл, охраняемый с двух сторон солдатами с автоматами и злыми овчарками.

Объект представлял собой участок, обнесённый монументальным щитовым забором, с вышками, запреткой, колючками, паутиной. На его территории располагалось несколько строящихся многоэтажных домов. Здесь и предстояло трудиться Якову.

Начал он с того, что заявил нарядчику, что работать не намерен и рассчитывать на его труд смысла нет. Нарядчик попробовал было возмутиться, но Яков тут же осадил его:

– Послушай, нарядчик, и запомни хорошенько: я родился в тюрьме и воспитывался в детдоме. Мой отец – вор. Я вырос среди воров, и я сам будущий вор. И больше ко мне с этим не подходи. Мне надо осмотреться. Потом мы с тобой подумаем, как лучше дурить мусоров.

Это слышали остальные заключённые из отряда. Нарядчик пожал плечами и, стараясь не уронить свой авторитет в глазах других зэков, закричал на них:

– Давайте работать! Чего хавальники пораскрывали?

В зоне был вор. Старый, шестидесяти восьми лет, уже доживающий свой век, больной туберкулёзом вор Чахотка.

Слово Чахотки было законом для заключённых в лагере. Зэки уважали его за мудрость, справедливость и бескорыстие. Никто из зэков, и даже из дубаков и солдат, никогда не слышал от него грубо-

го слова. Люди тянулись к нему сами по разным поводам. И он находил возможность всем помочь, никогда никому не отказывая. Если среди заключённых возникали конфликты, Чахотка не ждал, когда прольётся кровь или конфликт зайдёт слишком далеко. Он не ждал, когда придут и позовут его, а сам шёл к конфликтующим. Усаживал их рядом с собой и просил варить чай. Когда чай бывал готов, Чахотка отхлёбывал из кружки глоток и с восторгом говорил:

– Вот это чай! На-ка, попробуй, – и протягивал кружку одному из враждующих. Тот отхлёбывал глоток.

– Ну как? – спрашивал Чахотка.

– Отличный чаёк! – отвечал тот, возвращая кружку вору.

– Что ты мне даешь, круг перепутал, что ли?

И зэк вынужден был протянуть чифир своему недругу. Тот тоже отхлёбывал и возвращал кружку Чахотке. Тот вставал, благодарил за чай и говорил:

– Вы тут сами почирийте. Я и забыл совсем, мне же надо в десятый отряд сбегать, – и уходил. Он знал, что зэки, выпившие чаю из одной кружки, сейчас поговорят между собой, может, полаются, выскажут друг другу всякое, но разойдутся уже не врагами.

Мудрым был вор Чахотка и потому пользовался он безграничным уважением.

Зима в том году стояла лютая. Даже зэки-старожилы, которые пробывали здесь уже по несколько лет, говорили, что на их памяти такой немилосердной зимы ещё не было.

По утрам, когда солнце только начинало просыпаться, лениво поднимаясь над утонувшим в снегу городом, мороз достигал пятидесяти пяти градусов. Очень многие получили обморожение, несмотря ни на надетые на ноги пимы, ни на шапки-ушанки, завязанные тесёмками под подбородком. Тощие, «на рыбьем меху», лагерные бушлаты вообще не спасали от катастрофически низких температур. По требованию заключённых такие холодные дни стали «активировать». Зэки на работу не выходили, а слонялись из угла в угол по бараку, стараясь держаться поближе к печке.

Город стоял словно в голубом дыму. Если взобраться на крышу и посмотреть на него сверху, то он казался почти вымершим. На улицах не было людей, лишь время от времени тащился одинокий автобус. Дым из его выхлопной трубы сразу растворялся в морозном воздухе.

В один из таких дней к Якову приблизился человек и передал, что к нему сегодня придёт вор Чахотка.

За прошедшие два месяца Яков сумел утвердиться в отряде, хотя поначалу многие эки смотрели на него с ухмылкой: «Ну-ну, дескать, будущий вор! Посмотрим, на что ты способен. Много вас таких было и почти все лбы себе порасшибали».

Когда Яков вник в нормы и расценки работы заключённых, во все эти хитрые СНИПы, то посадил рядом с собой нарядчика, прораба и мастера и показал им, как их дурут лагерное начальство. Оказалось, что в конце дня принимали одни наряды, которые закрывали прораб и мастер, а в плановый отдел уходили совсем другие. Жулики из лагерной администрации неплохо имели на этой разнице.

Эки отряда, узнав об этом, чуть не побили нарядчика и мастера. Прораб же был вольнонаёмный, но и ему сказали: «Смотри, мол, допрыгаешься!»

Когда Якова вызвал хозяин и попробовал было поговорить с ним грозным голосом, тот спокойно объяснил, что не позволит навиваться на здоровье заключённых. И что, если хозяин попробует расправиться с ним, то в ход пойдут письменные показания прораба, мастера и нарядчика. Показания эти лежат «за забором» в надёжных руках. Если с Яковым что-нибудь произойдёт, то эти документы попадут прямо в Москву, в КГБ.

– Поймите меня правильно, – сказал в заключение Яков. – Мне здесь сидеть, и я не собираюсь с вами ссориться. У меня есть другие предложения, как мы с вами можем хорошо зарабатывать, ничем не рискуя. Поверьте мне, я порядочный человек.

С этими словами Яков ушёл, объявив хозяину шах. Теперь в отряде к Якову относились серьёзно, да и вёл он себя очень обстоятельно.

Яков подошёл к завхозу отряда по кличке Окунь, протянул ему деньги и сказал:

– Я тебя очень прошу: окажи мне услугу. Вечером ко мне собирается прийти вор Чахотка. Помоги мне встретить гостя как положено, – и добавил. – Всё-таки здесь и о чести отряда надо подумать. А я тебе когда-нибудь отплачу.

Завхоз взял деньги и пообещал всё устроить как надо.

Ещё не был объявлен отбой, когда в барак вошли несколько че-

ловец, сопровождавших вора. Чахотка специально появился до отбоя, чтобы заключённые увидели, кто пожаловал в гости к Якову.

Он подошёл и долго всматривался в лицо молодого парня, выискивая одному ему известные приметы. Наконец он обнял Якова и поцеловал.

– Значит, ты и есть сын Сатаны? – спросил он.

– Да, – ответил Яков.

– Я, сынок, твоего отца помню в таком же возрасте, как ты сейчас. Когда его короновали, я своё слово тоже сказал. Ах, как летит время! – сокрушённо сказал старик. – Вроде только вчера летал как сокол, играя с жизнью, а она-то оказывается уже вся позади.

Яков пригласил его присесть. Вор сел и все остальные последовали его примеру.

– Яша, так тебя зовут, мне сказали. Я специально не сразу пришёл к тебе. Поначалу присматривался: думаю, если наших кровей парень, скажется кровь. И вижу – наш ты. И вот ещё почему не пришёл сразу, хотя очень хотел взглянуть на тебя. Я ведь тебя один раз видел, ты был вот такой, – он показал руками. – Ещё титьку сосал. Не хотел я идти сразу, чтоб не сказали, что ты за счёт старика поднялся. Так что не обессудь, не ругай меня.

Подошёл завхоз и сказал, что всё готово. Яков пригласил Чахотку и сопровождающих его к столу.

– Ну а как же? Нешто мы шли сюда и откажемся. Мы тоже не с пустыми руками. От нас тебе, Яков, подарок есть.

Чахотка не сказал, что подарок «от меня», умышленно делая акцент на «от нас». Один из сопровождавших его парней достал толстый пуховый вязанный свитер, такие же носки и перчатки. Вздвонанный Яков обнял старика и горячо поблагодарил его. Тот откликнулся:

– Носи на здоровье, сынок. Климат тут суровый, береги себя.

Застолье по лагерным меркам оказалось обильным. Заслуга в этом была целиком завхоза. Все понемногу выпили, не пили спиртного лишь старый вор и Яков. Они пили крепкий, «по-купечески» заваренный чай. Чахотка пообещал помочь разыскать Сатану:

– Ты, Яшенька, перебирайся ко мне в барак. Я хочу, чтобы ты был рядом. Чувствую, мне уже недолго осталось. Всё-таки ты мне не чужой. Побудь со стариком. Хочется мне о многом рассказать тебе, научить кой-чему. Ты ведь сейчас как молодой орёл – силы много, ума тоже хватает. А я тебе другое передам – мудрость.

Растроганный Яков дал слово, что скоро переберётся к нему.

Зимние дни коротки, время летит быстро. Якову удалось узнать, что за забором, ограждающим объект номер пять, работают женщины из женской колонии. Чувствуя, что где-то там может быть Яна, он приложил немало усилий и добился, чтобы его перевели на этот объект. Он не ошибся, Яна действительно ходила туда.

Объект номер пять оказался огромным, здесь одновременно были заняты около четырёх тысяч человек. Работали в две смены, а на «бетонке» производство не останавливалось и ночью. Здесь делали дополнительные аварийные блоки для Ангарской ГЭС.

Повсюду была видна кипучая деятельность. В карьерах огромные экскаваторы, надрываясь, грузили грунт в небольшие вагоны, которые, как игрушечные, сновали по узкоколейке. Шли сварочные, бетонные, взрывные работы. Промёрзший за зиму полярный грунт не поддавался технике, пока его не разрыхляли при помощи взрывов.

Яков целыми днями ходил по стройке, присматривался, примеривался, изучал схемы проведения работ. Он брал у прорабов чертежи и рассматривал их, делая для себя пометки.

А на календаре уже заканчивался март, и в воздухе стало ощущаться приближение долгожданной весны.

Яков получил несколько длинных писем от Яны. В одном из них была вложена фотография, на которой Яна была снята на набережной, на фоне большого белого парохода с надписью «Михаил Калинин» на борту.

Яна была рядом. Её можно было увидеть, если взобраться на любой строящийся объект. Но как дотянуться до неё?

Яков ломал голову. Он не мог есть, у него пропал аппетит. По ночам он бродил по бараку, страдая бессонницей. Чахотка, к которому с месяц назад перебрался Яков, смотрел за ним как за родным сыном.

– Ты чего маешься? – спросил он однажды.

И тогда Яков, ничего не скрывая, рассказал о причинах своих переживаний. О том, что первый раз в своей жизни полюбил и хочет увидеться с любимой, но не знает, как это сделать. Хитрый старик изучающе посмотрел на Якова и произнёс:

– А чего ты огород городишь? Подай заявление хозяину. Она тоже пусть подаст, и мы вас поженим. Тебе дадут свидание с ней на трое суток – как бы на свадьбу. Я буду твоим посажённым отцом, если возьмёшь. А потом на законном основании мужу и жене раз в полгода положено личное свидание. Вот и все ваши проблемы.

– Омниа ингениоза симплициа сунт, – припомнив подходящую к делу латынь, воскликнул Яков, бросившийся обнимать старика.

– Ты что это сказал? На каком тарабарском языке? – спросил вор.

– «Всё гениальное просто!» – это не я, это Ньютон сказал, – воскликнул Яков, вне себя от радости.

– Ньютон, вор в законе? – переспросил Чахотка, и Яков упал на кровать, заливаясь хохотом.

Потом ему стало неудобно, что обидел старика, и, чтобы не ставить того в неловкое положение, спросил:

– Что, не приходилось слышать про Ньютона?

– Про Нельсона слышал, а про Ньютона – нет, – серьёзно и озадаченно ответил Чахотка.

Теперь Яков ходил окрылённый. Он написал Яне о своём предложении выйти за него замуж и очень переживал, что может вдруг получить отказ. Но в письме, которое ему вскоре передали, было написано: «Я согласна!»

Чахотка сам переговорил с хозяином, и тот дал согласие на брак. Через месяц в комнате для свиданий в присутствии представителя ГорЗАГСа, хозяина и Чахотки, Яков и Яна официально стали мужем и женой.

Якову было двадцать лет. Хозяин разрешил отпраздновать это событие бутылкой шампанского. Потом Чахотка ушёл в зону, а счастливым молодожёнам, как и говорил старик, хозяин предоставил свидание на трое суток.

Они сидели в комнате свиданий на кровати и смотрели друг на друга. Оба слегка оробевшие – почти совсем незнакомые парень и девушка, заключённый и заключённая, зэк и зэчка, неожиданно, с лёгкой руки старого больного вора Чахотки, ставшие мужем и женой.

Яна смотрела на Якова. Она была вызывающе красива даже в полулагерной одежде. Её тёмно-каштановые, струящиеся по плечам длинные волосы источали аромат духов. Высокий лоб был украшен изогнутыми тёмными густыми бровями, под которыми сияли зелёные колдовские глаза. Дополняли её облик красивый нос, нежные губы, всегда чуточку приоткрытые, и высокая изящная шея.

– Ты меня и вправду любишь, Яков? – спросила Яна.

– Да!

– Сильно?

– Да!

Яна пересела поближе к нему. Она легонько провела по его лицу кончиками пальцев, словно старалась получше запомнить. Потом коснулась руками его лба, погладила коротко стриженные светло-русые волосы. Повторила пальцами изгиб бровей, коснулась крыльев носа и, чуть поддразнивая, тронула губы.

– Муж мой! – изумлённо прошептала она и, вдруг крепко прильнув к Якову, сильно и страстно поцеловала его.

Яна расстегнула пуговицы его лагерной куртки, сняла с него белую майку, и начала целовать шею, грудь, живот.

Яков за свои двадцать лет перепробовал не так уж мало девчонок. Почему-то всегда без особого труда ему удавалось доводить их до постели. Но сейчас он вдруг совсем растерялся, как мальчишка, и повторял одно лишь слово – её имя: «Яна! Яна!»

Она сама раздела его и уложила в постель, которую расправила на скрипучей лагерной кровати с грубой панцирной сеткой. Потом начала раздеваться сама. Делала это Яна неторопливо, чтобы Яков сумел как следует разглядеть её. Она совершенно не стеснялась.

– Посмотри на меня, Яша, посмотри хорошенько, не прогадал ли? Видишь – руки на месте, ноги тоже. На груди посмотри – они тебе нравятся? – Яна поддерживала их снизу, немного приподнимая.

– Да! – шёпотом ответил Яков, словно в пьяном бреду.

– А бёдра, Яша? – она повернулась к нему спиной, заставив застонать от нетерпеливого желания.

Её прямые плечи были приподняты в гордой королевской осанке. Тонкая талия плавно переходила в изумительной формы ягодицы.

– Смотри, Яков! Теперь ты мой муж, и только ты один можешь любоваться моим телом. Я теперь принадлежу тебе... – шептала Яна. Она потянулась к нему, опаивая молодого мужа самым настоящим колдовским приворотом – любовью!

Яна легла в постель, прижавшись к Якову. Её зелёные глаза вспыхнули над ним, она прикоснулась к нему плоским сильным животом, прижимая его горячую голову к себе.

А потом была ночь, краше и сказочней «Тысячи и одной ночи». Потому что там, в книге, была сказка, а здесь, в комнате свиданий, – явь.

За решётчатым окном забрезжил рассвет. Потихоньку, как вор, пробираясь в комнату, он достиг их брачного ложа. Яков приоткрыл одеяло и долго, зачарованно смотрел на свою прекрасную молодую жену.

Именно тогда он подумал впервые о Боге!

«Наверное, Он сверху видел все мои страдания, моё сиротство. Знал, как я тоскую по ласке отца и матери. Понимал, какими безотрадными были мои бессонные тревожные ночи, когда замерев под тонким детдомовским одеялом, я пытался представить себе своих мать и отца. Бог сжалился над сыном своим, ведь я тоже сын Божий, – думал Яков. – И вот Он послал мне эту сказочную девушку, сделав в одночасье моей женой».

Яна проснулась от пристального взгляда Якова. Увидев его задумчивость, она обняла своего суженого и, будто читая мысли, прошептала:

– Господь послал меня тебе, чтобы я стала твоей женой. Потому что Он знает, что ты много в жизни выстрадал.

Она обвила его шею и стала целовать нежно и горячо. От неё ещё пахло сном. Прижав к себе Якова, Яна прошептала:

– Если бы мы были на воле, на нашу свадьбу пришла бы вся Одесса!

Яна знала толк в любовных играх. С ней всё было совсем не так, как до того получалось у Якова с институтскими девчонками, сплошь закомплексованными.

Яна, эта кодуня с зелёными глазами, взглянув в которые Яков будто терялся в лесной чаще, была безумно страстной. Она ласкала Якова, как никто и никогда раньше. Его сокурсницы всегда жеманились, хотя он знал, что они не прочь лечь с ним в постель. Когда он, добившись своего, раздевал и укладывал очередную страждущую, та позволяла проделать с ней «это» только в одной, классической позе.

Яна же сама по несколько раз меняла позы, спрашивая Якова, как ему лучше, как больше нравится. И когда Яков овладевал её гибким телом, благодарно шептала:

– Да, да, мой мальчик, и ещё так же!

Она была неистощимым костром, жар которого не остывал, а наоборот, разгорался всё сильнее, сжигая молодого зэка в своём бесовском пламени.

Трое суток пролетели как три часа. Молодожёны за это время почти не спали, лишь ненадолго смыкали воспалённые от бессонницы и любовной лихорадки глаза. Губы их были искусанными, распухшими от жарких поцелуев. Яков и Яна сидели теперь одетые, обнявшись и прижавшись друг у другу, притихшие.

– Родной мой! Судьба моя, я такая счастливая! – шептала Якову красавица-еврейка.

Когда пришло время прощаться, они, взявшись за руки, напоследок застыли в долгом прощальном поцелуе.

Яков вернулся в барак счастливый, но грустный. Так уж устроен человек – всегда ему для полного счастья чего-то не хватает.

В бараке новобрачного встретил его посажённый отец, вор в законе Чахотка. Видя грустное настроение Якова, старик потрепал его по плечу и назидательно сказал:

– Мы все были молоды, Яша, и влюблялись, и любили. Не давай тоске раздавить себя.

Мудрым человеком был Чахотка. Всякому он мог сказать своё слово, в одном человеке растопив желчь, в другом – злобу, в третьем – затушив пожар.

За весной пришло короткое таёжное лето. Было жарко. Наконец-то, скинув с себя надоевшие за зиму свитера, бушлаты, пимы, можно было позагорать.

Старый вор как из рога изобилия извлекал истории и рассказывал Якову о воровском мире, единстве воров, традициях и укладах. Он понемногу подключил его к сбору общака, посылая на беседы с заключёнными, чтобы пояснять, для чего это делают, куда уходит собранное. Поскольку Яков обладал грамотно поставленной речью, широким кругозором, образованием, умел логично построить разговор, ему удавалось довольно легко справляться с заданиями старика. Постепенно заключённые начали узнавать Якова, здороваться с ним. Это был признак того, что у него появился авторитет в зоне. Конечно, до настоящего большого и заслуженного авторитета, как у Чахотки, было ещё очень далеко, но Яков знал, что дорога даже в тысячу километров начинается с первого шага. Старый вор старался держать Якова поближе к себе, чтобы тот больше видел и слышал.

Яков получал длинные, страстные послания от Яны. Она писала, что с нетерпением ждёт осени, когда им можно будет просить

об очередном свидании. Жизнь у неё в колонии постепенно наладилась, работа была чистая. Яков регулярно переводил ей небольшие суммы денег.

Деньги у парня были всегда. Ему хорошо закрывали наряды, и эти суммы попадали ему «на квиток». Ещё он время от времени поигрывал в карты, срывая хорошие куши.

Лето в тайге, такое долгожданное, всегда коротко. Раздразнив живущих в этом суровом краю, оно вдруг начинает, словно пятясь, уходить в густые таёжные буреломы. На смену ему приходят первые, поначалу эпизодические, дожди. Со временем они становятся затяжными. Небо обкладывают густые тёмные тучи. Чем ниже они спускаются к земле, тем короче становится день. Дожди, сначала тихо плакавшие, превращаются в сплошные потоки слёз.

Несмотря на приближающуюся осень, работы на стройке не сворачивались. Наоборот, день ото дня стройка набирала обороты, разворачивая всё новые и новые фронты.

Вместе с дождями пришли заунывные серые обманчивые ветры. На таком ветру сильно простыл старик Чахотка. У него началось воспаление лёгких, обострился туберкулёз. Яков настоял, чтобы старик лёг в санчасть. Но, видно, его ослабленный организм уже не сопротивлялся болезни, которая прогрессировала день ото дня.

Яков забежал в барак санчасти утром и вечером. Однажды он пришёл туда, когда старик спал. В палате они были одни.

Почувствовав на себе взгляд Якова, Чахотка открыл глаза. Говорить ему было трудно. Вместо слов вылетал дробящийся душный кашель, на губах выступала кровавая пена. Яков платочком обтирал старику губы и, не отрываясь, смотрел на него.

В тот день Чахотка открыл ему свою тайну. Обратив к Якову свои почти бесцветные глаза, старик с трудом проговорил:

– Я держал тебя на руках совсем маленьким. Я знал твоего отца, когда он был таким, как ты сейчас. Я посажённый отец на твоей свадьбе. Поклянись мне, что сохранишь тайну, которую я тебе открою, и исполнишь всё так, как я попрошу. Я умираю, не откажи мне!

Яков был в глубоком горе. За этот год старик стал ему близким человеком, и вот теперь он хочет уйти и оставить Якова опять одиного. Яков стиснул зубы, до крови прикусив себе язык, и попросил старика:

– Не умирай! Не оставляй меня одного.
– Покаянись, Яков! У нас мало времени.
– Клянусь тебе, что сохраню твою тайну и исполню всё, как ты попросишь.

Чахотка полуговорил-полукашлял:

– Когда я сидел на Алдане – это было в сороковом, мне досталась карта, на которой была обозначена золотая жила, выходящая почти на поверхность земли. Я доверился своему приятелю по кличке Север. Вместе с ним мы ушли в побег. Нашли эту жилу и взяли там три пуда самородков. С этим золотом дошли почти до самого Иркутска. Север в пути сломал ногу, я нёс его на себе. У него началась гангрена, ничего сделать было нельзя. Я скоро предстану перед Богом, на мне греха нет, золото чистое – без крови. Север умер и я похоронил его. Сам вышел в посёлок к староверам, они спрятали меня. Я прожил там с одной женщиной лет пять, а может, и больше. Когда я сразу после войны выбрался оттуда в Питер, моей дочке было четыре года с лишним. Я оставил их, а сам уехал и больше уже туда не вернулся. Потом сел на двенадцать лет, а дальше ещё и ещё, так и не освобождался. Теперь вот помираю.

Чахотке было трудно говорить, он напрягал последние силы, чтобы досказать.

– Пять лет назад моя дочка нашла меня. Была у меня на свидании. Её зовут Вера. Живёт она в Питере, на Петроградской стороне, Каменно-Островский, 104, квартира 10. Запомнишь? У неё есть дочь, моя внучка. Вера назвала её именем моей покойной жены – Анфисой. Девочке сейчас десять лет. Все письма и фотокарточки – под подушкой, заберёшь их себе. Золото я тогда закопал недалеко от посёлка староверов, а карту законопатил в цинк из-под патронов и закопал под правым углом церквушки, если стоять лицом ко входу, на глубине один метр. Почти всю жизнь я просидел в лагерях, фактически имея кучу денег. Сколько раз хотел бежать и добраться до них, да так и не смог. Я сказал Вере, что у меня есть огромные деньги и что когда-нибудь я доберусь до них. Сидеть-то осталось всего ничего, да видно уж не дотяну. Ты парень честный. Помни, что ты мне поклялся! – просипел, разбрызгивая кровавую пену, старый вор. – У тебя срок маленький. Освободишься, аккуратно доберись до золота, возьми его. Одну половину отдай моей дочери Вере. Если за это время с ней вдруг что-нибудь случится, тогда эта полови-

на будет принадлежать Анфиске, внучке моей. Вторую половину заberi себе, но позаботься о будущем моей внучки.

Чахотка помолчал. Потом, протянув руку к Якову, взял его руку в свою, уже почти безжизненную, и снова зашептал:

– Хорони меня сам, у нас с хозяином есть такой уговор. Напомнишь ему. Освободишься, выполнишь мою просьбу насчёт золота, привези ко мне на могилу дочь мою Веру и внучку Анфису. И ещё: под подушкой письмо есть Вере, запечатанное. Отправь его сам через волю, чтобы к ментам не попало. Ну вот, вроде всё сказал. Теперь иди, скажи людям, кто успеет, пусть придут попрощаться. Иди, иди! – старик требовательно шевельнул пальцами, и Якову ничего не оставалось, как идти выполнять волю старика.

На улице, около санчасти, стояли смотрящие за отрядами, ставленники вора. Зайти в палату они не рискнули, знали, что у старика находится Яков. Тот вышел и тихо сказал:

– Просил зайти попрощаться, кто успеет. И надо в зону передать.

Кто-то побежал в зону, а Яков вместе со смотрящими вернулся к умирающему вору. Чахотка лежал на кровати, вытянув руки вдоль туловища. Его открытые глаза смотрели в потолок. Близкий к вору зэк по кличке Акула бросился к нему, взял за руку, пощупал пульс и медленно снял с головы шапку:

– Эх, не дождался нас, ничего не сказал напоследок, – с горечью, покачивая головой, произнёс он. Ссмотрящие скорбно сняли головные уборы.

Хоронили Чахотку на старом лагерном кладбище на второй день после смерти. В день смерти и в течение ночи гроб с телом Чахотки стоял в бараке. Почти вся зона побывала у гроба, отдавая дань уважения старому вору в законе. Лучшие кустари зоны, краснодеревщики, не спали всю ночь и к утру изготовили красивый, отделанный инкрустацией и искусной резьбой гроб.

Хозяин, опасаясь за свои погоны, торопился побыстрее похоронить покойного. Под честное слово он разрешил четверым наиболее близким к Чахотке зэкам под конвоем выйти за территорию зоны и там предать его тело земле. Всех остальных обитателей зоны, даже тех, кто пришёл с ночной смены, выгнал на работу.

Гроб с телом покойного вывезли на автозаке и доставили на кладбище. Акула настоял на том, чтобы хозяин разрешил провес-

ти отпевание вора, так чтобы необходимые формальности были соблюдены.

Могила была готова, её заранее выкопали расконвоированные ээки. Конвой оцепил участок кладбища и после этого разрешили выносить гроб.

Акула и Яков спустились в могилу и приняли гроб, стараясь не уронить его. Они аккуратно поставили гроб и по старой воровской традиции положили на него бутылку водки, нож и колоду карт. Потом выбрались из ямы. Каждый из четверых бросил в могилу по три горсти земли, размяв её в руках, со словами: «Пусть земля тебе будет пухом! Спи спокойно!»

Взяв лопаты, ээки сами закопали могилу и выровняли аккуратный холмик. Потом достали из автозака металлический красиво отделанный крест, на котором были указаны фамилия, имя, отчество и даты – рождения и смерти вора. Они поставили крест, потом из машины принесли сваренную из железа разборную оградку и установили её. Всё получилось вполне пристойно.

Давшие честное слово хозяину авторитеты присели возле свеженасыпанного холмика и молча выкурили по сигаретке. Затем поднялись, каждый из них перекрестился, и все четверо медленно направились к автозаку. Яков шёл с кладбища, унося в себе тайну старого Чахотки.

Вечером, собравшись в кутке, лагерные авторитеты поминали ушедшего в мир иной вора в законе. На деревянном ящике стояла бутылка водки, лежали крупно нарезанная колбаса, лук, соль, чёрный лагерный хлеб, не забыт был и чифир. Поднялся Акула, держа в руке алюминиевую кружку с водкой, и произнёс глухим голосом:

– Пусть земля ему будет пухом, все там будем!

Потом выпил до дна и перевернул кружку.

Все присутствующие, а было их человек десять, тоже поднялись и, повторив произнесённую Акулой фразу, не чокаясь, выпили до дна и перевернули кружки.

– Покойный Чахотка во времена сучьей войны лично зарезал одиннадцать сук, – произнёс Акула.

– Интересно, как он ответит Богу за загубленных им сук. Всё-таки люди были, – задумчиво произнёс одnogлазый авторитет по кличке Кутузов.

– Чахотка найдёт, что ответить. Он ещё только шёл их валить, а

у него уже были готовы ответы в кармане. И для ментов, и для Бога, – сказал кто-то.

– Перед Богом не соврѣшь, – произнёс Акула. – Там всё взвешат: хорошее, плохое, богоугодное, богопротивное.

– Когда распинали Христа, справа от него распяли убийцу, а слева – вора. Распятые смеялись над Христом, говоря: «Если ты сын Божий, почему твой отец-Бог не спасает тебя от такой мученической казни? И тогда ответил им Иисус: «Я взял на себя все грехи человеческие, любя людей, и за то принимаю мученическую смерть на кресте. Чтобы через мои муки искупились грехи людей перед отцом моим». Ошеломлённые ответом Христа преступники спросили у Иисуса: «А нас, наши грехи может ли простить Бог – отец твой?» И Иисус ответил им: «Истинно покайтесь и уверуйте в Него на этой Голгофе». Услышав это, преступник, что был распят на кресте слева от Иисуса, воскликнул: «Господи! Прости нам грехи наши. Веруем в Тебя, Господа нашего!»

Это рассказал Яков внимательно слушавшим его авторитетам.

– И что, простил он их? – спросил Кутузов.

Яков пожал плечами и ответил:

– В Библии писано, что Господь всепрощающ, но Господь наказующ. Там же писано, что всякий взойдёт на Голгофу, где предстанет перед Богом.

Авторитеты сидели, задумавшись над смыслом сказанного Яковом.

Через год вагонзак увозил Якова и ещё троих авторитетов из Ангарска. За организацию всеобщего неповиновения лагерной администрации Якова осудили на шесть лет, из которых три года ему предстояло провести в крытой тюрьме «Белый лебедь». В этой страшной тюрьме, где сломали немало воров, где правил чёрный кардинал ГУЛАГа – генерал Сныцарев.

Вместе с Яковым вывозили Акулу, Кутузова и парня по имени Антип. Уезжали они из Ангарска поздней осенью. Уже отплакали дожди и по ночам тайга, исхлёстанная ветрами, скрипела и стонала обледелыми стволами, словно живое существо.

Остались позади зона, укрытая сопками, взбунтовавшаяся стройка под названием «объект номер пять» и жена-красавица, ээчка Яна.

После тех памятных свадебных трёх суток, проведённых вместе,

Якову и Яне удалось встретиться ещё дважды. Оба раза это были встречи двух истосковавшихся сердец. Они безумно любили друг друга, случайно встретившиеся в «Столыпине» зэк и зэчка.

И теперь конвой увозил Якова в один из самых знаменитых казематов ГУИТУ – Соликамский «Белый лебедь». Там ему предстояло пройти через все ужасы и ломки, будто специально придуманные гулаговскими мудрецами, чтобы зэк мог закалиться, как дамасская сталь.

Яна. Яна-Яночка, прекрасная одесситка! Поздняя, любимая дочь маланца-портного, которого знала почти вся Одесса.

Всякий в Одессе, кто хотел мало-мальски прилично выглядеть, шёл шить себе на Молдаванку, к Изе Брауну. Так было в пятидесятых, шестидесятых, семидесятых. У Изи обшивались солидные, уважающие себя люди.

Его любимая жена Ева вышла за него замуж, когда Изе было тридцать семь лет. Тогда уже он был известен как Изя Браун почти всей Одессе. Ева была старой девой тридцати лет.

Перед самой войной родители хотели выдать её замуж. Ева тогда была в самом соку. Но проклятая война разрушила все планы. Пришлось им бежать из родной Одессы на Дальний Восток, в город Биробиджан, где жило много евреев и где очень не любили одесситов.

После войны, когда всё понемногу стало утихать, перепуганные евреи, крадучись, вернулись на свою родную Молдаванку. Там они пару лет неприметно сидели, шурша как мыши на сеновале, присматривались и принюхивались к послевоенной Одессе. И вдруг у их столь оберегаемой и лелеемой дочери Евы как на дрожжах стал расти живот и начали набухать груди. Удивлённые старики по ночам не спали, шептались: с чего бы это вдруг такие перемены с их дочерью? Наконец однажды они решились среди бела дня выйти на Молдаванку и проследить за своей Евочкой. Тогда-то они, к своему огромному изумлению, и сделали открытие.

Виновником оказался известный на Молдаванке рукодел Изя Браун, уже тогда бывший Изей Брауном. Посоветовавшись, старики, как говорится, припёрли Изю к стене. Деваться тому было некуда, и он с большой радостью засватал их дочь, тридцатилетнюю Еву.

Свадьбу сыграли скромную – чего было светить всей Молдаванке распухшие Евины живот и груди, да ещё тратить на это Изины

деньги. Собрали старики человек десять уважаемых евреев, посидели чинно вечером у себя в доме, попили молдаванского вина, поели сладкой рисовой каши с изюмом. И пошла Ева в ту ночь спать к своему законному мужу Изе.

Несмотря на свои тридцать лет, она была всё ещё очень красивой, с чёрными длинными вьющимися волосами, огромными, будто застывшими в испуге, чёрными глазами и правильными чертами лица. И нос у неё был небольшой и изящный, и губы алого цвета ещё в соку, и зубы – ни одного гнилого, все как на подбор здоровые, ровные и белые. Всё при ней. Единственное, что мучило Изю – в свои тридцать лет не была она «невинной». Значит, подзревал он, раньше, до него, у неё случались и другие мужчины. У Евы были хорошие груди, которые колыхались словно два спелых яблока на тонкой ветке. Внизу белого округлого живота выделялся лобок, поросший жёсткими чёрными волосиками, которые Изе так нравилось поглаживать пальцами. Ночами обнимая Евочку тридцатисемилетний Изя Браун, известный уже тогда на Молдаванке как Изя Браун, сглатывал слюну и щипал разбухшую грудь жены, ревнуя, допрашивая её:

– Скажи мне, Ева, честно, как в синагоге: сколько их ты впустила сюда? – и разгорячённый Изя, сам того не замечая, с наслаждением засовывал свой исколотый иголками указательный палец в её горячее тесное лоно. Он не любил надевать напёрсток, поэтому его указательный палец был всегда исколот.

Не прошло и года, как его любимая жена, на которой Изю женили чуть ли не силком, родила ему дочь, которую они называли Яной.

Изя шил костюмы. Его тогда уже знала как Изю Брауна почти вся Одесса. Его любимая жена Ева нянчилась с их поздней, любимой и единственной дочерью Яной, иногда приторговывая на Привозе.

Яночка росла на радость Изе и Еве. Как и все еврейские дети, она через положенное время закончила советскую школу. К этому времени Яна уже стала первой невестой на Молдаванке. Неизвестно, в кого она пошла – такая живая, бойкая и бесстрашная.

– Ох, принесёт она нам горе! С каких это пор еврейская девочка носится по всей Одессе и ничего не боится? Как за хорошей сучкой во время течки тащится десяток уличных кобелей, так и за ней уви-

ваются уже почти все кобели с Молдаванки, да ещё и половина кобелей с Дерибасовской, – хватаясь за голову, сокрушался постаревший Изя Браун.

– Ты что несёшь? Совсем сдурел уже? И это про свою позднюю, любимую и единственную дочь! – одёргивала Изю, защищая дочь, жена Ева.

– Молчи, курва! В тебя пошла моя единственная и любимая дочь. Ты тоже в её возрасте пропускала жлобов себе между ног.

– Сдурел Изя! – кричала Ева и убегала на улицу, жаловаться соседям.

Когда эти разговоры доходили до слуха Яночки, она ужасно гневалась. Гнева её боялся даже сам Изя. И чтобы притушить её ярость, старый портной доставал из кубышки припрятанные рубли и отдавал их своей единственной, любимой, поздней дочери.

Яна, закончив школу, вела свободную жизнь. Днём она загорала на «Аркадии» на жарком черноморском солнце. А вечерами, растворив в своих зелёных колдовских глазах волю и разум какого-нибудь морячка, сошедшего на долгожданный берег, вела того на Дерибасовскую. Там заводила в знаменитый «Пассаж», где любил веселиться ещё куражной Мишка Япончик. Там-то, очарованный красотой Яны, морячок и оставлял все свои денежки. На заработанные в чужих широтах боны морячки одевали Яну в чековых «Берёзках», как царицу. Но когда они пытались добиться близости с ней, она ускользала из их рук. Так красивая медуза растворяется на горячем песке берега.

Нет, напрасно подозревал Яночку к старости сходящий с ума её отец, которого вся Одесса знала как Изю Брауна.

Сотни и сотни красавцев раздевали Яну взглядом, когда она поднималась с набережной по Потёмкинской лестнице. И капитаны дальнего плавания, влюбившиеся в неё, уводили в море свои белые пароходы, давая на прощание длинные-длинные гудки. Её глаза, цвета морской воды в яркий солнечный день, свели с ума многих просоленных морских волков, избороздивших не один океан.

Так было до тех пор, пока Яна не встретила отчаянного одесского вора в законе Мишу Серебряного. Чуть было не покорила красавица сердце вора, да только крепкое сердце было у Серебряного. Дрогнуло оно вначале, забило как в агонии. Но Мише удалось совладать с собой и заставил он биться своё сердце ровно и разме-

ренно. Сумел именитый вор обуздать красавицу, сводившую с ума всю Одессу, и взял он её работать себе в пару.

Он тогда уже всю катал по стране. Всуропливал биробиджанским жидам, грезившим об Америке, бухарским евреям, потянувшимся в Израиль, кисловодским цеховикам, прятавшим золото в кубышки, питерским нумизматам-антикварам – циркониевые стразы вместо бриллиантов, гальванизированное серебро вместо золота. Предлагал им золотые монеты, изготовленные с точностью до микрона в собственной ювелирной мастерской, выдавая их за старину «Вреён очаковских и покоренья Крыма», а то и за древность – чуть ли не вреён Карфагена и захвата Вавилона воинами царя Дария.

Огромными деньжищами ворочал Серебряный Миша. Прокручивал афёры с недвижимостью, золотом, драгоценными камнями. Разъезжал по Одессе на чёрной блестящей «Волге». На таких машинах в то время могли ездить только партийные бонзы или «избранные», подобные ему.

Миша возил свою красавицу-подельницу повсюду с собой и как честный еврей отдавал ей двадцать пять процентов прибыли. Одевал он Яночку в самые лучшие наряды, которые заказывал капитанам судов, заходящих в Европу, Америку, Японию, Австралию. Кормил её в лучших ресторанах. Приучал делать причёски у лучших мастеров. По микронам обрабатывал Миша этот природный алмаз, гранил его и превращал в бесценный, чистой воды бриллиант, ничуть не хуже «Кулистана».

Серебряный научил Яну искусству любви, читая ей индийскую «Кама Сутру» и описания близости арабских авторов. Познакомил с романтическими произведениями лучших писателей, выбирая из немецких Гёте, из английских – Шекспира и Байрона, из французских – Бальзака и Мопассана, из русских – Толстого и Лермонтова. Миша научил Яночку профессионально очаровывать своей красотой, манерами и внешним лоском любого нужного «лоха».

Яна и Серебряный работали по-крупному. Но никогда вор не подставлял её, используя в качестве шлюхи. Яна была бесценным бриллиантом, принадлежавшим ему одному. Любоваться этим бриллиантом могли все, но пользовался им – только он один.

Когда Яна, скинув с себя всю дорогую мишуру, обнажённая, благоухающая лучшими французскими духами, шла к Серебряному

в постель, ему казалось, что он сейчас ослепнет. Ослепнет от красоты искрящегося, играющего на солнце тонкими острыми гранями бриллианта. Его бриллианта по имени Яна.

Серебряный знал, что у них на хвосте уже висит КГБ, что надо делать ноги. Как у всякого порядочного еврея на этот случай у него уже были предусмотрены несколько паспортов – итальянских и французских. Он заранее заготовил их за огромные «баксы». Вот-вот надо было уходить контрабандой на рыболовном судне. Мише в качестве матроса, а Яне – в роли судового повара. За это капитану были обещаны пачки советских четвертаков с головой Владимира Ильича.

Трудно, однако, играть в такие игры с КГБ. Первой взяли Яну, которая рано утром возвращалась домой на Молдаванку после страстной ночи, проведённой с Мишей в шикарном номере одной из лучших гостиниц. Он успел заметить через окно как к ней, пересекающей улицу, поспешно подошли двое в серых штатских, одинаково безвкусовых костюмах, какие носили агенты КГБ. Эти двое взяли пытавшуюся было вырваться Яну под руки с обеих сторон и, забросив в подлетевшую волгу, увезли Мишин драгоценный бриллиант в бетонные подвалы ЧК.

У Серебряного было минуты три-четыре, не больше. Рыча позвериному и проклиная свою еврейскую неторопливость, Серебряный напялил на себя парик стареющей блондинки, в течение буквально одной минуты накинул приготовленный специально для такого случая наряд и, схватив огромный узел с грязным бельём, вышел из номера. Тихо прикрыв за собой дверь, он стал спускаться по лестнице. На третьем этаже навстречу ему поднимались трое. Они посторонились, прижавшись к стене, чтобы пропустить ковыляющую тётку-горничную, несущую большой тюк грязного белья в прачечную.

Серебряный Миша бесследно исчез из поля зрения КГБ. Не одна звезда упала с погон железных чекистов за то, что они проморгали одного из самых крупных аферистов тех лет, периода процветающего социализма семидесятых годов.

А красавицу Яну долгие полгода держали в подвалах на Лубянке, в Москве. Не доверяли, видимо, кагэбэшникам Одессы: кто его знает, Одесса есть Одесса.

Крутили Яну, выкручивали – не сдала она своего подельника, вора в законе Серебряного. Не сдала, как ни пугали её гэбисты, как ни грозили закинуть на месяц «на пользование» в пресс-хату к мужикам, где сидели в одной камере около тридцати отъявленных б...дей.

– Только попробуйте! У меня есть каналы, как сообщить обо всём на волю. Оттуда информация моментально уйдёт на «Радио Свобода» и в «Голос Америки»! – отвечала дерзкая, любимая, единственная дочь Изи Брауна толстому, лысому и противному подполковнику-гэбисту.

Яну держали в одиночной холодной камере, где ни днём, ни ночью не выключали свет. Вызывали на допрос под утро, часов в пять, в то самое время, когда человека больше всего тянет ко сну. Допрашивали до девяти часов утра. Потом следователь, который вёл допрос, прямо перед Яной вкусно завтракал и закуривал хорошую сигарету. В эти минуты её допрашивал другой следователь.

В полдень Яну отводили в камеру. Днём шконка, как известно, должна быть пристёгнута к стене, поэтому девушке приходилось ходить по камере взад-вперёд. Она засыпала на ходу и видела красивые сны-миражи: вот она с Серебряным в ресторане, звучит музыка; а вот она загорает на своём любимом пляже – «Аркадии»...

Начиная падать, Яна широко раскрывала глаза и с ужасом обнаруживала, что нет никакого ресторана, а находится она в камере; и нет музыки – это струится не прикрытая кем-то вода в умывальнике где-то в конце коридора; и нет «Аркадии» и солнца, есть только холодная промозглая камера, с сырыми, скользкими от плесени стенами.

А ночью её опять вызывали на допрос, и весь кошмар начинался заново.

Под утро, когда Яна буквально валилась с ног, лысый гэбэшник раскладывал на столе завтрак, сигареты, зажигалку, наливал из термоса одурманивающе ароматный кофе и предлагал:

– Ну, что ты упрямисься? Убежал твой Серебряный, немного опоздали наши. А мне надо показать свою работу. И так из-за Серебряного столько проблем возникло! Давай договоримся: ты мне подробно обо всём рассказываешь, я отчитываюсь перед начальством. Серебряного всё равно нет, он исчез. Главное – я свою работу сделал. Ты пойми, так и волки будут сыты, и овцы целы. А ты после того, как мне всё о нём расскажешь, хорошенько позавтра-

каешь, выкуришь сигарету, ляжешь вот здесь на диване. Я тебя накрою тёплым пледом и ты будешь спать до вечера. А вечером обещаю тебе устроить душ и перевести в хорошую камеру. Подумай, прошу тебя!

– Отведи меня в камеру, ирод! – с лихорадочным блеском в глазах, из последних сил гордо держа голову, отвечала Яна.

Тюрьма «Матросская тишина», в которую Яну перевели после шести месяцев содержания в подвалах Лубянки, показалась ей раем земным.

Её дело передали на дополнительное следствие органам МВД на Петровку. Здесь, в «Матросской тишине», Яна отмылась, привела себя в порядок. Полгода уже она не видела своего лица в зеркале. Переносить эту муку ей было труднее всего – на свободе Яна так любила вертеться перед зеркалами и рассматривать в них своё отражение.

В этой тюрьме ей предстояло провести ещё полгода в ожидании окончания следствия и суда. Но тут она не замечала времени. В камере не было скучно, так как сидели там десять женщин вместе. Через два месяца после перевода Яны в «Матросскую тишину» по девушке тайно вздыхали почти все дубаки-контролёры.

В голове Яны уже начинал зреть дерзкий план побега. Для осуществления этой задумки она избрала объектом своего внимания молодого, пришедшего после армии, паренька. Был он приятным, тюрьма ещё не успела наложить на него своего уродливого отпечатка, поскольку он не так давно устроился на работу – в следственный изолятор на должность контролёра. Пару недель назад его повысили в должности, и теперь он исполнял обязанности старшего контролёра. Паренька звали Игорь. Он был безнадежно влюблён в Яну. Вернее, она сама заставила его полюбить себя, словно оповив колдовским зельем, навсегда приворожив его своими зелёными глазами.

Зная, что по вечерам Игорь должен заходить в камеру проводить проверку, Яна умышленно сидела обнажённой по пояс. Лязгая, открывалась металлическая дверь, и в камеру в сопровождении двух женщин-контролёров входил он, держа список в руках. Яна делала вид, что её застигли врасплох. Она бросалась надевать кофточку и, будто бы волнуясь, специально не сразу попадала в рукава. Тогда, отбросив кофточку в сторону, Яна становилась в строй

напротив Игоря. Она видела, как вспыхивали его глаза при виде её прекрасной обнажённой груди. Он начинал путаться, по нескольку раз выкликая одни и те же фамилии.

Позже она подзывала Игоря к кормушке, прося о каком-нибудь незначительном пустяке. Когда он исполнял её просьбу, Яна благодарила его, слегка дотрагивалась до его руки, заставляя вздрагивать, будто от удара током.

Яна рассчитывала околдовать парня. Она хотела заставить его совсем потерять голову и безрассудно выполнить её приказ. Тогда она в одну прекрасную ночь, когда все в камере спят, заставила бы Игоря вывести её из камеры в коридор. Дальше он мог бы переодеть Яну в китель контролёрши и вывести в хоздвор. А там она уже почти на свободе. Яна сказала бы пареньку, что заберёт его с собой, что у неё есть деньги и документы. Она знала, что всё это на самом деле есть в их с Мишей тайнике. Не мог он уйти, не оставив ей этого. Не тот он человек – Миша Серебряный.

Все планы спутал суд. Приговорили Яну к десяти годам колонии и спустили в подвал, в камеру осуждённых. Сюда Игорь не имел доступа, он дежурил только в следственном корпусе.

Через две недели первым же нарядом Яну отправили в зону в Сибирь, в Анжеро-Судженск. Правда, там её не приняли, и тогда менты толкнули её на проходящий большой этап, идущий в Ангарск.

Так единственная, поздняя, любимая дочь Изи Брауна оказалась в ночном «Столыпине» и увидела там случайно своего суженого – Якова.

Жизнь прекрасна тем, что в ней происходят удивительные события. Вот и здесь: встретившись взглядом лишь на доли секунды, красавица-аферистка и сын известного вора в законе, променявший институтские лекции на беспросветные лагерные будни, навек полюбили друг друга.

Нет, в этот раз Яна не играла. Она действительно влюбилась, как кошка, в этого совсем молодого парня, обладающего однако немалым умом, высоким интеллектом, широким кругозором, объёмными знаниями.

Когда после свадьбы новобрачным дали трое суток свидания, Яна любила Якова искренне и страстно, как у неё никогда не бывало даже с королём Дерibasовской, Мишей Серебряным.

Она сводила Якова с ума, лаская его, ничуть не стеснялась и была необычайно счастлива. Лежащий перед ней любимый человек принадлежал ей, был её законным мужем.

И вот Якова с «довеском» за организацию массового неповиновения заключённых администрации вывезли в крытую. Яна по ночам не могла уснуть. Уткнувшись лицом в мокрую от слёз подушку, она кусала губы и тихонько, чтобы никто не слышал, стонала от горя.

Так в системе ГУЛАГа ломались и крушились человеческие судьбы. И от чудовищной боли, которую невозможно перенести человеку, разрывались сердца.

Глава 5.

ЖИВОЙ

Всё началось с голубей. Юрка до безумия любил голубей, этих прелестных вертунов, лохмоногих бочкарей, сизарей, турманов. Вместе с братьями Володей и Костей он построил просторную окованную жестью голубятню, состоящую из двух отсеков. Целый год Юрка собирал для неё материал, рыскал по стройкам, выглядывая, где что плохо лежит. Ночью тащил домой доски, гвозди, металлическую сетку, брёвна, толь, жесть. И как-то даже сильно изорвал на себе рубашку, когда вдвоём с приятелем Сашкой, пыхтя, они тащили металлическую трубу. И вот теперь голубятня стояла во дворе, высотой до третьего этажа, выкрашенная в белый цвет, – Юркина гордость и радость.

Юркин отец почти всегда был пьяным и весёлым, а с похмелья – злым и скорым на расправу. В такие минуты Юрка старался не попадаться ему на глаза. Мальчик залезал в голубятню, ложился на им же сколоченную лавку, доставал из кармана краюху хлеба и ел её, угощая прямо изо рта пережёванным мякишем своего любимца вертуна – белого Ваську.

Васька тоже любил Юрку. Когда мальчик шутал голубей и они, хлопая крыльями, взмывали высоко в синее небо, Васька поднимался выше всех. Он делал там свои любимые сальто пять, шесть, десять раз, а потом камнем падал с высоты вниз и садился прямо на Юркино плечо.

Мамка у Юрки была добрая, всегда кормила чем-нибудь вкусным, испечённым специально для него. Братя, Володька и Костя, были уже взрослыми, они работали вместе на стройке. Володька жил с женщиной, бездетной разведённой, которая была старше него. Девятнадцатилетний Костя таскался ещё по девкам.

Только Юрка помогал мамке по дому, потому что у неё были больные ноги и Юрка жалел её. Летом он с утра до вечера занимался огородом, полел картошку, поливал огурцы и помидоры.

Отец его работал кочегаром в котельной. Позже их стали называть «машинистами паровых котлов». Так, во всяком случае, Юркин отец именовал себя, когда был пьян: «Я вам не что попало, а машинист паровых котлов!» Мамка отмахивалась от него, как от назойливой мухи: «Кочегар как был, так и есть!»

По воскресным дням Юрка убегал на городской рынок и бродил по голубиным рядам, с завистью рассматривая красавцев.

«Эх! Были бы деньги! Я бы вон ту пару купил, и вон ту тоже. А вот эти двое – ах, как они воркуют!» – мечтал Юрка, чувствуя, как замирает сердце.

Юркин приятель Борька Башка промышлял на том рынке карманными кражами, проще говоря, «тырил» из карманов. Башке нравилась такая формулировка, и он называл себя специалистом по «карманной тяге». Юрка, нуждавшийся в деньгах для покупки голубей, стал понемногу помогать Борьке Башке, который обычно «работал» один, прикрывая его. Деньги мальчики делили пополам.

Теперь субботние и воскресные дни стали для Юрки «рабочими». Башка называл кражи «покупками», а выходные дни – «рабочими». Юрке нравилось рисковать. Он умело «притыривал» Борьку, пока тот вытягивал у зазевавшегося фурмана лопатник. На появлявшиеся деньги Юрка покупал голубей.

Как-то раз он принёс деньги матери, зная, что дома не на что купить хлеба. Он протянул ей мятые бумажки:

– На вот. На базаре тётка уронила и не заметила, я подобрал.

И мать взяла, промолчала, а куда ей было деваться. Кормить же всех их надо!

Когда первый раз мальчиков взяли с поличным, их отпустили, заставив только вернуть деньги. Лиха беда начало – говорят в народе. Вскоре их поймали во второй, а потом и в третий раз. Мам-

ка приходила в милицию, плакала, унижалась, просила отпустить несмышлёного, обещая за него, что это – в последний раз.

– В последний раз отпускаю. Не бросишь красть – сидеть тебе, парень, в тюрьме, – сказал начальник отдела, отпуская Юрку и Борьку Башку.

Да разве бросишь, один раз познав сладость лёгких шальных денег? И на что Юрка будет покупать голубей?

Кончилось тем, что Юрке дали три года, а Борьке – четыре. Как ни плакала Юркина мамка перед судьёй, приговор был зачитан и конвой увёл обоих мальчиков в КПЗ. Оттуда их вскоре отправили в одну малолетку. Володя с Костей были на суде, но они не очень-то переживали за братишку:

– Ничего, зато в армию не пойдёт, – сказали они матери в утешение и передали Юрке через ментов трёхкилограммовую передачку.

На малолетке Юрке пришлось туго. Бугры и роги отряда зашибали его, били «по фанере», отпускали бесчисленные «киянки». Но Юрка был не робкого десятка. Он как мог стоял за себя и не давал себя опустить.

По ночам ему снились голуби. Один и тот же сон: будто бы тёплое летнее утро, тишина вокруг, а в высокой синеве неба его бочкари вертят «бочки». Лохмоногие, их так хорошо видно снизу! А белые бабочки, трепеща крылышками, поднимаются выше и выше. Юрка ужасно тосковал по голубям. Позже, на строгом режиме, на взросляке, он опять заведёт голубей, а пока по ночам его сердце печалилось по оставшимся на воле без присмотра любимцам.

Как-то раз мать, приехавшая к Юрке на свиданку, рассказала, что ночью кто-то сломал замки в голубятне и унёс всех голубей до одного.

– И Ваську тоже? – воскликнул Юрка.

Мать кивнула, подтверждая. Тогда Юрка зарыдал и начал бить в стенку кулаками, кровеня их в безутешном горе.

– Васька! Васька! – повторял он как заговорённый.

Мать рассказала ещё, что дома всё было по-прежнему, отец так же пьёт, пожаловалась на больные, опухающие ноги. Володька с Костей, как и раньше, работали на стройке и с получки давали ей небольшую сумму денег. Мать и с собой привезла Юрке много всего. Он съел, сколько мог, а остальное велел ей забрать обратно. Он

знал, что сейчас налетят как шакалы, бугры, роги и «подшакальники» – помроги и отнимут всё без остатка. Их Юрка кормить не желал. «Лучше пусть мамка дома сама поест», – подумал он, а вслух сказал:

– Нам нельзя с собой продукты в зону брать. Кормят нас тут хорошо. Мы в школу ходим, я учусь нормально и работаю.

Успокоенная мамка, наглядевшись на младшенького, уехала домой, увозя с собой остатки продуктов.

Два года пробыл на малолетке Юрка, заработав себе кличку Живой. Ещё бы год протерпеть – и звонок. Но жить ему стало совсем невозможно. Зашибали помроги, всю фанеру отбили. «Или покалечат на всю жизнь, или опустят, гады!» – с тоской думал Живой по ночам, размазывая по щекам бессильные слёзы.

Особенно донимал его помрог по кличке Узбек. Совсем проходу не давал Живому, житья просто не было. Узбек бил Живому по фанере киянки, «ставил болтушки», бросал его «на полы», растягиваясь в тупой улыбке противными, вечно мокрыми, слюнявыми губами.

Когда терпеть стало совсем не под силу, Живой решил завалить Узбека и уехать в тюрьму. «Пока там покантуюсь под следствием – пройдут оставшиеся восемь месяцев, и тогда меня отправят на взросляк. Пусть я получу срок, зато выберусь из этой ненавистной малолетки», – так думал Живой.

Узбека он зарезал большим столовым ножом, который утащил из кухни, когда отрабатывал наряд в столовой. Живой вызвал Узбека на улицу, упрашивая заискивающим голосом:

– Узбек, пойдёшь со мной? У меня там затачкована мазевая шамовка, возмёшь её себе. Только перестань бить мне по фанере, Узбек, а? – просящим тоном заманивал он свою жертву.

Жадный и прожорливый помрог клюнул на приманку, заброшенную Юркой, и вышел с ним на улицу. Они завернули за барак, в темноту.

– Далеко ещё? Куда ты затырил, тут можно ноги поломать! – возмущался Узбек, идя за тем, кто решил стать убийцей.

– Да нет, пришли уже. Вот здесь. Я сейчас всё достану, – проговорил Юрка. Он нагнулся и достал из-под наваленных горой досок огромный столовый нож.

Звёзды застыли в глазах у Узбека, когда Живой воткнул в него

нож – раз, другой, третий. Узбек захрипел, схватившись руками за живот, из-под пальцев начала выступать кровавая пена. Он ещё стоял на ногах, покачиваясь. Наверное, никак не мог поверить в то, что с ним произошло. И вот глаза Узбека потускнели, и звёзды исчезли из его зрачков, ставших вдруг пустыми, словно вытекшими. Тогда Живой толкнул его рукой в плечо. Узбек рухнул на спину в густую траву, так и не оторвав рук от живота.

В барак Живому возвращаться было нельзя. Если бы быстро обнаружили тело Узбека, то сразу же начали бы искать, кто его убил. Роги сразу бы догадались, кто мог его завалить, и тогда Юрке конец.

Живой нарвал травы и тщательно обтёр рукоятку ножа, уничтожая отпечатки пальцев, затем то же проделал с лезвием. Потом наступил ногой на лезвие и руками с силой дёрнул за рукоятку, обмотанную куском газеты. Нож сломался пополам. Живой зашвырнул рукоятку в одну сторону, лезвие – в другую, потом сжёг газету и пошёл сдаваться на вахту.

Больше года просидел он в тюрьме. Пудрил мозги следователям, постоянно менял показания. То говорил, что видел, как кто-то бежал в сторону от «швейки», но в темноте не разглядел, кто это. И что, когда он, Юрка, нашёл в траве мёртвого Узбека, то смекнул, что можно выехать из малолетки, взяв на себя труп помрога. То говорил, что думал побыть в тюрьме, пока найдут настоящего убийцу, потому что у него самого скоро должен был закончиться срок. А в самом начале он дал показания, что сам убил Узбека, воткнув ему в сердце заточенный электрод. К тому времени нашли обломки ножа, но на них не оказалось никаких отпечатков, а на юркиной одежде крови Узбека тоже не обнаружили.

Одним словом, крутили Живого и так, и эдак. Следователям нужно было закрывать дело, и они повесили труп помрога на него, так и не собрав необходимых доказательств. Судили Живого в городском суде. Беспристрастная советская Фемида с завязанными глазами взвешивала-взвешивала, а потом отвесила ему восемь лет строгого режима.

Так Юрка Живой попал на взросляк. Немилосердная судьба привела его в вязаную зону. «Из огня, да в полымя» – думал он, когда, избитый гайдамаками, сидел в изоляторе вместе с Единственным.

Три долгих года промытарился Живой в вязаной зоне, работая в промзоне сборщиком сельхозмашин. Потом он случайно встретился с Единственным в камере пересыльной тюрьмы и узнал, что тому отменили вышак. Живой очень был этому рад. Когда же в их нормализовавшуюся к тому времени зону пришла весть о том, что Единственный свалил в побег с особого режима, то Юрка Живой и сам замыслил уйти из лагеря.

Побег он продумывал почти год. Время теперь работало на него. Живому удалось найти литературу по дельтапланеризму, позже он разыскал и чертежи. Оставалось только подобрать нужный материал и соорудить дельтаплан. На это ушло восемь месяцев.

С большим трудом удавалось Юрке по частям изготавливать детали дельтаплана. Приходилось скрываться в укромных уголках зоны, а потом прятать все детали в разные места. Это был титанический, но осмысленный труд. Наконец всё было готово. Теперь, когда Живой своими руками создал настоящий летательный аппарат, который должен был на крыльях перенести его через все лагерные запретки и заборы, он жил в ожидании упоительного полёта.

В ночь побега Живой вышел на промку в ночную смену. Всё было готово: и дельтаплан, и вольная одежда, и деньги. Был сделан и точный расчёт времени. Юрка предполагал совершить полёт в два часа ночи. Хватиться его должны были не раньше шести утра, на первой проверке. Он надеялся в это время уже ехать в форме прапорщика внутренних войск, с военным билетом в кармане, в поезде, направляющемся на север.

В два часа ночи Живой со всеми деталями дельтаплана поднялся на самый верх тридцатиметровой трубы котельной. Там он быстро собрал своё детище. Потом, взглянув в тёмное, почти без звёзд, ночное небо, смело шагнул в пустоту.

Это был воистину упоительный полёт. Две минуты безграничной радости, переполнявшей его замершее сердце. Свершилось чудо – дельтаплан перенёс Живого через всю промку, запретку, лагерьный забор.

Юрка летел над бывшей вязаной зоной и рассматривал сверху горящие огни.

*Эх, догони, догони, догони!
Больше не будет случая,
Беги, мой верный конь!*

Ликовала душа, внутри всё пело – почему-то в памяти всплыла именно эта песня, из фильма эстонской киностудии: «Последняя реликвия». Этот фильм Живой посмотрел ещё на малолетке.

* * *

Всё прошло по задуманному плану. Когда Живой уже сидел в плацкартном вагоне поезда, то сплюнул три раза через левое плечо. Поезд, дробно стуча колёсами и покачиваясь, уносил его всё дальше от лагеря. Людей в вагоне было много. Юрка нашёл свое место, застелил постель и лёг подремать, специально не снимая формы.

«Так будет безопасней, – рассчитывал он. – Мало ли какому менту могут понадобиться мои документы. А так, спит себе человек, прапорщик внутренних войск, и нет смысла его беспокоить».

Хотя даже и на такой случай у предусмотрительного Живого был подготовлен вариант отхода. За хорошую плату лагерный кустарь изготовил ему вагонные «мальцы»: «трехгранник», «плоскарь» и «квадрат». Поэтому Живой всегда мог открыть туалет и запереться в нём, пережидая опасность. При необходимости он мог даже уйти из вагона вообще, то есть спрыгнуть с поезда на полном ходу. Но это был крайний вариант.

Первый день путешествия прошёл благополучно. У Живого были с собой деньги. Поэтому он купил у проходившего разносчика съестного и немного перекусил. А ещё, как оказалось, ему повезло с попутчиками. На нижних местах ехали в командировку двое мужчин. Еды у них с собой было навалом. К радости Живого они не пили спиртного, а то он боялся, что могли возникнуть проблемы. Соседи угощали его, ели сами.

Ночью Живой спал, начиная забывать о своих страхах. Поезд отмахал уже не менее пятисот-шестисот километров, унося его всё дальше в безопасность. А ехать Юрка задумал в старинный город Иркутск, до самого тупика. Дальше железной дороги не было. Конечно, он рисковал, выбрав Иркутск, но там можно было укрыться на первое время.

Вот уже за окнами потянулись вековые сосны и кедры. В приоткрытое окно ветер заносил пьянящий запах леса. Живой, лёжа на второй полке, размышлял о жизни.

Нет, отсидеть весь срок в лагере он бы не смог. Таким, видно, создал его Бог: не мог Живой жить без воли. Воля для него была чем-

то всеобъемлющим и совершенно необходимым – как воздух. Да и сам воздух без воли был не воздухом, а просто некой субстанцией, которая обеспечивала жизнедеятельность его организма. Живому нужны были воля и воздух, потому он избрал путь в эту сторону. Здесь, где начинались непроходимые таёжные чащи, Живой рассчитывал найти обетованное место, где не ступала ещё нога человека. Не стоило и затевать побег, если потом нужно было бы снова тереться среди сотен людей, каждый из которых озабочен своими проблемами. И никогда Юрка не ставил знака равенства между волей и друзьями, кутежами, девками и ресторанами до утра.

Может, он ненормальный, но по ночам ему всё время снился один и тот же сон.

Бескрайняя и бесконечная тайга... Если идти, не сворачивая, по компасу на север, то выходишь сначала в тундру. Там растёт ягель, а люди, одетые в расшитые разноцветным бисером малики, пасут ветвисторогих оленей. А если пройти ещё на север, то там начинается Заполярье, край долгих снегов. Ещё дальше – Арктика, вся во льдах, с моржами, тюленями и белыми медведями. Если идти на восток, то выходишь в Приморье, а затем – попадаешь на Дальний Восток. Там катит свои громадные волны грозный океан, кем-то с тонкой иронией названный Тихим.

Но на запад и на юг Живой не пошёл бы. И уж тем более на восток, откуда он только что бежал. Он пойдёт на север. Там Юрка искал свою волю и свой воздух.

Он пока ещё не знал, как осуществить свою мечту, но был совершенно уверен в том, что должен жить один. Там, в глубине девственной тайги, он очистится от грязи, налипшей пластами на душу и сердце. Только бы подальше от людей, люди – опасные существа. Никогда не знаешь – от кого, с какой стороны можно ожидать подлости и предательства. Живой хотел жить один и бродить по тайге. Там нет локалок и локальщика, нет ограничивающих свободу заборов и вышек, там грудь дышит вольным воздухом.

«Да, ради этого стоило бежать!» – размышлял Живой.

В Иркутске ему удалось разыскать нужный адрес. В зоне Живой спас от кровавой расправы пожилого зэка, которого заподозрили в крысятничестве.

Как-то в их бараке из тумбочки молодого заключённого пропал порнографический журнал. Этот журнал обнаружили под матрасом у Тунгуса – такой была кличка мужика, которого и заподозрили в краже. Случай был беспрецедентный. Собрался сход смотрящих за отрядами, пришёл смотрящий зоны, авторитетные блатные. Тунгус не мог объяснить, как этот журнал появился под его матрасом. Страсти подогревал тот самый молодой зэк, по кличке Мотыль, который заявил о пропаже и потом сам же обнаружил злополучный журнал в постели Тунгуса.

Живой не смог остаться в стороне, видя, как надвигается расправа над безвинным, спокойным, размеренно отбывающим свой срок мужиком. Живой знал, что Мотыль имел зуб на Тунгуса. Когда-то тот отказался пронести анашу для Мотыля с промки в жилзону, Мотыль пригрозил ему:

– Подожди, Тунгу! Я тебя брошу под танки, ты ещё пожалеешь о сегодняшнем дне!

Вечно мрачный Тунгус тогда только махнул рукой в сторону Мотыля, мол, отвяжись. И вот теперь Мотыль, этот изобретательный подлец, затеял катавасию с пропажей журнала.

Живой пользовался в лагере большим авторитетом. Здесь, на бывшей вязаной зоне, ещё помнили легендарного Единственного, который покрошил гайдамаков за смерть вора в законе. Зона знала, что одним из немногих, кого менты так и не смогли поставить на колени, был этот вот паренёк. Совсем молоденький, отнюдь не богатырского роста, ни разу за всю жизнь ещё не познавший женщины.

Живой вмешался в разбор. Он привёл доводы и обосновал, что ситуацию Мотыль подстроил сам. Сход согласился с аргументами Живого. Тогда по решению схода Тунгус получил с Мотыля как с гада. Это означало, что Мотыля можно было бить ногами и вообще чем угодно. Потому что его поступок был гадским: он подставил честного мужика под ярлык «крысы», а это страшный ярлык для зэка в лагере.

Потом, после схода, Тунгус подошёл к Юрке, обнял его и сказал:

– Живой! Ты спас меня сегодня, спасибо тебе. Если когда-нибудь я буду тебе нужен, скажи мне.

Позже, в минуту откровения, Тунгус рассказал Живому, что на воле занимался промыслом в тайге. Баловался и золотишком, с лотком в руках исходил много золотоносных речушек – за то и сидит. Сказал, что брат его, Никодим, тайгу знает, как свою жену.

Вот тогда Живой, уже готовивший побег, ухватился за этот узелочек и миллиметр за миллиметром стал распутывать его. Тунгус дал ему адрес своего племянника в Иркутске, который, если что, мог отвезти к Никодиму. А для брата написал письмецо, всего в двух строках: «Этот парень спас мою честь, помогай ему во всём».

С этой историей и письмом от Тунгуса Живой вошёл в небольшой пятистенный дом, срубленный из брёвен. Племянник Тунгуса, ровесник Живого, встретил Юрку без особого восторга. Живой ничего не сказал ему о письме, просто объяснил, что приехал от Тунгуса и имеет разговор к его брату.

– Ехать туда сто пятьдесят километров. Отвезти – отвезу, но за деньги. Есть они у тебя? – спросил племянник.

– Сколько я должен тебе? – только и спросил Живой.

Они сошлись в цене, и племянник начал собираться в дорогу. Пока Живой перекусывал – немного хлеба, который запивал молоком, – тот уже вывел на улицу мотоцикл «Урал» с коляской. Положил в коляску канистры с бензином и маслом, инструменты, спрятав туда же двустволку и патронташ. Наконец всё было готово и парни отправились в путь на этой чудо-тарактелке.

По обе стороны дороги шла тайга. Ехали долго. Парень сначала гнал по трассе, километров, наверное, восемьдесят. Потом свернул с большака и поехал таёжной дорожкой.

– Так срежем угол, километров тридцать. Потом снова выберемся на большак.

Тайга была замечательная. Да! Именно такой она представлялась Живому в сырых холодных изоляторах. Юрка был счастлив!

До места добрались уже затемно. Это было небольшое селение кержаков-староверов – дворов сорок посреди тайги. Все избы рублены «в лапу» из вековых мачтовых сосен, вечные.

Никодим оказался очень похожим на своего старшего брата, Тунгуса, с которым они были погодки. Никодим был так же немногословен, но чувствовалось, что человек этот очень силен и уверен в себе.

Живой представился, назвав своё имя, и подал Никодиму письмо Тунгуса. Никодим пробежал взглядом по листку бумаги и молча кивнул Юрке, приглашая гостя в дом. В доме сказал:

– Располагайся. Пока поживёшь у меня, а там видно будет.

Они не спеша собрались вечерять. Ужин им на стол подавала же-

на Никодима, в возрасте, но ещё сохранившая следы строгой русской красоты, без капли косметики и парфюмерии, одетая в простенькое ситцевое платье, облегающее её сильную гибкую фигуру. Подавая на стол, она украдкой бросала изучающие взгляды, приглядываясь к Живому. На столе появился горячий отварной картофель, за ним – зелёный лук, огурцы, сочные красные помидоры, жареный хариус и крупно нарезанный чёрный ноздреватый хлеб.

О такой вот простой крестьянской еде давно мечтал Живой. Он и сам любил работать в огороде, ходить с тяпкой, по-хозяйски срубать под корень вылезающие паразиты-сорняки.

– Ешьте, ешьте! Всё свежее, только что с грядки, – ласково приговаривала жена хозяина.

– По такому случаю не грех нам и выпить. Принеси! – приказал Никодим, и жена поспешила в сени. Вернулась она с бутылкой «Русской» водки.

– Мы сами вообще-то не пьём – вера не позволяет. Но для таких редких гостей держим, – проговорил Никодим, сковыривая с бутылки белую фольговую пробку.

Он разлил содержимое бутылки в старомодные тонконогие рюмки, перешедшие ему, наверное, по наследству. Перекрестился на иконку «Пресвятой Девы Марии с младенцем на руках», что стояла в углу, и проговорил:

– Господи, прости нам грехи наши!

Они чокнулись и выпили. Живой, проголодавшийся за долгую дорогу, налёг на еду. Ел он всё подряд с большим удовольствием, запивал холодным молоком. Вкратце рассказал о зоне, о Тунгусе, о проблеме, из которой помог Тунгусу выбраться. Никодим возмущился подлости Мотыля:

– Сюда бы его, этого Мотыля! Уж я бы ему хребет переломал.

Понемногу стала оказывать своё действие водка. Живой расслабился, внутри у него потеплело. Растворяясь в этом тепле, стало уходить нервное напряжение. Он уже проникся симпатией к брату Тунгуса. А тот неспешно рассказывал:

– Живём мы здесь с рождения. Старики уже на погосте, сам похоронил. С Настюшей живём в ладу, – он кивнул в сторону жены. – Детей вот только двое. Одного ты видел – тот, что привёз тебя сюда, – это старший сын мой. А второй спит уже, с утра посмотришь. Хозяйство держим: две коровы, телёнок, две лошади – одну тебе дам, в тайгу на ней будешь ездить. Куры, гуси, утки, поросята тоже есть, овцы, огород.

– Как вы справляетесь со всем этим? – от души удивился Живой.

– Справляемся. Бог сказал Адаму: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой» – вот мы и добываем. Пшеницу тоже сеем, убираем, мелем. А ещё в тайгу ходим на промысел.

– А я устал от людей, Никодим, от их непредсказуемых подлостей, – признался Юрка.

– Ничего, пока поживёшь здесь у нас, милиции поблизости нету. Не любим мы их. В соседней деревне кацапы живут, там есть околоток, где их, красных, четверо. К нам заезжают, присмотрятся – зацепиться не за что, с тем и уезжают.

Они допили оставшуюся водку. Живой поблагодарил хозяйку, и они с Никодимом вышли на улицу, подышать. Это был воздух свободы! Тёмное небо над головой было усыпано тысячами звёзд, от него веяло спокойствием. Юрка дышал и не мог надышаться.

Наутро он проснулся от ярких лучей солнца, упавших ему прямо на лицо через раскрытое нараспашку окно.

«Чудо какое!» – улыбнулся он, вставая.

Рядом с кроватью на стуле лежали чистые и выглаженные форменные брюки и рубашка, в которых он приехал. Юрка оделся и вышел из комнаты.

Дом у Никодима был просторным, состоял из трёх больших комнат и передней. Тут Настя готовила, тут же и ели. Все комнаты тщательно выбелены, полы из толстых широких досок выкрашены светло-бежевой краской. Всюду было чисто и уютно. Мебель по большей части самодельная, добротная, сделанная на века. Была и заводского изготовления, но та уступала качеством. На полах лежали паласы и домотканые дорожки.

Закончив осматривать дом, Юрка вышел на улицу. Было уже около полудня, солнце, стоящее в зените, заметно припекало. Во дворе дома, на расстоянии метров двадцати-двадцати пяти от него, располагались хозяйственные постройки. Они тоже были рублены из дерева и проложены таёжным мхом. «Да это всё сотню лет простоит», – подумал Юрка.

– Проснулись уже! – ласково сказала хозяйка Настя. Она развешивала по верёвкам выстиранное бельё, а рядом с ней стоял мальчуган лет восьми. С интересом рассматривая Живого, он подошёл и поздоровался:

– Здравсте!

– Здорово! Как тебя зовут?

– Сашка!

– А меня дядей Юрой! Будем знакомы! – и Юрка протянул ему свою руку.

– Пойдёмте, я вас накормлю. Отец уехал по делам в соседнюю деревню, к обеду будет. А вы пока молочка попейте или, если хотите, квасок есть холодный.

Живой ел хлеб с помидорами и вчерашним холодным и очень вкусным картофелем, запивал всё это сладковатым квасом и болтал с Сашкой.

– Покажешь мне всё здесь, ага? Я теперь жить буду у вас – временно, конечно. Так что нам надо, брат Сашка, дружить. Будем дружить? – спросил он мальчика.

– Посмотрим, чё щас говорить? Мы ещё с тобой в тайгу не ходили! – заявил малец, удивив Живого своим ответом.

– Ладно! – согласился он. – Сходим в тайгу.

Живой понял, что тайга является мерилom человеческих достоинств. Допив квас, они с Сашкой пошли осматривать деревню. Дома все были крепкие, добротные. Чувствовалось, что люди, живущие здесь, – настоящие хозяева.

– Вот за тем амбаром речка Студёнка, – показал пальцем Сашка, вытянув правую руку вперёд.

– Почему Студёнка? – спросил Живой.

– Потому что она даже летом в жару холодная.

– А почему она такая?

– С гор течёт и среди тайги, а там солнца мало попадает, – объяснил малец.

– А что это за амбар?

– Здесь муку хранят.

– Разве не дома?

– Вообще-то дома. Но когда мельница мелет, всю муку сюда свозят, а потом уже отсюда раздают по дворам.

– А мельница где?

– Там, выше по реке, – Сашка махнул рукой.

Теперь они подошли уже к самой речке. Она была довольно быстрой. Живой наклонился к воде и, попробовав её рукой, воскликнул:

– Да уж, и правда Студёнка!

– А ты думал!

– А рыба есть тут?

– Рыбы много. Отец закидушки ставит, перемёты. Хариуса ел вчера? – спросил Сашка.

– Ел.

– Вот с этой речки. Вкусная рыба, я люблю, когда мамка жарит.

Они медленно возвращались домой. По бокам тропинки стояла густая сочная трава, от которой шёл дурманивший запах. Живой не выдержал и лёг прямо в траву, щурясь от солнечных лучей и вслушиваясь в стрекотание стрекоз.

– Чё ты разлёгся? – спросил удивлённый Сашка.

Живой приподнялся, обнял мальчика правой рукой и сказал, будто открывая большую тайну:

– Ты только не говори никому, ладно? Понимаешь, я много лет мечтал о вашей деревне.

Сашка ничего не понял, однако протянул согласно:

– А-а!

Живой поднялся, и они с Сашкой двинулись в сторону дома.

– А это наша баня! Отец сказал, что будет топить сегодня. Банька что надо! – похвастался мальчик.

– Любишь баню?

– А как же? У нас в деревне все любят в баньке попариться, особенно когда из тайги придёшь.

– А ты много раз ходил в тайгу? – спросил Живой.

– Несколько раз с отцом ходил.

– Пешком?

– Ты чё? В тайгу пешком? Нет, на лошади. А так, по грибы или ягоды, я с мамкой хожу или с пацанами.

– Много грибов-то здесь?

– Грибов много, да и ягод тоже.

– А ягоды какие?

– Разные. Клюква есть, брусника, морошка, ещё земляника есть, малина дикая.

– Ого! – удивился Живой, искренне поражаясь богатству природы этого края.

Дома их ждал уже Никодим. Во дворе стоял двухколёсный мотоцикл.

– Ну что, осмотрелся? Показал тебе Сашка окрестности? – спросил хозяин у Живого.

– Да, прогулялись мы с ним.

– Пойдём, Настя уже выглядывала, обед стынет. Потом будем воду таскать и баньку топить. А ты, Сашка, давай коней своди напой, потом поешь.

– Сначала поем со всеми, потом свожу, напою, – совсем повзрослому заявил мальчишка, чем опять удивил Живого.

Никодим согласился. В доме прежде, чем сесть за стол, Никодим и Сашка помолились на икону. Обедали все вместе, ели вареники с картошкой и пили крепкий густой чай с горячими оладьями.

Всё в этом доме излучало мир и согласие, светилося неугомонной человеческой жизнью и простотой. Именно это больше всего и нравилось Живому.

Банька была действительно чудной. Никодим загнал Юрку с Сашкой на полок и поддал жару, плеснув водицы на раскалённые камни. До этого в ковш с кипятком он накидал травки, дождался, когда она настоится, и тогда только выплеснул пахучую влагу на камни. По бане разошёлся сладкий дурманящий запах, в момент охвативший Живого и Сашку, лежащих голышом на полке.

– Ну, как вы там? Хорошо, говоришь? Ну тогда сейчас я вас веничком постучу! Будете совсем как новые рубли, ещё не троганные.

Никодим прошёлся по их спинам разогретым веником, потом вылил на них ведро студёной воды, и опять загуляли по голым спинам берёзовые веники. Вышли они из бани, действительно сверкая как новые рубли.

Настя уже ждала их к ужину. Никодим и Сашка помолились на иконку в углу комнаты и сели за стол.

– С утра мы с Сашкой поедем косить, а ты оставайся дома, отсыпайся, – проговорил Никодим.

– Возьми меня с собой. Что я буду дома один? – попросил Юрка.

– Ладно, поедем вместе.

– Рыжуху запряжем? – спросил Сашка.

– Угу, – отец утвердительно кивнул, с аппетитом уплетая жареную картошку и похрустывая огурцом.

Настя всё ещё продолжала присматриваться к Живому.

– Ну как вам наша баня? – спросила она.

– Замечательная баня! Выпарил мне Никодим сегодня всю грязь из души. Я как заново на свет родился.

– Мы любим баньку! Сейчас вот накормлю вас и сама пойду, пока она не остыла.

Закончив с ужином, мужики вышли на улицу. Юрка достал сигарету и закурил. Вечер был тихий, спокойный. Никодим рассуждал о дождях запоздалых, о хозяйстве, проблемах.

Наутро, наскоро попив молока, Юрка выскочил на улицу, где его уже ждали Никодим и Сашка. Запряжённая в телегу, стояла Рыжуха, опутанная сбруей. Юрка перевалился через борт телеги и сел рядом с Никодимом.

– Чу! Пошла, родная! – Никодим чуть шевельнул вожжами, и телега тронулась с места. Видимо, колёса были хорошо смазаны, поскольку повозка двигалась без скрипа, обычного для телег. Рядом побежала собака, крупная, со стоячими ушами – лайка.

Настя какое-то время шла рядом с телегой и говорила:

– В узелочке еда, а во фляге вода. Точило для кос вот здесь, под сиденьем. Ну, с богом! – она перекрестила их в воздухе и что-то крикнула ещё в напутствие сыну.

– Ладно! – отозвался он.

Рыжуха шла резво, играя мышцами лоснящегося крупа, встряхивая гривой. Изредка она всхрапывала и помахивала пышным хвостом, отгоняя досаждавших ей оводов. Тропа уходила в тайгу. Воздух стоял густой, пьянящий. Живой сидел на передке, покуривал сигаретку и беседовал с Никодимом.

– Мне Тунгус рассказывал про речки, про золото. Он сказал мне, что ты отменно знаешь тайгу. Я бы хотел походить с тобой в тайгу, золотишко помыть.

Никодим молчал, отводил взгляд и хмурился. Живой почувствовал, что собеседнику не нравится эта тема, однако нужно было сразу расставить все точки над «и».

– Ты пойми меня, Никодим, правильно. Я человек не алчный и из-за рыжего металла рассудок не потеряю. Мне необходимы деньги, есть у меня на этот счёт свои планы. Я Тунгуса за язык не тянул, он мне сам рассказал о золоте. Ты не смотри, что я молод. Я за семь лет в зоне многое прошёл и не скурвился. Да и натерпелся немало, другому бы на три жизни хватило. Я спал и видел вот такую тайгу – безмолвную, суровую. Я вижу, что она ласкова к тем, кто любит её. Она мне снилась много лет, и я решил уйти из зоны.

Никодим, чуть отстранившись, посмотрел на Живого:

– То есть как уйти?

– Не знаешь, как уходят из-под охраны? Побегом, естественно. Я год готовил свой побег. Мне удалось тайно смастерить дельтаплан и на нём перелететь через зону на свободу.

– Что это за дельтаплан? – спросил Никодим.

Живой понял, что тот даже и не слышал о дельтапланах, и не представляет себе, что это такое. Он объяснил:

– Это такая штука, как маленький самолёт. Ну, крылья такие вот, понимаешь. Ещё там разные прибабасы для управления: как вот у тебя в руках вожжи, и ты управляешь Рыжухой. А там тоже как будто специальные вожжи. Понял?

Никодим кивнул и спросил:

– И что, ты на этом самолёте улетишь из зоны?

– Да, я на дельтаплане ночью перелетел зону и ушёл, оставив хозяину недосиженных четыре года. Так вот, Никодим, я тебе почти всё рассказал. Тунгус мне обязан своей честью, он послал меня к тебе. А я именно сюда и шёл, потому что мне нужна была тайга. Я устал от людей, Никодим, понимаешь. Я должен здесь отойти от лагеря, от людских подлостей. И золотишка-то мне немного надо, потому что нужно самому на ноги вставать. Не век же мне у тебя жить. Тунгусу тоже немного осталось, пару лет, по-моему. Он досидит. Так что скажи своё слово. Если откажешь, не обижусь, уйду в тайгу один, сам буду искать.

Никодим ответил не сразу. Он долго обдумывал услышанное от Живого, переваривал, взвешивал и, наконец, высказался:

– Не горячись, парень. Мы, люди таёжные, так сразу не открываемся, такая уж кровь у нас, не обессудь. Раз ты пришёл ко мне, поживи, отойди от зоны и этого самого, как его, ну, самолёта. В тайгу походим, на соболя, куницу, на зверя тож пойдём. К тому времени пообвыкнешься. Решешь здесь остаться, помогу тебе дом поставить. Обзаведёшься скотиной понемногу. Вот тебе мой ответ. А там поговорим и про золото.

– Батя, дай, я поручу Рыжухой, дай мне вожжи! – попросил Сашка.

Никодим, не споря, потеснился и уступил ему место, и теперь они все втроем сидели на передке.

Надька, так звали лайку, бежала рядом с телегой, чуть вывесив из приоткрытой пасти между белыми острыми клыками розовый язык. Она то и дело посматривала по сторонам, в тайгу, и на хозяйина.

– Хорошая Надька, – похвалил Никодим. – Сколько мы с ней тайги исходили вместе. Умница собака!

Они приехали на большую опушку посреди тайги, поросшую высокой густой травой. Сашка распряг Рыжуху и, стреножив её, пустил пастись. Никодим достал из телеги ружьё, завернутое в тряпку, и зарядил его: один ствол пулей, другой – дробью. Положил в телегу на передок и строго предупредил Сашку:

– Смотри, не балуй с ружьём, заряжено.

– Знаю!

Никодим достал косу, воткнул её древком в землю и несколько раз шаркнул точилом по острому лезвию. Затем, отложив точило, осторожно провёл по лезвию большим пальцем правой руки. Оставшись довольным, проговорил:

– Я буду косить, а вы с Сашкой собирайте – и в скирду.

Никодим разделся до пояса, взял косу в руки, примерился, в какую сторону шагать с косой в руках, и пошёл косить.

«Вжик! Вжик!» – после каждого взмаха косы трава аккуратным полукругом покорно ложилась к ногам Никодима, и так – шаг за шагом, шаг за шагом. Косил он здорово. Живой стоял и любовался размеренными движениями удаляющегося Никодима.

Живой с Сашкой собирали и копнили траву. Сашка работал граблями, а Живой вилами носил её и скирдовал. Работа кипела. Юрка Живой, ах, как он соскучился, истосковался по деревенской работе! С каким наслаждением орудовал вилами! Трава пахла удивительно вкусно. Хотелось упасть в неё и до бесконечности втягивать в себя дурманный аромат.

Затем они с аппетитом съели собранный Настей обед, а потом снова работали – уже до самого вечера. Накосил Никодим много. Живой с Сашкой всё заскирдовали. Когда работа закончилась, они же отнесли в телегу косу, вилы, грабли, ружьё. Никодим в это время запрягал сытую Рыжуху.

Домой они вернулись, когда багровое солнце уже село, спряталось где-то в гуще тайги, но ещё отбрасывало красные отблески. Следя за ними, можно было подумать, что тайга горит.

Дома они помылись, окатив себя тёплой, нагретой за день на солнце, водой, переоделись в чистое и устроились за столом вечерять. Живой сидел чистый, умытый. Внутренне он светился от переполнявшего его счастья.

Дни потянулись за днями, словно кто-то нанизывал их на огромный шампур. Почти ежедневно они с Никодимом то выезжали на косовицу, то перевозили сено домой и укладывали в большую скирду. Всё чаще Никодим оставлял Сашку дома, помогать матери.

Один раз Живой с Никодимом – верхом, с ружьями – выезжали недалеко в тайгу. Никодим поставил несколько капканов, и нужно было посмотреть на какие-то одному ему известные приметы.

В тот день Живой осознал, как непросто ориентироваться в тайге. Уйди он сейчас один – и всё, считай, пропал. И Юрка с большим интересом расспрашивал Никодима о разных тонкостях, знание которых необходимо для выживания в тайге.

Никодим рассказывал охотно, делился с Юркой секретами. Было сразу понятно, что он очень любит тайгу и так сросся с ней, что отделить их друг от друга невозможно. Тогда Живой понял и Тунгуса, всегда мрачного и замкнутого. Тунгус был таким же, как и Никодим – неотделимым от тайги. Попад по причине всяких келешеров в бескрайние казахстанские степи, где до самого горизонта глазу не за что зацепиться, Тунгус глубоко тосковал по родной ему тайге-матушке.

Живущие здесь люди имели особый склад характера, своеобразный менталитет, уклад жизни. Живому всё было интересно. Никодим показал себя терпеливым наставником. Учил искусству рыбной ловли: как правильно ставить перемёты, как солить рыбу, коптить её на зиму. Учил, как обращаться с капканами, где и как правильно их ставить. Когда выходили в лес пострелять из ружья, учил Юрку – как заряжать патроны, как пользоваться миниатюрными весами, чтобы взвешивать отдельно порох, дробь, картечь, пули.

Живой уже умело запрягал Рыжуху, мог сам оседлать Карька и Рыжуху. Цепкий ум Живого мгновенно вникал в тонкости крестьянского дела. Юрка впитывал в себя всё, чему его учили.

Настя к нему относилась хорошо, жалела такого молодого и уже успевшего настрадаться. С Сашкой Юрка тоже сблизился, и малец познакомил его со своими дружками. Сашка рос крепышом, в отца, и был не по возрасту смышлёным.

Живой уже знал в лицо почти всех обитателей деревушки. При встрече кивал им, здороваясь, и в ответ ему тоже кивали. Здешние жители не задавали лишних вопросов – кто он, откуда здесь появился, кем приходится Никодиму. Но к Никодиму в деревне отно-

сились с почтением и стар и млад. А такое отношение, понял Живой, нужно заслужить. Оно даётся не просто: что здесь, на воле, что – в зоне.

Настя познакомила Живого с невысокой крепкой девушкой, лет восемнадцати, которая иногда забегала к ним в дом. Звали её Машей. Машенька, как называла её Настя, приходилась дочерью Тунгусу. Она была совершенно не похожа ни на Тунгуса, ни на Никодима, но очень напоминала свою мать – жену Тунгуса по имени Вероника.

Вероника, мать Машеньки, не была местной. Тунгус привёз её сюда из Иркутска, куда ездил по одному ему известным делам. Вероника тогда была приятной на лицо, образованной девушкой. И до сих пор остаётся загадкой, как свела судьба городскую, познавшую все прелести комфортной жизни, девушку с мрачного вида знатоком тайн вечной тайги Тунгусом.

Как бы там ни было, привёз он, тогда ещё молодой, юную свою жену в деревню и поставил перед фактом своих стариков, староверов-кержаков. Долго не принимали Веронику старики, особенно мать Тунгуса – всё придиралась к ней по разным пустякам. Да и деревенские поначалу сторонились её. Тут чужих всегда боялись. К пришлым людям относились с опаской и недоверием, считали, что те могут принести беду в устоявшийся годами быт. Это было уже в крови у кержаков и передавалось из поколения в поколение. Только, когда появилась на свет Машенька, подросла и стала, бо-соногая, бегать по деревне, тогда смирились суровые староверы с присутствием Вероники в их селе.

Машенька выросла крепкой, кержацкой крови девкой. От матери ей досталось приятное открытое лицо, от отца – таёжная крепкость. У нее были соломенного оттенка волосы, красивые густые брови и немного вздёрнутый нос, который не портил её, но будто бы демонстрировал какой-то вызов окружающему миру. Глаза Машеньки были тёмно-синими, как небо над тайгой. Гибкая шея не клонилась под тяжестью густых волос – то распущенных, то уложенных кольцами на голове, то заплетённых в толстую косу. У девушки были крепкие груди и уже по-женски округлые, тугие бёдра.

Маша прекрасно ездил верхом. Однажды она примчалась на высоком вороном коне и предложила Юрке покататься. Никодима дома не было. Живой оседлал Карего, вскочил в седло и последовал за смелой девушкой.

Они медленно ехали и беседовали понемногу обо всём. Живого особенно удивляло, что Маша не собиралась жить здесь, в деревне, её тянуло в город. Она несколько раз была с матерью в Иркутске, и ей там очень понравилось. Не столько Живому, сколько самой себе она сбивчиво и горячо объясняла:

– Ну скажи – что я, должна оставаться здесь вечно? Я хочу жить в городе, мне там всё нравится. Городские люди совсем другие. Они умнее, образованнее и живут интересней, чем наши. Там есть библиотеки, театр, рестораны, кино, телевизоры. А что мы здесь видим? Газет, и то не читаем. Наши не терпят газет.

Что мог ответить на её доводы Юрка Живой, который сам бежал от людей? Что мог сказать он, который возненавидел их за вечное стремление подниматься по чьим-то трупам, за подлости и гадости. Юрка, нашедший в этой деревне своё счастье, лишь хмурился и помалкивал. Девушка решительно закончила:

– Вот дождусь отца и уеду. Сейчас не могу оставить мать одну, – потом, не встречая со стороны Юрки желания обсуждать волнующую её тему, посмотрела на него и сказала. – Я говорю, говорю, а ты как неживой: ни да, ни нет.

Живой рассмеялся:

– Живой я, Живой! Не знала Маша, что это была его кличка.

– А ты за что сидел?

– А кто тебе сказал, что я сидел? – ответил он ей вопросом на вопрос.

– Знаю, что ты сидел с моим отцом. Расскажи мне, как он там. Ты с моей матерью обсуждал, но она мне толком ничего не говорит. А сама-то ждёт его, не дожждётся.

Живой понемногу рассказал Машеньке о себе и о жизни в лагере. Про малолетку он не упоминал – не понять ей этого. Не говорил и о побеге, сказал просто, что освободился по окончании срока, и решил приехать сюда, пожить в тайге.

– Давай поскачем! – неожиданно предложила Маша. Не дожидаясь ответа, она пришпорила вороного, послала его сначала намётом, потом перевела в крупный галоп.

Живой тоже ударил пятками Карего и поскакал вслед за Машей, рискуя свалиться с коня. Он ещё плохо держался в седле, но скакал во весь опор, чтобы не ударить в грязь лицом. Скоро он расстряс себе все внутренности и стал осаживать Карька, натягивая узду и покрикивая:

– Тпру, Карий! Тпру!

Он перевёл коня на шаг и теперь ехал медленно. А Маша уже скакала навстречу ему, удивительно ловко, словно влитая, держась в седле. Её русые волосы развевались по ветру, то взлетая вместе с ней вверх, то мягко опадая вниз, и девушка была похожа на прекрасную амазонку-воительницу.

– Ну, что же ты? Почему отстал?

– Не умею я ещё держаться в седле, – честно признался Живой, чем вызвал смех Маши.

– Ничего, научишься. Надо чаще ездить верхом.

Живой, ещё ни разу в жизни не познавший женщины, почувствовал, что Машин смех действует на него чарующе. Он смотрел уже на Машу вожделенным взглядом, мысленно раздевая её и видя почти обнажённой.

Домой они возвратились к ужину, напоив коней в Студёнке. Живой расседлал Карего, кинул ему в стойло свежего сена и прошёл в дом.

– Ну что, поездил верхом? Маша гоняет будь здоров, – посмеиваясь, произнёс Никодим.

– Ничего, скоро и я приспособлюсь.

Настя накормила их ужином, подав горячую, наваристую уху. Жёлтый жирок кольцами плавал на поверхности бульона, неповторимый запах исходил от него. Ели все с удовольствием.

После ужина Живой прогулялся вокруг Машиного дома в надежде, что девушка выйдет на улицу. Но она почему-то не выходила. Тогда Юрка, побродив ещё немного, пошёл спать.

Наутро они с Никодимом, встав спозаранку, оседлали коней и, захватив ружья, верхом уехали в тайгу. Никодим рассчитывал пострелять на озёрце дичь, проверить капканы и посмотреть кабаньи лежбища.

Рыжуха косила большим глазом в сторону шагающего рядом Карего, чуть похрапывала, иногда по её телу пробегала крупная дрожь. Она тянулась к Карьке, а тот, послушный воле седока, шёл крупным шагом, не сбиваясь с темпа. Время от времени конь щёлкал крупными зубами, отпугивая надоедавшую ему Рыжуху.

Никодим и Живой ехали молча. Каждый с головой ушёл в свои мысли. Живой думал о Единственном: где-то он сейчас. Как он, кстати, ушёл в побег? Юрка слышал, что уходили они, вроде бы, втроем. Одного убили солдаты, двое ушли с концами. Всякое го-

ворили в зоне. Был и такой «хабар», что за зоной Единственного ждал вертолёт. Юрка сожалел, что ему довелось так мало пообщаться с Единственным. Вот уж действительно сильный духом человек. Авторитет так авторитет. Не то что разные там «дерматинные фраера».

Днём Живой был занят хозяйством. Работал, с удовольствием помогал Никодиму. А ночью ему снилась зона. Несколько раз Юрка просыпался в холодном поту, выходил на крыльцо и выкуривал сигарету. Зона настолько в него въелась, что даже во сне не хотела отпускать от себя.

Живой вспоминал о трагедии, случившейся в их зоне. Это было уже после того, как оттуда вывезли Единственного. На некоторое время зона тогда попритихла, затаилась. Утомонились и многочисленные козлы.

В это время в восьмом бараке образовался блок нечистей под лидерством чеченца Махмуда. Рядом с Махмудом оказался неплохой парень, поляк по национальности, которого звали Вацлав. То ли он попал под влияние чеченца, то ли решил поменять шкуру. Понемногу их блок стал набирать ход в зоне, прижимая мужиков и кустарей. Кустари были обижены на людей Махмуда. Те забирали у них «кустарку» и за хороший набор давали лишь плитку чая или пачку сигарет.

Кустарям не позавидуешь. Они в поте лица зарабатывают себе на кусок хлеба, сбывая порой совершенно уникальные изделия ментам – за чай, курево, продукты.

Когда люди Махмуда начали такой беспредел, мужики и кустари терпели-терпели да и пошли с разговором к Пайлаку.

Пайлак был старый бродяга, «играющий» по зоне. Он просидел в лагерях много лет. Проехал и по Киргизии, и по туркменским зонам, завозили его и в Красноводск, в Таштопель, был он и в Фергане – и всюду прошёл незамаранным. Рядом с ним в козлячьей зоне был паренёк-татарин по имени Ноиль.

Мужики пришли обозлённые:

– Пайлак, мы знаем тебя, знаем, что ты бродяга по жизни. Махмуд стал наворачивать в зоне. Мужикам душняк создаёт, кустарей обижает. Действует с позиции силы. Его люди уже столько мужиков побили. Ты можешь поговорить с ним, сказать, что неправильно он себя ведёт? Мы не в силах больше терпеть.

Пайлак, вор старой закалки, повидавший в жизни немало, выслушал мужиков и пообещал поговорить с Махмудом.

Вечером того же дня Махмуд узнал о визите мужиков к Пайлаку. На следующий день Махмуд взял Вацлава и ещё пару человек из своих приближённых, вооружённых штырями, и пришёл в будку Пайлака.

Пайлак был один. Он только что заварил чифир и собирался позвать кого-нибудь из своих приятелей почифирить. В этот-то момент в будку и ввалился Махмуд, а за ним – его «опричники». Вели они себя вызывающе. Махмуд сбил ногой кружку, чифир вылился на пол.

– Чё, Пайлак, мужики в тебе папу нашли? Тебе, видно, надоело жить спокойно – мужиков подбиваешь. Они на то и мужики. Всю жизнь пахали на нас, блатных, и дальше будут пахать. А то расчувствовались! А будешь мутить – с тебя первого получим.

Махмуду удалось застать бродягу врасплох. Пайлак понимал, что эти люди пришли валить его и что сейчас им нужно было только найти повод. Этим поводом могли стать любые не так сказанные фраза или слово. Но был он дипломатом и мог, не теряя терпения, сбивать спесь с таких, как Махмуд. Штыри самого Пайлака были спрятаны за будкой. Он решил сгладить возникшую ситуацию, а потом уже добраться до них. Прощать нанесённую ему обиду он не собирался и ясно отдавал себе отчёт в том, что Махмуд и его приспешники решили начать разборки с него, Пайлака, чтобы сразу обезглавить массу.

Пайлак спокойно поднял кружку с пола и поставил её на верстак.

– Ну чё ты кипятишься, Махмуд? Чифир вот пролил. Никого я не баламучу. Мужики сами пришли, я их не звал. Дайте досидеть спокойно, мне осталось-то дэцал, – напоказ возмутился Пайлак и своим тоном сбил Махмуда с толку. Самонадеянный чеченец решил, что всё, ему удалось морально сломить Пайлака.

– Смотри, Пайлак! Лучше дыши глубже и пей свой чифир. И никуда не лезь, понял?

– А че тут неясного? Я так и живу, – проговорил Пайлак, делая вид, что со всем согласен.

Махмуд с опричниками покинул будку Пайлака. Уже на улице Вацлав сказал Махмуду:

– Зря мы его оставили живым. Пайлак не тот человек, что прощает обиды.

На это самоуверенный Махмуд лишь махнул рукой:

– Да ладно тебе – «Пайлак, Пайлак»! Обосрался он, полные штаны наложил.

– Ну, смотри, тебе виднее, – заявил Вацлав, хотя и остался при своём мнении.

Не прошло и часа, как на промке все зэки узнали, что Махмуд приходил к Пайлаку. Мужики снова пришли к нему в будку:

– Пайлак, они хотят поставить тебя в стойло! А потом ведь возьмутся за нас. Скажи нам как старый бродяга: если он правильно делает, что обращается с нами как со скотом, то мы отступим. Если же нет, так скажи только слово и мы сейчас же всю его банду разорвём на части.

Пайлак видел, что терпению мужиков пришёл конец и теперь они ждут только, что скажет он. Но он же понимал, что в случае беспорядков многие уйдут под раскрутку, чего допустить не мог и не хотел. И Пайлак произнёс:

– Махмуд со своими людьми сегодня обидел меня. У меня с ними будет разговор, мужики. Расходитесь!

Обескураженные зэки стали расходиться. С Пайлаком остался один Ноиль, который понял, что стояло за словами его старшего товарища.

– Я пойду с тобой, – решительно сказал он.

Пайлак после короткого раздумья согласно кивнул и задал всего один вопрос:

– Штыри с тобой?

– Да! – последовал ответ.

На «съёме» Пайлак сунул прапору червонец, чтобы тот не шмо-нал их с Ноилем. Прапор ловко сунул банкноту себе в карман и, не шмоная, пропустил их в жилзону.

Войдя в жилзону, Пайлак с Ноилем сразу направились к восьмому барaku. Ещё не дойдя до него, они застали врасплох Вацлава, который читал газету в курилке на улице. Тот заметил их, понял для чего они идут сюда, вскочил было с лавки, но было уже поздно. Пайлак, стремительно метнувшись, первым воткнул Вацлаву в грудь два штыря, сделанные из стального прута, остро заточенные. За Пайлаком и Ноиль сразу же вонзил в него ещё два своих штыря. Вацлав медленно осел на скамейку, а потом упал на неё, обняв руками.

А Пайлак с Ноилем уже заходили в барак. Войдя в дверь, они

сразу же столкнулись с Махмудом. Он стоял к ним боком и что-то негромко обсуждал с завхозом. Увидев входящих, Махмуд успел только протянуть с чеченским акцентом:

– А-а, Пайлак!

Четыре штыря почти одновременно вошли в тело Махмуда, как в масло. Потом ещё четыре раза четыре стальных заточки дырявили крупное тело чеченца, делая из него решето. Махмуд упал, обливаясь кровью, распластавшись на затоптанном полу.

Пайлак и Ноиль прошли дальше вглубь барака. Там сидели два «опричника» Махмуда, которые выпучили глаза от ужаса, сковавшего их при виде того, что произошло с их лидером.

– Сидите смирно, я вас не трону! – притупил их бдительность Пайлак, подходя почти вплотную.

В следующее мгновение он воткнул окровавленный штырь прямо в горло одному из подручных Махмуда, потом ударил другим штырём в сердце. Позади Ноиль расправился со вторым подручным, трижды насквозь пробив его шею.

– Остались ещё двое. Надо найти их. А все остальные – просто прихлебатели, – проговорил Пайлак.

Они с Ноилем вышли из барака, совсем опустевшего – все заключённые в ужасе повыскакивали оттуда, подальше от звереющих от вида пролитой крови подельников. У барака их уже ждали начальник отряда и пара подкумков. Те боялись подойти к Пайлаку и Ноилю и издали уговаривали бросить штыри.

– Пайлак, успокойся! Хватит крови! Брось штыри и мы поговорим.

– Что произошло? – спрашивали люди, которые прекрасно обо всём знали и сами. Ещё бы, это они вольно или невольно подвели ситуацию в зоне к взрыву.

– Пошли на...! Подойдёте – зарежу, как баранов, – ответил Пайлак, направляясь в сторону санчасти, куда отнесли ещё живого Вацлава. – Ты найди тех двоих и убей их. Я сейчас зайду в санчасть, моему, Вацлав ещё живой! – сказал он Ноилю.

Вацлав лежал в палате санчасти. Ему делали перевязку две вольные медсестры, которым помогали два зэка-медбрата. Начальник санчасти, майор, заперся в своём кабинете, как только завидел идущего быстрым шагом Пайлака. Вацлав, весь замотанный окровавленными бинтами, прерывисто дышал, хватая ртом воздух. Пайлак подошёл к нему, убедился в том, что тот его видит и сказал:

– Я считал тебя неплохим парнем. Ты заблудился с ними. Извинись передо мной за нанесённую мне обиду, и я оставляю тебе жизнь.

Медсёстры и два медбрата стояли, дрожа от страха. Вацлав собрал силы и проговорил, с трудом расклеивая губы:

– Пошёл ты, Пайлак, на...

Пайлак не дал ему договорить. Коротким сильным взмахом он всадил ему штырь прямо в сердце, по самую рукоятку, пригвоздив Вацлава к постели. Оставив за собой оцепеневших медсестер и их помощников, в ужасе смотревших на тело Вацлава, Пайлак вышел из палаты. Навстречу ему приближался Ноиль с окровавленными штырями в руке.

– Не нашёл я этих крыс, попрятались где-то.

Из-за барака уже бежали вооружённые автоматами солдаты, целый взвод во главе с подкумком зоны. Они окружили Пайлака и Ноиля, клацая затворами автоматов. Пайлак и Ноиль побросали штыри на землю и убрали руки за спину. Их тут же погрузили в автозак и вывезли в тюрьму. Оставлять их в зонновом изоляторе начальству было просто страшно.

Через год дошли слухи о том, что Пайлака расстреляли, а Ноилю дали двадцать лет и этапировали на особый режим.

Два дня Никодим и Живой пробыли в тайге. Настреляли дичи на озерце – стояла осень, дичи было много. Жирные утки не боялись людей, были и гуси. Целыми стаями они спокойно плавали по воде, пока их не накрывала дорожкой лежащая дробь.

В первый день Никодим быстро ощипал одну утку и приготовил наваристый шулюн. Проголодавшись за день, Живой ел жадно – никогда в жизни, казалось, он не ел ничего вкуснее. Впрочем, наверное, и впрямь не ел. Сам воздух тайги был такой же густой, ароматный, как бульон шулюна в казанке. После ужина Никодим и Живой легли спать в небольшом охотничьем балке, поставленном недалеко от озерца.

– Мы с братаном поставили балочек, – пояснил Никодим. – И озерцо это мы присмотрели, дичи тут всегда богато. Сашка просился с нами, да куда его сажать? Ладно, в другой раз.

Живой спал и снились ему голуби и Маша.

На следующий день встали рано, чуть начало светать в тайге. С неба лил прохладный осенний дождь. Тучи висели так низко над

землёй, что казалось, будто они лежат на макушках сосен и елей. Рыжуха стояла, плотно прижавшись своим боком к Карему. Вре-мя от времени она вздрагивала всем телом, сбрасывая с себя дож-девые капли.

Никодим достал из рюкзака два прорезиненных дождевика с ка-пюшонами и протянул один Живому.

– Возьми, одевай. Пойдём седлать.

– Вот это ты захватил кстати! Как будто знал что дождь будет.

– Конечно знал, потому и захватил, – обыденно проговорил Ни-кодим.

Они оседлали лошадей и поехали по кабаньим лежбищам. Про-ездили почти полдня. Потом удовлетворённый «хозяин тайги» по-вернул Карега, направив его в сторону деревни.

Домой Никодим и Живой добрались ещё засветло. Когда они проезжали мимо окраинных домов деревни, лошади, чувствуя близость дома, заспешили, ускоряя шаг.

Спешившись, мужчины расседлали Рыжуху и Карька. Потом передали набитую дичь выбежавшей навстречу им Насте, скинули с себя дождевики, повесили их на гвозди в сарае и вошли в дом.

– Где Сашка? – первым делом спросил Никодим.

– Баню вам топят, должно быть уже готова. Сейчас узнаю, – от-кликнулась Настя.

Баня действительно была готова. Едва переносимый жар не да-вал лежащему на полке Живому даже пошевелиться. Вначале Ни-кодим отстегал веничком его, потом Сашку. Немного передохнул, выпил ковш кваса и полез на полок сам.

– Ну, теперь ты меня давай побей! Да так, чтобы шкура с меня летела клочьями. Сашка, ну-ка плесни на камни, а то замёрзнуть можно.

В клубах пара с ароматом настоенной мяты Юрка от души ис-хлестал двумя вениками Никодима, покряхтивавшего от удоволь-ствия. Потом оба они окатились водой, вылив на себя по тазу, и – опять на полок. Сильно мог париться крепкий, кряжистый брат Тунгуса, но не отставал от него и Юрка. Сашка уже давно оделся и ушёл по своим делам. А они ещё по два раза забирались наверх, по очереди исхлёстывая друг друга вениками, постанывая от нестер-пимого жара.

Какой расторопной хозяйкой была Настя! Пока они были в ба-не, успела запечь гуся целиком. Теперь он стоял перед ними на сто-ле, истекая собственным жиром, румяный, с хрустящей корочкой.

На ужин пришла принарядившаяся Маша. В простом ситцевом платье она чудно смотрелась за этим столом. Платье тесно облегло её крепко сбитую фигурку, особенно подчёркивая тугие полусферы груди.

После гуся все пили чай, заваренный на травах.

– Тут и брусника, она после баньки очень хороша, и мята, и душица, – пояснила Юрке Настя.

После ужина Живой поблагодарил хозяйку за еду и пошёл проводить Машу.

– Погуляем немного, – предложил он ей. – После такой баньки воздух, как мёд. И тешит тебя, и пьянит.

Гуляя с Машей, Юрка вспоминал про голубей. Эта тема была ему столь близка, что он мог часами рассказывать о своих любимцах, о привычках и особенностях каждого. Поведал Юрка Маше и про то, как съездил с Никодимом в тайгу. Правда, в этом рассказе он был не так многословен. Ему было известно, что Никодим не любит, когда кто-то чужой оказывается посвящённым в его дела.

Тут, как-то неожиданно для себя, Живой решился, обнял Машу и поцеловал её в губы. Это был первый за его двадцатидвухлетнюю жизнь поцелуй. И был он сладок, как молодой, прямо из улья, мёд.

Маша сначала попыталась оттолкнуть Юрку. Но, то ли так нежны были его поцелуи, что вскружили ей голову, то ли она дала волю чувствам – девушка сама обняла его. И прижалась к нему так крепко, что Юрке стало трудно дышать. Оба они, забыв обо всём на свете, отдались во власть своих слившихся воедино губ.

У Маши губы были мягкими и сладкими. Они как будто втекали в Юркины губы, и тот пил их, как желанную воду из родника, словно путник, утоляющий жажду в жаркий день.

Спроси его позже – он и не вспомнил бы, как это всё произошло. Вспомнил бы только, что они с Машей вдруг оказались в густой траве и в зрачках девушки беззвучными колокольчиками дрожали лунные блики.

Юрка неумелыми руками стянул с Маши трусики. Опьянённый вкусом её губ и видом белых ног, облитых лунным светом, как молоком, он безжалостно и торопливо вошёл в неё. Услышал, как девушка застонала, кусая себе губы от желанной боли, а потом застонал и сам, будто взрываясь изнутри, испытывая сладостную истому и бешеную дрожь во всём теле.

В эту секунду из Юркиной памяти исчезло всё. Было лишь это неизведанное доселе ощущение и лежащая под ним прекрасная девушка.

Вскоре Юрка вновь ощутил безумное желание этих жизнеутверждающих движений. Целуя Машины губы, шепча что-то неслухозное, он снова овладел ею, теперь уже чутко и бережно. Живой словно погружался в нежность её горячей, истекающей плоти. И опять ему показалось, что он взорвался, будто дробясь на сотни частей. Только через какое-то время сознание вновь вернулось к нему, и Юрка начал целовать Машину пахнущую травой шею. Опускаясь жадным ртом всё ниже, к девичьей груди, он высвободил её из тесной материи, расстегнув пуговицы платья, и взял в рот маленький набухший от возбуждения сосок, напоминающий спелую землянику.

Юрка ласкал её груди. Маша прижала к себе обеими руками его голову, перебирая волосы, и счастливо прошептала:

– Ну вот, теперь я стала женщиной!

В эту минуту молодой парень по кличке Живой, на малолетке в знак протеста зашивавший себе рот, покинувший зону на дельтаплане, как сказочный Икар, был счастливее всех людей на земле. Казалось, будто бы никогда в его жизни не было ничего плохого. Да и сейчас существовали только луна, качавшаяся в девичьих глазах, высокая густая трава, приютившая их и ставшая их первой постелью, и эта прекрасная девчонка с добрым и ласковым именем – Машенька.

Обратную дорогу до дома они шли молча. Маша держала свою руку в Юркиной, и иногда пальцы её вздрагивали. Живой шёл и чувствовал себя необыкновенно счастливым: оттого, что у Маши он оказался первым, что до него ещё никто и никогда не трогал губами её сосков-земляничек, не ласкал груди, не проникал в её горячую плоть.

Они дошли до её дома. Маша повернулась и поцеловала Юрку в губы. Опять сладость её губ полилась в него, и вновь закружилась голова. Маша дышала прерывисто, глаза её были прикрыты густыми ресницами, а грудь высоко вздымалась.

Юрка крепко прижал девушку к себе, ощущая её бедра, от которых исходило тепло. Маша, не выдержав, тихо застонала.

– Я ещё хочу тебя! – прошептал Юрка.

Маша взяла его руку и прижала к своему лобку. Юрка через платье ощутил его припухлость.

– Пойдем за сеновал, – выдохнула Маша.

За сеновалом, в густой тени ограды Юрка вновь овладел любимой, дрожащей и всхлипывающей от счастья и возбуждения. Теперь он не торопился, как это было там, в траве. Входил в неё медленно, ощущая, как глубоко внутри её плоть обволакивает его плоть, двигался ласково и нежно. Руками сжимал Машины тугие крепкие груди, ласкал её бёдра, гладкие как шёлк. Вдруг Маша сама ускорила темп, двигаясь ему навстречу и жарко дыша в лицо. Она содрогнулась всем телом, прогнулась в тонкой талии и простонала:

– О боже, как мне сейчас хорошо!

Юрка был рад, что сумел довести Машеньку, ставшую женщиной лишь час назад, до высшей точки блаженства. Сначала медленно, а потом всё более настойчиво он начал опять входить в неё, чувствуя, что вот-вот снова взорвётся. Когда это произошло, он всхлипнул, а потом ощутил, как перетекает в неё его мужская сила.

Они ещё долго лежали, не расставаясь. Маша благодарно прижималась к Юрке и говорила:

– Я теперь твоя, а ты – мой.

Осень в тайге короткая. Она налетает стремительно и яростно, исхлестывая вековую тайгу-матушку свирепыми холодными свинцовыми дождями. Небо осенью тёмное, хмурое, будто рассердившееся. Льёт и льёт оно бесконечные тонны воды на застывшие, в недоумении притихшие, сосны и ели. Всё живое прячется в местах посуше от пришедшей вдруг неуютности, а по утрам слышно, как где-то неподалёку грустно трубят лоси.

В хозяйстве Никодима к осени успели немало: заготовили сено, убрали урожай пшеницы, собрали с огорода то, что уродилось с божьей помощью. А сбор был богатый. Одной только картошки накопили двадцать мешков, много насобирали помидоров, огурцов. Теперь Настя целыми днями готовила соленья, варенья, закручивала божьи дары в банки.

Живой всегда поражался Настиной расторопности. Целыми днями она крутилась как белка в колесе и никогда не жаловалась на усталость. Всё-то она успевала: и подоить, и стоговить, и постирать, и за огородом присмотреть, и накормить кур, уток, гусей. Будто двужильная была Настя.

С Машей Юрка теперь виделся каждый день. Но это были ед-

ва ли любовные свидания. Маша обладала очень гибким и цепким умом. Она много читала и тянулась к знаниям, как подсолнух к солнцу. Юрка с Машей могли часами говорить, обсуждая какие угодно проблемы. Девушку интересовало, что Юрка думает по поводу тех или иных событий, происходящих в стране. Тут приходилось Юрке Живому в этих беседах, он знал мало. В зоне ведь ему приходилось решать множество проблем иного рода. Маша же мечтала поступить в институт – на факультет геологии.

– Тайга ещё совсем неизведана! – горячо говорила Маша. – Её знают лишь на тридцать процентов. А сколько богатств хранится в её кладовых? Я хочу закончить институт и узнать тайгу по-настоящему.

Машу по-прежнему влекло к Юрке. Но, видно, у неё состоялся серьёзный разговор с матерью, потому как Вероника стала посматривать на Живого косо. Да и Маша сама теперь уклонялась от близости с ним. Живой нервничал, срывался, переходил на крик:

– В чём дело, Маша? Ты можешь объяснить мне, что происходит? Разве не ты говорила мне, что ты теперь моя, а я твой? Я готов на тебе жениться. Давай возьмём Никодима и пойдём к твоей матери!

– Нет, нет, только не сейчас! – торопливо отвечала Маша. – Я прошу тебя, не требуй от меня быстрого ответа. Пойми, если я сейчас выйду за тебя замуж, то мне придётся навсегда расстаться с мечтой вырваться в город. Так я никогда не закончу институт. Прошу тебя, не злись. Дай мне время как следует подумать и понять саму себя. Я не скрываю, что ты мне очень нравишься, и я готова выйти за тебя замуж. Но ты мне твердишь, что счастлив здесь, в тайге, что тут обрёл душевное спокойствие. А мне надо в город, я тянусь туда, где много людей. Как нам быть? Я боюсь теперь забеременеть и молю Бога, чтобы пронесло. Да, мы отдалились нашей страсти, но теперь должны остановиться и всё решить заново. Во всяком случае я должна. Не сердись на меня, Юра!

После таких разговоров Живой уходил взбешённый и возмущённый. При всём том, обретя покой в этой Богом забытой деревеньке, он оставался по-настоящему счастливым.

Крутом была тайга, не стояли опротивевшие бараки, заборы и вышки по углам. Здесь можно идти и идти куда хочется. Здесь была воля. А Маша нуждалась в городе, «где много людей». А люди для Живого создавали проблемы. Ему было понятно, почему всег-

да, испокон веков, людские отношения порождали конфликты. По-особому он понимал притчу об Авеле и Каине, единокровных братьях, один из которых стал жертвой, а второй – убийцей брата.

Нет, Живой не пойдёт больше к людям, он будет жить здесь. Уйдёт в тайгу на всю зиму, а весной – Никодим обещал помочь ему поставить дом. А там, глядишь, и Тунгус вернётся. Зимой Юрка доберётся и до золота. Никодим покажет, ему не отвертеться.

Живому были нужны деньги. Он так хотел поехать к матери с хорошими подарками и отвезти ей денег, чтобы она смогла поглотиться. Да и здесь деньги были необходимы, чтобы встать на ноги – построить дом, приобрести мебель, обзавестись хозяйством.

Юрка всё чаще опускался на колени вместе с Никодимом и молился на икону «Пресвятой Девы Марии с младенцем». По ночам он читал Библию.

Грех убийства Узбека висел у него камнем на шее. В зоне как-то об этом не думалось. Там все за что-то отбывали, многие – за убийство. И Живой не был единственным, кто отнял чужую жизнь. Здесь же, посреди тайги, в тишине, подолгу оставаясь наедине с самим собой и тяжким грузом на совести, Живой ощутил острую потребность избавиться от бремени этого греха. Он понял, что достичь этого можно только через обращение к Богу, через неустанные молитвы.

Прошло ещё несколько дней. Сильно похолодало, задули протяжные ветры, а дожди внезапно прекратились.

– Завтра пороша выпадет, – промолвил Никодим за ужином.

Наутро Живой выглянул в окно и ещё раз поразился точности прогноза «хозяина тайги» – так он про себя называл Никодима. За окном всё было покрыто лёгким, как лебединый пух, снегом. Это и была предсказанная за вчерашним ужином пороша.

Не так давно у Живого состоялся серьёзный разговор с Никодимом. Тот говорил:

– Ты меня не поджигай, парень. Золото не любит торопливых. Я вот знаю, где оно лежит, но не хожу к нему каждый день. Наверное, богаче меня не было бы никого в окрестности, да и в Москве тоже, – Никодим полагал, что самые богатые люди живут в Москве. – Ты что думаешь, оно лежит тебе на земле, просто нагибайся и бери? Нет, парень! Да, я знаю золотоносные места. Но на некоторых

сейчас уже работают артели, и милиции там не впрокорот. На других золото ушло под землю, жила – понимаешь? Теперь там техникой надо брать. Жила, она ведь как? Как и вена у человека: где-то близко под кожей, а где-то уходит глубже. Так что, парень, не гони коней.

– Я сам уйду в тайгу и буду искать! – упорствовал Живой.

Спорили долго, наконец Никодим сдался:

– Хорошо, парень. Я покажу тебе, где есть золото, но весной. Отойдёт земля, прогреется, и я тебе покажу. А зимой будем в тайге зверя бить – соболя побьём, куницу, песцов, может, и рыси. На лося тоже разок сходим. Кабан будет жирный, что надо. Договорились? – спросил Никодим, уставший от наскоков упрямого Юрки.

– Договорились! – Юрка протянул ему руку.

Вообще-то они с Никодимом легко находили общий язык. Наверное, сыграла свою роль выработанная Юркой в зоне способность идти на компромисс, если это не шло вразрез с его принципами. Да и Никодим не забывал о том, что написал ему старший брат Тунгус. Характер у Никодима был тяжёлый, кержацкий, но за прошедшее время он привык к Живому и теперь смотрел за ним, как за младшим братом.

Всё у Живого ладилось в этой деревне. Вот только отношения с Машей оставались по-прежнему неопределёнными. Они продолжали встречаться и часто гуляли вместе, но в одном девушка оставалась непреклонной: не допускала Юрку к своему телу. Чтобы сгладить растущую трещину в отношениях, Маша старалась проявлять к Юрке больше внимания, заботилась о нём. Она почти насильно забирала его вещи на постирку, приносила их потом чистыми, выглаженными. Готовила у себя дома что-нибудь вкусное, а потом прибегала за Юрой, настоятельно требуя, чтобы он шёл к ней обедать или ужинать.

Маша много читала. В таёжной глуши она находила возможность читать Стендаля, Бальзака, Толстого. Из поэзии ей нравилось написанное Байроном. Она обсуждала свои впечатления с Юркой, делилась с ним прочитанным, как бы впуская его в свой мир.

Живой по большей части соглашался с Машей. Будучи неглубоким человеком, он быстро вникал в её отношение ко многим проблемам жизни книжных героев. Впрочем, по правде говоря, ему не хотелось очень уж глубоко переживать придуманные кем-то

проблемы, потому что он узнал жизнь не из литературы. Живой, подобно ампулярии в гигантском человеческом аквариуме, сам пропустил всю жизненную муть сквозь себя, при этом досыта наевшись дерьма.

Потому порой Живому приходилось трудно с Машей. Она была чиста – настоящее дитя природы. Девятнадцать лет прожила в этой таёжной деревне и всего лишь несколько раз побывала в городе. Из прочитанных книг она брала только хорошее, что и свойственно чистым душой людям. Маша стремилась в город, и Живой понимал её. Да, ей надо было учиться. Она хотела жить по-другому, иначе, чем люди в её деревне.

Понимал Живой, что лучше было бы прекратить их отношения, но когда приходила Маша со своей чистотой и нежностью, он не находил в себе сил оттолкнуть её. Она смотрела на него, и Юрка растворялся в тёмной сини её глаз.

Зима с каждым днём прочнее закрепляла свои права. Засыпала всё вокруг снегом, накинула на тайгу пышный белый покров. Лёгкий морозец приятно пощипывал лицо, когда Живой по утрам выходил управляться с лошадьми.

Юрка полюбил лошадей так, как когда-то он любил голубей. Такой уж был у него склад характера: если любил, то до смерти. Ненавидел – тоже до смерти. Лошади манили его. Умные животные притягивали Юрку к себе, он мог часами возиться с ними, разговаривать, ругать Рыжуху, похваливать Карего. В тёплой конюшне, среди похрапывающих лошадей, Живой смягчался душой. Его душа, заледеневшая давно, ещё с малолетки, тут действительно оттаивала за заботами: надо было подсыпать корму Рыжухе, вычесать Карего.

Порой Живому даже не верилось, что былые ужасы ушли в прошлое. Тогда он выходил из конюшни и медленно обводил взглядом всё вокруг. И не было унылых бараков, не кричал осточертевший лагерный квакун. Не лагерный забор – обступала их мирную деревеньку молчаливая, неприступная тайга.

Но она только казалась неприступной. Матушка-тайга была суровой, но Юрка знал, что она бывает доброй и приветливой к тем, кто предан ей и кто любит её. Он хорошо знал, как она может принять к себе, открывая перед человеком свои бесчисленные кладовые. Тут и грибы, и брусника, и морошка, и клюква, и маленькая

алая лесная земляника. Сосны и ели, кедры и орешник, а сколько прозрачных, чуть зеленоватых озёр, полных рыбы, притягательных для дичи!

Да, неохотно подпускает к себе тайга тех, кто пришёл со злым умыслом. Таких путает она, завлекая в нехоженые чащи и буреломы, специально наводя на них хищного зверя. Скольких она поглотила! Сколько бесследно растворились в ней, в её вечнозелёном яде, как в кислоте.

Молча, чуть покачивая тяжёлыми от снега кронами, тайга взирает на людей, спующих по ней. И не дано никому доведаться, что у неё на уме. Не желает матушка расставаться со своими тайными запасами – золота, алмазов, нефти, газа, пушнины.

Люди же, двуногие, исполненные дерзости и порока существа, не спрашивая на то разрешения, лезут в её нутро, пробираясь всё глубже. Так и борются они, простые смертные, с вечной тайгой-матушкой.

Зима становилась всё более лютой день ото дня. Забирая права, она будто мстила людям, домашним животным, лесным зверям. Замахивалась даже на тайгу-матушку – за то, что расслабились они за короткое лето, расчувствовались.

Морозы крепчали, разрисовывая причудливыми узорами оконные стёкла. Машенька, особо чуткая к красоте окружающего мира, не уставала поражаться ею. Она продолжала приходить к Живому, хотя теперь бывало и так, что они подолгу не виделись.

Дважды Живой уезжал с Никодимом в тайгу. Первый раз они покинули деревню на несколько дней. Охотились на песцов, кабана, лося. Второй раз Юрка остался в балке на целый месяц. Там он валил лес, затем запрягал Карего в длинные постромки и стягивал хлысты к балочку. Здесь «Дружкой» распиливал их на «швырки» – чурбачки длиной в полметра, — колот их тяжёлым колуном и складывал в огромную поленницу.

Живой находил удовлетворение в возможности побыть одному. Это было совсем не то одиночество, что в одиночной камере карцера. Здесь Юрка поутру просыпался с улыбкой на лице, выбегал из остывшего за ночь балка на улицу и обтирался до красноты хрустящим снегом. Потом разжигал печь, бросал в жаркое пламя поленья и подолгу задумчиво смотрел на огонь. Готовил себе немудрёную еду и завтракал, запивая густым, по-лагерному образцу крепко заваренным чаем.

После завтрака, тепло одевшись, Юрка шёл кормить Карего, рукавицей снимая с него выросший за ночь голубоватый иней.

Хорошо было ехать по притихшей заснеженной тайге, комфортно устроившись на широкой удобной спине Карька. Живой объезжал знакомые ему теперь места, проверял капканы, изучал кабаньи лежбища, проезжал по их следам, оставленным многими копытами. Следы спускались к чудной, незамерзающей даже зимой Студёнке – к водопою. Тут же Юрка обнаруживал и следы хозяев тайги – лосей. Затем, объехав далёкие замёрзшие лесные аласы-озерца, он направлял Карего обратно к балку.

Это был мир, о котором Живой мечтал. Это была идиллия, в которую он сам себя поместил, которой он достиг, перелетев – опротивевший, выгоревший и растрескавшийся под солнцем, почерневший от дождей ненавистный лагерный забор, с грибка-ми-поганками, вышками, на углах, опутанный ржавой колючей паутиной.

Здесь, в этом суровом застывшем безмолвии, никто не плёл бесконечные замысловатые лагерные интриги, не слышна была витиеватая, усыпанная жаргоном, речь. Здесь можно было оставаться самим собой. Одинокое ржанье Карего в безлюдье тайги звучало для Юркиного слуха неповторимой мелодией, странным образом напоминающей так любимого им, с некоторых пор, Верди.

А вечерами уставший Юрка, плотно поужинав, лежал на деревянных нарах, покрытых толстым слоем звериных шкур, и, чувствуя себя совершенно счастливым, читал при свете керосиновой лампы те немногие книги, которыми снабдила его Машенька.

Живой часто думал о матери, жалел её, такую больную. Он вспоминал, как она приезжала к нему на малолетку, с трудом передвигая распухшие ноги. Как привозила сумки с продуктами, купленными на деньги, чудом не пропитые отцом.

Его бестолковые старшие братья почему-то не очень жалели мать. Они всё больше обустроивали свою жизнь. Только Юрка готов был сделать для мамки всё, что она попросит, даже если бы понадобилось достать для неё, впрочем, зачем она ей, – звезду с неба!

Думал Живой и о Маше. Он действительно полюбил эту чистую, доверчивую, трепетную, как таёжная лань, страстную и чувственную девушку. Его первую женщину. С ней он познал сжигающую безумным бесовским пламенем страсть, когда сливаются – глаза в глаза, губы в губы, свиваются воедино два тела. Живой му-

чился, сходя с ума от одной мысли, что может потерять Машеньку. Но ей так хотелось в город, к людям, а он к этим людям идти не желал.

Здесь, в одиночестве тайги, была подлинная свобода. А свобода для Живого, познавшего ей цену, была дороже всего на свете. Нет, не совсем так: дороже всего была мама. Живой злился, закуривал папиросу и почти насильно отгонял от себя незримо присутствующий образ любимой им Маши.

На исходе месяца приехал Никодим. Живой возвращался после очередного объезда капканов. По обе стороны седла у Карька висели, притороченные, два больших матёрых песца, добытых Юркой. Он ещё издали увидел Рыжуху, стоящую около балка, а потом услышал её призывное радостное ржание – та почувствовала приближение Карька.

Никодим, суровый и неулыбчивый, как всегда, тоже, видно, соскучился по Юрке. Обнял его, широко улыбаясь, и повёл в балок.

– Молодец, Юрка! Вижу, с трофеями возвращаешься. Ну, как матушка? Приняла тебя к себе? – спрашивал он, посмеиваясь.

– Приняла матушка! Приняла, – отвечал Юрка, довольный тем, что Никодим искренне рад их встрече. А тот продолжал:

– Настя нудила каждый божий день: поезжай, говорит, посмотри, как он там. Может, приболел, говорит, может, под зверя какого угодил. Тут вот она гостинцев передала, – Никодим развязал узелок, выкладывая на стол разносолы.

Два дня они с Никодимом оставались в тайге. Съездили на далёкую затерянную заимку, откуда глубоким оврагом спустились к брошенной ещё до войны старой шахте.

– Здесь штольня, – произнёс, тяжело дыша, Никодим, устремив указательный палец куда-то вперёд и вниз. – Здесь есть золото. Это место давно забыто. Из тех, кто его знает, из местных, почти никого в живых не осталось. Мы придём сюда весной, когда снег сойдёт. Я показал тебе, где лежит золото, как обещал. Теперь возвращаемся обратно, пока не стемнело. Ты веди коней в поводу, а я позабочусь о следах, чтобы их не осталось.

Встреча в деревне с красавицей Настей и Сашкой была особенно радостной. Всё время старавшийся быть суровым и взрослым, Сашка, забывшись, бросился на шею Юрке, едва позволив тому

сойти с коня. Настя тоже выскочила на крыльцо, заслышав голо-
систое ржание Карего, учуявшего свой дом. В одном платье, не-
смотря на покрепчавший к вечеру мороз, она стояла, улыбаясь, на
крыльце, вытирала руки о передник и весело смотрела на обнима-
ющихся Юрку и Сашку.

Живой чуть отстранил пацана, успевшего забросать его вопро-
сами, и, подойдя к Насте, тихо и вежливо поздоровался. Она про-
тянула к нему руки, взяла его за голову, заглянула в лицо, а затем
трижды, как полагается у кержаков, расцеловала, приглашая в
дом.

В доме было, как всегда, чисто и уютно. В широкие окна струи-
лись надвигавшиеся голубые сумерки. Было тепло и казалось, что
даже сам воздух дышал удивительным спокойствием.

Сашка остался управлять с лошадьми, а Никодим ушёл рас-
тапливать баньку. Живой сидел перед расспрашивающей его Нас-
тей и обстоятельно рассказывал о своей жизни в тайге.

– Сейчас я напою тебя горячим чайком, а после баньки будем
ужинать. Я приготовила настоящий русский борщ! – она постави-
ла перед Юркой большую берестяную кружку с дымящимся круто
заваренным чаем, придвинула сахарницу. – Пей, вот. Продрог, на-
верное! Дорога-то неблизкая!

Добрая, сердечная Настя полюбила Юрку и относилась к нему
как к младшему брату, заботясь о нём не меньше, чем о сыне Саш-
ке.

Парились мужчины, как всегда, втроём. Никодим, поросший по
спине и груди густым, скручивающимся в колечки волосом, будто
сам был таёжным зверем. Он кряхтел, поддавал жару на раскалён-
ные камни, приговаривая:

– Щас, чуть притомим жар, уж потом поддадим! – и побрызги-
вал на камни настои распаренных трав: душицу, мяту перечную и
календулу. Аромат в парилке стоял – дыши не надышишься!

На ужин пришла Маша, по-зимнему строгая, с румянцем на
щеках и молодым задором, который никак не сочетался с той не-
приступностью, которую сама она вокруг себя возвела.

«Странные они какие-то, женщины, – думал Живой. – И какие
разные». В зоне Юрка столько наслушался о женщинах, и пош-
лого, и банального, ведь сидело там много бытовиков. И всё же он,
никогда раньше не ведавший тайны и сладости женского тела и ду-
ши, сам для себя создал некий образ. Образ этот был цельный, чис-

тый, словно Живой списал его, нет, не с Сонечки Мармеладовой – с Анны Карениной.

Внутренне безумно любя Машу, свою первую женщину, Живой понял в тишине и безмолвности матушки-тайги, что Машеньке надо быть ближе к людям. Ей необходимо учиться, закончить институт. Понял Юрка, что нельзя ему быть эгоистом в отношениях с Машей. Из-за своей нелюдимости он вполне мог загубить тянувшийся к солнцу росток.

Юрка стал совсем по-взрослому строгим. Теперь, загнав своё чувство к Маше глубоко внутрь, он говорил с ней отрешённо и спокойно. Будто и не было никогда бликов луны, колокольчиками качавшихся в её зрачках. Не было той упоительной радости первого обладания ею, обладания таким желанным, как выкупанным в парном молоке, девичьим телом.

Зима тянулась день за днём, то крепчая синими морозами, то милостиво спадая лёгкой оттепелью. Дни проходили в заботах по хозяйству, в уходе за Карькой и Рыжухой, ставшими неотделимой частью Юркиной жизни. Живого поражало, что в этой старинной кержацкой деревне, как и в самой тайге-матушке, всё было подчинено главной цели – выживанию.

Никто из обитателей деревни не лез в чужие дела. Каждый двор функционировал автономно, справлялся со своими проблемами. Здесь не было принято часто ходить друг к другу в гости, интересоваться жизнью соседей. Нигде по деревне не играла гармонь, никто не смотрел телевизор. И всё же обитатели таёжной глуши знали, кто как живёт. Знали, но помалкивали.

Как ни длинна таёжная зима, как ни сурова она, безжалостно сметающая снегом буераки, чащобы, опушки и такие вот забытые Богом деревеньки, всё же природа сильнее неё.

Поэтому обязательно на смену зиме приходит весна, чтобы в свой срок уступить место лету, в тайге знойному и душному, с комарами и мошкой, с запахом далёких горящих болот. За летом неизбежно приходит осень.

Вроде бы ничто в природе не изменилось: те же кроны по утрам кивают головами, молчаливо соглашаясь с обитателями тайги. Тот же гнус, поднимаясь сиреневым туманом с гнилых болот, разлетается по округе, не давая покоя ни зверью, ни людям. Только дикие

утки и гуси по утрам всё медлительней и тяжелее отрываются от зеркальной поверхности вод аласов, только травы всё тяжелее клонятся с почтением к давшей им начало земле. Да зверьё, отяжелевшее после ушедших в прошлое весенних любовных игр, выискивает места, где посуше и безопасней: чтобы рядом журчала вода, чтобы было это место недоступно хищникам, рыщущим по тайге.

Выискивает зверьё укромное место, чтобы разродиться, произвести на свет божий подобных себе. Дать им жизнь, не задумываясь: на счастье ли рожают они потомство своё, или суждено быть их плоть от плоти гонимыми либо съеденными.

«Всё в природе происходит совсем как в лагере. Неужто гулаговские мудрецы брали за основу происходящее в природе?» – думал Живой, вспоминая шакальи повадки малолетки, бесконечные нити паутин предательских интриг в лагере на строгом.

Но вот, щедро делясь лесными богатствами, уже и осень тихо пятится, отступает шаг за шагом. Сначала перед морозящими, нудными, как зубная боль, дождями, затем перед свирепыми холодными ливнями. И, наконец, прячется она где-то в одной ей известном недоступном месте, залегая в спячку как таёжный мишка.

Потом и зима, свирепая и жестокая, начинается и заканчивается, а за ней накатывают весенние дни. Приходит весна, внося в сердца людей и зверья надежды на лучшую долю и радость, маня дурманящими запахами тайги, расцветающей после долгого зимнего уныния.

В весеннюю пору по ночам воют лесные волки, задирая лобастые морды к высокому таёжному небу – воют не по-зимнему грустно, а, наоборот, призывно. Всё живое в тайге пробуждается. И громадина, бурый медведь, просыпается от зимней спячки, выбирается из берлоги. Исхудавший за зиму, но отоспавшийся, он втягивает ноздрями бодрящий весенний воздух и широко зевает.

Тайга цветёт! Неповторимы её запахи. Они – как дразнящее напоминание о свободе – приходят в пропащие сибирские лагеря. Будто бы взяв за руку, уводят за собой отбывающих непомерные сроки эков в далёкую таёжную глухомань. Заставляют бедолаг на замеревшем дыхании кидаться «на рывок», хоть на сутки, хоть на час, а потом – будь что будет!

Стаяли снега, и Студёнка разлилась по откосам, затопляя окрестные луга зелёной водой. С юга стали дуть тёплые обнадёживаю-

щие ветры. Сашка уже выгонял посуровевших за зиму в конюшне лошадей на буйно взметнувшиеся после сошедшего снега травы. Солнце, зимой светившее скудно, теперь день ото дня припекало всё сильнее, отогревая застывшую за зиму землю. Та поддавалась охотно, ведь ей нужно было дать жизнь всему, что на ней произрастает. В этом состоит мудрая предопределенность природы.

Никодим и Живой «старались» на заброшенной шахте. Работали весь световой день, крепя штреки напиленными Юркой за зиму рудстойками.

Работа была опасной. Старая, давно сгнившая крепь ежеминутно грозила рухнуть на посягнувших на её тайны людей. И всё же, шаг за шагом, иногда ползком, в положении «лёжа» просеивая ещё не оттаявший грунт, Никодим и Живой добрались до золота.

Это была жила. В тусклом свете, еле сочившемся из допотопных фонарей, они докопались до рыжего презренного металла. Сначала шли относительно скудные россыпи, с содержанием металла один к ста. Но это были всего лишь «предвестники», и потому Никодим только хмыкал, хотя видно было, что результаты работы ему по душе. Позже пошли самородки, и наконец они добрались до жилы. Никодим испуганно крестился, что-то бормотал еле слышно, чуть шевеля губами, грозил Юрке сурово пальцем. Это была жила. Золота здесь было много, во всяком случае, это можно было понять по реакции «хозяина тайги».

Рубили породу острой киркой, откалывая куски камнеобразной жёлтой массы, содержащей не менее шестидесяти процентов металла пугающе высокой чистоты. Набрали этих кусков полную сумку.

– Ну, всё! Господи, прости душу грешную мою и неразумную душу пацана этого! Посягнули на недра таёжные. Завещал мне Тунгус, брательник мой, не ходить сюда без него! Дак не дал мне сдержатъ уговор сей малец, рано ступивший на взрослую стезю! Господи, прости, господи! – Никодим, никогда ничего в тайге не боявшийся, полз задом из нависшей, грозящей рухнуть штольни, волоча за собой старую, невесть откуда взявшуюся в его хозяйстве клетчатую спортивную сумку.

В деревушке было всё тихо и спокойно. Её обитатели по весне давно уже отсеялись и теперь занимались повседневной рутинной. Мужчины плели рыболовные бредни, ставили закидушки, перего-

раживая неутомонную Студёнку, а то ходили поглубже в тайгу, на аласы. Женщины кормили гусей, уток, доили коров, сепарировали молоко.

Машенька собиралась в город. Ей нужно было подать документы в институт, подготовиться как следует к экзаменам, надо было позаниматься в читальном зале. К осени все ждали возвращения Тунгуса, который изредка присылал из лагеря короткие письма.

Всё вроде бы шло своим чередом. Только Юрка Живой по ночам не находил себе места. Потихонечку, чтобы никого не разбудить, он на цыпочках прокрадывался к входной двери. Бесшумно отворив её, выходил на улицу, где один-одинёшенек сидел под тёмным куполом неба. Небо влекло Юрку своей далёкой бескрайностью. Запрокинув голову, он любовался холодной недосыгаемостью ярких ночных звёзд.

«Это же надо! Сколько же, интересно, лететь к ним?» – думал Юрка. Ему не спалось.

Никодим уехал, впервые надолго после того, как они вернулись в деревню из старой, давно заброшенной шахты, откуда была привезена тщательно спрятанная потом клетчатая сумка. Его не было два дня. Хотя Настя ничего не говорила, Живой видел, как она бросает беспокойные взгляды на дорогу и прислушивается к далёким звукам.

Вернулся Никодим на рассвете. Живой услышал, как глухо протарахтел и смолк за стеной его мотоцикла, несколько раз чихнув во дворе. Настя сразу же бросилась к двери. Было видно, что она не смыкала глаз всю ночь.

Живой знал, что Никодим отвозил золото, и тоже был очень обеспокоен тем, что его так долго нет. Заслышав шум подъезжающего мотоцикла, Юрка соскочил с кровати, отбросив в сторону одеяло. От сердца отлегло: «Наконец-то!»

Он взглянул на Сашку, безмятежно спавшего на своей кровати, накинул на себя одежду и тоже вышел встречать человека, ставшего ему таким близким. Увидев Живого, Никодим отстранил повисшую на шее жену и шагнул навстречу.

– Ты тоже не спишь? Ну, здорово!

Живой протянул ему руку, потом они обнялись.

– Ты бы хоть сказал, где тебя искать в случае чего, – упрекнул Никодима Юрка.

– Нормально всё, – чуть заметно хмурясь, скорее по привычке, ответил Никодим. – Ну, давайте в дом!

Несмотря на ранний час, Никодим ел с завидным аппетитом, чувствовалось, что он здорово проголодался. Его мощные челюсти работали, перемалывая пищу. Настя бесшумно суежилась вокруг него. Живой знал, что эта красивая статная женщина безумно любит своего сурового мужа.

Закончив трапезу и дождавшись, пока жена сметёт со стола крошки, Никодим подтянул к себе вещмешок, раскрыл его и вывалил на стол кучу денег. Это были пачки, аккуратно перетянутые резиночками, и пачек было много.

Живому в жизни ещё не доводилось видеть такого богатства. Юрка невольно слотнул слюну от волнения и снова уставился на деньги.

– Это твоё! – промолвил Никодим. – Здесь тебе хватит на всё. Я сдержал своё слово и рассчитался за своего брата.

Он не назвал сумму, и Живой не стал спрашивать, сколько же их там. И так было понятно, что денег очень много. Живой взял из рук Никодима вещмешок. Бросив искоса взгляд на застывшую в испуге Настю, он без слов покидал все пачки обратно. Стянув тесёмки у горла мешка, он отложил его в сторону. Что тут было говорить?

– Спасибо тебе, Никодим! – чуть слышно произнёс Юрка.

Позже, днём, Никодим подошёл к Живому, одиноко сидящему у бани.

Живой расположился на толстом стволе лиственницы, лежавшем здесь уже несколько лет. Никодим присел рядом с Юркой и, немного помолчав, спросил:

– Когда собираешься в дорогу?

– Завтра! – последовал быстрый ответ.

На следующий день, рано утром, Живой распрощался с Настей и Сашкой. Одетый в приличную одежду, привезённую ему из города заботливой Настей, Юрка был немного взволнован. Обнимая Сашку, он потрепал его по голове, провёл рукой по жёстким непослушным вихрам и заговорщически прошептал на ухо: «Я привезу тебе обалденный баян!» – и подмигнул ему.

Потом Живой подошёл к Насте и поклонился ей в ноги, без слов. Она в ответ что-то прошептала, почти беззвучно. Только по движению её губ Юрка прочитал: «Храни тебя Господь!». Потом Настя перекрестила его рукой в воздухе.

Живой устроился на сидении мотоцикла позади Никодима, ко-

торый тут же отпустил педаль сцепления. Мотоцикл рванулся вперёд, заслонив смотрящих им вслед Настю и Сашку шлейфом серой пыли. Живому показалось, что до Иркутска они добрались очень быстро, поскольку, уйдя в свои мысли, он совсем не замечал ни времени, ни дороги.

Никодим сам посадил его на поезд, отъезжавший навстречу ступившимся сумеркам. Он крепко пожал Юрке руку и, как бы ни был скуп на слова этот хмурый таёжник, на прощанье скорее не сказал, а попросил:

– Береги себя! Будь осторожнее, не задерживайся долго, – и, словно оправдывая свою сентиментальность и секундную слабость, произнёс хмуро. – Лето, сам знаешь, короткое. До осени надо успеть тебе дом поставить.

Лёжа на верхней полке в купе, Живой с головой ушёл в свои мысли, не обращая внимания на попутчиков.

Он очень страдал оттого, что перед отъездом не повидал Машу и не попрощался с ней. «А может быть, это и к лучшему! Что мне её мучить?» – успокаивал он себя.

Убаюканный монотонным перестуком колёс, Живой в тихой дрёме вспоминал, как год назад он тоже ехал в поезде. Тогда он был как затравленный зверь, беглец. Под такое же громохание состава на рельсах лежал он, затаив дыхание. Тогда ему казалось, что его громко бьющееся сердце обязательно привлечёт к себе чьё-то внимание. А теперь Живой, спокойный и умиротворённый, имел возможность, ни о чём не думая, заснуть.

Добирался он двое суток. Сойдя с поезда на перрон родного города, он надвинул на лоб кепку и надел тёмные очки. Живой сразу отказался от мыслей о каком бы то ни было транспорте и теперь пробирался на родную с детства улицу пешком. На ходу вспоминая давно забытые улочки и малолюдные проулки, он шёл около часа, стараясь не привлекать к себе внимания. Иногда он останавливался, переживал, делая вид, будто прикуривает сигарету, отворачиваясь от любопытных взглядов тех редких прохожих, которые всё же попадались ему на пути.

Вот наконец-то его родной дом! Живой специально подошёл к нему со стороны небольшого огорода. Воровато оглянувшись по сторонам и убедившись, что вокруг никого, он перепрыгнул через ветхий, давно покосившийся забор и пробрался в дом.

Их старый домишко, в детстве казавшийся Юрке большим, теперь выглядел сиротливо и плачевно. Скособочившийся от времени, он будто врос в землю. Старые, давным-давно выкрашенные синей краской ставни облупились от солнца. Теперь эта краска, местами сохранившаяся, топорщилась корявыми чешуйками.

Живого от этой убогости передёрнуло. Он переложил сумку, в которой были деньги, в другую руку, потянул на себя ручку заскрипевшей двери и шагнул в сени. В нос ударило застоявшейся сыростью. Запах плесени заставил задержать дыхание. Юрка вошёл в дом и увидел мать.

Сколько он простоял молча – минуту, две, пять? Он снял с себя очки и сдёрнул с головы кепку.

– Мамочка, встречай меня, я вернулся, – проговорил он.

– Юрка! Сынок! – прошептали материнские губы.

Мать вдруг бессильно опустила руки и присела на стоявшую рядом табуретку.

– Ох! – только и смогла она выдохнуть от неожиданного счастья. Слёзы радости беззвучно заструились по постаревшим обвислым материнским щекам.

Живой сделал шаг навстречу матери, потом ещё один. Не выдержал, упал на колени и подполз к ней, уткнулся бедовой головой в давно вылинявший, застиранный халат. Обеими руками он обхватил её толстые, больные, распухшие ноги.

– Прости меня за всё, мама! За то, что причинил тебе столько горя! – просил Юрка.

Давно окаменевшее сердце его дрогнуло – будто треснула корочка льда, обволакивающая его.

В груди стало больно и трудно дышать. Юрка так и стоял на коленях, обняв материнские ноги, вдыхая её родной с детства, почти позабытый запах. Этот запах долго ему снился на бешеной малолетке, в холодных изоляторах на строгом, когда он, продрогший и голодный, засыпал, свернувшись калачиком на сыром ледяном бетоне. Засыпал с затаённой неосуществимой мечтой: когда-нибудь снова вдохнуть этот родной запах.

На стене тихонько тикали старые ходики. Мать, выплакавшись, теперь рассказывала ему про отца:

– Вот уже второй год пошёл, как похоронили мы его. Последнее время уж чересчур запил он, – она всхлипнула. – Так и горел от водки. Цирроз печени у него был. Ох, сыночек Юрка! Когда ты убежал из лагеря, вначале домой приходили из милиции постоян-

но. Отец пьяный материл их на чём свет стоит и прогонял. Два раза и его забирали, да потом отпускали – что с него взять? А сейчас в городе, около милиции, висит твой портрет. Там так и расписано – опасный преступник и рецидивист! И денежная премия объявлена за тебя, сынок! Ой, зачем же ты приехал, Юрка, уезжать тебе надо! – мать всплеснула руками, пугаясь собственной мысли.

– А сейчас приезжают они, мама? – спросил Живой.

– Теперь уже нет, иногда только участковый зайдёт. Ой, да что же я сижу, тебя же кормить надо.

Она засуетилась на кухоньке. Смешно переступая больными ногами, она напоминала старую толстую утку.

Юрка тщательно прикрыл окна шторами и теперь сидел на кухне, наблюдая за матерью. Он рассказывал ей про лагерь на строгом, про побег. Про Тунгуса, про Никодима и Настю. Рассказал он матери и про Машу.

Мать растрогалась и снова стала плакать. Юрка видел, как сильно мать его любит и сколько она пережила за то время, пока он был в побеге.

– Ох, Юрка! Сколько я слёз выплакала, думая о тебе! Ведь ни одной весточки, как в воду канул. Чего только я не передумала... – она поставила на стол немудрёную еду и сидела, подперев подбородок, смотрела как он ест. О чём она думала?

– Ночью приведу тебе братьев, поговоришь с ними.

– Не обижают они тебя, мама? – спросил Живой.

– Да нет, не обижают. Им не до меня. У каждого своя семья, свои заботы, на что им мать! – она обиженно отмахнулась.

Потом мать рапосложилась на кровати, куда усадил её Юрка, а он растирал её больные ноги мазью.

– Милая мамочка, бедная моя! Сколько горя я тебе принёс, сколько страданий. Простишь ли ты меня? – спрашивал он.

– Да, сыночек. Юрка, ты у меня с детства был бедовый, не такой, как твои братья. Ты жив и я счастлива!

– Я до осени поставлю дом, там, рядом с Никодимом. А следующей весной перевезу тебя туда, мамочка. Будешь жить со мной. Я тебе столько должен, что вовек мне не рассчитаться. Я тебя наряжу, мама, посажу в новом доме и целыми днями буду мять твои больные ноги, – и он снова рассказывал матери про Настю, про Сашку, про деревню, которая его приютила. – Там такая красота, мама, в тайге! Такие запахи! Тебе там очень понравится.

Потом Живой принёс сумку, в которой были деньги, и вытащил из неё сверток. Развернув его, он вынул пачку долларов и протянул матери.

– Что это? – испуганно отшатнулась мать.

– Это деньги, возьми их.

– Что ты, сынок! Откуда они у тебя, так много! Ты никого не убил, сынок? – мать торопливо, испуганно, перекрестилась.

– Возьми, мама, ради бога, прошу тебя! – он умолял её. – Они чистые, мама, я их заработал. Мама, поверь мне, на этих деньгах нет чужого проклятья! – Юрка почти насильно вложил ей в руки деньги.

– Но зачем они мне, сынок? Что я с ними буду делать? Да я в жизни таких не видывала, – она удивлённо рассматривала незнакомые купюры зелёного цвета. – Сколько же здесь? – почти шёпотом спросила она.

– Много, мама, хватит купить дом, и машину, и мебель, – радостно сказал Юрка.

– Ну зачем они мне? – вновь заупрямилась мать.

– Я прошу тебя: пусть они будут у тебя. Ты будешь менять их на рубли и тратить на свои нужды, сколько надо будет. Остальные сохранишь, мама.

Кое-как Юрке удалось убедить её.

– Да где же я их спрячу? Ох, сынок! – вздыхая, она опять забежала по дому со свёртком в руках.

Наконец деньги были надёжно спрятаны и мать немного успокоилась. Ночью она привела братьев. Встреча их с Юркой получилась натянутой.

За весь срок они ни разу не приезжали к Живому, ни на малолетку, ни в лагерь на строгий. Старший брат, по рассказам матери, как и отец, тоже частенько прикладывался к бутылке. Это было заметно по его измятому лицу. Средний же брат был под каблуком у своей жены, сварливой бабёнки.

Живой строго выговорил им за всё. Потом, провожая к двери, жёстко сказал:

– Что вы меня видели, забудьте об этом! Мать я заберу следующей весной, а пока заботьтесь о ней – это же наша мать!

Проснулся он, когда солнечные лучи пробились в комнату сквозь щели в задёрнутых шторах и упали ему на лицо. Он встал с кровати и негромко позвал мать.

– Проснулся, сыночек? Давай умывайся, я тебе приготовила борщ! – радостно сообщила она.

– Никто не приходил? – на всякий случай спросил Юрка.

– Нет, никто. Только Еська, отца твоего брат, помнишь его?

– Помню, лысый такой. А что он приходил?

– Да шёл, говорит, мимо, зашёл проведать. Он заходит иногда, всё меня уговаривает замуж за него выйти. Совсем стыд потерял, дурак старый, – сказала мать.

– За него? Да он жаба болотная! – не сдержался Живой, бледнея от злости.

– Да будет тебе, сынок. Какое уж мне замужество. Мне и отца твоего хватило вот так, – она рукой провела по горлу. – А этот Еська – такой же выпивоха, любит на дармовщину. Лысый, плюгавый сам, пронирыливый. Придёт, носом своим шмыгает, везде шныряет, всё что-то вынюхивает. А ведь не выгонишь из дому. Что люди скажут? Как-никак, а брат мужа.

Она вдруг запнулась на полуслове и похолодела, побелела, схватившись за сердце:

– Ой, сынок!

– Что такое, мама? – Живой встревоженно подскочил к ней.

– Ой, сынок, мне кажется, он понял, что ты дома, – с трудом говорила мать.

– Как?

– Туфли! Твои туфли, они же такие богатые. Он на них посмотрел так, спросил: «Кто в доме?». Я говорю: «Никого нет». Он-то знает, что у твоих братьев отродясь таких туфель не было. Ой, сынок! Уезжать тебе надо, как бы беды не было.

И в это мгновение, словно гром среди ясного неба, с улицы донёсся голос, усиленный громкоговорителем, леденящий сердца матери и сына:

– Дом окружён сотрудниками милиции! При любой попытке к бегству стреляем без предупреждения! Мы предлагаем сдаться добровольно – это будет учтено как явка с повинной!

Живой стал блее стены, выкрашенной известью. Сердце его больно ёкнуло и начало биться быстро-быстро, будто стараясь вырваться из татуированной груди.

– Иуда! – прошептал Юрка. – Это он продал, Еська!

Живой метнулся к одному окну, другому, третьему – кругом были менты, и было их много. Вооружённые автоматами, в касках и

бронежилетах они стояли, укрывшись, кто за забором, кто за деревьями.

– Всё, мама! Не уйти! Обложили!

– Сыночек, Юрочка! — мать горько заплакала. — Это я виновата, не догадалась туфли твои убрать. Прости меня, дуру старую!

Живой обнял мать крепко и поцеловал её. А голос, противный, дребезжащий, опять загремел в мегафон: «Предлагаю сдаться!»

Бедное сердце матери! В этот миг оно сжалось до размеров крошечного комочка.

– Сыночек! Может сдашься? Пожалей меня, Юрочка! Может, вправду не добавят, досидишь. Деньги теперь у нас есть, я буду приезжать к тебе. А? — она с мольбой смотрела на него, прижав сложенные вместе руки к груди.

– Мама! В лагерь я больше не пойду!

Живой вновь обнял мать, целуя и глубоко вдыхая в себя родной запах. Потом бережно отстранил её и направился к двери. Мать, рыдая, засеменила за ним. Живой открыл дверь и вышел на крыльцо.

Менты, увидя его, сразу же зашевелились как тараканы, раздались резкие звуки передёргиваемых затворов.

– Я сдаюсь! — громко выкрикнул Живой и поднял руки вверх, показывая, что безоружен. Он медленно сошёл с крыльца и направился прямо на начальника, стоявшего с «матюгальником» в руке.

«Шаг, ещё шаг, ещё один... Вот теперь на рывок! Шанс один к ста!» Живой неожиданно толкнул руками начальника в грудь, тот упал в пыль, перевернувшись через голову. Юрка стремительно побежал, петляя по-заячи.

Отплёвываясь от пыли, начальник вскочил на ноги. К нему, раскинув руки, пытаясь защитить своего младшенького, похожая на большую неуклюжую птицу, на своих распухших ногах бросилась Юркина мать.

– Не-е-т! Не на-а-до! — закричала она.

Прогредел выстрел, затем прогреготала короткая автоматная очередь. Потом ещё, и ещё одна.

Пули неровной строчкой перечёркивали спину беглеца. Они входили в него, окрашивая рубашу в красный цвет. Живой принял их в своё тело ещё на бегу, уже понимая, что его убили.

Потом он медленно падал назад, переломившись в пояснице и раскинув руки широко в стороны. Подогнулись ноги в коленях, и Юрка рухнул в заросли бурьяна и крапивы. Со всех сторон к нему

неслись менты. Падая и вставая, и снова падая, страшно крича, бежала к нему обезумевшая мать.

Юрка Живой! Зашивавший себе рот цыганской иглой в знак протеста против произвола администрации малолетки. Зарезавший Узбека, потому что больше не мог позволять тому издеваться над собой. Не согнувшийся под безжалостными гайдамацкими дубинками. Так и не надевший повязку.

Теперь он лежал на спине, запрокинув голову, а летнее солнце щедро светило, омывая его лицо золотистыми лучами. Безумно любивший голубей, Живой и сейчас смотрел широко открытыми глазами в синее небо, словно высматривал там своих парящих любимцев.

Юрка Живой был мёртв!





A black and white photograph of bare tree branches against a cloudy sky. The branches are dark and intricate, filling the left and top portions of the frame. The sky is a light, textured gray.

Часть 4

ФИНАЛ



Глава 1.

АНЖЕЛИКА

Эта поездка в Санкт-Петербург не была запланирована. Якову в офис позвонили. Ему сообщили, что на следующий день в Петербурге состоится презентация нового банка «Инвесткредит», а после презентации – банкет в ресторане «Метрополь». Звонок поступил на сотовый телефон. Захлопнув трубку, Яков поморщился, как от зубной боли, минуту подумал и обратился к Единственному:

– Придётся поехать тебе. Ты ведь знаешь, у меня уже назначена встреча с этим генералом из Росвооружения. Речь идёт о закупке большой партии оружия. Эту встречу я не могу перенести. Но и в Петербург не ехать нельзя. Там состоится презентация банка, в уставном фонде которого есть доля моих личных денег. Председателем наблюдательной комиссии там поставлен человек Паука, его зовут Евгений Александрович. Съезди-ка ты туда. Ты ведь никогда не был в Петербурге? Конечно, жаль, что получается такая накладка. Иначе мы поехали бы вместе, и я с удовольствием показал бы тебе город.

– Что я должен там сделать? – спросил Единственный.

– Ровным счётом ничего. Ты поедешь как представитель нашей организации. Тебя встретят. Посмотришь, понаблюдаешь, как пройдёт презентация. Будут американцы, западные немцы – представители тех финансовых компаний, чьи лавэ мы хотим затянуть

сюда. Конечно, ты можешь отказаться, если тебе не по душе. Но я считаю, что эта поездка будет для тебя полезной.

Единственный поначалу хотел отказаться, но передумал и дал согласие. Яков облегчённо вздохнул:

– Ну что ж, сейчас я дам команду. В Питер сообщат о том, что присутствовать на презентации будешь ты. Билет на поезд и всё необходимое тебе привезёт мой водитель. Единственный распрощался с Яковом и уехал на конспиративную квартиру.

Вечером Единственного проводил на поезд водитель Якова, здороваясь по кличке Тритон. Он передал Единственному пачку долларов и билет.

– Гостиница уже оплачена. Обратный билет вам передаст Евгений Александрович, он лично будет встречать вас, – доложил Тритон.

Поезд оказался «Красной стрелой», той самой, которая была воспета любимой певицей Единственного – Софией Ротару. У дверей вагона Единственный попрощался с Тритоном. Убедившись в том, что всё в порядке, водитель отправился обратно.

Сверкающая чистота поезда потрясла Единственного. Билет у него был в одноместное купе-люкс в спальном вагоне. Проводник в форменном кителе, подогнанном по фигуре и прекрасно на нём сидевшем, провёл его по вагону и показал купе.

Единственный поблагодарил молодого услужливого проводника, вошёл в купе, защёлкнул дверь и сел на постель. Теперь он мог неспешно поразмышлять, оставшись наедине с самим собой. Слишком многое произошло в его жизни за очень короткий отрезок времени.

Единственному нравился этот скоростной поезд. Было в нём что-то, несомненно будившее положительные эмоции, но с трудом поддавалось определению. Казалось, этот поезд уносит Единственного из прошлого. Впереди – хорошее и светлое, не вся жизнь прожита, не всё ещё потеряно. Под перестук колёс хорошо думалось. Эта привычка – постоянно находиться в задумчивости – наложила отпечаток на лицо Единственного. Оно почти всегда было суровым и неприветливым. Лишь изредка Единственному с трудом удавалось отвлечься от мыслей, и тогда только выяснялось, что он умеет и смеяться, и шутить.

Знаменитый град Петра встретил Единственного нудным морозящим дождём. Выйдя из тёплого вагона на перрон, Единственный

поднял воротник длиннополного плаща, плотнее запахнул его и зашагал по мокрому асфальту, слегка размахивая кейсом. Со стороны могло показаться, что немного озабоченный, преуспевающий, судя по дорогой одежде, бизнесмен возвратился из очередной деловой поездки.

Сквозь пелену дождя, раздвигая торопливо снующих людей, к нему подбежал молодой мужчина.

– Я здесь! – крикнул он, потом спросил. – Вы от Московского фонда?

Единственный ответил утвердительно.

– Простите, ради бога, – продолжал говорить мужчина довольно приятным голосом. – Этот дождь! Из-за него мы немного опоздали.

– Ничего, – успокоил его Единственный.

– Меня зовут Евгений Александрович. Машина ждёт нас, давайте ваш кейс.

Они подошли к машине. Это был «Мерседес-500». Евгений Александрович открыл заднюю дверь, предлагая Единственному садиться.

В салоне негромко звучала музыка, что-то из классики. Водитель учтиво поздоровался и, дождавшись, когда они закончат церемонию знакомства, плавно тронул машину с места.

– Как доехали? В дороге вам было удобно? – поинтересовался Евгений Александрович.

– Да, спасибо. Всё прошло прекрасно, – откликнулся Единственный.

– Простите великодушно, мне сказали, что вы большой любитель попариться, – продолжал Евгений Александрович. – Это меня сильно обрадовало, потому что я тоже обожаю пар. К вашему приезду у нас готова прекрасная сауна – с дороги сам Бог велел. Как там в сказке Иван-царевич сказал Бабе-Яге? «Ты меня вначале накорми, напои, в баньке попарь!» Так что ужин будет в сауне, не возражаете? – и получив согласие Единственного, бросил водителю. – В сауну!

Раздался тихий сигнал сотового телефона. Евгений Александрович извинился и включил его. Пока он уверенно говорил с кем-то, на английском, кстати сказать, языке, Единственный разглядывал через окно город, дома, прохожих.

Мерседес мягко вырулил на Невский проспект. Вот и Аничков

мост, так хорошо знакомый по виденным фото и иллюстрациям. Четверо античных юношей еле сдерживают непокорных, поднявшихся на дыбы коней.

«История, история, – подумал Единственный. – Слабый человек создал творение, которое простоит века. Сколько людей ещё пройдут и проедут по этому мосту – тысячи, миллионы... А мост будет стоять, и эти атлеты всё будут сдерживать гордых красавцев».

– Вы хорошо знаете английский, – заметил Единственный, когда банкир закончил разговор по телефону.

– Практика, – отозвался тот. – Каждый день приходится общаться, отвечать на звонки. Среди наших партнёров есть англичане, американцы, немцы. Вы ещё со всеми познакомитесь. Вот мы и приехали.

Мерседес остановился. Они вышли из машины и шагнули под арку большого старинного дома.

– Нам сюда, – Евгений Александрович толкнул дверь и пропустил гостя вперёд.

Внутренняя отделка была великолепна. Длинный коридор застлан ярко-красной ковровой дорожкой. Слева располагались кабины для переодевания, справа был кабинет, обставленный элегантной офисной мебелью. В кабинете за столом сидела симпатичная девушка. Она поднялась навстречу входящим.

– Мы ждём вас, – проворковала она и, обращаясь к Евгению Александровичу, спросила. – Мне показать гостю расположение комнат или вы сами?

– Я сам ознакомлю гостя. Стол накрыт? – спросил он.

– Да, там холодные закуски: икра, балык, грибочки, – ответила девушка. – Французское вино, водка «Абсолют», шоколад, соки. Всё на столе. Горячее подадим, когда прикажете. Если чего-нибудь будет не хватать, я тут же принесу.

Девушка исчезла. Банкир показал Единственному кабину. В ней лежали свежее махровое полотенце и простыня, в углу стояли шлёпанцы, на вешалке красовался белоснежный банный халат. Потом они прошли дальше по коридору.

– Вот это – массажные кабинеты, – Евгений Александрович открывал двери, демонстрируя обстановку. В кабинетах стояли массажные столы, покрытые белой кожей, тихо работали кондиционеры. Двери с дорогими золочёными ручками были из орехового дерева.

– А здесь тренажёрный зал, – продолжал показывать Евгений Александрович.

Полностью застеленный звукопоглощающим покрытием зал был великолепен. В нём стояли новейшие французские тренажеры, одна стена представляла собой сплошное зеркало. Ещё одна дверь прямо из спортзала вела к двум большим круглым бассейнам, оформленным в стиле «древнего Рима». Один из них был с холодной, а другой – с горячей водой. Мраморные полы и стены были украшены орнаментом, стилизованным под древнеримский, на стенах висели бронзовые маски, изображающие римских богов. Истекая из открытых ртов этих масок, струи воды попадали прямо в бассейны.

– А здесь для нас растоплен камин, – Евгений Александрович провёл Единственного в гостиную, обставленную шикарной кожаной мебелью. Там был накрыт невысокий стол, в огромном камине полыхал яркий огонь. – Ну как?

– Превосходно. Всё устроено с большим вкусом, – ответил Единственный.

Евгений Александрович усадил гостя в кожаное кресло, взял со стола маленький серебряный колокольчик и позвонил.

Вошли две юные девушки, почти обнажённые, если не считать того, что их тела были обернуты махровыми полотенцами.

– Эти милые барышни скрасят наш скромный ужин, – произнёс довольный Евгений Александрович. – Они чистые, гарантия, знак качества, – и склонившись к Единственному, доверительно прошептал ему на ухо. – Только для высоких гостей!

Юная девушка с пышными распущенными волосами соломенного цвета подошла к Единственному. Её синие глаза смотрели чуть испуганно и недоверчиво.

«Вот она, Русь – вся в ней, – несколько не ко времени подумал Единственный. – И топкие болота, и дремучие леса, и поляны, усыпанные ромашками».

Высокая брюнетка с короткой стрижкой присела на колено к Евгению Александровичу. Была она яркой, привлекательной – с большими крепкими грудями, тонкой талией и тугими, округлыми бедрами.

– Как зовут тебя? – спросил вор у Синеглазки.

– Маша, – последовал ответ.

– Хорошее, доброе имя, – сказал Единственный.

Брюнетка тоже назвала своё имя – её звали Ланда. Она уже освоилась на коленях Евгения Александровича, без стеснения поглаживала его разбухший не по возрасту живот.

Все понемногу выпили. Евгений Александрович предложил тост за гостей. Единственный с удовольствием выпил рюмку холодной прозрачной водки и закусил балыком.

Потом они с Машей погрелись в сауне, поплескались в бассейнах – сначала в холодном, потом в горячем. Контраст был поразителен.

Единственный чувствовал себя прекрасно, немного ныла, правда, спина. Поэтому он повёл синеглазку в один из массажных кабинетов, расстелил на столе простыню и попросил девушку помассировать ему спину. Бетонные полы холодных изоляторов не прошли для Единственного бесследно. В дождливые дни у него часто ныли суставы, особенно сильно болела спина.

Тонкие пальчики юной массажистки скользили по спине Единственного, слабо сдавливая кожу.

«Силёнок-то маловато в руках», – подумал вор, переворачиваясь на спину.

Синеглазка по-своему расценила это движение и беспрекословно склонилась над животом Единственного. Рассыпавшиеся как сноп свежих ржаных колосьев волосы скрыли её лицо, но открыли другие её достоинства. Фигурка у Маши была хрупкая, тоненькая. Её маленькие тугие грудки вздрагивали в такт движениям – вверх-вниз, вверх-вниз. Это необычайно возбуждало Единственного, и в конце концов он ощутил, что, извергаясь, взрывается изнутри.

Удовлетворения он однако не получил. Возникло лишь чувство опустошённости. «Когда же эти девчонки успели испортиться? Ведь ещё вчера они сидели за школьными партами, – потянулись у Единственного нерадостные мысли. – Быстро же они освоили рыночную экономику! Грязь всё это, грязь».

Единственный поднялся со стола, взял свой халат и вышел из кабинета, даже не взглянув на добросовестную Машу. Настроение было подпорчено, но Единственный не хотел, чтобы это заметил Евгений Александрович. Тот просто из кожи вон лез, чтобы угодить гостю.

«Видно, нехилые лавэ вложил Яков в его лавочку», – подумал Единственный, вставая под горячий душ. Потом он снова зашёл в сауну и улёгся на обжигающие, хорошо отшлифованные доски.

Когда Единственный вернулся в гостиную к столу, банкир дал приказ принести горячее. Подали замечательную белугу под острым соусом. Евгений Александрович предложил ещё выпить. Выпили холодненькой водки, продолжая вести неспешную беседу.

После ужина Единственный попросил отвезти его в гостиницу, сказав, что хотел бы отдохнуть и сделать необходимые телефонные звонки. Евгений Александрович поспешил вызвать водителя.

Мерседес почти бесшумно нёсся по ночному городу. Город был роскошен! Вот позади остался Невский, перед глазами возникла царственная Дворцовая площадь. Она была ярко освещена, и стоящий посреди неё незыблемый Александрийский столп как бы подчёркивал строгость и величие архитектурного ансамбля. Но автомобиль уже мчался дальше. Миновали Дворцовый мост, знаменитую стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру.

В салоне негромко звучала песня «Бродяга», которую исполнял питерский композитор Азаров.

– Вам ещё не доводилось слышать эту песню? – поинтересовался банкир.

– К сожалению, нет, – ответил Единственный.

– Мы спонсируем некоторые проекты этого автора. Кстати, он будет на презентации и я с удовольствием вам его представлю.

– Заранее благодарю, – отозвался Единственный.

А голос из колонок всё выпевал мудрые слова:

*Что будут туманы и вьюга,
И холод застынет в крови.
Я встречу предателя-друга
И разочаруюсь в любви.*

«Как точно подмечено! Интересно, откуда он об этом знает?» – подумал Единственный.

В этот момент заговорил Евгений Александрович:

– Мы заказали вам номер-люкс в гостинице «Прибалтийская». Если вас там вдруг что-то не устроит, то завтра мы можем переселить вас в «Невский палас» или «Европейскую».

– Ну, что вы. Эти хлопоты совсем ни к чему. У вас и так дел по горло в связи с предстоящей презентацией. А под какие проекты банк собирается привлекать иностранные инвестиции? – любопытствовал Единственный.

– В основном это долгосрочное финансирование добычи и переработки сырой нефти и продажи нефтепродуктов на внешнем рынке. Много других интересных проектов – лесной бизнес, например, работа с недвижимостью, ценными бумагами, но это так, мелочь, – банкир небрежно махнул рукой.

Мерседес въехал на пандус и остановился перед входом в «Прибалтийскую».

Единственный и Евгений Александрович высадились из машины и направились к входным дверям. При их приближении двери бесшумно раскрылись, и они вошли в просторный холл.

– Ваш номер на седьмом этаже, – сказал банкир, который нёс кейс Единственного. – Идёмте, я провожу вас.

Они вошли в сверкающий зеркалами лифт, который бесшумно поднял их на нужный этаж. Подойдя к забронированному номеру, Евгений Александрович достал ключ – пластиковую карту. Он вставил её в замок, на котором вначале загорелся красный огонёк. Потом красный сменился зелёным, банкир легко толкнул дверь и сделал широкий жест рукой, приглашая Единственного войти в номер. Комната была идеально обставлена и великолепно убрана.

– Ну как, вас это устраивает? – спросил Евгений Александрович.

– Вполне. Благодарю вас. Мне было приятно провести с вами сегодняшний вечер, – ответил Единственный.

– Завтра утром вам привезут программу презентации, так что у вас будет время подготовиться. Машину за вами я пришлю. А сейчас прошу прощения – хочу откланяться, – Евгений Александрович являл собой воплощение вежливости.

Единственный попрощался с ним и остался, наконец, один. Он по привычке внимательно осмотрел комнату. Потом сделал короткий деловой звонок в Москву и включил телевизор. Ни по одному из каналов не показывали ничего интересного. Незаметно для себя Единственный погрузился в воспоминания.

Он вернулся мыслями в печально известную в системе ГУЛАГа крытую тюрьму города Златоуста.

После того, как Единственный поднял бунт в зоне, загнав всё начальство в запретку, его и ещё двоих судили за организацию неповиновения администрации и приговорили к отбыванию наказания на строгом режиме.

Гайдара, одного из троих зачинщиков, хорошего парня, этапи-

ровали в крытую тюрьму Андижана. Бурмистра, второго, вывезли в Туркмению, в Красноводск. Ну, а Единственному, как водится, «повезло» – его отправили в крытую тюрьму Златоуста, о которой он слышал немало ужасов.

Порядки, которые установила администрация этой тюрьмы, были просто изуверскими. По хатам гулял беспредел. Играли в карты на кровь и человеческое мясо, жили по принципу: «Ты умри сегодня, а я – завтра». При игре в карты на кон могли поставить всё что угодно – от окурка сигареты и плиты чая до человеческой жизни. Многие не в кипеш проигрывали и собственный зад.

В этой крытой было собрано «отрицалово» со всех концов тогда ещё необъятного Союза. По представителям разных лагерей можно было изучать географию. Были тут и прибывшие со свободы, и те, кто, подобно Единственному, получили приговор по шестьдесят третьей в лагере – за организацию бунтов, массового неповиновения администрации, бандитизм в зонах. Были зэки, приехавшие из Печоры и солнечной Молдавии, с Колымы и горного Таджикистана, из Севураллага и знойной Туркмении, из Краслага и Казахстана.

Из хаты в хату передавали страшные легенды о знаменитом б...дине Чопе. В прошлом, якобы, он был в законе. Но за поступки, не соответствующие званию вора, истинные воры во Владимирском центре «дали ему по ушам» – то есть развенчали. После этого Чопу привезли в крытку Златоуста.

Здесь Чоп под покровительством администрации и с её негласного одобрения сформировал свою пресс-бригаду из конченных гадов, таких же, как он сам. Теперь он устанавливал свои б...дские порядки, бесчинствовал. Встречая этапы, заставлял хороших парней и «козырных фраеров» целовать нож и отказываться от воровской идеи. Многие из тех, кто не хотел отказываться, погибли от ножа Чопы. Нескольких известных каторжан Чоп опустил, насильно совершив с ними акт мужеложества. Происходило это совершенно беспредельно: обожравшиеся морды, холуи Чопы, держали жертву за руки и за ноги, а сам Чоп, обильно смазав член вазелином, вгонял его в задний проход не сломившегося перед ножом бедолаги-арестанта. Иногда вместо Чопы это омерзительное действие проделывал его ближайший помощник, «шестёрка» по кличке Костя Валет. Под отвратительный хохот пьяных б...дей Чоп не спеша трахал несчастного зэка и со скотским удовлетворением извер-

гался в него. Впрочем, «жадным» он не был, предлагая попользоваться опущенным всей б...дне.

Сколько было таких бедолаг! Прошедшие ужасы лагерей, протомившиеся нескончаемое время в ШИЗО и БУРах, годами не видевшие ничего, кроме пайки хлеба, но сохранившие своё достоинство, многие сами наложили на себя руки, не перенеся позора. В этой многократно проклинаемой крытой тюрьме так просто было расстаться с жизнью! Никто достоверно не знал, сколько арестантов покончили с собой, но страшная тюремная память хранила в себе имена многих.

Когда Единственный уже был в этой страшной крытой, ему рассказали о том, как один хороший парень решил завалить Чопу. Он взял ножи и пошёл по хатам. Никто точно не знал, где сидит Чоп, поскольку его хата была «плавающей».

Чоп узнал о том, что кто-то хочет завалить его, и устроил так, что этот парень попал к нему в хату. Когда парень вошёл в камеру, вся б...дня вела себя так, чтобы тот ничего не заподозрил. Молодой арестант поздоровался и сказал, что хочет видеть Чопу, мол, нет ли его в этой хате.

– А зачем тебе Чоп? – спросил у парня сам Чоп.

– Да дело у меня к нему. Побазарить надо, – ответил ничего не подозревавший парень.

– Какое у тебя может быть дело к этой б...дине? Мы только и живём надеждой как-нибудь добраться до него и завалить. На нём воры поставили крест, – сказал Чоп парню.

Тот, увидев, какой оборот принимает дело, признался собеседнику, что ищет Чопу, чтобы завалить его. Парень был совсем молодой и только недавно пришёл этапом с зоны.

– А у тебя есть чем валить? – спросил Чоп у парня. Тот показал ему ножи. – Отдай их, пусть загасят, – продолжал Чоп. – Не дай Бог, вдруг шмон. А Чоп от нас не уйдёт.

Парень доверчиво отдал свои ножи в руки людей Чопу. После этого Чоп скинул с себя «маску».

Парня оглушили сзади мощным ударом по голове. Кто-то провёл бедолаге членом по губам, затем с него содрали штаны и изнасиловали. На этом истязания не закончились. Парня раздели догола и подняли на решку, на которой буквально распяли, привязав за руки к стальным арматурным прутьям. Сколько умирал тот парень? Никто не знает. Но достоверно известно, что именно так всё и было.

Умер парень не зря. Дело получило огласку, и в ожидании высокой проверки тюремные менты отправили Чопу на этап. Там-то его и зарезали истинные арестанты. Говорили, его тело проткнули ножами так много раз, что оно напоминало решето.

Незаметно для себя Единственный уснул. И снова, наверное, в тысячный раз, увидел сон, который приходил к нему многократно, никак не отпуская.

Единственный совершает побег из лагеря. Он бежит по покрытой ковылём степи, и впереди, на горизонте, колыш утятся спасительные заросли камыша. Единственного догоняют легавые на мотоциклах и верхом на лошадях. Он бежит изо всех сил, но ноги становятся ватными, не повинуется ему и словно наливаются постепенно свинцом. До спасительных камышей остаётся уже совсем немного, но тут ноги вовсе отказывают беглецу. Его настигает погоня...

Единственный проснулся от собственного крика ужаса, вырвавшегося из его груди.

– Фу ты, чёрт! – выругался он, отирая противный липкий пот. Потом оглядел комнату. В окно сквозь жалюзи струились яркие солнечные лучи.

– Слава Аллаху, это всего лишь сон!

Единственный вскочил с роскошной, надо заметить, кровати и быстро направился в ванную. Там он принял тёплый, успокаивающий душ, тщательно побрился, почистил зубы. В этот момент в дверь тихо постучали. Он распахнул её и увидел улыбающуюся девушку, которая протягивала ему красиво оформленный конверт.

– Здесь программа презентации, – сказала она. – Машина будет внизу в шестнадцать ноль-ноль. Презентация начнётся в семнадцать ноль-ноль.

Единственный поблагодарил девушку, взял конверт, а потом спустился вслед за ней в ресторан гостиницы. Там он с аппетитом плотно пообедал.

Ровно в шестнадцать отдохнувший Единственный опять спустился вниз и вышел на улицу. Там его ожидала иномарка – «Форд-Таурус». Водитель, увидев Единственного, вылез из машины и распахнул перед ним дверь. Он дождался, пока Единственный усядется, а потом вежливо спросил:

– У вас есть ещё запас времени? Если хотите, я мог бы немного покатасть вас по городу.

– С удовольствием, – ответил Единственный.

Водитель провёл машину по Васильевскому острову, с Университетской набережной свернул на Дворцовый мост. Пересекли Неву, медленно проехали вдоль Эрмитажа, свернули к Марсову полю, обогнули его и направились к храму Спаса-на-Крови. Здесь Единственный попросил водителя остановиться и какое-то время разглядывал храм, испытывая неподдельное восхищение. Затем форд снова тронулся и, проехав по Невскому, свернул к гостинице «Астория». Обогнули памятник Александру, ненадолго задержались у Исаакиевского собора. Потом водитель сделал остановку у «Медного всадника». Приближалось время начала презентации, поэтому импровизированную экскурсию пришлось завершить.

– Красивейший город! – не уставал восхищаться Единственный.

Презентация проходила в конференц-зале банка «Инвесткредит».

Сначала, как положено, разрезали ленточку у входа на шикарную лестницу, потом гостей провели по этажам и кабинетам. Организаторы старались сделать всё возможное, чтобы показать иностранным гостям: новый банк – солидное учреждение, не какая-нибудь фирма-однодневка. После осмотра помещений банка все спустились в конференц-зал, где и объявили об открытии презентации.

В президиуме сидели иностранцы, представители финансовых групп и банков. Среди них разместили и Единственного, который чувствовал себя не в своей тарелке и от этого злился на Якова. В зале, в первых рядах, находились почётные гости, за ними – представители прессы и телевидения. Пустых мест не было.

Первым взял слово Евгений Александрович. Он произнёс речь на английском и русском языках, говорил долго и убеждённо. После выступления ему обильно аплодировали. Затем выступили несколько представителей иностранных компаний. Завершил официальную часть презентации председатель совета директоров, высокий мужчина. Его речь была солидной и деловой и вызывала доверие.

По окончании официальной части организаторы провели небольшую пресс-конференцию, а затем всех гостей и официальных представителей пригласили на банкет в ресторан «Метрополь».

В ярко освещённом зале уже были накрыты столы, расставленные в виде буквы «П». Изящество сервировки и изобилие по кулинарной части не поддавалось описанию.

Евгений Александрович, чувствуя себя в ударе, знакомил Единственного с гостями, присутствовавшими на банкете. Он представил Единственного англичанам, немцам, директорам российских и петербургских банков. Во время церемонии знакомства Единственный всем вежливо улыбался и протягивал руку, почти не произнося слов.

Когда-то на особом режиме Единственному попадалась в газетах информация, что «там-то и там-то прошла презентация того-то и того-то». Он плохо, однако, представлял себе, что это означало, и подумать не мог, что наступит день, когда он сам будет принимать участие в чём-то подобном.

Между тем Евгений Александрович подвёл к нему очередную гостью, говоря при этом:

– Ну, я думаю, что эту гостью нет необходимости представлять! Перед вами любимая и почитаемая всеми Анжелика Ростockкая!

Единственный протянул руку знаменитой кинозвезде и ощутил нежную кожу её тёплой ладони.

Когда Единственный был на особом режиме, портрет Анжелики долгое время висел над изголовьем его кровати. Этот портрет он сам аккуратно вырезал из журнала и укрепил на стене. Единственный всегда был немного влюблён в эту актрису, но не мог даже предположить, что когда-нибудь ему доведётся узреть её воочию. И вот она стояла перед ним, улыбаясь, словно сошедшая вдруг с небес сияющая богиня!

– Очень приятно! – проговорила богиня.

– Благодарю. Мне тоже, – ответил Единственный, невольно склоняя голову перед её завораживающей красотой.

В эту секунду он вспомнил, как в камере смертников сравнивал себя с Вронским. Не удержавшись, Единственный улыбнулся этому воспоминанию, удивляясь неожиданным поворотам своей судьбы.

Он поднял голову и на мгновение встретился глазами с Анжеликой. Наверное, в этот миг где-то в необъятной Вселенной, в безмолвном космосе, столкнулись две звезды и взорвались от столкновения, разбрызгав мириады искр. Так примерно пришли в соприкосновение взгляды Единственного и Анжелики.

Актриса медленно отняла свою руку. Потом взяла Единственного под локоть и повела к столу, за которым уже рассаживались гости.

– Вы ведь тоже гость в нашем городе, – говорила Анжелика. – Так что позвольте мне поухаживать за вами.

– Ну что вы, Анжелика! Вы ставите меня в неловкое положение, – запротестовал Единственный. – Разрешите уж мне взять на себя эту роль, если вам будет это приятно.

Постепенно за столом нарастало шумное веселье. Звякали приборы, слышался смех.

Евгений Александрович дал слово представителю крупного американского банка, Ричарду Льюису. Тот держался с достоинством, говорил долго и вдумчиво. Неспешно произнес фразу, он дождался, пока молоденькая переводчица повторит её по-русски. Закончил он своё выступление такими словами:

– От имени всех американцев я передаю вам привет с берегов Гудзона. Америка внимательно следит за всеми позитивными переменами, происходящими в России. Мы, бизнесмены Америки, готовы делать с вами деньги.

Он замолчал, дождался перевода и улыбнулся всем присутствующим широкой, белозубой американской улыбкой. Гости с удовольствием зааплодировали этому тосту.

Потом поднимали бокалы ещё и ещё. Чинные, но расторопные официанты, одетые в прекрасно пошитые сюртуки с аксельбантами и эполетами из золочёного витого шнура, бесшумно сновали по залу, незаметно для гостей заменяя использованные приборы чистыми.

Единственный сидел с суровым, почти каменным, выражением лица. Взгляд его был холодным, тяжёлым, будто свинцовым. Этим взглядом он медленно обводил присутствующих. Ему, знающему цену самой жизни, непривычному к таким светским мероприятиям, было трудно дышать среди этой дорого одетой публики. Единственный физически ощутил, что немного задыхается. В этот момент его вернул к реальности голос заскучавшей актрисы.

– Вы взялись быть моим рыцарем, а сами бросили меня на произвол судьбы! – с лёгким упрёком, чуть капризно проговорила она.

– Простите, ради Бога! – виновато произнёс Единственный. – Я немного задумался. Вообще мне следует быть намного внимательней к женщинам, особенно к таким, как вы.

– Хорошо, на первый раз я вас прощаю! – лукаво произнесла Анжелика. – Но в следующий раз уже не прощу.

Оба рассмеялись. Анжелика рассыпала свой весёлый смех, который Единственному до того приходилось слышать только «с экрана».

– Я ваш давний поклонник, – признался ей вор.

– Правда? – актриса благодарно улыбнулась. – Я польщена.

В зале было шумно. Гости разбились на группы, о чём-то оживлённо говорили, что-то обсуждали, спорили. Громко играла музыка. С чуть заметным огорчением Анжелика произнесла:

– Простите. Я должна ехать. Мне было приятно ваше общество.

– Мне очень жаль, что мы провели с вами вместе так мало времени. Можно ли попросить вас о встрече? – поинтересовался Единственный.

Увидев лёгкое замешательство актрисы, он добавил:

– Я бы хотел встретиться с вами ещё раз.

Анжелика молчала. Молчание затягивалось, и Единственный быстро сказал:

– Впрочем, не смею настаивать.

Но актриса, видимо, уже приняла решение. Она расстегнула сумочку, достала оттуда визитку и подала её Единственному.

– Ну хорошо. Вот мой телефон, позвоните мне завтра.

– До свидания, Анжелика! – вор пожал ей руку.

– До свидания! – и Анжелика уехала на сверкающем никелем линкольне.

После этого Единственный и сам стал собираться на выход. Он распрощался с Евгением Александровичем и некоторыми гостями и вернулся в гостиницу.

Мысли Единственного целиком и полностью были заняты завтрашним днём. Иногда у него даже перехватывало дыхание. Ещё никогда в жизни Единственный не испытывал такого волнения накануне встречи с женщиной.

На следующий день он стоял на углу Большого проспекта и скромной Гатчинской улицы на Петроградской стороне, держа в руках огромный букет обворожительных эквадорских роз. Анжелика шла навстречу, махая ему рукой, – удивительно красивая и гибкая, в блестящей норковой шубке и тёмных очках. Он, чуть смущаясь, вручил ей букет, а потом предложил пойти в ресторан.

В «Пиросмани», частном грузинском ресторане, интерьер был и необычен, и замечателен. Посреди зала как бы текла искусственная Кура, на которой чуть заметно покачивались деревянные плотики. На этих плотиках стояли изящно сервированные столы, сверкающие хрусталём и серебром. Одна из стен была мастерски превращена в уголок старого Тифлиса, гостеприимно встречающий каждого входящего. В зале слышалась тихая грузинская музыка, на столах горели свечи. С первого момента возникало ощущение уюта и покоя.

Для Единственного и Анжелики накрыли столик в каминном зале. Как и следовало ожидать, кухня ресторана предлагала гостям грузинские блюда. Официанты с перекинутыми через руку белоснежными полотенцами подали на стол хачапури, сациви, лобио. Из карты вин Единственный выбрал хванчкару.

Актриса и вор говорили на самые разные темы. Единственный осторожно расспрашивал Анжелику о жизни, о кино вообще и о тех фильмах, в которых ей довелось сниматься. Анжелика охотно отвечала. Она оживлённо рассказывала то об одном, то о другом, и Единственному было интересно слушать, наблюдать за её мимикой и жестами. Порой она хмурилась, но чаще улыбалась, и тогда на её щеках появлялись милые ямочки, которые безумно нравились Единственному.

Анжелика тоже задавала вопросы Единственному, и тот отвечал на них, пытаясь подобрать наиболее правильные слова. Актриса не могла даже представить себе, о чём думал сидящий напротив неё суровый немногословный человек. Единственный смотрел на Анжелику, наслаждаясь её обществом, а в его возбужденном мозгу ручейками текли воспоминания.

Вдруг он услышал:

– Что с вами? Мне показалось, вы сейчас были так далеко отсюда... – актриса вопросительно посмотрела на него.

– Да нет, всё нормально, – отозвался Единственный. – Просто, слушая вас, я невольно кое о чём вспомнил. Прошу прощения.

Они пили хванчкару и с аппетитом ели. Анжелика продолжала расспрашивать его о том, о сём, и Единственный смущённо путался в ответах. Ему очень не хотелось врать, а говорить правду он, естественно, не мог.

В один момент актриса и вор взглянули друг на друга. В глазах Анжелики светилось неподдельное любопытство. Она произнесла:

– Я вижу в твоих глазах затаённую боль. Ты, конечно, искусно скрываешь её, но я всё равно заметила, – неожиданно Анжелика взяла его руку и продолжала. – Мне на самом деле хотелось бы узнать о тебе побольше. По крайней мере, больше, чем сказали о тебе на презентации. Кто ты? – незаметно для себя самой она перешла на «ты». – Почему у тебя такая холодная рука? Бр-р-р! – она зябко повела плечами, будто бы и вправду замёрзла. Потом предложила:

– Знаешь что? Давай поедem сейчас ко мне. Нет, ты не думай ничего такого. Просто мне что-то подсказывает, что здесь ты сидишь настороженный, холодный. Я хочу, чтобы ты расслабился, отогреть тебя хочу. Едем?

Единственный улыбнулся, боясь поверить в то, что услышал. Он подозвал официанта, рассчитался за ужин и вышел с Анжеликой на улицу. Она сказала:

– Ты знаешь, я живу здесь совсем рядом. Давай немного пройдемся.

Они медленно шли по проспекту. В осенних джухах отражались огни реклам, мокрые опавшие листья липли к обуви. Но для Единственного всё вокруг теперь приобрело другие краски. Он был уже искренне благодарен Якову за эту поездку.

Через некоторое время Единственный с Анжеликой оказались перед красивым старым домом, построенным, вероятно, ещё в начале века.

– Вот мы и пришли, – сказала актриса.

Они поднялись на второй этаж. Анжелика достала из кармана ключ и открыла дверь квартиры.

– Проходи, пожалуйста. Сейчас ты увидишь, как я здесь живу, – проворковала она.

Квартира была просторная, с высокими потолками, недавно прекрасно отремонтированная.

Анжелика интуитивно почувствовала, что у Единственного возникают вопросы, и сразу же внесла ясность:

– Я живу одна. Каждый день приходит моя знакомая девочка – я её называю управдомом – делает здесь уборку и кормит моего любимого кота. Я-то ведь сама всё время в разъездах. У меня есть ещё одна квартира в Москве, мне её оставил бывший муж, – Анжелика назвала фамилию. Единственный очень удивился, услышав эту

фамилию. Оказалось, что бывший муж Анжелики – популярный в течение уже многих лет певец.

– А почему ты всё время в разъездах? – спросил Единственный.

– Слушай, в стране чёрт знает что творится. «Ленфильм» пустой, денег нет. Режиссёры, актёры, операторы – все в растерянности. Я тут недавно встретила одного, – Анжелика назвала имя известного режиссёра. – Представляешь, стоит у входа в метро и торгует видеокассетами. Я была в шоке!

– А как складываются дела у тебя самой? – поинтересовался Единственный.

– У меня? Мне просто повезло. Я, непонятно каким образом, осталась «в струе». У меня есть спонсоры – и дельцы, и просто друзья. Меня продолжают снимать. Правда, совсем не в таких фильмах, которые когда-нибудь станут классикой. В основном, это дешёвые российские боевички. Но, как ни странно, на них можно хорошо заработать, – она рассмеялась.

Актриса выставила на стол бутылки разнообразных форм, хрустальные фужеры, вазочку с конфетами, блюдо с фруктами. Единственный прошёл в соседнюю комнату.

Там был почти музей. На стенах висели рекламные плакаты, памятные медали с различных выставок и конкурсов, фотографии, на которых Анжелика была снята с известными политиками, бизнесменами, деятелями искусства. На одной из фотографий Анжелика стояла рядом с Президентом страны. Оба чему-то смеялись.

– Ого! – только и выдохнул Единственный.

– Что там такое? – откликнулась Анжелика. Она подошла к Единственному и посмотрела на фотографию, которая вызвала у него такую реакцию. – А-а, это. Президент принимал нас в Розовом зале. Награждал нашу группу за заслуги в области развития российского кино. Так себе, обычная показуха, – она небрежно махнула рукой. – В этот момент нас и щёлкнули.

– А чему вы так весело смеётесь? – спросил Единственный.

– Да он мне сказал комплимент. Я рассмеялась, он тоже.

– Даже президенту было лестно сняться с тобой, – потрясённо произнёс Единственный.

– Президент – тоже мужчина! – весело проговорила Анжелика и игриво рассмеялась. Потом подошла к Единственному совсем близко и, понизив голос, загадочно прошептала:

– Я тебе потом ещё многое покажу. А сейчас пойдём, выпьем чего-нибудь.

Они прошли к столу, и Анжелика передала Единственному красивую тёмную бутылку. Он осторожно откупорил её и наполнил вином два хрустальных фужера. Поднял свой, рассматривая его на свет, потом пригубил восхитительную жидкость.

– Это бордо, – сказала Анжелика. – Я привезла его из Парижа. Мы зашли в один маленький винный подвальчик, каких там сотни. Оказалось, что его хозяин, старенький такой, – наш соотечественник. Давным-давно эмигрировал. Узнав, что мы из России, он чуть не расплакался от радости. Угощал, чем мог, а на прощанье подарил мне вот эту бутылку. Сказал, что это вино очень старое, и просил открыть его только в тот день, когда у меня в доме будет дорогой гость.

За этими словами Анжелики стояло многое. Единственный понял тайный смысл, но всё ещё боялся поверить, ему так не хотелось обманываться.

– Как тебе вино? – спросила актриса.

– Прекрасное вино! Давай выпьем за того старичка, – предложил Единственный, наполняя фужеры.

Они выпили. Анжелика курила длинные тонкие сигареты одну за другой. Она рассказывала Единственному о разных разностях, говорила о чём-то хорошем. Слушая её, Единственный действительно расслабился и отогрелся душой.

Он украдкой глянул на свои часы и подумал: «Время-то уже позднее. Пора мне и честь знать».

Анжелика заметила его взгляд и сказала:

– Ты уже собираешься? Я не хочу, чтобы ты уезжал.

Она смотрела на Единственного, взгляд её был чистым и честным.

«Ладно, была не была! Раз уж выпала мне такая карта, раскидаю этот рамс до конца», – решился Единственный. До этого момента он совсем не хотел проявлять свои чувства или быть настойчивым. Но после таких слов Анжелики он встал, подошёл к ней, взял её за руки и поднял с места, прижал к себе. Ещё не до конца веря в реальность происходящего, вор коснулся губами волос Анжелики, ощутив их восхитительный запах. Потом встретил её губы своими. Губы Анжелики чуть дрогнули, раскрываясь навстречу поцелую.

Единственный целовал её долго и страстно. Постепенно Анжелику захватила его страсть, она подалась к Единственному всем те-

лом, крепко прижалась к нему – такая высокая, красивая, дорогая! Единственный словно обезумел. Подобно тигру, в молниеносном броске хватающему добычу, он поднял Анжелику на руки и бесшумно, по-звериному, метнулся в спальню.

Он успел заметить, что в спальне на полу лежала огромная шкура белого медведя с хищно оскаленной пастью. Единственный бережно уложил Анжелику на кровать и покрыл её поцелуями – в губы, глаза, шею, – одновременно снимая с неё платье.

Окружающий мир прекратил своё существование – осталась лишь эта комната, в которой на постели лежала перед ним женщина, прекрасная, как сама богиня любви. Прошлое Единственного: его боль, страдания, унижения – всё растворилось, исчезло без следа.

Анжелика, уже обнажённая, помогала и ему раздеться, расстёгивая пуговицы на его рубашке. Потом потянула за руку, заставляя лечь рядом, и неуловимым грациозным движением прильнула к нему своим горячим, божественно прекрасным телом. Тихонько прошептала:

– Я же обещала отогреть тебя...

Это была ночь любви! Где-то высоко в тёмном ночном осеннем небе столкнулись и вспыхнули две звезды. Одна – яркая, манящая, дразнящая, блистающая красотой. Другая – холодная, настороженная, зыбко и тускло поблёскивающая, готовая в любой момент скрыться. И в это мгновение на земле загорелись нездешней любовью два сердца, озарённые звёздным светом.

Единственный и Анжелика ласкали друг друга, отдаваясь безудержной страсти, ещё не осознавая, что с этого момента никогда уже больше не смогут жить и дышать друг без друга.

Единственный снова и снова овладевал прекрасным телом Анжелики, и она с радостью открывалась ему. Её тело, подобно восхитительному инструменту, будто бы откликалось дивной музыкой на его прикосновения.

У изголовья постели горели свечи, оплывали, словно роняли слёзы. У Анжелики из глаз тоже катились слёзы – от счастья. Она прошептала Единственному смущенно:

– У меня ещё никогда и ни с кем не было так. Где ты был? Почему не приходил ко мне до сих пор?

– Я не мог, любимая моя! – так же шёпотом ответил ей вор.

Единственный проснулся оттого, что во сне услышал какие-то странные звуки. Он чуть приподнял веки и прислушался. Свечи давно погасли, в комнате было темно и тихо. Анжелика спала, обнимая его, так что он боялся шевельнуться.

Вдруг она всхлипнула во сне, словно заплакала. Единственный затаил дыхание. Она всхлипнула опять. Да, сомнений не было – Анжелика плакала во сне. Единственный почувствовал, как ему на грудь стекла холодная слезинка.

Поражённый, он тихонечко потормошил её обнажённое плечо: – Анжелика, что с тобой? Почему ты плачешь?

Она приоткрыла глаза и виновато прошептала:

– Прости, милый, это во сне!

Она крепче прижалась к нему всем телом – известная актриса, красивейшая из женщин. В этом движении была такая откровенная, почти детская наивность, что обычно не доверяющий никому Единственный не усомнился в её искренности.

Только он знал, что происходило сейчас в его сердце. В нём, измученном, исстрадавшемся, зарождалась огромная любовь к этой прекрасной женщине. Огромная потому, что никогда в своей жизни вор ещё не любил так сильно. Огромная потому, что переполняла сердце доселе неиспытанными чувствами, не оставляя места разуму, требуя сжечь все мосты к отступлению.

Единственный поцеловал Анжелику, ощущая прохладу её зубов, сахарно белеющих в темноте. Его руки, сама нежность, заскользили по её обнажённому, такому желанному телу. Он осязал тугие полусферы её груди, впалый упругий живот, шелковистость кожи роскошных бёдер.

Анжелика сводила Единственного с ума. Она шептала ему на ухо слова, которым он боялся верить. Осторожно, но игриво покусывала его за шею, грудь, как будто случайно, лишь на миг касалась живота, переполняя чашу непреодолимого желания.

Единственный больше не мог контролировать себя.словно хищный зверь, настигший и подмявший под себя быстроногую грациозную лань, он урчал и взвизгивал, утопая в её возбуждённой плоти.

Анжелика принимала его в себя с благодарностью, беспрестанно шепча: «Да, да, мой любимый».

Устав от взаимных ласк, притихшие, они опять заснули, не смыкая объятий.

Наутро, пока расслабившийся Единственный ещё спал, раскинувшись по всей ширине кровати, Анжелика успела принять душ. Она принесла ему в постель сваренный на горячем песке кофе, удивительно вкусно пахнущий.

Впервые за долгие-долгие годы Единственный ощутил себя настоящим счастливым человеком. Он понял, что это счастье он уже никогда и никому не отдаст!

Выпив кофе, Единственный тоже принял тёплый душ и привёл себя в порядок. Потом позвонил уже встревожившемуся банкиру и успокоил его. Заверил, что всё в порядке, и что этот день намерен провести по собственному плану. Пообещал, что будет на связи, а потом с облегчением повесил трубку.

– Что бы ты хотел посмотреть в нашем городе? – спросила его Анжелика.

– Если бы ты показала мне Эрмитаж, я был бы тебе очень признателен, – попросил Единственный.

– Договорились! Ты завтракай, а я быстренько соберусь, и мы с тобой поедem в Эрмитаж, – радостно сказала Анжелика.

Когда они выходили из дома, Анжелика держала его за руку. Спускаясь по лестнице, Единственный любовался спутницей, не в силах до конца поверить в своё счастье.

До Дворцовой площади они доехали на такси. Эрмитаж поразил Единственного своим величием и великолепием. Каждый его зал был оригинален. Единственный с удовольствием рассматривал картины, гобелены, изумительные скульптуры.

Анжелика шла рядом и рассказывала о том, что знала сама. Когда останавливались у неизвестных ей экспонатов, она выражала своё восхищение и удивление уже вместе с Единственным. Они обсуждали остановившие их взгляд картины, скульптуры, старинные предметы, убранство палат. Поражённые величием дворца, влюблённые, не зная усталости, бродили по огромным залам. Всё увиденное поражало пышностью и роскошью давно ушедших времён.

Дворец они покинули вместе с последними посетителями, когда зрители уже начали предупреждать о том, что музей закрывается. Конечно же, Единственный и Анжелика не успели осмотреть ещё многое и многое. Но и то, что им удалось увидеть в этом сказочном дворце, произвело на них огромное впечатление.

Царившая на улице осенняя промозглость не испугала их. Анжелика повела Единственного по набережной вдоль притихшей Невы. Потом влюблённые гуляли по Летнему саду, под ногами лежала золотая листва, облетевшая с деревьев. Единственному казалось, что промокшие статуи с пьедесталов смотрят им вслед.

Через Марсово поле Анжелика вывела Единственного к Спасуна-Крови и рассказала историю постройки храма. Единственный не спеша обошёл его и внимательнее, чем накануне, рассмотрел уникальное творение человеческих рук.

Нагулявшись, влюбленные решили поужинать. Анжелика повела Единственного в уютный и тёплый ресторанчик, в котором посреди зала был поставлен огромный штурвал и хорошо смотревшийся макет парусника. Тяжёлые плотные шторы складками нависали над столами, на которых горели свечи. Посетителей в ресторане почти не было.

Просмотрев меню в кожаной обложке, Анжелика и Единственный решили заказать молодую оленину под сладким соусом, вымоченную в красном испанском вине. К этому блюду они выбрали французское вино «Ля Рошель» 1905 года.

Единственный не устал восхищаться Анжеликой. Всё в ней было прекрасно. Милые грациозные жесты и хрупкость длинных тонких пальцев. Роскошные волосы и большие выразительные глаза. Когда Анжелика обращала взгляд на Единственного, её, цвета морской воды, глаза обжигали его, он тонул в их насыщенной зелёным сиянием глубине. На ум приходила разная ерунда, от которой он пытался хотя бы на время отмахнуться.

«Надо преодолеть в себе этот дурацкий комплекс, – проносились отрывочные мысли в голове Единственного. – Что с того, что я лагерник, а она известная актриса? Я ведь в своей среде тоже известный человек. А теперь ещё и вор в законе – а это высшая ступень в нашей иерархии. Так же и она достигла высшей ступени, став заслуженной артисткой. Она по своей жизни дошла до вершины, а я – по своей. Только вот вершины у нас разные. Её – вся на виду, а моя – скрыта за тучами и туманом. Но ведь так и должно быть!»

– Ты опять ушёл в себя, милый! – Анжелика положила на его руку свою.

– Прости, любимая. Не обижайся, я лишь на миг задумался. Так, о всякой ерунде, – покривил душой Единственный.

Изумительное вино искрилось в бокалах, напоминая жидкий

рубин, было неповторимым на вкус. Единственный пил с видимым удовольствием, смакуя, подолгу задерживая во рту каждый глоток прохладной влаги.

Неожиданно Анжелика, поражая Единственного своей откровенностью, сказала о том, что полюбила его:

– Да, любимый мой! Я не боюсь своего чувства, потому что я так хочу любить! Любить тебя и быть любимой тобой! Я никогда и никого не любила!

В этом удивительном признании всё растворилось бесследно: боль, накопленная Единственным за эти годы, спрессованная во времени и ставшая осязаемой, ушла невыносимая обида на вольчую жизнь, сами собой исчезали следы непомерных страданий в борьбе с мусорской системой. Липкая паутина прошлого растаяла, освободив лёгкие для глубокого дыхания.

Чувства, которые испытывал Единственный, были далеки от головокружения, которое могло бы вызвать обычное обладание безумно красивой женщиной. От жара и нежности рук Анжелики начало оттаивать его заledenелое сердце. Вдруг ему стало легко дышать. Его бдительный, всегда настороженный мозг наконец-то немного расслабился. Единственный полюбил, а воры, если любят, то насмерть!

Влюблённым было хорошо в уютном тепле малолюдного заведения. В углу стоял рояль, по клавишам которого неспешно пробегап пальцами седовласый пианист, дарящий этим двоим звуки, мелодию старинного романса. Официанты передвигались почти бесшумно, не желая нарушать этой идиллии. Таяла во рту молодая сочная оленина, искрилось рубиновое вино, и Единственный с Анжеликой в полной мере ощущали, как это прекрасно – жить!

Наверное, впервые Единственный так и подумал: «Как, чёрт побери, это всё-таки прекрасно – жить!»

Он не мог больше скрывать от Анжелики правду о себе. Нет, это не было слабостью. После признания в любви, когда произнесённые Анжеликой слова, будто живой водой, омыли израненное сердце Единственного, он как истинный вор должен был сказать ей всю правду. Иначе был бы он не вором, а шарлатаном. Вор мог и должен был говорить правду даже во вред себе.

Анжелика слушала, не перебивая. Единственный рассказал ей о своём сиротском детстве, о малолетке, о лагере, о строгом режиме. Нет, он вовсе не взывал к её жалости – вор не мог поступать так. Он просто поведал Анжелике горькую повесть пройденного им пути.

Давно замолчал в углу рояль и незаметно исчез музыкант. Свечи на столе почти догорели и оплавились. Метрдотель всё так же стоял с белоснежной салфеткой, перекинутой через руку, но уже и он украдкой поглядывал на часы.

Единственный расплатился по счёту, оставив щедрые чаевые, и попросил метрдотеля вызвать такси. Потом помог Анжелике одеться, накинул на себя плащ и, взяв её под руку, вышел на улицу.

Такси уже ждало их. Они устроились на заднем сидении, и Анжелика назвала водителю адрес.

Потом, уже в её квартире, когда они лежали в постели, обнявшись, насытившись взаимными ласками, Анжелика прошептала:

– Я боюсь за тебя, любимый!

Единственный ничего не ответил, только крепче прижал её к себе. И решил, что именно сейчас должен спросить о том, что так тревожило его. Он сказал:

– Анжелика, ответь мне, пожалуйста, если можешь. Я хочу сказать вот что: в тот момент, когда на презентации нас представили друг другу, я взглянул в твои глаза и увидел в зрачках какую-то выжженность. Там была чёрная пустота, напомнившая мне джунгли, спалённые напалмом. Объясни мне – что это, почему так? Конечно, через мгновение ты заставила свои глаза снова искриться, светиться. Но одно мгновение они были как выжженные, я точно помню. Я был обескуражен. Расскажи, любимая, почему было так?

Анжелика лежала молча. Единственный ощутил, как по её телу прокатилась крупная нервная дрожь. Он привстал, опершись на локоть, включил ночник и заглянул ей в глаза. Её взгляд вновь был будто выжженным.

– Что с тобой, Анжелика? – спросил Единственный.

Анжелика медленно заговорила глухим, чуть подрагивающим голосом:

– И мне есть что рассказать. Я приехала в Москву из российской глубинки. Наивная девчонка! Мне тогда казалось, что я способна покорить всех и что деревня не для меня. Как мама умоляла меня не ехать! Говорила: «Не дури, девка! Что это ты задумала? Сроду в нашей семье артистов не было! Лучше давай вон, выходи замуж да детей рожай!» А я дерзкой была, разве могла меня мама остановить? И вот я уехала в Москву поступать во ВГИК. Москва меня поначалу совершенно ошеломила. Огромный город, тысячи машин, сверкающее метро.

Анжелика прервала рассказ и попросила у Единственного сигарету. Когда она нервничала, то курила часто.

– Продолжай, пожалуйста – попросил Единственный.

– Во ВГИК я поступила. Началась жизнь, полная событий. Жила в общежитии. Учёба, спектакли, лекции – всё это увлекало меня, как водоворот. Так пролетело четыре года. Я повзрослела. Стала замечать, что на меня заглядываются красивые парни. Как-то однажды я случайно познакомилась с молодым человеком, сыном высокопоставленного партийного бонзы Москвы. Звали этого молодого человека Игорь. Мы начали с ним встречаться. Были всего две или три встречи. Я-то была ещё молодая, глупая, мне льстило, что он – сын обеспеченных, известных людей. Боже! Какая я была дура!

Анжелика очень нервничала и без конца затягивалась сигаретой, вбирая голубоватый дым глубоко в легкие.

– Однажды он пригласил меня на пикник, на природу. Сказал, что там будут ещё его друзья. И я поехала с ним безо всяких задних мыслей. Собрались пятеро его друзей, все без девушек. Я спросила их: «А где же ваши девушки?» Они в ответ только посмеялись, сказали, что думали, будто едут на мальчишник. Все они были с одной орбиты с Игорем – сынки партийных руководителей и высоких чиновников. Золотая молодёжь того времени. Шваль!

Анжелика презрительно сплюнула и затушила сигарету в пепельнице.

– Сначала всё было как на обычном пикнике – жарили шашлыки, пили шампанское. Потом я заметила, что парни как-то странно глядят на меня. Мне стало неприятно. Они уже были навеселе и о чём-то шептались с Игорем. В какой-то момент эти твари набросились на меня и повалили на землю. Двое держали за руки, двое – за ноги. Сорвали с меня одежду. Я была ошелоmlена и только взглядом искала Игоря. Надеюсь, глупая, что рыцарь придёт на помощь и раскидает всех этих подонков. И он пришёл: первым снял брюки и стал меня трахать. Вот тогда во мне всё умерло. Когда он кончил, уступил меня «друзьям». Видно, был у них такой уговор. И все по очереди, все пятеро. Я даже не сопротивлялась, не кричала. Мир будто перевернулся, всё вокруг померкло и потеряло свои краски, в одночасье стало чёрным. Когда, наконец, эти подонки насытились и отпустили меня, я приблизилась к Игорю и молча плюнула ему в лицо. И ушла, не зная дороги, просто не могла там больше оставаться. Идти было больно. Внутри всё горело,

будто в меня воткнули, и так и оставили там, раскалённый стальной прут. Одежда была разорвана. Я шла и падала, всё как в тумане, поднималась, шла и падала. Я потеряла счёт времени. Помню только, что лес закончился и я увидела железнодорожную насыпь. Я стала подниматься, чтобы перейти её, но услышала, что приближается поезд. Меня аж затрясло от радости. Жить-то после такого позора я всё равно не могла бы! И я легла на рельсы. Поезд начал подавать протяжные гудки. Смотрю, он летит на меня, а рельсы ходуном ходят. Вдруг кто-то схватил меня за руку и дёрнул обратно на насыпь. Через секунду состав прогрохотал по тому месту, где я только что лежала. Меня будто прорвало. Я орала, выла и ела землю, проклиная негодяев. Тот, который выдернул меня из-под поезда, был седым, немолодым уже мужчиной, изнурённым каким-то. Он ничего не говорил, просто сел рядом со мной и положил мою голову себе на колени. Я посмотрела ему в глаза, а они у него были такие же, как у тебя сейчас, – Анжелика медленно, невыразимо нежно провела пальцами по лбу Единственного. – Такая тоска сквозила в них! И ещё что-то страшное. Не помню, как он привёл меня к себе в дом. Он находился в каком-то поселке под Москвой. И там он неделю, или даже больше, не отходил от меня ни на шаг. Первые дни не спал, наблюдал за мной, чтобы я чего-нибудь с собой не сделала. Если бы не он тогда... Потом, когда я уже пришла в себя, этот человек рассказал о себе. Он, оказывается, отсидел двадцать лет где-то на Севере. Я-то, дура, в первый день наорала на него: ты что, мол, такой добренький нашёлся, или для себя привёл? На, говорю! Бери меня! И разделась догола. А он отвернулся и говорит мне: «Оденься, а то простынешь. У меня прохладно в доме». Так, благодаря ему, я осталась жить. С тех пор ненавижу красавчиков, сынков крутых и самих крутых. Я поставила себе цель: выжить, закончить ВГИК, стать известной актрисой и презирать, презирать всех, похожих на Игоря. Так и жила с ненавистью все эти годы. Работа, работа. Замуж вышла, да не сложилась у нас жизнь, да и любви не было. Если заводила романы, то только с такими, как Игорь, и мстила им жестоко. Когда я увидела тебя, любимый, то так была потрясена, что даже растерялась. У тебя глаза были точно такие же, как у того, кто спас меня. Я про того лагерника говорю – даже имени его не знаю. Я и с презентации потому так быстро уехала, что надо было остаться одной, привести свои мысли в порядок. На моей орбите, где я живу, общаюсь, работаю, нет мужчин с такими

глазами, как у него и у тебя. Я сразу поняла, что никакой ты не бизнесмен и не новый русский. Несмотря на лоск твоей «упаковки», тебя выдадут твои глаза.

Анжелика смолкла, обессиленная, словно в ней внезапно иссякла энергия, необходимая ей для того, чтобы говорить, вспоминать, выражать ненависть. Она по-детски беззащитно взглянула на Единственного, будто разрушила мгновение назад окружавшую её стену. И он понял, что нашёл в ней не только женщину для любви, романа, постели, но друга и соратника. Боль, с которой Анжелика жила долгие годы, человеческий подвиг, который она совершила, – не сломалась, но поднялась до своей вершины, с которой мстила негодяям, всё это ставило её в один ряд с самим Единственным.

Он уложил Анжелику в постель, заставил выпить полную рюмку коньяка и начал рассказывать ей разные несуразицы, заставляя себя вспоминать смешные случаи из жизни.

Постепенно Анжелика, согретая заботой и вниманием, расслабилась, успокоилась и могла уже отвечать улыбкой на его шутки. Наконец она прижалась к вору горячим телом, вновь превратившись в сошедшую с неба богиню, и прошептала Единственному, будоража его:

– Мне с тобой так спокойно и надёжно – как за каменной стеной. Господи! Спасибо тебе!

Глава 2.

СТРЕЛКА С ЧЕЧЕНЦАМИ

Запершись в отдельном кабинете офиса, Единственный с Яшей Тюрьмой отчаянно спорили. Единственный настаивал на том, что на стрелку необходимо ехать без оружия. Тюрьма же, дымя неразлучной сигаретой и безжалостно рассыпая пепел по дорогим коврам, устилавшим пол кабинета, настаивал на своём.

– Эти нохи, они не играют в наши игры. Они рождаются с кинжалом в руке. Ты не на воровскую сходку идёшь.

– Я пойду без оружия, – решительно заявил Единственный.

Тюрьма пожал плечами и плюхнулся в большое мягкое кресло.

Стрелка была забита в кафе «Азалия». Друзья и двое, сопровождавших их, приехали на неё на двух машинах – «Тойоте-Карине» и серебристом «Ситроене». Четыре вора вошли один за другим: Толик Зверь, Стальной, Тюрьма, Единственный.

Это было небольшое уютное кафе, отделанное в светлых тонах в европейском стиле. Было оно совершенно пустым, только в глубине зала за ненакрытым столом сидели четверо мужчин. Один из них, высокий, в дорогом «прикиде», вальяжно привстал и сделал жест, приглашающий к столу.

Выждав, чтобы воры уселись, он представил своих друзей.

– Ваха, Иса, Аслан. Меня зовут Заурбек.

Стальной, в свою очередь, представил воров.

Высокий мужчина, назвавшийся Заурбеком, заговорил хриплым, надтреснутым голосом с сильным чеченским акцентом. Он сразу повёл разговор на повышенных тонах:

– Вы воры, да? Воруйте на здоровье, а в наш дел не лезьте. Там, где мы есть, – другим нет. А то, смотри – Стальной, Зверь, Тюрьма. Кличками нас не запугаешь. Такими кличками мы у себя дома собак называем.

Это был явный наезд на воров. В столице никто не позволял себе так разговаривать с ворами.

Тюрьма было дёрнулся, однако убеждённый сединами вор Стальной до боли стиснул ему предплечье, заставляя промолчать. Заговорил он сам, этот немолодой, много отсидевший, уже более десяти лет пребывающий в сане законника, авторитетный вор. Заговорил ровно и негромко.

– Заурбек, мы только что познакомились. Хотя все мы не дети и знаем друг о друге, кто и что из себя представляет, тем не менее, не нарушайте закон гостеприимства. Во взаимных уколах и упреках мы не придём к истине и согласию. А мы приехали сюда именно с этой целью.

В этот момент, прервав речь седовласого авторитета, быстро заговорил худой горбоносый красивый чеченец по имени Ваха. Он нервно поигрывал золотой зажигалкой.

– То, что вы, воры, умеете заговаривать зубы, мы это знаем. Но тут не та публика, которой вы привыкли пудрить мозги. Вам ясно сказано: не лезьте не в своё дело. Мы сами разберёмся с этими скотами, Шварценеггерами... – и стал нецензурно браниться. – Мы, чеченцы, будем там, где нам надо! А кто станет поперёк дороги – того прикончим, – заорал он.

Тюрьма не выдержал.

– Послушай, тебе в начале следует научиться говорить с людьми!

Ты ведь не с папуасами в джунглях, а с ворами говоришь.

Но Ваха уже разошёлся, продолжая, по всей вероятности, заранее продуманный спектакль. В следующее мгновение с его губ сорвались слова, которых ему не простил бы ни один вор в законе.

– Пошёл ты на...

Тяжёлый хрустальный графин, мгновением раньше стоявший на столе прямо напротив хама, обрушился на голову этого дикого и необузданного сына гор, раскроив ему череп. Единственный ни-

как не ожидал от полного, медлительного Тюрьмы такой реакции и быстроты.

В следующую секунду в кафе началась настоящая битва. Боковым зрением Единственный заметил, что из подсобного помещения на помощь чеченским авторитетам выбежали ещё несколько нохчи с ножами в руках. С обеих сторон загremели выстрелы.

Единственный успел с силой толкнуть к выходу Стального, а сам тяжёлым стулом нанёс сокрушительный удар по голове чеченца, подбегавшего к ним с ножом.

Тюрьма, выхватив из-за пояса «стечкина», безжалостно расстреливал набегавших чеченцев. Рухнули изрешеченные его пулями Заурбек и Иса. От дверей уже стреляли прорвавшиеся на помощь им два их водителя.

Толик Зверь успел схватить налетевшего на него чеченца прямо за лезвие ножа, направленного ему в грудь, и попытался вывернуть ему руку. Чеченец тянул нож на себя, разрезая пальцы и ладонь Зверя. Тогда Зверь, оправдывая свою кличку, со звериным воплем бросился на противника, схватил его свободной рукой за шею и в одно мгновение откусил ему нос. Ужасный крик раненого не смогли заглушить даже продолжавшие греметь выстрелы. Нож, который чеченец выпустил из рук, Зверь воткнул ему в горло.

Оставшиеся чеченцы, отстреливаясь, отхлынули назад в подсобку, спасаясь от плотного шквала огня со стороны воров.

Зверь, всё ещё сжимавший окровавленный нож, зигзагами побежал к двери в вестибюль. Но вдруг ноги его стали странно заплетаться и он начал заваливаться на спину. У самых дверей он упал, обливаясь кровью. Единственный в гигантском прыжке сшиб Тюрьму с ног и заорал прямо в ухо вору, перекрывая стрельбу бешеным криком:

– Уходим! Все уходим!!!

Ему удалось, не выпуская Тюрьму из виду, подхватить истекающего кровью, распластавшегося на полу Зверя за руки и выволочь его в глубину вестибюля, куда не доставали пули чеченцев.

Тюрьма был уже рядом. Вдвоём с Единственным они подхватили непослушное тело раненого вора и выбежали с ним на улицу.

Через открытую дверь ситроена был виден Стальной, сидящий на заднем сиденье. Если бы не склонённая неестественно набок седовласая голова и не ярко-алая полоса крови на белоснежной рубахе, можно было бы подумать, что он мирно задремал, ожидая,

когда закончится кровавая драка, разразившаяся в уютном светлом кафе.

– О, чёрт! – воскликнул Тюрьма, забрасывая Зверя на заднее сиденье рядом со Стальным. – Прыгай за руль! – крикнул он Единственному, бросаясь на переднее пассажирское сиденье.

Оба их водителя, отстреливаясь, запрыгнули в тойоту. Единственный включил скорость и ситроен бешено рванул с места. Единственный успел заметить, однако, что тойота помчалась следом. Тюрьма, высунувшись в окно, замахал рукой, показывая, чтобы тойота ушла в другую сторону. Наконец сидящие в тойоте, ошалевшие от стрельбы и всего, что произошло, поняли, чего от них требуют. Тойота резко ушла вправо и скрылась где-то во дворах.

Петляя по переулкам, распутивая обитателей столичных дворишков, ситроен вырвался на Садовое кольцо и понёсся в направлении Института скорой помощи имени Склифосовского.

– Быстрей, Единственный. Мы успеем их спасти, – без конца твердил Тюрьма, словно заговорённый.

Единственный, не потерявший присутствующего ему хладнокровия, взглянул в обезумевшие глаза приятеля и сказал:

– Стального, вора, уже нет, Яша. Зверя, может быть, ещё спасут.

Услышав это, Тюрьма стал страшен. Обаятельный, с виду миролюбивый человек, полный, всегда хорошо одевающийся, заорал с непередаваемо дикой яростью:

– Шакалы!!! Я им этого не прощу, всех перережу собственноручно. Всё! Им теперь здесь полный...

Перегнувшись через спинку сиденья, Яков обернулся к Стальному, схватил его за ворот рубахи. Он тряс его и кричал:

– Братан, братан, не умирай!

– Успокойся, – крикнул ему Единственный. – На вот, закури! – он протянул Яше золотой портсигар со встроенной зажигалкой, подарок самого Яши.

Они оба ещё не знали, что по столице уже введён в действие план «Перехват». Тут и там – везде стояли заградительные кордоны ОМОНа.

Ситроен резко затормозил у большого здания. Это и был институт Склифосовского. Только здесь могли спасти истекающего кровью Зверя. Яков с Единственным бережно высвободили Зверя из автомобиля и на глазах у изумлённых прохожих отнесли к стоя-

щим у здания машинам скорой помощи. Там они передали своего друга каким-то людям в белых халатах, первым попавшимся на их пути.

Затем Единственный взял под мышки тело Стального, вытянул его из автомобиля и потащил в сторону стоявшей неподалёку скамьи. Воры уложили тело товарища на лавочку и по очереди поцеловали его в лоб.

Тюрьма поднял взгляд к небу, потом перекрестил Стального и закрыл ему глаза своей испачканной в крови ладонью.

В этот момент к зданию института на огромной скорости вылетела омовская шевроле. Дико выла сирена, мигали огни. Единственный схватил Яшу за руку и потянул его к сидроену.

Началась бешеная погоня. Ситроен летел с огромной скоростью, уходя в сторону Ленинградского проспекта. Ментовская шевроле не отставала. Расстояние между несущимися машинами то сокращалось, то увеличивалось. Единственный петлял между едущими рядом машинами, не давая ментам возможности открыть прицельный огонь.

Тюрьма затолкал в «стечкин» свежую обойму и теперь вертелся на переднем сиденье, как юла.

– Сворачивай во дворы, дворами уйдём, – закричал он.

Единственный резко завернул машину. Ситроен, несколько раз бешено крутнувшись, на секунду застыл на месте. В это мгновение Тюрьма и менты из подкатившей следом шевроле одновременно начали стрелять.

Единственный увидел, как брызнуло лобовое стекло шевроле, окрасившись в красный цвет. Оба мента, сидевшие впереди, отвалились вбок. словно в крутом американском боевике, распахнулась задняя дверь автомобиля, оттуда вылетел омовец в маске и бронежилете. Совершив сумасшедшее сальто в воздухе, он выпустил длинную очередь по сидроену. Тюрьма неожиданно охнул и начал заваливаться на Единственного. В следующую секунду сидроен, визжа резиной, сорвавшись с места, уходил от выскочившей сбоку милицеской машины.

Миновав несколько дворов, Единственный вывел сидроен к какому-то кафе. Из белой девятки, запаркованной около входа, выходил молодой парень. В этот момент рядом как вкопанный встал сидроен.

– Помоги! – приказал Единственный ошеломлённому парню.

Тот не посмел послушаться. Вдвоём они с Единственным перетаскивали потерявшего сознание Тюрьму в салон девятки.

– Я тебе отвечу добром, парень, – быстро и отчётливо проговорил Единственный. – Мне сейчас надо спасти друга. Не звони в милицию, машину верну целой. Пока заberi этот ситроен, припаркуй его где-нибудь во дворах, пусть стоит.

На глазах у изумлённого парня Единственный завёл девятку и автомобиль рванул с места. Вор точно знал, что парень не станет звонить в милицию. Теперь нужно было спасать Якова.

Единственный, петляя по незнакомым дворам, безнадёжно заблудился. Он плохо знал Москву и неважно в ней ориентировался. Ежеминутно оборачиваясь, он окидывал взглядом друга. Тюрьма лежал на заднем сиденье, истекая кровью. На груди у него расплылось большое красное пятно, пуловер на правом боку набух и потемнел от крови.

В отчаянье скрипя зубами, Единственный вертелся во дворах огромного города, как на сумасшедших гонках. Он не имел ни малейшего понятия, где они находятся сейчас и в каком направлении ему гнать.

Яков начал хрипеть, на груди у входного отверстия от пули пузырилась кровь. Собравшись с силами, Тюрьма проговорил:

– Брось меня здесь. Уходи пехом, на тачке тебе не уйти. Менты пусть будут на мне, зачем тебе опять под вышак?

– Не гневи Бога, Яков! Терпи, сейчас прорвёмся! – заорал на него Единственный. – Я тебя ни за что не брошу!

Единственный отвлёкся от дороги, и девятка чуть не врезалась в жёлтую волгу – такси с шашечками на крыше. Вывернув руль до отказа влево, Единственный избежал удара. Вдавив в пол тормозную педаль, он как вкопанную остановил свою машину параллельно такси.

– Где здесь ближайшая больница? – заорал Единственный на ошеломлённого таксиста.

Тот объяснил с выпученными глазами, пытаясь заглянуть в салон девятки. Вроде бы ему удалось разглядеть на заднем сидении истекающего кровью Якова. Выслушав объяснения, Единственный воткнул передачу и рванул в направлении, указанном таксистом. По его словам, клиника была недалеко, всего километра два. Нужно было до-ехать до здания «Эксим-банка» и за ним повернуть налево.

Немного покрутившись среди новостроек, девятка вырвалась на широкую дорогу. Теперь надо было взять вправо. Завернув, Единственный быстро погнал машину, переключая скорости, благо движение на этой улице не было оживлённым. Он уже включил было четвертую передачу, как увидел на обочине ментовского жигуля с тёмно-синей полосой на боку.

Позади машины стояли два гаишника. Один из них, увидев летящую на скорости девятку, сделал шаг вперёд. Единственный понял, что сейчас он поднимет жезл. «Сука! – прошептал он. – Тебе это надо?»

Единственный, держа руль левой рукой, сбавил скорость, сделав вид, что понимает намерения гаишника. Одновременно он перенулся и правой рукой быстро опустил боковое стекло, потом взял лежавший на сидении «стечкин» Якова.

Медленно проехав мимо гаишников, Единственный остановил девятку прямо напротив левого колеса милицейского автомобиля. Не выключая скорости, держа одну ногу на выжатом сцеплении, а другую – на педали газа, он быстро распахнул пассажирскую дверь девятки и трижды выстрелил по колесам жигулёнка. Жигуль сразу же осел набок, упав на диск. Девятка уже неслась вперёд, оставив позади перепуганных насмерть гаишников.

Единственный собственноручно занёс Якова в операционную. Ворвавшись в клинику с окровавленным Яковым на руках, Единственный, не медля, разыскал дежурного хирурга, грозно крича на перепуганных сестер. Неся Якова на руках, он почти бежал по коридору к операционной, властно отдавая распоряжения полному очкастому хирургу, семенившему рядом.

– Немедленно оперируй его! Сделай всё возможное и невозможное. Запомни: ты должен его спасти!

Единственный бережно положил Якова на стол. Потом сунул в карман белого халата хирурга пачку долларов, наверное, тысячи три, и проговорил уже более спокойно:

– Ты спасаешь хорошего человека, поэтому тебе должно повезти!

Вбежали сразу три медсестры. Очкастый хирург, оправившись от неожиданного наезда, начал отдавать быстрые и чёткие команды. Медсёстры забегали по операционной, делая необходимые приготовления. Видно было, что они хорошо знали своё дело. Одна из них в категоричной форме приказала Единственному выйти из операционной. Он нехотя подчинился ей.

Полтора часа Единственный ходил по коридору, время от времени выкуривая сигарету. Нервы его были натянуты до предела. «Надо взять себя в руки», – твердил он себе. То и дело, однако, он посматривал воспалёнными глазами на дверь операционной. Над ней светилась красными буквами надпись: «Тихо! Идёт операция!»

Что происходило за дверью, как там Яков? Единственный сердцем верил, что всё закончится хорошо, и всё же ожидание было мучительным. Наконец раскрылась дверь и вышел хирург. Его белый халат был испачкан кровью. Он подошёл к Единственному и снял белую шапочку, обнажив почти лысый череп. В этот момент сердце Единственного чуть не оборвалось.

– Что?! – вырвался из его груди стон-вопрос.

– Всё хорошо! – устало пробормотал хирург.

– Так какого же хрена ты снял шапку? – взорвался Единственный.

Нервы его не выдержали. Он был готов застрелить очкарика, но тут же взял себя в руки и крепко обнял доктора, выдохнув – прошептал тому на ухо:

– Спасибо тебе!

– Ничего, парень он крепкий, – отозвался хирург. – Всё будет нормально. Самое страшное уже позади. Но я вынужден сообщить об этой операции в милицию!

– Я знаю! – ответил Единственный. – Сообщай! Но только после того, как мы его увезём.

К ним по коридору быстрым шагом, почти бегом, приближался личный адвокат Якова, еврей Нестор Авдиевич. За ним следом поспевали четверо крепких парней из охранной фирмы, специально созданной Яковым.

Пока шла операция, Единственный по сотовому телефону со звонился с Нестором Авдиевичем. Теперь, при виде этого ловкого человечка, он успокоился и понял, что уже приняты все меры, необходимые для спасения Якова.

Очкастый хирург попробовал было протестовать. Но быстро понял ситуацию и сказал Единственному:

– Опасность, конечно, миновала, но он потерял много крови. Ему будет нужен квалифицированный врач.

Наблюдая за тем, как вывозят на каталке белого как мел, Якова, Единственный ещё раз поблагодарил хирурга и пошёл к двери. На ходу он поручил одному из парней-охранников спрятать где-нибудь белую девятку и передал ключи от неё.

– Смотри, с тебя потом спрошу, – предупредил Единственный.

Глава 3.

СМЕРТЬ ЯНЫ

Словно матёрый волк, потерявший свою спутницу, красавицу-волчицу, кружил Миша Серебряный, уходя от всевидящего ока КГБ. Он то «залегал на дно» в многонаселённых кварталах больших городов, то укрывался на сиротливых лесных хохлацких хуторах. Но вновь и вновь возвращался на след красавицы Яны.

Так хищник, потерявший подругу, в безумном беге от охотников, жаждущих его крови, идущих по следу, кружит, пытаясь оторваться от погони. Он то залегает в лесных буераках, то выходит на открытое пространство, вконец запутав преследующих его. Потом опять, рискуя быть убитым, снова и снова возвращается туда, где в бешеной травле потерял подругу. А она, оказывается, подраненная, истекающая рубиново-красной кровью на бурый задутый снег, уже ушла, специально уводя погоню за собой.

Так красавец вор Серебряный кружил по следу своей Яночки. Ему удалось узнать, что Яну перевезли из Одессы-мамы в Москву, что её томят в страшных подвалах Лубянки, где ещё во времена «железного» Феликса стигнуло не за понюх табака столько народа. Да и потом, от Ягоды до Ежова, от Ежова до наркома Берии, сексуального маньяка, сколько их кануло как в воду, безвестных, сколько? ГУЛАГ умеет хранить свои кровавые тайны!

Серебряный знал, что и сегодня на Лубянке царят всё те же бевсовские нравы и что инквизиторы от КГБ в полуосвещённых подвалах могут залапать грязными руками его бесценный бриллиант. Он знал, что Яночку могут изнасиловать, унижить, растоптать, размазать, могут отдать в камеру, где чекисты специально для этих целей содержат отъявленных скотов.

Серебряный поскуливал по-волчьи, но не отчаивался, ибо знал магическую силу пословицы: «Посыпь золото в реку, и в ней откроется брод». Он терпеливо ждал случая и молил своего еврейского Бога, чтобы тот спас Яну и дал ей силы держаться. Сам Миша уже давным-давно свалил бы за бугор, подальше от длинных лап гэбэшников – туда, где они будут не в состоянии достать его. Но не мог он бросить Яну, не устроив ей побег. Правда, хотя она и была его любимым сокровищем, всё же он не был влюблен в неё, как влюбляется мужик в бабу.

Он был вором. А воровской закон гласит: «Подельника в беде не бросают». Эта аксиома была основополагающей для Серебряного.

Когда, спустя несколько месяцев, Яну передали в ведение МВД и перевели в «Матросскую тишину», Миша встрепенулся. Теперь оставалось подождать ещё немного. Пусть будет суд, дадут срок, пусть Яна уедет в зону. Когда подзабудут мусора об этом деле за наслоением других проблем – слава богу в этой стране проблем всегда хватало – вот тогда Миша либо выкупит Яночку, либо, если не получится выкупить, организует ей побег. С тем и жил городской вор.

Однако, словно гром среди ясного неба, на него обрушилась информация, за которую впрочем пришлось заплатить немалые деньги. Его красавица-Яночка, верная подельница, не сломавшаяся на Лубянке, не сдавшая его гэбэшникам, на далёкой Ангарской зоне сочеталась законным браком с каким-то молоденьким зэком.

Чуть позже Миша узнает всё за Яшу Тюрьму. Узнает, что мальчишка сиротой вырос в детдоме, что он есть сын авторитетного законника, о котором Серебряный слышал много благородного. Расскажут Мише и о том, что посаженным отцом на бракосочетании Яши и Яны был не кто иной, как патриарх их мира, престарелый вор Чахотка. Всё это Миша узнает чуть позже. А поначалу новость о том, что Яночка вышла замуж, застигла его, ко всему готового и дальновидного еврея, совершенно врасплох.

Этого он никак не мог предусмотреть. Раньше, ещё в безоблач-

ные времена, когда они с юной подельницей раскатывали на сверкающей чёрной волге, Миша подозревал, что, быть может, он даже и влюблён в неё. Но сразу же отмахивался от этих мыслей, отгоняя их от себя, как назойливых мух. Теперь же, при известии о её замужестве, он почувствовал боль. Резкую боль, пронизавшую его сверху донизу.

Ещё нестарый вор в законе, Серебряный сидел, подперев рукой подбородок, покрытый отросшей за дни скитаний бородой, в которой пробивалась седина, и грустно напевал:

*Пытал меня мусор, крыса позорная:
– Рассказывай, сука, с кем в деле была?
А я отвечала им гордо и смело:
– Это душевная тайна моя!...
Мамочка-мама, прости, дорогая,
Что дочку воровку на свет родила,
С вором ходила, вора любила,
Вор воровал, воровала и я!..*

Эх, доля воровская! Менты отняли Мишину лебёдушку, а какой-то смазливый арестант заставил её влюбиться в себя. Ибо знал Серебряный, что никогда его Яна не пойдёт ни за кем без любви.

Какая огромная потеря! Всё же, несмотря ни на что, он будет готовить ей побег. Отдаст огромные деньжищи, но вырвет Яну из лап ГУЛАГа, потому что она была и остаётся его подельницей! И вот уже часть денег отдана поганым мусорам и придуман план: красивый, красивее не придумаешь.

По спецнаряду Яну должны были вывезти из Ангарской спецзоны и отправить в глухую Вологодскую область. А там, на станции с причудливым названием Вычегда, Яночку должны были передать конвою. Но какому конвою! В том-то и дело, что настоящий конвой, купленный за хорошие «хрусты», должен был опоздать к поезду на тридцать минут по причине якобы случившейся в дороге поломки автозака. А встретить состав и принять с вагонзака красавицу-Яночку должен был сам отчаянный Серебряный в форме капитана – в сопровождении конвоя, состоящего из бывших уроков, на автозаке с новым, проверенным, мощным движком. Досконально знал Серебряный всю процедуру передачи зэка от конвоя к конвою, поэтому не сомневался в успехе операции.

Тридцать минут. Много это или мало в жизни? В запланированном Мишей побеге эти минуты значили очень много. Всего за тридцать минут автозак с Яночкой и «конвоем» должен был уйти до Омсюты, а там их уже ждал бы по графику вертолёт, а дальше – «гуляй, Вася, ешь опилки, я – хозяин лесопилки!»

Всё вроде бы взял в расчёт предусмотрительный вор, кроме одного. Вологодский конвой! Как же точно сказал о нём в стихотворении Михаил Дудин:

*Не крути головой,
Головой не крути.
Вологодский конвой
Беспощаден в пути.
Или пуля в упор,
Или штык под ребро.
И – окончится спор.
И – исчезнет добро.*

Захмелевшие, с красными рожами, допившиеся вместе со своим начальством до того, что не понять, кто из них старшой, они выпучивали кроличьи глазёнки, когда в полупустом вагонзаке увидели красавицу-еврейку. Это им не те деревенские, толстомясые, с картофельными шнобелями блядёшки. Зэчка и в лагерной робе была, словно сошедшая с неба богиня!

Дорога дальняя, перестук колёс, самогону, слава чёрту, хватает, да и этап попался так себе, чертовё одно бухтосмазочное, никого серьёзного.

Зачесалось в паху у сержанта по кличке Утюг, зашевелился блуд, хоть и пьян он был. Так уже было не раз – выводили они зэчек из клетки и брали на хор. Ну, а эту? Уже несколько раз подходил Утюг к клетке Яны, пытаясь заговорить с ней. Однако гордая зэчка с презрением отворачивалась от него. Это ещё сильнее разогрело Утюга, жертву пьяной акушерки.

Подбил он на дурное дело начальника – старлея, засидевшегося в своём чине уже более десяти лет, хлопнув с ним по гранёному стакану мутного вонючего самогона. Ещё примкнул к этим двоим рядовой по кличке Упырь.

Втроём направились они к клетке соблазнительной зэчки и отомкнули замок на металлической двери. Яна была готова к на-

падению. В руке у неё была половинка бритвенного лезвия «Нева», так называемая «мойка». Этой «мойкой» она и полоснула со всей силы здорового Утюга, целясь по глазам, да расплосовала только его щеку и зацепила по руке плюгавого вечного старлея. Больше она ничего не успела сделать. Под аккомпанемент воя потерявшего разум начальника и отборные маты Утюга трое пьяных негодяев вытащили её в коридор. Никто из этапа даже не вякнул, каждый дрожал за свою шкуру.

Что может сделать хоть и очень красивая, но слабая женщина? Там, где в мчащемся по рельсам вагонзаке волею судьбы собралась одна мразь.

Они затащили Яну в купе начальника караула. Там рассвирепевший от боли Утюг вместе с Упырём, под ободряющий мерзкий вой их плюгавого собутыльника-старлея, кованными сапогами сорок четвертого размера избili свою жертву так, что она потеряла сознание. Когда же девушка, отключившись, затихла на полу, Утюг грубо, рывком схватил её, такую лёгкую, поперёк туловища и кинул на полку.

Упырь задрал на ней юбку и сдёрнул трусики, обнажив белоснежные девичьи бёдра.

– Давай, начальник, пошевеливайся. Вгони ей под кожу своего жеребца! Смотри, какая жидовка! Такая раз в жизни попадает. Правда, злющая, но ничего, щас мы на ней отыграемся. Ну чего ты, не мужик, что ли? Давай быстрее. Ты под кожу ей, а я за щёку дам, пока она в отключке – не откусит.

Здоровенный Утюг омерзительно заржал, ощеривая вонючие, гнилые, лошадиные зубы.

Он подтолкнул всё ещё сомневающегося, хотя бы и пьяного, старлея, плохо стоящего на ногах, вываливая из ширинки свой вздыбившийся член.

Наконец возбудился и старлей и засуетился.

– Быстрее! – подстегнул его Утюг.

Старлей залез на лежащую под ним без сознания беззащитную девушку, засовывая в неё свой кривой членик, опоганивая прекрасную еврейку.

– Упырь, руки ей держи, да покрепче! Ты потом, после меня.

Утюг приподнял голову Яны за выбившиеся из-под лагерной косынки, разметавшиеся, волосы цвета воронова крыла. Сжав изо всей силы своими узловатыми, словно корни скасаула, сильными

цепкими пальцами челюсти девушки, он заставил её открыть рот. И глубоко внутрь затолкал, сквозь полные губы цвета переспелой черешни, свой большой пульсирующий член. При этом он ядовито и гадко лыбился. Девушка застонала.

От перевозбуждения Утюг моментально кончил. Часть спермы попала девушке в рот, остальное – на лицо, шею и волосы. Потом Утюг ударом кулачища вновь отключил пришедшую было в себя Яну, и на неё взгромоздился сгорающий от нетерпения Упырь.

Яна всё ещё была без сознания. Она лежала неподвижно, с голыми бёдрами, облитая желтоватой спермой. Удовлетворившие свою похоть ублюдки треснули ещё по стакану самогона. Но вместо того, чтобы опьянеть ещё сильнее, трое подонков внезапно протрезвели.

– Я вас под трибунал отдам! – зашипел старлей на своих поделльников. – Вы что натворили?

– Молчи, сука! Ты первый её е...л. Тебе как старлею вкатят на всю катушку. А то, видишь ли, как кого вые...ть, так ты первый, а чуть что, так в кусты? – Утюг грозно наступал на своего начальника.

– Что же делать будем? Щас она в себя придёт, – умоляюще заломил руки старлей.

– Давайте отнесём её в клетку, где она была, и повесим на её же шарфе. Скажем, что сама вздёрнулась! – предложил, радуясь осевшей его мысли, долговязый Упырь.

Никто из двоих не возразил, только старлей вякнул:

– Сперму надо бы стереть и трусы на место одеть.

– Потом, – отмахнулся Утюг. – Сначала вздёрнем. Помогай, чего стоишь? – прикрикнул он на старлея.

Втроём они перетаскивали несчастную зэчку в её камеру-купе. Слава чёрту, все упившиеся конвоиры спали в другом конце вагона. Накинули Яне на шею длинный цветной трикотажный шарф, скрученный Упырём в виде петли. Приподняв девушку, перебросили другой конец шарфа через угольник, подпирающий верхний лежак.

После того, как Утюг надёжно завязал конец шарфа, Упырь с облегчением бросил отяжелевшее тело девушки, всё ещё пребывающей без сознания. Петля на шее Яны затянулась. Девушка начала дёргаться, но Упырь крепко держал её за руки, а Утюг – за ноги. Яна долго, очень долго продолжала извиваться, не желая умирать. Потом как-то вдруг тело её обвисло, покорно вытянувшись по вертикали.

– Фу ты! Какая живучая! – Утюг вытер со лба пот тыльной стороной ладони и свистящим шёпотом отдал приказание Упырю. – Сотри всю гадость с неё, чтобы ни следа не осталось. И вот её трусы, надень, как было. А мы с шефом пойдём, засадим по стаканчику за упокой её души. Девка была, что надо! Как её щель, тесная, а? Ты же побывал? – Утюг издевательски заглянул в лицо старлею.

В своём купе старлей дрожащими руками взял карточку Яны и посмотрел в неё:

– Ухты! Она же в Вычегде выходит, это уже скоро!

– В Вычегде выходит! – передразнил его Утюг. – В Вычегде мы её вынесем и передадим конвоем. Так по закону положено. А ты сейчас же садись и составляй рапорт о том, как ты, в присутствии нас с Упырём, обнаружил её повешенной. Сама на себя руки наложила, бедняжка. Понял?

Серебряный в форме капитана милиции и ещё трое его товарищей, также переодетые в милицмейскую форму, в напряжении ждали подхода поезда.

– Какая-то ночь смурная! – раздосадованно произнёс вор. Его сердце что-то было не на месте, словно он дурное предчувствовал.

«Нервы сдают», – подумал он. Увидев разрезающий темноту мощный прожектор тепловоза, Серебряный подал команду:

– Внимание! Приготовились!

Подельники побросали горящие окурки на землю, ещё не просохшую после вечернего дождя, и передёрнули затворы автоматов, досылая патроны. Серебряный тоже вынул из кобуры «Макарова», снял его с предохранителя, взвёл курок. Потом вернул на место, чуть сдвинув кобуру вперёд, чтобы в случае чего было удобней его выхватить.

Он и его товарищи знали, на что идут, и были готовы ко всему. Хотя операция была тщательно спланирована, все необходимые документы подготовлены, случиться могло что угодно.

Тепловоз проскочил мимо, обдав Мишу жаром и грохотом. Вслед за ним загромыхали пассажирские вагоны. Заскрипели тормозные колодки, поезд останавливался.

Вагоны, замедляя ход, чередой проскальзывали мимо Серебряного. Вот и ожидаемый с таким нетерпением вагонзак. Они всё правильно рассчитали, вагон остановился почти рядом с ними.

Водитель автозакa ловко поставил машину боком так, чтобы

между автозаком и вагоном оставалось не более пяти метров. Серебряный с водителем встали с одной стороны, двое других – против них.

Открылась дверь вагонзака, и в дверях возник белобрысый сержант, здоровенный, с двумя металлическими буквами ВВ на погонах.

По металлическим ступенькам вагона к ожидавшим спустился начальник конвоя, маленький тщедушный старлей. Он вялой рукой взял под козырёк, хоть был без фуражки. Обдавая вора отвратительным запахом сивухи, представился:

– Начальник конвоя, старший лейтенант Сивоконь, – и протянул папку с личным делом Яны.

Серебряный в свою очередь козырнул, поднёс руку к фуражке, и спросил:

– Большой этап?

– Да не! Немного. Тут у нас конфузец произошёл. Так сказать, ЧП небольшое.

Серебряный насторожился. Буравя взглядом начальника конвоя, всмотрелся тому в лицо. Старлей весь как-то сморщился, напоминая собой грибок-поганку. Уводя взгляд в сторону, он пролепетал, кривя мокрые слюнявые губы:

– Зэчка, которую мы должны были передать вам, вздёрнулась сама, понимаете?

Он обернулся к стоящему позади белобрысому сержанту, словно ища поддержки. Щека у того была заклеена белой полоской лейкопластыря, сквозь которую проступала кровь. Старлей развёл руками:

– Вот мой рапорт, здесь я написал обо всём. Мы втроем её обнаружили. Глядим – висит, раскачивается на собственном шарфе, – потом прикрикнул на сержанта. – Ну, выносите же быстрее, балбесы! Чего стоите, поезд-то ждать не будет!

Сержант суетливо нырнул в вагон, и было слышно, как он там внутри, бряцая металлом, открывает дверь.

Серебряный мгновенно всё понял. Сердце его сначала сжалось, а потом стало расти, увеличиваясь всё сильнее, грозя заполнить всю грудную клетку и лопнуть, переполнившись кровью. Мозг Серебряного лихорадочно работал, пока он разглядывал бегающие, как у гадкой омерзительной крысы, глазёнки старлея и заклеенную пластырем с выступившей кровью щеку бугая-сержанта.

«Нет, никогда моя Яночка не полезла бы в петлю сама! А щека сержанта – это, видно, она его мойкой полоснула, защищаясь».

Догадка ослепила его как вспышка. «Это же вологодский конвой!» Из груди Серебряного чуть было не вырвался мучительный стон. «Всё предусмотрел, а об этом не подумал!» Усилием воли вор сжал скрипнувшие зубы, сдерживая идущий изнутри вой, и взорвался на старлей:

– Ну, иди же! Помоги вынести её!

Старлей, не пытаясь воспротивиться, кинулся навстречу сержанту, выносящему из вагона обмякшее тело Яночки. Серебряный взглянул на товарищей, застывших в гневе, ожидавших его решения. Чуть заметно кивнул им головой, подавая знак.

Белобрысый сержант тащил мёртвую Яночку, пропустив руки ей под плечи, а длинный, мерзкого вида солдат держал её ноги. Иссиня-чёрные вьющиеся густые волосы Яны волочились по захарканному полу тамбура вагонзак, задевая плевки.

– Осторожней, осторожней, болваны! Давай её сюда! – подпрыгивал старлей.

– Примите! – приказал Серебряный своим товарищам, незаметно растегнув кобуру.

Тело Яночки передали переодетым в милицейскую форму «конвоирам».

– Положите на землю. Я должен осмотреть её, – приказал вор.

В жёлтом свете фонаря и включённых фар автомобиля Серебряный, нагнувшись, рассматривал свою единственную, теперь безумно любимую им женщину.

На её искажённом смертью лице застыла страшная гримаса боли. Глаза Яны смотрели на вора, словно требуя отмщения. По многочисленным синякам и ссадинам на руках и шее Яны Серебряный легко догадался, что её избивали.

Вор коснулся рукой её юбки – его взгляд привлекло тёмное пятно. Под пальцами стало липко. Теперь он понял всё, и боль вновь всколыхнулась в нём: «Они надругались над ней!» Серебряный выпрямился. Быстро взглянув на товарищей, опустил глаза.

– Грузите её в автозак, – отдал он приказ, боковым зрением следя за конвоем. Когда товарищи Серебряного занесли Яночку в автомобиль, пистолет уже был в холодной руке вора. Он развернулся лицом к старлею. Мусор и вор смотрели в упор друг на друга, и в глазах вора плюгавый старлей увидел свою смерть.

– Это тебе мразь, держи! – тихо проговорил вор, при том, что в голосе его слышались стальные ноты, и выстрелил, приставив пистолет ко лбу старлея.

В узеньком лобике вспыхнула красная дырка. Серебряный успел увидеть, как вылетели и разбрызгались по сторонам мозги грязного цвета. Вор толкнул кулаком в грудь эту мразь, ещё секунду назад живую, а теперь уже мёртвую. Быстро трижды выстрелил в белобрысого сержанта, всаживая все три пули тому в живот. Сержант ойкнул, схватившись обеими руками за брюхо. Сначала он упал на колени, будто прося прощения, затем рухнул мордой в грязь. Упырь попытался укрыться в вагоне, но его подрезал длинной очередейю один из товарищей Серебряного. Упырь распрямился и, раскинув руки в стороны, рухнул из вагона прямо на сержанта.

Взревел по-звериному двигатель автомобиля, Серебряный прыгнул в открытую дверь автозака, крикнув:

– Гони!

Словно мустанг рванул с места тяжёлый автомобиль, стремительно уходя в ночь. Оставляя за собой трупы трёх мразей, увозя мёртвую отмщённую любовь вора!

Яков узнал обо этом только спустя три года. После того, как он прошёл все ужасы «крытки» на Соликамском «Белом лебеде». Там ментам не удалось сломать гордого молодого арестанта, и его вывезли на строгую зону под Иркутском. Там Яков узнал, что Серебряный подготовил побег его Яночке и что она погибла от рук вологодских конвоиров. Узнал и о том, что вор забрал её осквернённое тело и завалил трёх гадов, надругавшихся над Яной.

По ночам Яков уходил за барак и падал в снег, коченея на лютот, сквозном ветру. Глотая удушливые солёные слёзы, он яростно шептал сам себе: «Поганые мусора! Как же я вас ненавижу!» Якову не хотелось жить, он желал умереть прямо здесь, на колючем ветру. Перед затуманенным взором Якова стояла его красавица-жена, и он выл по-звериному, стараясь перекрычать вой взбесившейся природы.

Здесь, на чёрной зоне, Яков получил весточку – письмо от своего старого друга и подельника Антона. Антон, также слышавший об этой трагической истории, догадался, что всё произошло с любимой женщиной его воспитанника Якова. Из далёкого Мордовского лагеря Антон через этапников передал ему маляву. Яков держал

в руках клочок бумаги, исписанный с обеих сторон мелким красивым почерком, вновь и вновь перечитывая его. Антон писал ему:

«Дорогой Яшенька! Такова уж эта подлая жизнь. Некоторым, таким, как мы, она выделила на долю одни лишь страдания и муки, кровь и боль! Держись, мой друг и подельник! Мы отомстим мусорам за наши слёзы. Придёт наш час. Крест наш тяжёл, но надо нести его во имя идеи нашей, надо положить жизнь нашу на алтарь воровского! Обнимаю тебя! Всегда вместе с тобой в любых терниях и думах. Твой Антон».

Только благодаря тёплому письму друга выжил тогда Яков. И тогда же он дал себе клятву всю жизнь мстить мусорам.

С его приходом зона ожила. Яшу все уважали за справедливость и нестигаемость. Во всех отрядах лагеря стали собирать общак. Мужики с пониманием и уважением выслушивали молодого зэка, хотя он и не был вором в законе.

А ещё через полгода за организацию массового неповиновения лагерной администрации Якова вновь осудили на три года. Желая избавиться от ставшего опасным заключённого, его отправили во Владимирский централ – снова в «крытую».

Три года Яков мужал в «крытой» города Владимира. Здесь он повстречался со многими законниками, перенял их знания и мудрость. Здесь воры закрепили его «смотрящим» за корпусом, и Яков на протяжении трёх лет с честью нёс этот крест. Воевал с ментами, противопоставляя их бесчисленным интригам здравый смысл и свой молодой острый ум.

Три года камерной системы отмытарил Яков. Всё это время он жил надеждой освободиться и исполнить завещание мудрого вора Чахотки. Того самого, кто был посажённым отцом на свадьбе Якова и Яны и кто уже ушёл в мир иной.

Отсюда, из Владимирской «крытой», по окончании срока за ворота тюрьмы Яков вышел, коронованный семьёй ворами, став законником по кличке Тюрьма.

Освободившись из каменного мешка Владимирского централа Яков сразу же направился в Питер, в то время ещё Ленинград. Надо было начинать вольную жизнь. И начинать надо было очень осторожно, внимательно приглядевшись к тому, что происходило на воле.

Страна с помпой готовилась к проведению Олимпийских Игр.

Огромная держава, простирающаяся с севера на юг и с запада на восток на тысячи и тысячи километров, уже тогда была изъедена изнутри. Будто бы крошечные черви источили ствол и корни гигантского векового дерева. Закавказье и Средняя Азия были сплошь коррумпированы. Партийный аппарат, МВД, народный и партийный контроль – все были в одной, огромной, хитро сплетённой паутине, нити которой уходили в Москву, на самый верх.

Процветали теневая экономика и цеховой подпольный бизнес. Взятки текли поначалу тоненькими ручейками, подобными ручейкам, с которых начинаются истоки малых рек. Затем, сливаясь, они постепенно превращались в могучие, невидимые, скрытые от постороннего взгляда полноводные реки. Наполняя по ходу плавного течения тихие заводы – сначала районных, потом областных, потом республиканских масштабов, эти реки текли уже в столицу страны развитого социализма.

Внешне страна жила в обычным ритме, который задавали ей Госснаб, Госплан и другие заповедники чиновничьего мира. Активно возводилась «стройка века» – Байкало-Амурская Магистраль, выполнялись досрочно пятилетки. Республики рапортовали родному ЦК КПСС о миллионах тонн угля, выданного из недр на-гора, о бурении новых и новых скважин для добычи «чёрного золота» – нефти, о закладке новых городов и о горах собранного «белого золота» – хлопка.

Для воров в законе в этот период в стране создалась ситуация, благоприятная для того, чтобы выйти из глухого подполья и взять события, происходящие в криминальной жизни страны, вновь под свой контроль. Представители теневого бизнеса – цеховики – стали всё чаще и чаще обращаться к вора в законе, чтобы те оградили их от расцветающего по отношению к ним беспредела. Заимев немалые деньги, цеховики теперь боялись за свои семьи, поскольку милиция не могла оградить их от посягательств «преступного элемента».

На воровской сходке, прошедшей в Сочи, крутые представители теневого бизнеса дали согласие отстёгивать по десять процентов от прибыли в воровской общак – в обмен на гарантии своей безопасности.

Вот и родной Питер. Всё здесь знакомо до боли.

Надо было пройти леденящие морозы Ангарска и Иркутска, за-

гибаться в стальных, как для зверей, заготовленных, клетках «Белого лебедя» и каменных мешках Владимирского централа. Нужно было впервые в жизни полюбить – под заунывную, как зубная боль, песнь вагонных колёс. Нужно было по злой воле печальной арестантской судьбы потерять свою любовь! Надо было всё это пережить, чтобы с такой радостью и в то же время грустью ступить на перрон Московского вокзала любимого города.

Яков шагал по Васильевскому острову, направляясь на квартиру постаревшей к тому времени Червонки. Где бы он ни был, куда бы ни забрасывала его судьба, он всегда поддерживал с ней связь. Иногда даже при возможности отсылал ей из лагеря небольшие суммы денег.

Все улицы были так знакомы! Порой Яков замедлял шаг у тех или иных, особо близких ему, зданий, прикасался к ним, словно хотел убедиться, что это происходит наяву.

Вот и знакомый подъезд, совсем не изменившийся за прошедшие годы. Истёртые от времени ступеньки привели Якова к знакомой старой двери, за которой он когда-то так счастливо встречал с отцом Новый Год!

Даже звонокбрякнул точно так же, как и десять лет назад. Старая дверь распахнулась. За ней стояла Червонка, извещённая о его приезде, уже заждавшаяся.

– Ну, вот и я! – Яков широко раскинул руки, перешагивая побитый порог. – Здравствуй, родная моя!

– Яшенька, сокол мой ясный! Наконец-то я дожидла до этого дня!

Червонка обняла Якова и трижды расцеловала в обе щёки – по воровскому обычаю. Встреча была радостной для них обоих. За те годы, которые Яков прожил у Червонки – после того, как отец забрал его из детдома, и потом, когда его опять посадили, мальчик сроднился с этой бедовой женщиной, плоть от плоти их мира. Она заменила ему мать.

Яков ходил по квартире и удивлялся каждой мелочи. В этой квартире, повидавшей многое и многих, всё стояло на своих местах, словно и не было этих десяти лет.

– Комнату я твою, Яшенька, сохранила, – говорила Червонка. – Всё оставила, как было при тебе, никого в неё не селила за эти годы.

– Родная моя! – Яков, засмеявшись, обнял изрядно постаревшую женщину, прижал её к себе. – Спасибо тебе! Вот и заживём как прежде, и всё у нас пойдёт ладом-чередом.

Только теперь Яков вполне ощутил, что наконец-то он действительно на свободе. Тихая радость переполняла его душу.

Проговорили они до глубокой ночи. Десятки раз Червонка разогревала чайник, нарезала сыр, колбаску, предлагала и другой дефицит. Всё рассказал ей Яков о прошедших годах и про Яну тоже. Червонка, которая относилась к Яше как к сыну, любила и всегда понимала его, всплакнула горестно, услышав о трагической гибели его юной жены. Она проклинала ментов поганных до седьмого колена. Потом и она рассказала о том, что знала. Правда знала она теперь немного.

– Не те теперь пошли времена, Яшенька. Все, кто раньше приходили в этот дом, порастерялись где-то на дорогах жизни. Где кто? Один Всевышний знает, – потом пожаловалась на своё здоровье. – Сердечко болит, не переставая. Иногда ночью становится страшно, думаю: вот усну и не проснусь боле. Только ожидая тебя, Яшенька, и выжила.

На Каменноостровском проспекте Яков без труда отыскал нужный ему дом. Поднялся на третий этаж и нажал на кнопку. Звонок отозвался громко, серебристым отзвуком уходя в глубину квартиры. Он напомнил Якову звонки в детдомовской школе, извещавшие о начале урока.

Высокая старая дверь беззвучно отворилась. Вид возникшей в дверном проёме девушки поразил Якова. Он залюбовался открытым лицом, обрамлённым копной тяжёлых русых волос. Её большие серые глаза спокойно, изучающе смотрели на него из-под длинных, загнутых кверху ресниц.

Невысокая фигурка была будто бы вырезана искусной рукой из благородного дерева. Простое облегающее ситцевое платье выдавало постороннему взгляду упруго выпирающие девичьи груди и тонкую гибкую талию. Обнажённые до плеч тонкие белые руки, гибкостью напоминающие ветви молодой берёзки, были хрупки и красивы.

– Вы, должно быть, Анфиса! А меня зовут Яков. Я пришёл по просьбе вашего деда, чтобы исполнить данное ему обещание.

Девушка отступила в сторону, сделав приглашающий жест рукой. Яков шагнул в прихожую, снял обувь и, с разрешения юной дивы, прошёл в комнату.

Квартира располагалась в доме сталинской постройки. В ней

были высокие потолки, но маленькие комнатки. В той комнате, где оказался Яков, мебель была довольно старой, но сияла удивительной чистотой.

Девушка усадила Якова в глубокое кресло, покрытое белоснежной накидкой, а сама, пообещав вскоре напоить его чаем, ушла на кухню. Оттуда донеслось позвякивание посуды, слышно было, как хлопают дверцы кухонных шкафов.

Яков рассматривал содержимое книжных полок, которыми одна стена была заполнена целиком, от пола до потолка. Чего тут только не было! Множество классики: Дюма, Конан Дойль, Джек Лондон, Вольтер, Бальзак, Чехов, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. У Якова, соскучившегося за годы отсидки по книгам, просто разбежались глаза. Он не знал, за что братья. Хотя очень многое из того, что открывалось его взгляду, он в своё время прочитал – в детдоме, в школе, когда жил у Червонки, потом в институте, и позже, в лагерях. Но тут было много такого, что он взялся бы прочесть незамедлительно, отбросив в сторону все дела. Яков с детства был страстным читателем. Помимо художественной литературы, в лагерях он изучил немало специальных дисциплин. Его интересовали химия, физика, астрология, философия и многое другое.

Девушка, вернувшаяся в комнату с тем, чтобы пригласить Якова к чаю, была удивлена, застав гостя стоящим на коленях в окружении груды книг и листаящим Мопассана.

– Вы любите книги? – спросила Анфиса. Получив утвердительный ответ, призналась. – Я тоже! Только не хватает времени читать. Чем взрослее становится человек, тем больше у него появляется проблем и обязательств. И всё меньше времени удаётся уделять книгам, – заключила она огорчённо.

Потом они пили чай, сидя на кухне. Яков осторожно и очень сдержанно поведал девушке о себе. О завещании старого вора он не обмолвился ни словом, сказал лишь, что пообещал деду Анфисы привезти её с матерью на его могилу.

Дождаясь возвращения с работы матери Анфисы, они успели обстоятельно поговорить. К моменту её прихода Яков уже многое знал о жизни их семьи и мира, в котором обитала сейчас дивная внучка старого вора, покойного Чахотки. Молодые люди успели даже подружиться, что-то повело их навстречу друг другу. Якову

понравилось в девушке то, что она, юная русская красавица, не шарахнулась от него, когда узнала, кто он и откуда. А Анфисе понравился сидящий перед ней спокойный и рассудительный молодой мужчина с умным проницательным взглядом, совсем не похожий на человека, отбывавшего наказание.

Мать девушки, Вера, была женщиной лет пятидесяти. Строгим было её лицо, и таким же, видимо, был её характер. Много лет назад она развелась с первым мужем, отцом Анфисы, и попыталась ещё раз обрести своё женское счастье. Когда стало ясно, что её выбор вновь оказался неудачным, Вера прогнала спившегося сожителя. Она осталась в квартире одна со своей маленькой дочкой и решила остаток жизни посвятить ей. Работала Вера на Кировском заводе. Она была высококлассной фрезеровщицей и получала приличную для женщины зарплату. Дочери своей она позволяла многое, но никогда не баловала её.

Знакомство Веры с Яковом прошло сдержанно. Вера знала, что её отец умер в лагере, поскольку получила официальное извещение о смерти от администрации лагеря и письмо Чахотки, отправленное ей Яковом через волю. Знала она и про золото, и про то, что к ней рано или поздно приедет парень по имени Яков, который должен будет отвезти её с Анфисой на могилу, а потом помочь им добраться и до золота.

Проработав всю жизнь в большом советском коллективе, привыкнув самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, дочь вора равнодушно отнеслась к тому, что может скоро, в одночасье, разбогатеть.

– Отец писал в том последнем письме, что ты приедешь через два года. Где же ты пропадал? – спросила Вера строго. В этот момент в чертах её лица Яков увидел что-то от старого Чахотки.

Пришлось Якову рассказать пожилой женщине о всех перипетиях своей «одиссеи», где и почему так надолго он задержался.

– Я, конечно, не осуждаю своего отца, потому что почти ничего не знаю о его жизни, – медленно проговорила Вера. – Мне моя мать рассказала лишь, да и то перед самой своей смертью, что сидит он в каких-то лагерях и что фамилия у него такая-то. Это уже позже, когда не стало матери и я сама уже нахватаюсь горя в этой жизни, дважды разойдясь со своими мужиками, решила его разыскать. После многочисленных запросов и месяцев ожиданий ответов на них, я наконец-то узнала адрес лагеря, в котором он сидел в то вре-

мя, и решилась. Взяла Анфиску на руки и поехала в тьму-таракань – посмотреть на своего родителя. Сколько слёз невыплаканных и сколько слов берегла я для него! Хотела бросить в лицо ему – беспощадно, как он бросил когда-то меня маленькую. А увидела его и ничего не смогла сказать. Он сам всё это сказал в свой адрес. Только выплакалась я там, на свидании. Так трое суток и проплакала. Выплеснула боль, за все годы скопившуюся... – Вера помолчала и продолжила решительно. – А насчёт золота ты мне больше не говори! И слышать не хочу об этом! Я всю жизнь проработала, и себя прокормила, и дочь воспитала. Не вздумай ей рассказать об этом золоте! Нам этого не надо, – наотрез отказалась она.

– Но я дал слово вашему отцу, что найду золото и отдам половину вам, – запротестовал Яков. – Я не могу нарушить слово, которое дал перед самой его смертью.

– Отдай это золото в детдом! – Вера резко повернулась к нему, гневно сверкнув глазами. Лицо её передёргивала судорога. – Отдай его тем обездоленным, кто, как и я, не видел отцовской ласки! Рос, не зная, кто произвёл его на белый свет и куда потом делся, – последнее слово Вера будто бы тяжёлым камнем швырнула в него.

Яков, ошеломлённый яростью женщины, некоторое время не мог произнести ни слова. Но обида, душившая его, не позволила ему отмолчаться:

– Что вы на меня кричите? Если хотите знать, я сам родился в тюрьме. Ползать я научился там, на бетонном полу. Я вырос в детдоме и никогда не знал своей мамы. А отец у меня уже тридцать лет сидит в тюрьме, – проговорил он негромко, пытаясь успокоить разбушевавшуюся женщину.

– Ой, что вы говорите! – воскликнула Вера. Ее глаза наполнились состраданием. – Бедный мальчик, – прошептала она, как-то враз успокоившись.

Они ещё долго беседовали. Яков вкратце рассказал Вере о себе. Вера настаивала всё-таки на том, чтобы её часть золота Яков отдал в детский дом. Уступая её натиску, всегда хладнокровный и расчётливый Яков на этот раз миролюбиво согласился. Правда, сделал оговорку – небольшую на словах и много значащую на деле:

– Хорошо, мы поступим так, как решили. Но поймите вот что: если я заявлюсь вдруг в детский дом с кучей этого презренного металла, меня тут же арестуют. И отправят на всю жизнь туда, откуда я пришёл – это в лучшем случае. В худшем случае меня расстреляют. Да и с вами поступят так же, когда докопаются, чья вы дочь.

– Что же делать? – тихо и беспомощно спросила Вера.

– Когда ваш отец умирал на больничной лагерьной кровати, я дал ему слово, что, если буду жив, найду и отвезу вас к нему на могилу. Он очень просил об этом. Позже я доберусь и до золота. Возьму его столько, сколько можно будет продать через людей, соблюдая осторожность. Эти деньги я переведу в детский дом. А остальное пусть лежит там, где лежало до сих пор. Вы согласны со мной? – спросил он Веру. Та промолчала, однако облегчённо вздохнула, словно сбросила с себя ношу, «навьюченную» на неё без её согласия.

Прошло больше месяца с той поры, как Яков объявился у старой Червонки. Он неспешно и аккуратно собирал информацию, потихоньку наводя мосты и в преступном мире, и в среде чиновников. Время от времени он выезжал с этой целью в столицу.

Вскоре ему удалось, за хорошие деньги, купить чистый паспорт с пропиской на юге России. По этому паспорту Яков носил теперь простую русскую фамилию Петров, каких тысячи на Руси. Только имя и отчество он оставил свои. Петров был теперь достойным гражданином своей страны, ни разу не судимым, да к тому же имел высшее образование по специальности инженера-геолога. Синий диплом с золотым гербом Якову передали вместе с паспортом.

Теперь, не опасаясь уже вездесущего милицейского носа, можно было купить билеты и вылететь в Ангарск. В тот самый город, где Яков поступил в свой первый лагерьный «университет».

Заменившая ему мать Червонка благословила его на эту поездку, зная о том, что у воров данное слово весит тяжелее и стоит дороже любого в мире богатства.

Каким-то внутренним чутьём поняла она, что её приёмьш стал вором в законе и что к прежней институтской жизни ему уже возврата нет. Когда она, боясь рассердить его, теребя в руках платок, спросила об этом, Яков ответил кратко и утвердительно. Увидев, как обречёно и покорно приняла она ответ, он обнял её за плечи, опустившиеся под тяжестью прожитых лет, и сказал:

– Ты знаешь, как ты дорога мне. Всё у нас с тобой будет хорошо, и мы не будем больше расставаться.

Яков сидел перед Червонкой на стуле, держа её руки в своих, и вдруг в ушах его вновь ясно прозвучал детский отчаянный крик: «Менты поганые, отпустите батю моего!» Так он сам кричал поч-

ти двадцать лет назад, когда конвой уводил его любимого отца из зала суда. А женщина, сидящая сейчас перед ним, многое в жизни повидавшая, но сохранившая доброту, обнимала тогда мальчика, прижимая к своей тёплой груди его бедовую голову.

Теперь Червонка перекрестила Якова высохшей рукой:

– Ну, с Богом! Да хранит тебя Всевышний! – и больше не произнесла ни слова.

До Ангарска добирались долго. Сначала летели самолётом до Иркутска, а оттуда уже поездом доехали до самого города. Дорога сплотила этих совсем разных людей: разного пола, родившихся в разные времена, каждого со своим жизненным опытом. Но одно обстоятельство сближало их. Было оно настолько весомо и всеобъемлюще, что все трое понимали его.

Это было то обстоятельство, что все трое росли без отцов. А Яков не знал и матери. Как там пелось в пионерских лагерях их детства? «За детство счастливое наше – спасибо, родная страна!»

Они сошли с поезда. Взяв такси, отправились в гостиницу. Как и во всех гостиницах Советского Союза, в этой тоже не оказалось свободных мест. Благодаря, однако, вовремя вынырнувшей хрустящей купюре, украшенной ликом вождя мирового пролетариата, Якову удалось снять два номера.

В Ангарске уже ощущалась потихоньку подкрадывающаяся осень. С теплого ещё, обложенного тучами, сердитого неба падали редкие, но тяжёлые свинцовые капли, грозившие пролиться чёрным дождём. Откуда-то из затаившейся тайги дули, как бы проверяя людей, чуть обжигающие ветры. Город-стройка весь был осыпан опадающей рыжей листвой. Листья опускались на землю. Потом, вздыбленные с места порывом ветра, кувыркались в воздухе. И снова ложились на землю. Уходящая осень словно решила напоследок навредить жёковским дворникам, которые обречённо подметали тротуары, сгребая эту ржавую мокротень в большие и маленькие кучки, всё это за скудные свои восемьдесят «р» в месяц.

Исколесив на такси город, Яков разыскал свою бывшую зону. Она располагалась на окраине города, упираясь одной стороной в широченную в том месте Ангару. Изъездив всё вдоль и поперек, Яков обнаружил и знаменитый «объект А», на который его выводили. Когда-то с высоты этих зданий, среди тысяч копошащихся муравьёв-зёков, он высматривал, выглядывал слезящимися от жгучего мороза глазами свою первую неземную любовь — Яночку.

На месте зоновского кладбища теперь был разбит большой парк. Увы, разыскать точное место захоронения вора в законе Чухотки не было никакой возможности. На окраине парка Тюрьма сел прямо в траву и зарыдал беззвучно, задыхаясь от ярости и от душивших его слёз.

«Пидары, большевики, сколько вы крови выпили!» – шептал Яков, глотая клокотавший в груди, грозивший вырваться наружу бессильный гнев.

В этот красивый парк, выращенный на костях эков, построивших почти весь город, Яков привёз дочь и внуку покойного вора. Как бы отвечая на их немой вопрос, сказал, щадя молодую Анфису:

– Вот здесь, на этом месте, было лагерное кладбище. Хоронить заключённых на городском кладбище у нас запрещено законом. А теперь – сами видите. Господи! Как же я их ненавижу! – сорвалось у него. Яков развернулся и ушёл в машину, оставив на время мать и дочь в парке.

В гостиничном буфете он купил бутылку дерьмовой водки, кусок колбасы, а также сырой непропечённый батон. Поднявшись к себе в номер, Яков запер дверь и выпил всю водку, раз за разом наполняя гранёный стакан, не притрагиваясь к колбасе и хлебу. Давно не употреблявший этой гадости, Яков быстро захмелел. Роняя пепел от сигареты на пол, он негромко запел щемлящую песню, которую знал ещё с детдомовских времен.

*И пошел я по свету скитаться,
Не имея родного угла.
Ах, зачем я на свет появился?
Ах, зачем меня мать родила?*

В дверь требовательно постучали. Слегка пошатываясь, но контролируя, однако, свои движения, Яков поднялся и пошёл открывать дверь. За дверью стояла Анфиса. Её большие серые глаза были заплаканы, веки припухли. Проходя в комнату, девушка взглянула на Якова тревожно и вопросительно.

– Что с вами? Вы пьяны? – спросила она.

– Не спрашивай меня ни о чём, девочка моя. Лучше послушай то, что я тебе скажу. Я пьян, потому что помянул твоего деда. Он был очень близким мне человеком, так же, как и я ему. Когда-то, когда я был ещё очень маленьким, он держал меня на руках. По-

том нам довелось встретиться – только через восемнадцать лет, в этом городе, в лагере. Твой дед признал меня и приблизил к себе. Это был замечательный человек, которого любили все заключённые. Он стал посажённым отцом на моей лагерной свадьбе. Когда-нибудь я расскажу тебе эту историю. Этими вот руками я собственноручно похоронил его, похоронил на том месте, где сегодня коммунисты разбили парк. Кто дал им право так кощунственно относиться к мёртвым? Какой в мире суд имеет право присудить человеку такую меру наказания, чтобы даже могилы его не осталось? Чем коммунисты отличаются от средневековых инквизиторов, которые сжигали человека на костре, а потом развеивали его пепел по ветру?

В пьяном голосе Якова было столько ненависти!

– Мама плачет в соседнем номере. Вы здесь напились. Мне становится страшно, – произнесла девушка тихим голосом.

– Анфиса! Когда умирал твой дед, он наказал мне позаботиться о его дочери и внучке. Я дал ему слово. Я никогда не оставлю тебя одну в беде, Анфиса! У нас с тобой похожие судьбы. А ещё, знаешь, ты мне очень нравишься, – произнёс Яков, как ни трудно было ему сделать это признание.

Решившись, он подошёл к взволнованной девушке. Чуть притянул её за плечи и поцеловал в жарко пылающие губы. Анфиса не сопротивлялась. Несмотря на страшную биографию этого человека и своё «советское» школьное воспитание, вопреки всему она шла навстречу возникающему где-то в глубине сердца чувству. Девушка отдалась во власть жаждущих губ молодого вора.

На следующий день Яков проводил Анфису и Веру на поезд, который должен был увезти их в Иркутск, откуда они самолётом собирались вернуться в Питер. Самому Якову предстояла долгая и рискованная поездка за золотом покойного вора, закопанным в тайге.

Намечающийся путь был неблизок. Но Яков должен был добраться до тайника, чего бы ему это ни стоило. Вызревший в его голове план был довольно прост, потому он и верил в него. Яков хотел приехать туда, в эту деревушку староверов, под видом сына Веры, якобы с целью поправить могилку своей бабушки. Он собирался поселиться где-то на краю деревушки, позволить недоверчивым староверам привыкнуть к нему, а потом только, улучив момент, выкопать карту.

Обо всём этом выздоравливающий Яков рассказал однажды Единственному. Яков постепенно поправлялся после тяжёлых ранений, которые он получил в день памятной стрелки с чеченцами. Тогда Единственный спас ему жизнь, не бросил тяжело раненного Тюрьму при отходе.

– Об этом золоте не знает никто, ни одна душа на свете. Даже моя жена Анфиса, – проговорил Яков.

– Так Анфиса, внучка Чахотки, стала твоей женой? – удивился Единственный.

– Да! Анфиса – моя жена. Я добрался тогда до золота. Как ни трудно мне было, а вынес его на себе. Двести километров тайгой протаскивал три пуда чистых жёлтых самородков. Передвигался только по ночам – ориентировался по звёздам, компасу и карте. Вот там очень пригодились мне мои лагерные науки.

– Почему ты рассказываешь это мне, Яков? Ведь это твоя тайна.

– Не знаю. Я тебе верю, Единственный. А потом – у тебя ведь на руках умер мой отец.

– Почему же ты не устроил ему побег, Яков? Такой же, как мне. Ведь у тебя огромные связи, возможности? – задал другу вопрос Единственный.

– В то время у меня ещё не было этих возможностей. На приобретение их ушли годы. Такое количество золота надо было надёжно спрятать. Потом нужно было очень осторожно его контрабандно реализовать, изготавливая из него ювелирные изделия. Я постепенно, по мере надобности, превращал металл в деньги. Эх! Много воды утекло с тех пор! – Яков закурил сигарету. Всё ещё слабый, он держал её в бледной похудевшей руке. Видно было, что сил у него едва хватало на то, чтобы стряхнуть нарастающий на ней пепел.

Воры укрыли Якова на одной из арендуемых подмосковных дач. Они берегли его от постороннего взгляда. Опасаясь мести со стороны чеченцев, выставили надёжную охрану. Яков продолжил рассказ:

– Так вот. Отца всё время келешевали из одной зоны в другую. Невозможно было отследить его перемещения по лагерям, тем более подготовить побег. По приезде в каждый лагерь его сразу же опускали в трюм, изолируя от общей массы. А сколько раз завозили его в красные зоны? Мусора пытались уничтожить его, потому что ГУЛАГ боялся оставлять Сатану наедине с массой. Всё же один раз, заплатив большие лавэ, я прорвался к своему родителю. Друг

мой, менты дали нам всего только один час свидания! Они подняли отца из БУРа, да и то мы говорили через стекло и по телефону, а мусора прямо при нас внаглую записывали нашу беседу. Ну о чём тут поговоришь? Наглядеться даже не успел я на батю своего. Очень я любил отца. Вот так.

Яков надолго замолчал, терзаемый невесёлыми воспоминаниями. Единственный не хотел отрывать друга от мысленного путешествия в прошлое и потому сидел тоже молча, напряжённо уставившись в одну точку.

Эти дни, что Единственный проводил с Яковым, сильно сблизили двух воров, почти одинаково обездоленных судьбой.

– Давай выпьем, Яков, по рюмочке водки, – прервал Единственный затянувшееся молчание. – Коль выжили мы с тобой, пройдя мыслимое и немыслимое, помянем в лице отца твоего, вора Сатаны, всех достойных, кто безвременно ушёл в мир иной! – проговорил он, наполнив водкой две хрустальные рюмки.

– И пусть им на том свете будет всё, чего они не извели на этом! – добавил негромко Тюрёма.

Воры, не чокаясь, выпили до дна. Единственный подал Якову бокал с ядовито-жёлтым апельсиновым соком.

– Ну, как у тебя с Анжеликой? – спросил неожиданно Яков.

– Нормально. А почему ты спрашиваешь об этом? – настороженно откликнулся Единственный.

– Хочу по-братски попросить тебя: не увлекайся очень ею, – сказал Яков, он заметил, что по лицу Единственного пробежала тень недоумения. – Воры взяли тебя в дело, Единственный. Они поставили на тебя в той игре, где ходят суммы со многими нулями. Нельзя нарушать правила этой игры. Анжелика – женщина неземной красоты. Я понимаю, ты увлёкся. Но она не нашей крови, и я чувствую, брат, что это может довести тебя до беды! Я прошу тебя: оставь её.

«Они пытаются замахнуться на единственное сокровище, которое появилось в моей жизни», – лихорадочно думал Единственный. После всего того, что было у них с Анжеликой, он и мысли не мог допустить о том, чтобы расстаться с ней. Нет! Этого не произойдёт. Им придётся считаться с тем, что Анжелика стала частью его жизни. Только одно мучило вора Амура – он сознавал, что нет никакой возможности известной Анжелике Ростоцкой стать законной женой, женой вора в законе по кличке Амур. Но оставить её? Это

было немислимо. И не потому, что он привязался к этой красивой женщине, не потому, что был слаб и не мог прервать эту романтическую связь. Анжелика была любимой женщиной Единственного – кровь от крови, плоть от плоти. Разделить их означало бы рассечь единое тело.

Единственный подошёл к журнальному столику, налил себе водки и, не предлагая Якову, опрокинул в себя содержимое рюмки. Сел в кресло и, глядя в глаза Якову, тихо, но достаточно тяжело, произнёс:

– Упаси тебя Бог, Яков, если хоть одна волосинка упадёт с головы Анжелики. А правила игры я знаю, Тюрьма, не хуже твоего. У воров нет оснований в чём-либо упрекнуть меня.

В первый раз за время их знакомства Единственный и Яков расставались так холодно. Но верным оставалось и другое – Яков по-своему любил и ценил Амура.

Глава 4.

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ

Обнимая возлюбленную, сжимая и поглаживая её руки, будто выточенные из слоновой кости, Единственный был погружён в свои размышления. Ему вспомнился сон, который он видел в камере смертников – как мама приехала к нему на молочно-белой кобылице.

– Что с тобой, любимый? Ты опять не со мной, – Анжелика теребила его за руку.

– Анжелика, любовь моя, я должен тайно съездить на родину. Посетить могилу своих родителей, повидать друга детства – Карнаухова Алика, и заехать поздравить одну удивительную девушку, ставшую мне сестрёнкой. У неё скоро свадьба, она выходит замуж. Я обещал сделать ей подарок. Хочу, чтобы ты поехала со мной.

– Но у меня же начались съёмки! – воскликнула Анжелика.

Единственный, нахмурясь, пожал плечами и не произнёс больше ни слова. Анжелика догадалась, насколько важной была для него эта поездка. Она научилась очень хорошо понимать этого человека, которого полюбила всем сердцем. Полюбила так сильно и безумно, что это пугало её саму. Она подластилась к нему.

– Ну конечно, поедем, любимый. Скажи только, когда. Надеюсь, не завтра?

– Завтра, Анжелика! Это нельзя больше откладывать!

Это было удивительное путешествие.

Они вдвоём ехали на белом мерседесе, по очереди ведя машину. Анжелика прекрасно водила автомобиль, и Единственный, сидя рядом с ней, на пассажирском месте, любовался её движениями. Красота актрисы по-прежнему сводила Единственного с ума. Он никак не мог понять, каким образом получилось, что он стал обладателем этого божественного сокровища.

Время от времени они сворачивали с трассы и останавливались, чтобы немного передохнуть, перекусить в понравившемся месте, а потом, словно опоённые приворотным зельем, предавались любви. По ночам они также уводили машину с трассы, ставили её в укромном месте и устраивали в ней постель на разложенных сиденьях. Насытившись взаимными ласками, влюблённые засыпали в обнимку и просыпались с первыми лучами искрящегося солнца, так и не разомкнув за ночь объятий.

В родной город Самата они въехали ночью.

Документы у Единственного были в порядке. Он, ставший гражданином России, не очень опасался, что кто-то может узнать его после пластической операции, изменившей внешность. К тому же прошло уже столько лет. Но на всякий случай Единственный приклеил себе усы, которые Анжелика предусмотрительно прихватила в гримёрной на киностудии.

– Тебе они очень идут! Может, заведёшь свои? – Анжелика, лукаво поглядывая, пригладила ему усы.

Мерседес ехал по ночному, будто вымершему, городку. Казалось, он совсем не изменился – те же улицы, знакомые до боли здания. «Столько лет прошло, а здесь ничего не изменилось!» – мелькнула у Единственного мысль.

Автомобиль медленно повернул на знакомую улицу и плавно остановился перед домиком Карнаухого. Вот здесь были заметны значительные изменения. «Ого! Какой он дом отстроил, расширился! Ну и Алик! Молодец, ё-моё!» – восхищённо подумал Единственный.

Встреча Самата с Карнаухим прошла бурно, они долго обнимали друг друга. Карнаухий узнал его почти сразу. Ему не помешали ни долгое время разлуки, ни результаты искусной пластической операции. Карнаухий был почти таким же, как раньше, только заматерел, стал более мужиковатым. На висках его, пробивая чёрный волос, просвечивало серебро седины.

Единственный познакомил Алика с Анжеликой. От шума проснулась и вышла к ним женщина, вероятно, жена Алика. Карнаухий радостно представил ей неожиданных ночных гостей. Женщина оказалась бойкой казашкой. Чувствовалось, что она легко и незаметно управляет Карнаухим.

Все пили чай и говорили, говорили без конца. Время было позднее. Единственный загнал машину во двор. Потом уложил в приготовленную постель уставшую в дороге Анжелику, ушла спать и жена Алика.

Самат с Аликом до утра не сомкнули глаз. Всё говорили и не могли наговориться. Десятки раз разогревали остывший чайник и выкурили огромное количество сигарет.

Карнаухий рассказал, что Майдан пропал без вести в каких-то лагерях и никто о нём ничего в точности не знал. Потом поведал историю Яши. Эта история совершенно вывела из себя разволновавшегося Единственного. Во время рассказа Карнаухова он встал и начал ходить от стены к стене, отмеряя шаги, порой вздрагивая от пробежавшей по телу дрожи. Карнаухий спросил:

– Помнишь, когда мы взяли магазин в Ивановке, Яшу с Майданом закрыли, а потом через двое суток выгнали?

– Помню, а как же! – Единственный утвердительно кивнул.

– Тогда начальником ментовки был подполковник, пёс такой, помнишь?

– Помню!

– Так вот, позже, когда ты уже на строгом режиме сидел, Яша освободился и приехал в город. Мы с ним были вместе. Вдруг его, ни с того ни с сего, закрывают. Тот самый пёс закрыл его и повесил на него свою нераскрытую висячку-мокруху – под вышак подводил Яшу. Это он мстил Яшке за тот случай, когда ему пришлось их с Майданом выпустить. Подполковнику тогда то ли очередную звездочку должны были дать, то ли он повышения по службе ждал. Из-за тех нераскрытых краж ни звёздочки, ни повышения ему так и не дали. И вот он решил отомстить. Ну, Яша увидел такое дело и закосил под дурака. Его увезли на СПЭК и там оставили бессрочно. А там же мрак! Яшу, бедного, там закололи аминазином, он по трое суток в смиренной рубашке на вязке лежал, под себя ходил. Когда меня через четыре года первый раз пустили к нему на свидание, я обалдел. Передо мной был старик. В свои двадцать пять лет он выглядел на все сто – ни единого зуба, проваленный рот, весь се-

дой, белый как лунь, в каком-то больничном тряпье. Трясётся всем телом и гонит что попало, одним словом – дурак дураком. Что они с ним сделали! Я привёз ему чай, курево, продукты. Яша всё это прятал по карманам, за пазуху, боялся, что другие дураки отберут. Всё время переспрашивал одно и то же: «Это что, всё мне?»

– Что с ним стало потом? Где он? – Единственный не выдержал и прервал друга.

– Он умер там же, на дурочке. Там ведь у дураков есть своё кладбище, вот на нём Яшу и похоронили.

– Водка у тебя осталась? Так налей же, помянем душу грешную нашего друга Яши! – попросил Самат.

Карнаухий разлил по рюмкам водку, и они молча выпили, помянув Яшу.

– Так ты теперь в законе, Единственный? – спросил Алик Самата.

– Да, дружище, меня короновали, – откликнулся тот.

Потом друзья ещё долго сидели за столом. Наступила очередь Карнаухого слушать. Единственный рассказывал другу про свои лагерь, камеру смертников, побег. Потом Карнаухий спросил:

– Эта женщина что, жена твоя?

– Нет, но мы любим друг друга. Ты расскажи о себе, Алик, как у тебя-то жизнь шла все эти годы?

– Да как? Потихоньку. Помнишь, когда ты вернулся с малолетки, я грузчиком работал на межрайбазе? Ну вот, там через меня весь дефицит шёл. Я понемножку приторговывал, какие-то деньги завелись. На этой же базе я и с Зауре познакомился – это жена моя. Она продавцом работала. Поженились мы, пришла она в мой дом, тоже стала деньги приносить, всё полегче стало. Потом меня сделали бригадиром грузчиков. Тут уж и зарплата повыше, и возможностей побольше. Стали мы денежки откладывать. Зауре хозяйка хорошая, у неё ничего не пропадает. Дочка у нас родилась, назвали Батимой. Завтра её увидишь. Все говорят, на меня похожа. А потом вот что получилось. Помнишь магазин рядом, где керосином торговали? Мы с тобой ещё бутылки собирали и туда носили сдавать? Так вот. Началась перестройка, потом приватизация, а у директора этого магазина возникли какие-то неприятности с ОБХСС. Куда он делся не знаю, а магазин закрылся, какое-то время пустой стоял. Ну, я узнал сходил, оказалось, что этот магазин можно было выкупить – приватизировать то есть. Мы с Зауре посоветовались, посчитали, и решили выкупить его. Деньги-то у нас были.

Из грузчиков я ушёл, стал магазином заниматься, Зауре в нём торговать начала. Сначала только керосином торговали, потом ещё всякими хозтоварами – мылом там, порошком стиральным, ну, сам понимаешь. Бутылки тоже принимали, договор у нас с лимонадным цехом был. Дела пошли неплохо, пожаловаться не могу. Дом, видишь, в порядок привели. Так сейчас и живём. Зауре, умница, экономная такая, всё придумывает чего-то. Тут как-то бомж один у магазина ошивался, есть просил, так она ему и предложила: помоги, мол, забор у дома подновить, а уж за кормёжкой не постойм, да и переночевать устроим. Ну, тот рад-радёхонек, что хоть кому-то пригодился. Так и остался у нас. Потом к нему ещё пара товарищей присоединились. Живут у нас в пристройке. Если надо, по хозяйству помогают или в магазине там, рагрузить-погрузить чего. Сыты, не жалуются, да и нам проще – не надо нанимать никого. Всё, в общем, нормально. Я теперь человек в городе уважаемый, начальник райотдела меня, как завидит, – здоровается за руку, о семье спрашивает. А о тех громких делах уже никто и не помнит, всё в прошлом осталось. Алик помолчал, закуривая очередную сигарету. Единственный спросил:

– А где же Аллочка? Что с ней?

Алик вздохнул:

– У Аллочки жизнь не очень сложилась. После школы пошла она в швейное училище, закончила его, начала работать. Вскоре замуж выскочила. Ну, я поначалу порадовался, муж-то у неё зоотехником был, дом свой имел, вроде как неплохо она пристроилась. Дети у них появились, сначала мальчик, потом девочка. Жить бы да радоваться, да запил муж её. Сначала только по праздникам, потом с друзьями в получку, потом уже любой повод стал искать. До того дошёл, что из дому стал тащить, когда на выпивку не хватало. Ну, Аллочка терпела-терпела, потом взяла детей и уехала в другой город, где есть швейная фабрика. Дали ей там комнатку в общежитии, так с детьми в ней и мается. На очереди стоит на жильё, да ты сам знаешь, сколько этого жилья ждать надо. С мужем, конечно, развелась. Изменилась Аллочка сильно. Ты, может, её не сразу бы и узнал. Постарела, похудела, личико осунулось – оно и понятно, при жизни такой. Я-то пытался ей предложить у нас поселиться, да она гордая, обременять не хочет, всё же двое детей с ней. И с Зауре она не очень ладит. Так и живёт пока там. Мы переписываемся, я несколько раз к ней ездил. Может, чего и сложится у неё ещё...

Наутро, когда все собрались за столом и сели завтракать, Анжелика внимательно посмотрела на друзей и сказала с упреком:

– Хоть бы немного поспали! У обоих круги под глазами.

После завтрака Единственный, Анжелика и Алик собрались ехать на кладбище к могилам родителей Самата. Единственный отвёл Карнаухова в сторону и передал ему пачку долларов.

– Возьми, это тебе. Поможешь Аллочке. Мне очень жаль, что у неё судьба не устроилась. Но я искренне рад за тебя.

Они обнялись и помолчали. Что было говорить? Они, делившие в голодном обездоленном детстве сухой корочкой хлеба в холодном нетопленном доме, без слов понимали друг друга. Единственный попросил:

– Отвези на Яшину могилу большой красивый венок от меня. Я сам просто не успею. А сейчас давай поедem на кладбище. Цветы возьмём по пути.

И вот они оказались на кладбище. Единственный безошибочно привёл спутников к могилам своих родителей. Это были два осевших от времени холмика, заросшие травой. Оградки вокруг них покосились, краска, которой были сделаны надписи на надгробных мусульманских камнях, выцвела от солнца.

Единственный присел у могил, в которых лежали люди, давшие ему жизнь. Рано ушедшие из этого мира, они оставили его, сироту, бороться со своей судьбой в одиночестве. В горле Самата встал ком, ему было не глотнуть слюну, перехватило дыхание. Рядом с Единственным опустилась Анжелика с покрытой головой, за ней Карнаухий.

– Алхамду лилляхи, раббил галамин, иррахман иррахим! – громко, нараспев начал читать молитву Единственный. Читал он долго, обращаясь к Всевышнему Господу. Наконец он закончил произносить слова молитвы, сказал «Аминь» и провёл обеими руками по лицу. Потрясённая Анжелика, хоть не была мусульманкой, сделала то же самое.

Единственный положил на могилу отца огромный букет в корзине. Потом такую же корзину положил на холмик матери.

– Алик! – негромко позвал он друга. – Я тебя очень прошу: найми хороших мастеров, пусть построят моим родителям красивый мазар. Это мой сыновний долг. Деньги я тебе дам.

– Построю, брат, всё сделаю как надо. Не волнуйся об этом, – откликнулся Карнаухий.

Единственный долго ещё сидел у могил. Анжелика с Карнаухим ушли к машине, предоставив ему возможность побыть одному.

«Я пришёл к вам, родные мои! – шептал Самат сухими горячими губами, сглатывая горькие слёзы. – Мне нелегко пришлось в этой жизни, тернистый путь выпал на мою долю. Но я не сломался и пришёл. Простите меня, мама и отец! Я люблю вас, как и прежде в детстве! Я привёз к вам на могилу свою любимую женщину. Прощу вас, благословите меня! Теперь я на свободе и буду приезжать к вам чаще, клянусь вам! Земля вам пухом, мои родные!»

Потом Самат низко поклонился дорогим могилам и пятясь, не выпуская их из вида, пошёл к машине. Он вернулся, когда заждавшиеся дорогие ему люди, обеспокоенно переминаясь с ноги на ногу, уже собрались идти за ним.

В машине Единственный передал Карнаухому деньги на постройку мазара. Потом довёз Алика до дома и, выйдя из машины, распрощался с другом. Расстались они без слов – просто постояли, обнявшись. Затем Единственный отстранился и пошёл к машине.

Анжелика подала Алику руку.

– До свиданья, Алик!

– До свиданья, Анжелика! Вы уж берегите его, – попросил вдруг Карнаухий, который никогда не был сентиментальным.

* * *

И снова серая лента дороги вела мерседес по бескрайним степям, покрытым высоким ковылём.

Голова кружилась от восхитительных степных запахов. Степь, так сильно любимая Единственным, словно специально расцвела во всей своей неповторимости. Красота её красок потрясла Анжелику, которая раньше никогда не была в Казахстане.

Единственный привёз Анжелику на могилу Енлик-Кебек. На эту могилу влюблённые положили собранные ими прямо в степи цветы, одурманивающие сильным и диким своим ароматом. Единственный рассказал легенду о двух влюблённых.

Молодая красавица Енлик была из рода наймам, а красавец Кебек – из рода тобыкты, враждующего с найман. Девушка была просватана за богатого соплеменника. Енлик и Кебек, полюбившие друг друга с первого взгляда, решили бежать на землю тобыкты, к родичам юноши. Но суровый бий рода тобыкты не позволил

влюблённым поселиться в ауле, опасаясь мести воинственных найманов.

Тогда молодые ушли из аула и поселились в горах, в каменной пещере, которая стала для них домом. Кебек охотился в окрестностях, добывая пищу. Вскоре Енлик родила ему дочь.

В один день, однако, рухнуло их счастье, когда в пещеру нагрянули вооружённые сородичи Енлик – найманы. Они схватили влюблённых, нарушивших вековые законы степи и крепко связали их. Потом каждого привязали к хвосту лошади и погнали этих лошадей. Те поволокли за собой несчастных юношу и Енлик, совсем недавно ставшую мать. Лошади неслись по каменистой степи, раздирая влюблённых об острые камни.

Лошадей гнали долго. Наконец их остановили у невысокого холма, отцепили два бездыханных тела молодых людей, принявших мученическую смерть, и бросили их там.

Какой-то чабан, пасший невдалеке овец, случайно увидел эту расправу. Ночью он выкопал могилу и похоронил двух влюблённых вместе. С тех пор и лежат они здесь.

Единственный закончил свой невесёлый рассказ, ошеломив любимую свидетельством суровой жестокости своих соплеменников.

– Ужас! – прошептала она.

– С тех пор могила двух влюблённых, затерянная в степи, стала символом любви! – сказал Единственный. Он нежно обнял Анжелику и медленно, не оглядываясь, повёл её к машине. В машине Анжелика ещё долго возмущалась жестокостью кочевников, так безжалостно наказавших влюблённых.

– Ну пусть бы они жили, у них уже и ребёночек был! – страдальчески сказала она.

– Сколько всякого хранит в памяти история! Реальные и вымышленные герои и персонажи: Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона. У нас на Востоке – Лейла и Меджнун, Тахир и Зухра. Среди прочих и эта грустная история. Нам сейчас трудно судить, нет возможности понять людей, живших в те суровые времена. У истинной любви всегда тернистый путь, – заключил Единственный.

Они ехали по земле великого Абая. Степь и в этих местах была очень красивой. По обе стороны дороги, чуть колышась от дуновения лёгкого ветерка, стелился седой ковыль, заросли которого простирались до самого горизонта. Голубой свод неба с редкими

белёсыми облаками огромной юртой накрывал степь. Большие вольные степные орлы гордо парили, словно купались в голубой бескрайности. Слышался щебет невидимых птиц, стрекот бесчисленных кузнечиков и осторожный посвист бдительных сурков.

Анжелика не уставала поражаться благолепию степи, искренне признаваясь:

– Никогда бы не подумала, что степь может быть такой красивой!

– У нашего народа очень древние корни, любимая. У истоков этих корней стоят саки и гунны. Эти гордые и свободолюбивые кочевники прошли многие земли, топта их своей конницей. Они совершали набеги, заставляли трепетать страны и народы. Им было привычно оставлять за собой руины городов, уводить с собой в плен крепких мужчин, мастеров-умельцев, и самых красивых девушек. Вон, видишь там, на горизонте, простирается горная гряда – это Шынгыс-тау. В этих горах состоялся великий курултай. На нём, искупав сначала в молоке белых кобылиц, на белой кошме подняли нашего великого предка Шынгысхана, провозгласив его ханом всех кочевников. Отсюда, из этих степей, заставляя дрожать землю под копытами их коней, покатались тумены наших предков завоёвывать континент. И они не остановились до тех пор, пока копыта их коней не были омыты водами последнего моря.

Анжелика зачарованно слушала рассказ любимого. Она не переставала удивляться не только его начитанности, но, главное, умению так горячо говорить об истории своего народа. Нельзя было не удивляться такой искренней и безграничной его любви к родной земле. Сама Анжелика как-то никогда не задумывалась: любила ли она русский народ, свою Русь. Скорее всего да, любила. По душе ей были и народные песни, и прозрачная синь российских лесных озёр. Да только никогда она глубоко не задумывалась о своём отношении к Родине, не проникалась любовью к ней. Была она – истинное дитя большого города.

Всё же Единственный очень рисковал, затеяв это путешествие. Слишком громким было его имя в преступном мире. Любая случайность при встрече с ментами могла стать для него роковой. Но поступить иначе он не мог. У Латвины скоро должна была состояться свадьба, а Единственный дал ей слово, что обязательно придет.

В город, где жила семья Латвины, мерседес Единственного въехал, когда уже вечерело. Длинный и душный летний день подходил к концу. Единственный без особого труда отыскал дом Латвины, послав перед собой нанятого за хорошую плату таксиста, отлично знающего город.

Надо было видеть, как встречала дорогих гостей семья цыганского барона! Красавица Латвина просто повисла на шее Единственного, осыпая его бесчисленными поцелуями, не стесняясь своих родителей и братьев, чем даже заставила Анжелику немного поревновать. Единственный, совершенно счастливый от такой встречи, подхватил цыганочку на руки и закружил её в бешеном порыве радости.

– Милости просим в дом, – степенный барон, подкручивая чёрные усы, поплёскивая бриллиантами на перстнях, широким жестом пригласил гостей в дом.

Так и занёс Единственный красавицу-баловницу на руках в просторный холл богатого цыганского дома. Барон резко бросил что-то по-цыгански домашним. Все кинулись, суетясь, исполнять приказ главы семьи.

– В моём доме вы в безопасности, дорогие гости, – произнёс барон, довольный собой. – Будем пить, гулять, плясать. Здесь вас никто не тронет.

Единственный, знакомясь, пожал барону крепкую руку, в которой ощущалась недюжинная сила. Потом он представил ему Анжелику.

Латвина долго и придирчиво, совершенно беззастенчиво рассматривала Анжелику – с головы до пят. Можно было подумать, что цыганочка решала для себя, стоит ли приезжая красавица её названного брата, вора в законе.

Полнеющая цыганка – мать Латвины, сохранившая, годы ей не помеха, красивые черты лица, сразу узнала в Анжелике известную кинозвезду. Недолго думая, женщина бойко и напрямую спросила по-цыгански:

– Ты не артистка?

Барон, улыбаясь, повторил вопрос по-русски. Смущённая Анжелика лишь утвердительно кивнула, чуть склонив голову. Единственный взял любимую за руку и представил членам семьи Латвины.

– Это любимая мной женщина, дорогой для меня человек, – сказал Единственный. – Она действительно актриса кино, и зовут её Анжелика Ростоцкая.

Теперь он заставил ревновать уже красавицу Латвину, которая всё ещё оценивала достоинства гостыи, приехавшей с её названным братом.

Наконец первые страсти улеглись. Единственный с Анжеликой привели себя в порядок: приняли душ в ослепительно роскошной ванной и переоделись, сбросив дорожные костюмы.

Единственный предстал перед Латвиной в белом костюме, подаренном Яковом, на запястье поблёскивал золотой «ролекс». Латвина, не выдержав, вновь стремительно бросилась к Единственному, восхищаясь. Ей ведь ещё не доводилось видеть его в вольной одежде. В дорогом белом костюме Единственный действительно смотрелся принцем, сошедшим со страниц книги сказок.

Потом из ванной вышла Анжелика, одетая в голубое платье, которое выгодно подчёркивало всё лучшее, что было в её фигуре. У платья был длинный разрез сбоку. При ходьбе он на мгновение открывал красоту высокого бедра актрисы. При виде Анжелики все члены цыганской семьи, собравшиеся за накрытым столом, ахнули. Латвина же, со свойственной ей непосредственностью, выразила искреннее восхищение вслух.

– Я говорила своему брату: если надумаешь жениться, обязательно дай мне возможность оценить твой выбор. Теперь я вижу – ты не ошибся, брат, – заявила Латвина, чем опять смутила давно привыкшую поражать своих многочисленных поклонников Анжелику. Единственный громко рассмеялся.

– Ох, непоседа! – пожурил он Латвину.

– Помолчала бы, девка! Ну в кого она такая, – всплеснула руками, украшенными массивными золотыми браслетами, мать Латвины.

– А что, я не права разве? Такого парня, как мой брат, надо ещё заслужить! – не уступала Латвина.

В хрустальных бокалах отсвечивало заждавшееся подобающих речей красное грузинское вино. Единственного попросили сказать слово. Он поднялся и поклонился барону и его жене.

– Спасибо вам за вашу прекрасную дочь. Вы знаете, что нам с Латвиной довелось познакомиться в местах горестных, посреди океана человеческих страданий. Мне было уготовано пробить одному долгих девять месяцев, в ожидании испить свою чашу до дна. Письма Латвины проникали в мою душу. Это они заставили меня выжить и сохранить человеческое достоинство. Они как лучики света пробивались в мою обречённость, растворяя в себе боль мо-

ей души. – Единственный повернулся к Латвине. – Благодаря тебе, Латвина, я выжил в той атмосфере, где вместе со мной отмеряли время оставшейся жизни мои товарищи по несчастью. Когда мне принесли и зачитали решение о помиловании, я попрощался с ними всеми. Конечно, они ответят за содеянное, Бог им судья! Рядом со мной, в камере через стенку, сидел парень по имени Вагиф. Когда я прощался с ним, он попросил меня: когда буду я пить – за него выпить бокал, когда буду любить – за него долюбить, когда буду плясать – за него доплясать. Я обещал ему это. Сегодня у меня по-настоящему счастливый день. Этот первый бокал я хочу выпить за Вагифа.

Единственный поднял бокал, ни с кем не чокаясь, поднёс к губам и медленно, крохотными глоточками, осушил. Растроганные и удивлённые цыгане тоже поднялись из-за стола, перекрестились, бросив взгляд на потолок, и, так и стоя, выпили вино из своих бокалов за незнакомого им Вагифа. Единственный снова обратился к Латвине:

– Латвина, девочка ты моя бесценная, сестрёнка! Ты помнишь день нашей первой встречи? Я хоть и пьян был, но помню. Я тогда сказал тебе, что в день твоей свадьбы приеду и пригоню в подарок лучшую машину. Твой подарок, платиновый волк – вот он, у меня на шее, я храню его. А во дворе стоит белая машина, на которой мы приехали – это мой подарок к твоей свадьбе, бесценная сестрёнка. И я счастлив оттого, что могу сделать тебе его! – с этими словами Единственный подошёл к приподнявшейся Латвине, поцеловал в щёку и вложил ей в руку ключи от мерседеса.

Зарделась пунцовым, растекающимся по щекам румянцем счастливая прекрасная дочь барона. Сам немало повидавший в жизни, барон изумлённо воскликнул, ударив себя по ляжке ладонью:

– Ай да парень! Вот такого бы мне зятя. Тот, которого она выбрала себе, богат, красив, да слабоват! – искренне сокрушался барон.

– Один раз я полюбила, впервые в своей жизни! Вот он, мой возлюбленный, перед вами, – воскликнула Латвина, указав на Единственного, шокируя Анжелику и своих домашних. – Готова была на край света пойти за ним! Да только остудил он мой пыл жаркий, попросил стать ему названной сестрёнкой и поклялся любить меня как старший брат. А теперь выхожу я замуж за другого – богатого и красивого. Пусть он меня любит и сдувает пылинки с бедовой моей головы!

– Ай, чавэлла! – воскликнул барон. – Наливай! – приказал он старшему сыну. – За тебя хочу выпить, Единственный! Пусть мои сыновья будут такие, как ты! И за дочь свою выпью, больше всех я её люблю!

Барон разом осушил бокал и с размаху бросил его за себя, об стену, только зазвенели брызги хрусталя.

– На счастье наше! – крикнул он, а потом попросил гитару.

Гитару подали – настоящую, семиструнную цыганскую. И зазвела она под пальцами барона, на которых сверкали бриллианты и тускло отсвечивало золото. Из уст барона полилась старая тоскливая цыганская песня о любви, заполнившая собой огромную комнату. Не выдержала Латвина, убежала. А когда струны гитары заговорили, зазвенели весело и беспешабно в серебряных переборах, вновь вышла цыганочка к гостям. В дорогом золотом монисто на высокой белой шее и алом как кровь цыганском платье, с талией, перехваченной тонким золотым пояском, была Латвина всем красавицам красавица – способная заставить леденеть горячую кровь, бегущую в жилах мужчин. Опалив Единственного жгучим взглядом, красавица-цыганочка выкрикнула:

– Для тебя, Единственный! Поддай ещё аккордов, отец! – и повела грациозно плечами, дрогнула её высокая грудь, и пошла она по круту в сводящей с ума цыганской пляске.

Руслан, старший сын барона, красивый жгучий брюнет, залюбовался красотой сестрёнки, не выдержал и составил ей пару. Он стремительно хлопнул себя ладонями по груди и по бёдрам и пошёл в пляс, закинув одну руку за голову.

Три дня гуляли в доме барона. Приходили другие цыгане, близкие барону. Те чинно знакомились с Единственным и Анжеликой, слушали на цыганском рассказ барона о том, что за человек Единственный, и восхищённо цокали языками. Потом просили слова и долго произносили красивые тосты.

Разряженные в разноцветные платья цыганки, узнав, что перед ними сидит кинозвезда, с чуть нахальной цыганской откровенностью рассматривали Анжелику. Потом кричали ей:

– Счастливой будешь, милая, если за такого человека замуж выйдешь!

Три дня столы ломились от еды и питья. Залитые вином скатерти сменялись новыми – накрахмаленными, белыми. Стены и полы

комнаты, несмотря на большие толстые ковры, дрожали под цыганскими плясками. Изрядно уставшие Анжелика, Единственный и Латвина сидели за столом вместе, обнявшись. Латвина подружилась с Анжеликой, приняла её.

На четвёртый день, соблюдая все меры предосторожности, цыгане проводили Единственного и Анжелику, посадив их на самолёт рейсом на Москву. Добросердечная Латвина сняла с себя золотой пояс и собственноручно надела на противившуюся Анжелику.

– Не возмёшь – обидишь меня! – заявила Латвина и заставила Анжелику смириться.

Прощались искренне. Цыгане полюбили Анжелику и просили её:

– Береги этого парня, девка! Такой человек – редкость!

Единственного обнимали, пожимали ему руку, говорили:

– Не забывай нас, приезжай.

Прижимая на прощанье Латвину к сердцу, Единственный произнёс:

– Я горд за тебя, сестрёнка, девочка моя, и счастлив!

В глазах гордой красавицы-цыганки появились непрошенные слезинки. Она не стала смахивать их, дала скатиться по румяным щекам. Две блестящие дорожки остались на них.

Латвина прильнула к груди Единственного и прошептала предательски дрогнувшим голосом: «Береги себя». Затем дерзкая девочка, не обращая внимания на присутствующих, вызывающе изогнулась в талии и жарко поцеловала Единственного в губы, будто опалив его пламенем.

Тяжело оторвавшись, самолёт взмыл в небо, оставляя внизу, на земле, хлебосольных цыган.

Москва встречала прилетающие самолёты занудным холодным дождём. Пассажиры, спускаясь по трапу, инстинктивно поднимали воротники, потуже запахивали плащи и куртки. Наиболее предусмотрительные ещё при выходе на трап открывали зонты.

По возвращении в Москву Единственный первым делом по условному телефону установил местонахождение Якова, попросил передать ему, что уже приехал и хочет увидеться.

На следующий день приехал Тритон, водитель Якова, и отвёз Единственного на конспиративную квартиру. Яков жил там, охраняемый двумя рослыми, хорошо вооружёнными парнями.

Словно и не было между ворами того памятного для обоих неприятного разговора. Встреча была бурной и радостной. Яков, похудевший за дни болезни, выглядел энергичным и жизнерадостным. Тёмные круги под глазами только подчёркивали выразительность пронизательных умных глаз. Яков внимательно осмотрел Единственного и искренне порадовался за него:

– Я вижу, что ты удовлетворён своей поездкой, – проговорил Яков, обнимая друга. Он проводил Единственного в небольшую залу и усадил на диван.

Живой, неподдельный интерес Якова к этой поездке на родину, к встречам, состоявшимся там, тронули Единственного. Постепенно оттаивая, он подробно рассказал о том, как встретился с Карнаухим, о судьбе друга детства Яши, о поездке на кладбище к родителям. Рассказал Единственный и о весёлом – о том, как их с Анжеликой принимали в цыганской семье барона, отца Латвины.

– Я благодарен тебе, Яков, за ту финансовую помощь, которую ты оказал мне для этой поездки, – сказал Единственный.

– Ну что ты, брат! Ты не о том говоришь. Машины, деньги – какая ерунда! Главное – это родство наших душ!

Мог этот полный кругленький вор пронять сердце и душу! Он продолжил:

– Я перебрался в город, хотя наши братья настаивали на том, чтобы я не рисковал. Но не могу же я шарахаться от собственной тени и забросить все дела! А дела, брат, таковы, что требуют ежедневного и пристального внимания. Стоит только где-то не уследить, как сразу же возникают проблемы.

Яков курил и, как всегда, рассыпал вокруг себя пепел, забывая стряхивать его в стоящую рядом пепельницу. Теперь, когда Яков уже окончательно выздоровел, наступило время принимать решение. Гибель Стального призывала к отмщению, так считал Единственный. Но он не знал, какое решение могли принять другие авторитетные воры.

– Яков, скажи мне, какое решение приняли воры? – осторожно поинтересовался Единственный.

Сын Сатаны мгновенно понял, о чём идёт речь, недаром он был рождён в тюрьме. Яков был умным и дальновидным человеком, а также хорошим дипломатом. Он в свою очередь сам спросил Единственного:

– Выскажи как наш брат своё мнение по поднятому тобой вопросу. Как ты сам считаешь?

Вор Амур впервые за недолгое время, прошедшее с тех пор, как его короновали, почувствовал, насколько оно полновесно и ответственно – воровское мнение.

Это в лагерях и тюрьмах, на бесконечных этапах, пока он был просто терпигорцем с ореолом мученика, страдающим за угнетаемые ментами массы, он мог без запинки высказать своё мнение и стоять за него до конца. Ведь тогда это было его убеждением, за которое, если надо, он мог умереть! Но теперь он стал вором. А вор не имел права на ошибку, так как знал, что за любой такой ошибкой стоят жизни других конкретных людей. Единственный много думал об этом во время поездки с Анжеликой на родину, каждый раз в мыслях отдаляясь от неё, уходя в свои тяжёлые думы.

Он, медленно подбирая нужные слова, сказал Якову:

– Сатана рассказывал мне о сучьей войне. В той чудовищной бойне, спровоцированной ментами, погибло много наших, но они были отомщены. Я считаю, что и мы должны отомстить, и убеждён – это будет святая месть!

Яков слушал внимательно, весь подобрavшись. Он был похож на хищного зверя, на пантеру, замеревшую перед решительным прыжком.

Его внешность всегда была очень обманчивой. Многие в зонах и в крытых горели на этом. Внутри Якова, тщательно замаскированный, сидел хищник. Внешне доброе лицо Тюрьмы никогда не говорило о надвигающейся опасности. Чтобы заметить её, нужно было хорошо знать, что и как могут выражать глаза Якова. Этот взгляд перешёл к нему от отца. Его взгляд как рентгеном просвечивал собеседника, при этом поддерживая видимость добродушия. Вместе с тем, цепкий ум Якова фиксировал абсолютно всё: интонацию, мимику, жесты собеседника, проникал в истинный смысл произносимых им слов, оценивал место и действия, при которых он произносил эти слова. Даже если собеседник не говорил ничего, всё равно Яков легко проникал в его тайные мысли. Пройдя тернистый жизненный путь, реально он стал непревзойдённым психологом.

Ответ Единственного стал решающим звеном, замкнувшим длинную цепь непростых размышлений. Сын Сатаны перестал взвешивать «за» и «против» в своём мозгу и принял наконец решение. Это решение было очень ответственным. Сидящему перед Яковым человеку, напоминающему своим характером кремень, решено было доверить огромные суммы. Единственный был необходим в этой игре, и какой же крутой была эта игра!

Вслух Яков произнёс:

– Я не стану скрывать от тебя, брат, как важен был твой ответ. В первую очередь для меня лично. И я вижу, что братья не ошиблись в тебе, приняв в свою семью. Мы умеем принимать компромиссные решения, которые способны удовлетворить и две, и три, и четыре враждующие стороны. Но в данном случае ты оказался прав: нет места компромиссу. Пролитая кровь воров уже отомщена, – голос Якова прозвучал, словно стальная струна.

Тюрьма дал одному из телохранителей задание связаться с Пауком и оповестить того о предстоящей встрече.

– Нам надо увидеть Паука. Есть необходимость обсудить ряд дел. Я сейчас соберусь и поедем, – сказал Яков Единственному.

В офисе у Паука неожиданно случилась накладка. Секретарша с точёной фигурой прекрасно знала, кто такой Яков, и потому не стала оповещать патрона о его приезде. Чарующе улыбаясь, стараясь быть гостеприимной хозяйкой, она пропустила Якова с Единственным в кабинет шефа.

За низким столиком друг против друга сидели за чаем Паук и незнакомый, вальяжный, респектабельно одетый мужчина с печатью «крупнорогатого мусора» на физиономии. Воздух в комнате явно пах «мусором». Воры это почувствовали, оба и в один миг.

Паук, ничуть не смущаясь, обнял Якова, пожал руку Единственному и представил их своему гостю. Тот, соблюдая необходимую вежливость, оторвал задницу от мягкого кресла, встал перед ворами и протянул руку, здороваясь поочерёдно с Яковым и Единственным.

Единственного чуть не стошнило – он впервые в жизни подавал руку «мусору». Это не ускользнуло от внимания всех троих: гостя, Якова и Паука. Не мог Единственный, не научился скрывать свою ненависть к краснопёрым. А Паук вкрадчиво проговорил:

– Это наш добрый гений, Алексей Спиридонович Метревели. Полковник милиции, начальник особой инспекции по Москве и Московской области. Большой человек!

Единственный с Яковым уселись на диване. Паук и Полковник, как про себя назвал гостя Единственный, опустили на свои места. Модельная секретарша принесла вновь прибывшим гостям чай, поинтересовалась, не надо ли чего-нибудь ещё, и удалилась.

Полковник был примерно одного с Единственным возраста. Все

пили чай и, не скрывая того, изучали друг друга. Не было никаких сомнений в том, что этот «крупнорогатый мусор» прекрасно знал – кто эти люди, сидящие перед ним. Яков, умеющий скрывать чувства, и в этот раз ничем не выказывал их, небрежно стряхивая пепел от сигареты на ковры, устилающие пол кабинета Паука. Паук, подерживая не слишком оживлённую беседу, наблюдал в свою очередь за реакцией Единственного.

Розовое, пышущее здоровьем лицо Полковника вроде бы выражало добродушие. Его жёсткие каштановые волосы были аккуратно зачёсаны назад и красиво уложены. Высокий, без единой морщины, лоб позволял предположить, что Полковник обладает недюжинным умом. Под его широкими тёмными бровями сидели зоркие глаза. Глаза эти были чисто «мусорскими», ибо, подобно фотоаппарату, мгновенно фиксировали всё необходимое их хозяину.

Прямой делоновский нос с аккуратными крылышками несомненно нравился женщинам, которых, чувствовалось, Полковник не пропускал. Но самой выразительной чертой этого лица были губы. Они принадлежали настоящему мастеру, обладающему ярко выраженным артистизмом. Эти губы могли быть собраны в две тонкие жёсткие полоски, могли язвительно изгибаться. И, если того требовал момент, вот как сейчас, они могли растягиваться в обезоруживающей улыбке, обнажая плотно подогнанные друг к другу, чересчур белые зубы, ухоженные самыми новыми зубными пастами.

Единственный понял, что перед ним находится тот самый высокопоставленный «мусор», который прикрывает всю криминальную деятельность Паучьего фонда, или, на жаргоне, «делает за большие баксы крышу». Яков упоминал о нём.

Вор и «мусор» старались не смотреть друг на друга. Между ними мгновенно пролегла незримая пропасть непримиримости и ненависти. Без слов оба понимали: если доведётся им встретиться где-то не за чаем, мирно им не разойтись.

Полковник словно опомнился, взглянул на «сейку» под хрустальным стеклом и заторопился. Казалось, он был сама вежливость:

– К сожалению, я должен ехать. Мне очень жаль, что мы так мало пообщались. В любое время я к вашим услугам, – произнёс он и посмотрел в глаза Единственному пронизательным взглядом.

Единственный выдержал этот взгляд. Опять, с трудом скрывая

накатывающую на него тошноту, пожал руку Полковника. И сразу же, не дожидаясь, пока тот отвернётся, вытер свою ладонь о штанину.

После ухода Полковника оставшиеся начали обсуждать важные вопросы. Единственный в основном только слушал, хотя всё, о чем здесь говорилось, напрямую касалось лично его.

Ему собирались доверить номера счетов и коды сейфов во многих банках Европы. Речь шла о громадных деньгах – о десятках миллионов долларов. Единственному даже стало как-то не по себе. И хотя с малолетства, после первых хороших удачных краж, Единственный познал, что это такое – деньги, всё же чувствовал он себя не в своей тарелке. Несмотря на свой от природы гибкий ум и интеллект, Единственному трудно было осознать масштабы тех астрономических сумм, в перемещении которых он теперь должен был принимать непосредственное участие.

Только сегодня Единственный понял, как чётко продумывал свои ходы Яков. Тюрьма сделал совершенно безошибочную ставку, как на ипподроме. Всё просчитал! Конечно, кому же ещё Яков мог доверить доступ к огромным деньгам, как не человеку, ушедшему под пыж за его родителя. Ай да Яков!

Глава 5.

ФИНАЛ

Единственный ходил вперёд-назад по комнате в просторной квартире Анжелики. Он нервничал. В последнее время Анжелика всё чаще заводила разговор о том, что он должен, в конце концов, сделать выбор между ней и своим образом жизни. И сегодня эта болезненная тема была затронута вновь.

Единственный и Анжелика собирались съездить в гости к её хорошему знакомому – известному режиссёру. Она давно с ним дружила, ещё с тех пор, как первый раз снялась в одном из его фильмов. На недавней киношной тусовке, куда Анжелика затащила Единственного, она представила его пожилому, но молодящемуся кинодеятелю.

Это был человек среднего роста с выразительным умным лицом. Его определённо молодила аккуратная стрижка, хотя волосы были изрядно побиты сединой. Изысканно одетый, режиссёр подошёл к ним, чуть прихрамывая и опираясь на трость, со словами:

– Госпожа Анжелика! Ты сегодня прекрасна, как никогда! Над тобой очаровательной головкой светится нимб. Сколько лет прошло, а я не перестаю поражаться природе, создавшей такую красоту!

Режиссёр переложил трость в левую руку и, галантно раскланявшись, поцеловал Анжелике руку. Единственного в тот момент больше интересовало то, как искусно был вырезан набалдашник трости.

Анжелика в ответ искренне рассмеялась. Прекрасным было её настроение, и выглядела она действительно великолепно. Не желая оставаться в долгу, Анжелика польстила режиссёру:

– А вы, милый друг, продолжаете оставаться таким же хищным киноволок. Всё приводите в трепет молодых козочек, мечтающих сняться у всем известного Карского. Только, на мой взгляд, теперь вы стали ещё более хищным.

Оба посмеялись над её ответом.

– Ну что вы, прекрасная Анжелика! Вы мне льстите! В одном вы правы – я действительно старый киноволок с перебитой ногой. А юные козочки трепещут теперь перед господами продюсерами. Так, кажется, в наши времена модно именовать представителей новых русских, которые сегодня вкладывают деньги от рэкета в отечественное кино.

– Вы всегда были колючим, милый друг.

– Хотите сказать – брюзгой? Забрюзжишь, пожалуй. Вот уже в ваших прекрасных глазах я упал от уровня хищного волка до уровня и образа примитивного колючего ежа.

Единственный не выдержал и тоже рассмеялся. Этот Карский определённо начинал ему нравиться. Тот закончил смеяться, спрятав улыбку в уголках губ, подал Единственному руку и представился:

– Эдуард Карский – хищный, колючий, чуть ли не дикобраз, по словам вашей очаровательной спутницы. Ужас какой-то! Вот уж не думал о себе такого, – и весело рассмеялся.

Единственный тоже улыбнулся, пожимая протянутую руку. Потом в свою очередь представился, назвав себя предпринимателем. Режиссёр вежливо сказал:

– Простите, если я обидел Вас своим словоблудием насчёт новых русских. Поверьте, этот камень был брошен совсем не в Ваш огород.

– Да нет, какой к чёрту огород? – весело проговорил Единственный. – Так себе, небольшой дачный участок, если уж проводить аналогию.

Карский удовлетворённо склонил голову.

– Принимается. Тогда вы ближе ко мне. Как там в книге и том добром старом мультике? «Мы с тобой одной крови!»

Анжелике понравилось, что они поладили друг с другом. Она предложила:

– Мужчинам шампанского?

Согласие последовало. Единственный попросил у режиссёра разрешения рассмотреть трость. Он повертел её в руках, вслух отметил изящество работы. Уж он-то мог оценить ручную работу. В своё время через руки Единственного прошло столько изделий лагерных кустарей! Среди них были мастера, да ещё какие.

– Чего ж вы хотите, дорогой друг! Трости работы Карского дорого стоят. Приходите как-нибудь с вашей беспощадной на сравнения спутницей, я вам покажу и другие работы. У меня есть коллекция – двенадцать тростей. Все моей работы. Есть и ещё кое-что.

– У Эдуарда Викторовича поистине золотые руки! Вы ещё не забросили своё увлечение, реставрацию антикварных изделий? – спросила Анжелика режиссёра.

– Ну что вы, Анжелика. Профессию люди ещё иногда меняют, а хобби – это на всю жизнь. Приходите, мы должны повертеть вашу роль в сценарии.

И вот они с Анжеликой собирались навестить режиссёра. Анжелика прихорашивалась перед зеркалами. Единственный безотрывно глядел в окно. Там, во дворе, медленно и осторожно, шаг за шагом переставляя слабые ножки, малыш топал навстречу присевшей на корточки матери. Молодая женщина, счастливо улыбаясь, раскинула руки, готовясь принять малыша в свои объятия. «Вот счастье-то в чём!» – мелькнула у Единственного мысль. В последнее время Анжелика, ночами прижимаясь к нему в постели, всё чаще заговорщическим шёпотом спрашивала, не хочет ли он ребёнка.

Её голос прервал размышления Единственного.

– Милый, помоги мне, пожалуйста. Не получается справиться с замком.

Анжелика подошла к нему, ослепительно красивая в новом, недавно купленном ей в подарок, шикарном платье и повернулась спиной.

Единственный медленно потянул маленький блестящий замочек молнии вверх, целуя Анжелику в шею, зарываясь в пушистую россыпь волос. Телефонный звонок заставил его прервать это восхитительное занятие. Единственный ещё раз прижался к Анжелике, поцеловал её в щеку, потом подошёл к телефону.

Звонил Яков. Он попросил Единственного срочно приехать:

– Есть разговор.

– Что, до завтра не потерпит? – недовольно проговорил Единственный. – Мы с Анжеликой собрались в гости.

– Извинись за меня перед Анжеликой. Это ненадолго. Подъезжай, машина за тобой ушла. Наверное, она уже на подъезде.

– Хорошо, – Единственный положил трубку и поморщился как от зубной боли. Он подошёл к Анжелике, в ожидании всматривающейся ему в лицо.

– Дорогая моя, не сердись, пожалуйста! Звонил Яков, просил меня срочно подъехать. Машину за мной уже отправили. Если хочешь, поезжай пока к Карскому, я присоединюсь к вам позже.

– Нет, одна я не поеду. Тогда уж буду ждать тебя дома.

В голосе Анжелики проскользнули нотки досады и раздражения. Единственный обнял её и поцеловал долгим, страстным поцелуем. Опять раздался звонок телефона.

– Это, наверное, водитель, – прошептал Единственный, нехотя отрываясь от её губ, не желавших отпускать его.

Подняв трубку, он секунду слушал, затем резко бросил:

– Выхожу!

У дверей он вновь поцеловал Анжелику, разгладил пальцами упрямую складку на её высоком лбу. Она всегда появлялась в те моменты, когда Анжелика бывала раздосадована.

– Не сердись, любовь моя, я скоро вернусь! – крикнул Единственный, сбегая по ступеням вниз.

Паук и Тюрьма ждали его в небольшом, но уютном частном ресторанчике, в закрытой кабине. На столе стояли вино, фрукты.

Единственный обнялся с Яковом, пожал поспешно протянутую ему навстречу руку Паука. Паук смотрел сегодня без обычной барской уверенности. Почему-то часто отводил взгляд, а когда встречался с пронизывающим взглядом Единственного, то глаза его начинали странно блуждать, в них мелькало что-то заискивающее. «С чего бы это?» – подумал Единственный, а вслух спросил:

– Что-нибудь стряслось?

– Стряслось! На мой банк наехали. Группировка Вольфа. Они заблокировали финансы на счетах швейцарского банка, – ответил Паук.

– Что за финансы? – Единственный не сразу понял, о чём идёт разговор.

– Наша операция по редкоземельным металлам: осмий, скандий.

Ребята Вольфа выступали посредниками в этой игре, между на-

шими людьми и покупателями. Деньги были переведены на счета посредников. Товар разблокировал наш человек, как и уговаривались. Сегодня наш же человек должен был проконтролировать отправку денег на подставные счета в банках Прибалтики.

Единственный внимательно слушал, мысленно прослеживая цепочку фактов, представляемых рассказом Паука. Тот продолжал:

– Наш человек пропал и не выходит на связь после того, как поехал на встречу с людьми Вольфа. Деньги на наши счета не поступили – они должны были идти СВИФТом.

– А кто должен был дать им номера прибалтийских счетов? – спросил Единственный.

– Наш человек. Это он должен был дать номера.

– А что говорят посредники?

– Они утверждают, что деньги были отправлены ими на счета, указанные нашим парнем.

– Яков, этот «наш парень» чей человек?

– Это человек Александра, – ответил Яков.

Единственный отхлебнул пару глотков вина, всматриваясь в игру янтарно-золотистого цвета на гранях хрустального фужера. Что за кроссворд хочет загадать Паук? Надо дослушать его до конца. Если всё так, как он говорит, то расклад действительно хитрый. При игре втёмную продумывать ходы интересно потому, что почти все блефуют.

– Какова ставка в игре? – спросил Единственный.

– Два лимона. Но ведь ещё и банк попадает на столько же, значит, четыре. Банк был официальным гарантом для обеих сторон согласно липовым контрактам. Ведь он выступал гарантом сделки перед банком-кредитором.

– Навороченная игра, – процедил Единственный. – А что ты думаешь, Яков? – задал он вопрос Якову, наблюдая за ним.

Яков неопределённо пожал плечами. Единственный немедленно насторожился. «Что-то тут не то, в этот суп чего-то не докладывают, – промелькнула у него мысль. – Четыре лимона, а он только пожал плечами? Нет, так не бывает. Яков переигрывает, вернее – он не доиграл. Тут какое-то фуфло они мне гонят!» Вслух произнёс опять:

– Навороченная игра. Вы хотите, чтобы мы стали предпринимать что-то уже сейчас? Или сегодня есть время подумать?

Ответил Паук:

– Давай подождём до завтра. Может, что-то прояснится, – предложил он.

Единственный взглянул на Якова. Тот поспешно согласился.

– Ну, что ж. До завтра – значит до завтра, пылить не будем. К сожалению, мне надо покинуть вас. Есть ещё одна запланированная встреча, – проговорил Единственный.

– Надеюсь, приятная? – улыбнулся Паук.

– Нормальная. Дружеская!

Единственный пожал протянутую ему руку Якова, попрощался с Пауком.

– Моя машина отвезёт тебя, Амур, – сказал Яков. – Мы доберёмся на Сашиной. Ты только сразу отпусти Тритона, хорошо? – Яков махнул ему рукой и проводил Единственного долгим взглядом.

Раздосадованная Анжелика бродила по квартире, нервничая по причине долгого отсутствия Самата. Время от времени она бросала взгляд на стоящие в углу напольные часы, выполненные под старину. Сначала она хотела позвонить режиссёру и сказать о том, что они немного задержатся. Но потом передумала, решила дожидаться Самата и тут же выехать. В последнее время она стала что-то чересчур нервной и раздражительной.

Анжелика безумно любила Самата. Во время первых встреч она относилась к нему как к одному из своих многочисленных поклонников. Но позже, приглядевшись повнимательней, она женским чутьём поняла, что он совсем не похож на людей, окружавших её в «киношной» орбите. Самат был не экстравагантен, но чрезвычайно вежлив. Он не был галантен, но всегда был очень тактичен. Ему не хватало воспитания, но этот «пробел» он с лихвой перекрывал, используя свои наблюдательность и интеллект.

Если отбросить в сторону все внешние «навороты» – модную одежду, дорогую машину, тугой кошелёк, то оставались его глаза. А они у Самата были особенными. То в них плескалась тихая усталость, то, наводя рябь, в них начинала вдруг светиться прозрачная грусть. Порой зрачки его карих глаз расширялись, и в них читалась затаённая, неведомой природы боль. Когда он был взбешён, взгляд его становился острее бритвы, глаза будто бы испускали два тонких испепеляющих лазерных луча.

Это было то, что привлекло внимание Анжелики в начале их знакомства. Позже, когда они стали ближе, она постепенно узнавала о Самате больше, что-то испытывала, домысливала недосказан-

ное. Перед ней, путая и в то же самое время притягивая её, вырисовывалась незнакомая, неведомая мозаика человеческой трагедии.

Со временем он рассказал ей правду, и Анжелика узнала, что Самат – авторитет преступного мира. Как же могло произойти такое? Актриса и вор!

Сколько она выстрадала! Просыпаясь среди ночи, всматриваясь в его перекошенное злобой лицо, вслушиваясь, как он, скрипя зубами, выбрасывал в темноту комнаты хлёсткие обрывки фраз: «Булка, ты негодяй! Сатана, я прав! Это запретка! Я тебе говорил, Скула!» – и беспомощно стонал при этом. Тогда Анжелика прижималась к нему всем телом. Тихонечко поглаживая его рукой, она шептала: «Милый, милый, всё хорошо, я с тобой». И Самат, не просыпаясь, вдруг успокаивался, начинал дышать ровно и тихо. Она же продолжала поглаживать его, чуть скользя пальчиками по груди, расслабляя напрягшиеся в кошмаре мышцы, словно лайковой кожей шлифуя срез стального бруса.

Физиками доказано: если долго-долго шлифовать тоненькой лайкой, до микронной зеркальности, срезы двух кусков стального бруса, а затем плотно приложить отшлифованные поверхности одна к другой, то они соединятся. Соединятся их атомы, и такое соединение крепче любой в мире сварки.

Вот так и Анжелика с Саматом – взаимно, с нежностью и долготерпением отшлифовали поверхности друг друга великой любовью. Когда соединились, оказалось, что они срослись навсегда. Теперь разделить их было невозможно. Они стали единым целым, и оторвать их друг от друга было всё равно, что рассечь одно живое пополам.

Анжелике было трудно смотреть на Самата в минуты, когда она доказывала ему, что им надо уехать. Куда? В Канаду, в Австралию, к чёрту на кулички! Лишь бы он начал новую жизнь. Анжелика была убеждена в том, что им необходимо уехать не только потому, что сама боялась потерять любимого здесь, в этой стране. Она видела, как Самат страдает от внутренней неустроенности, неслаженности.

Однажды Единственный взорвался. Наболевшее уже выплёскивалось через край, и он наговорил Анжелике такого, от чего её бросило в дрожь. Он кричал, едва не бегая по комнате, что он – дитя старых воровских идей и не может вот так просто, словно надеть другие ботинки, начать мыслить по-другому. Что, в конце концов,

патриарх преступного мира – Сатана – завещал ему совсем иное. Неведомо было, кому кричал это Самат, но было в его крике столько отчаяния!

В последнее время Анжелика всё сильнее напирала на него, убеждала, доказывала, плакала! И, кажется, он дрогнул. Да, он точно начал склоняться к её мыслям.

Долгими ночами Анжелика сводила сума Самата, лаская его. Ненасытная и неистощимая, жаркая, как огонь, она то умиляла его своей непосредственностью, сохранив многое от готовой подураться девчонки, то поражала рассудительностью зрелой матроны. Сливаясь с любимым в поцелуях, Анжелика шептала, умоляя его:

– Любимый мой, мой Единственный! Давай уедем! Ради меня, ради нашего будущего ребёнка, о котором мы оба мечтаем. Я рожу тебе его, выношу под сердцем для нас с тобой. Он будет счастливым ребёнком, потому что у него будут отец и мать.

Сходя с ума от возбуждающих ласк Самата, Анжелика потеряла осторожность. Этими роковыми словами она вынесла себе приговор. И думать не могли влюблённые, что их комнаты напичканы незримыми подслушивающими «жучками». Все разговоры Самата и Анжелики, даже самые интимные звуки и шёпоты, сопровождавшие святые для них любовные игры, беспристрастно записывались и передавались по нитям расставленной Пауком японской паутины.

Анжелика направилась к телефону, намереваясь позвонить Единственному. Она уже взялась за трубку, как вдруг спиной ощутила присутствие в комнате кого-то чужого.

Она резко обернулась и увидела перед собой крупного незнакомого мужчину. Ничего не успевая осмыслить, Анжелика глянула в почти бесцветные глаза незнакомца, ужасаясь увиденному. У неё мелькнула мысль, что где-то когда-то она уже видела это бескровное, серое, отталкивающее лицо – где-то рядом с Саматом.

Мужчина резким взмахом руки нанёс Анжелике рубящий удар ребром ладони. Колени её подломились и она упала, уронив телефонную трубку.

Сколько времени она пробыла без сознания, Анжелика не знала. Придя в себя, она с пронзительным ужасом осознала вдруг, что её насилюют. Руки её были связаны за спиной, рот грубо заклеен скотчем. Перебросив через спинку дивана её тело, принадлежавшее только Единственному, любимому человеку, этот скот с соба-

чьим урчаньем «трудился» над ней. Всё в мире, в её прекрасном мире, состоявшем из ролей в театре и кино, из любимых людей, вдруг рухнуло, как в последнюю ночь Помпеи. Оставалась лишь страшная боль, которая жгла нестерпимым адским огнём её лоно, в которое всаживался этот подонок.

От боли и ужаса Анжелика вновь потеряла сознание. Постепенно приходя в себя, она всё ещё продолжала ощущать на своих бёдрах его цепкие руки. Любовь Самата и Анжелики, нежность их ласк, трогательное их единство – всё это померкло в один миг, не оставляя шансов на повторение прекрасного!

Напрасно бунтующее тело Анжелики, переполненное ненавистью и отвращением, отчаянно боролось с насильником, пытаясь оказать ему сопротивление. Застигнутая врасплох, она с безмолвием пойманной рыбы билась, чувствуя, как эта мразь входит и входит в неё, ускоряя темп омерзительных движений. Анжелика кричала, безмолвно кричала в безумии, будто её, колесуя, медленно поджаривают на кошмарном бесовском пламени.

Вдруг, как бы через пелену стусившейся ненависти, она услышала противный скрипучий голос насильника:

– У тебя классная задница! Ты мне доставила удовольствие, поэтому я дам тебе возможность самой уйти из жизни.

Анжелика почувствовала, как он, продолжая оставаться в ней, грубо срывает прикипевший к её коже липкий скотч, освобождая связанные за спиной руки. Потом вложил в её онемевшую, непослушную, будто чужую руку какой-то предмет.

Усилием воли подавляя эту непослушность, Анжелика сантиметр за сантиметром подтянула правую руку к лицу и увидела, что в ней была отсвечивающая синеватым жалом стальная опасная бритва.

Разве могла Анжелика теперь жить, растоптанная этим зверем? Её тело было опоганено, осквернено и не смело больше принадлежать любимому Самату. Измученный мозг её вдруг затих и заработал приглушённо и мерно, как тикает будильник в темноте ночи. Анжелика ясно слышала, как бьётся её сердце. Её любящее сердце!

Она почувствовала, как кровь приливает к руке, чуть заметно шевельнула пальцами, убеждаясь, что рука действует. Теперь она с осознанно пришедшей радостью сжала бритву, вложенную в её руку насильником – оружие, которым она должна убить себя.

Сгорая от мучительного стыда перед любимым, оттого, что её телом воспользовалась эта мразь, Анжелика чуть приподняла голову над диваном и бритвой нанесла себе сильный и глубокий удар по сонной артерии. Тотчас же хлынула горячая алая кровь.

Кровь! Заливающая всё вокруг алая пелена. Это было последнее, что видела Анжелика. Ей показалось, что кровь смывает с неё грязь чужого тела. Умирала она счастливой, немного лишь укоряя любимого в том, что он оставил её, что она покидает его!

Чёрный мерседес Якова неторопливо пробиравшись в потоке машин. Единственный посмотрел на часы и досадливо поморщился: «Как медленно мы едем! Это займёт ещё не менее тридцати минут. Анжелика, наверное, страшно рассержена на меня».

Он достал из кармана сотовый телефон и набрал номер Анжелики. В трубке слышались длинные гудки. Он терпеливо ждал, мысленно представляя себе любимую, спешащую к телефону. Гудки продолжались, но Анжелика трубку не поднимала. Единственный выключил телефон, потом набрал знакомый номер снова. Опять гудки продолжались, но трубку никто не снимал.

«Сердится», – подумал Единственный и попросил Тритона ехать побыстрее.

Тритон, получивший своё прозвище за огромный рост и вес («три тонны»), уже несколько лет был водителем Якова. Он отлично справлялся с любыми автомобилями и знал Москву как свои пять пальцев. К Единственному он относился уважительно, хотя они редко когда о чём-нибудь говорили.

Тритон прибавил газу, и мерседес, торопясь, принялся обгонять машины одну за другой, то слева, то справа, мгновенно по ситуации перестраиваясь из ряда в ряд. Мерседес сноровисто и дерзко подрезал других водителей, нагло ватно проскакивал на жёлтый свет и вскоре вырулил на Тверскую.

«Вот и приехали», – перевёл дух Единственный. Тритон красиво ушёл с трассы, плавно направил автомобиль во двор и остановился прямо у подъезда, в котором была квартира Анжелики.

– Благодарю, Тритон, отличная езда! – Единственный слегка хлопнул водителя по плечу и вышел из машины.

Металлическая дверь подъезда автоматически захлопнулась за его спиной, а он уже быстрым шагом поднимался по лестнице. Вот и квартира. Единственный нажал на кнопку звонка. Короткий музыкальный звонок еле слышно пропел за дверью. Единственный

терпеливо ждал. Нажимая на кнопку звонка ещё раз, другой рукой он нетерпеливо достал из кармана брюк ключи.

Недоумевая, немного раздосадованный, Единственный быстро открыл дверь квартиры и шагнул внутрь.

– Анжелика! – негромко позвал Единственный. Не снимая обуви, он прошёл в гостиную и окаменел. Сердце его вдруг будто бы оборвалось и, упав куда-то вниз, замерло, словно растворилось.

Страшная картина, представшая перед Саматом, заставила его содрогнуться от боли и ужаса.

В розовом свете, который рассеивали по комнате настенные бра, он увидел мёртвое тело своей любимой. Оно свисало, перекинутое через спинку дивана, в задранном до пояса платье, без трусиков, с обнажёнными белыми, как мрамор, ногами.

Словно хватанув с разбегу стакан чистого неразбавленного спирта, Единственный стиснул зубы, язык его мгновенно прилип к небу, во рту пересохло. Он хотел шагнуть вперёд, но внезапно отказали ноги, которые стали вдруг ватными и будто приклеились к полу. Всё же Единственный шагнул, собрав всю свою волю, заставил себя подойти к любимой.

Анжелика лежала лицом вниз, уткнувшись в свою любимую думку – маленькую подушечку, которую везде и всюду возила с собой. Её тяжёлые волосы рассыпались, закрывая лицо. Следов крови нигде не было видно.

Единственный с замершим сердцем откинул волосы, приподнял голову любимой и ужаснулся. Белое покрывало было пропитано кровью. На шее Анжелики была прочерчена глубокая, уже не кровоточащая рана. Рот её был грубо заклеен широким коричневым скотчем. Огромные сине-зелёные глаза, в которые Самат так любил смотреть, утопая в их бездонной глубине, взирали на него с застывшей укоризной.

Пережить это было невозможно! Сердце Единственного, которое только что было готово остановиться, теперь, наоборот, зачастило. Забилося оно быстро-быстро, словно был это перестук колёс вагонзака, летящего по стылым, промёрзшим сибирским рельсам в тёмную зимнюю ночь.

Осталось нетронутым бриллиантовое кольцо на высокой белой шее Анжелики. Оно тускло отсвечивало, грани поигрывали, отбрасывая тонкие острые лучики.

Не было на Анжелике серебряного крестика – того самого, что

Светлана надела Единственному на шею перед тем, как его увезли на следствие и осудили «к пыжу». В той памятной поездке Самат надел этот крестик Анжелике, когда они, уставшие от безумных ласк, засыпали в машине. Он без утайки рассказал любимой историю этого крестика и сказал: «Он будет хранить тебя!»

Опустив голову Анжелики на думку, Единственный осторожно, будто боясь причинить ей боль, сантиметр за сантиметром сорвал с её губ скотч.

Потом, полностью владея собой, взял в ванной полотенце, смочил его и обтёр так обожаемое им тело любимой, испачканное спермой насильника и убийцы. В одном из ящичков шкафа он отыскал её белье и надел на неё чистые трусики. Оправил платье, затем, подняв её безжизненное тело, положил на диван, на спину, во весь рост, предварительно сдёрнув белое лохматое, пропитанное алой кровью, покрывало. Подложил под голову её любимую думку.

Анжелика лежала, устремив взгляд широко раскрытых глаз вверх. Так бывало, когда они с Саматом немного ссорились и не приходили к общему мнению. Тогда Анжелика демонстративно ложилась на диван, пристраивая под голову свою любимую подушечку, и молча глядела в потолок, отказываясь говорить.

Единственный поцеловал любимую в уже холодеющие и оттого чуть капризно поджатые губы и прикрыл ладонью её прекрасные глаза.

Он сидел на полу, держа в своей руке правую руку Анжелики, украшенную золотым браслетом тонкой работы. Браслет изображал дракона, обвивающего запястье. Он мерцал тёмно-зелёными глазами-изумрудами.

Грудь Самата переполнила невыносимая боль. Она распирала его, раздирала рёбра, разрывала лёгкие, подкатывалась к горлу. Вдруг он закричал страшно, закинув голову вверх, обращаясь в своём мучительном крике к Богу, а потом совсем уже по-звериному завыл. Подняв полусогнутые в локтях руки, он выл, потрясая ими, задыхаясь от немыслимой боли.

Потом он затих и снова взял безжизненную руку Анжелики. Сколько он просидел так? Уставившись бессмысленным взглядом в лицо любимой, не переставая поглаживать её руку, утирая переполненные слезами глаза.

Какая-то мысль неотвязно крутилась у него в голове. Единственный начал ощупывать всё вокруг взглядом, бормоча: «Где же он?»

Куда он мог деться?» Он лихорадочно искал крестик. В тот момент это было для него так важно, словно найденный крестик мог оживить Анжелику.

Серебряный крестик-талисман на разорванной цепочке лежал за ножкой дивана. Единственный потянулся за ним, и вдруг заметил, как блеснула какая-то вещица, лежавшая рядом.

Не выпуская руки Анжелики, Единственный потянулся свободной рукой и достал замеченный им блестящий предмет. Это была очень редкая и дорогая зажигалка фирмы «Ронсон». Корпус её был выполнен из природного граната, сверху располагалась позолоченная откидная часть, из-под которой появлялось пламя.

Затаив дыхание, Единственный внимательно осмотрел зажигалку. В левом нижнем углу не хватало небольшого отколовшегося кусочка камня. Сомнений не оставалось. Эта вещица была ему хорошо знакома. Зажигалка принадлежала Герасиму. Как-то Яков в присутствии Единственного, раздобывшись, подарил её своему верному слуге. Так вот кому они поручили это мерзкое убийство. Герасим! Герасим!..

Единственный мучительно застонал, сдавив голову руками, покачиваясь из стороны в сторону. От осознания невозможности что-либо изменить он до крови прокусил себе губу. Солоновато-сладкая кровь наполнила рот. Единственный глотал её, а перед глазами разворачивалась картина случившегося.

«Они вызвали меня в ресторан и полтора часа кормили там «сечкой». А я – Амур – как дешёвый фраер схавал эту мякину и сидел там, обсуждая сотканые Пауком «проблемы», в то время как Герасим насиловал и убивал мою любовь!

Герасим бесшумно проник в квартиру. Значит, когда-то они сняли слепки с ключей. Он застал её врасплох, потом оглушил ударом и заклеил рот скотчем. Перебросив безжизненное тело Анжелики через спинку дивана, задрал на ней платье и сорвал трусики. Он насиловал её, это грязное животное! Бедная! Хорошо хоть, что она ничего не чувствовала. А затем, удовлетворив животную страсть, этот скот зарезал Анжелику. Зажигалка, видимо, выпала у него из кармана в тот момент, когда он спускал с себя брюки».

Мгновенно нарисовав себе картину случившегося, Единственный испытал такую боль, какую человеку перенести невозможно. Он скрипел зубами, глотал кровь, продолжавшую сочиться из губоко прокушенной губы, подвывал, шептал в бессильной ярости:

– Бедная моя! Бедная моя! Я убью вас, шакалы! Лютой смертью вы умрёте!

Теперь его мозг заработал уже ясно и чётко. Для его психики это было привычным состоянием. В час тяжелейших испытаний мозг Единственного становился холодным как лёд. В нём начинала вылезать страшная картина мести.

Единственный взглянул на часы – было около шести часов утра. Оказывается, он просидел рядом с Анжеликой всю ночь. Взяв телефонную трубку, лежавшую на полу, он набрал номер Людмилы, подруги Анжелики. На той стороне трубку долго никто не поднимал. Наконец Единственный услышал голос Людмилы, не до конца проснувшейся.

– Людмила, проснись, пожалуйста, это я, – Единственный дождался, пока она осмыслит происходящее и узнает его голос. Потом сказал ей жёстко:

– Случилось страшное. Анжелику убили! Я звоню тебе из её квартиры. Не поднимай шума, приезжай сюда срочно. Мне её не с кем оставить.

Людмила некоторое время молчала, тяжело дыша в трубку. После долгого молчания спросила:

– Кто это сделал?

– Приезжай быстрее, я их знаю. Я должен найти их, но мне не с кем её оставить!

– Да, я уже еду. Сейчас, сейчас, еду.

Она положила трубку.

Людмила была близкой подругой Анжелики. После развода она несколько лет жила одна в небольшой квартирке в Лужниках и воспитывала пятилетнюю дочь. Работая на студии, Людмила сблизилась с Анжеликой и стала для неё незаменимым человеком.

Людмила жила неподалёку, потому приехала быстро. Вбежав в квартиру, она бросилась было к Анжелике, но будто натолкнулась на незримый барьер. Она остановилась как вкопанная, глядя на мёртвую подругу, потом опустилась на колени и подползла к дивану. Сначала она заплакала бесшумно, потом тихо заскулила. Анжелика выглядела царственно-прекрасной, будто прилегла отдохнуть и незаметно уснула. Людмила уткнулась лицом ей в живот и рыдала, содрогаясь всем телом.

Единственный дожидался, пока она хоть немного успокоится.

Он боялся, что Людмила зайдётся в истерику, но теперь, видя как она мужественно переносит смерть подруги, решил, что дольше оставаться здесь ему уже нельзя. Он тихо и четко произнёс:

– Люда, слушай меня внимательно. Мне нельзя оставаться здесь ни минуты. Я должен отомстить за Анжелику. Я знаю, кто это сделал и найду их. Эти скоты отняли у меня одно единственное, самое дорогое, что было у меня в жизни. Моя месть будет ужасна! Я сейчас уйду, а ты вызови милицию. Сообщи родным и на Мосфильм. Мне необходимо несколько дней, чтобы я смог дотянуться до этих тварей. Поэтому не говори милиции, что тебе о смерти Анжелики сообщил я. Если они устроят охоту на меня, мне придётся сложней. Этот скот изнасиловал Анжелику. Я обнаружил её мёртвую и обнажённую. Я обтёр её тело и надел новое бельё. Сделай всё возможное, чтобы никто не узнал о том, что Анжелику изнасиловали, прежде чем убили.

Единственный замолк. Потом, глядя Людмиле в глаза, спросил:

– Скажи, ты мне веришь?

– Да! Но и ты скажи: её убили из-за тебя?

Ему стало трудно дышать. Теперь он точно знал, что Анжелику убили из-за него, но ответить на прямой вопрос Людмилы было нелегко. И всё же Единственный ответил:

– Я ещё не знаю, для чего они её убили. Ясно одно: причиной смерти являюсь я.

Людмила, продолжавшая стоять на коленях рядом с мёртвой подругой, беззвучно рыдая и глотая слёзы, вынесла приговор:

– Я всегда говорила Анжелике, что ваша связь кончится плохо.

Единственного качнуло как от удара. Суровое его лицо, бледное как мел, исказилось от боли, по нему пробежала волной тень страдания: «Что ж, эта подлая жизнь в очередной раз сыграла со мной злую шутку. Правда, этот раз будет последним. Я выпью горькую чашу до дна».

Он не ответил Людмиле. Будто боясь разбудить уснувшую Анжелику, Единственный бесшумно, мелкими шажками, подошёл к ней, опустился на колени и стал осыпать любимую последними прощальными поцелуями.

Всё земное для него умерло. Да и сам Единственный умер с уходом Анжелики. Только брненное тело его продолжало функционировать, потому что он ещё должен был отомстить негодяям. А душа его, израненная, искалеченная, наконец-то сегодня умерла. И оттого Единственному стало спокойно.

Он перебирал вьющиеся волосы Анжелики, втягивал в себя их аромат. Странно, от них вовсе не пахло смертью, они продолжали издавать запах далёких степных трав. Самат так любил зарываться лицом, как в степной ковыль, в эти густые волосы, всегда источавшие запах весеннего степного разнотравья.

«Прощай, прощай, прощай, любовь моя! Эти скоты думают, что они отняли тебя у меня. Они ошиблись. Мы скоро опять будем вместе. Я догоню тебя, мне только нужно ещё несколько дней!»

Перецеловав Анжелику всю: её лицо, волосы, шею, грудь, руки – Единственный тяжело поднялся. Озираясь по сторонам почти безумным взором, оглядел комнату, показавшуюся вдруг чужой и незнакомой, затем повернулся и пошёл, покачиваясь, к выходу.

Три дня Единственный провёл на своей конспиративной квартире, которую снял несколько месяцев назад. Об этой квартире не знал никто, даже Яков. Единственный лежал там как волк в логове, зализывая раны, стараясь осадить на самое дно души боль, похожую на муть, поднявшуюся со дна чистого озера. Он знал, что эта боль могла стать помехой ему в предстоящей схватке.

Он посмотрел сообщение, переданное по телевизору дважды – в утреннем и вечернем выпусках новостей – о том, что на своей квартире при загадочных обстоятельствах была убита известная киноактриса Анжелика Ростоцкая. Единственный глядел на экран, где появлялся её портрет в чёрной траурной рамке. Странно, что при этом он не испытывал каких-либо особых чувств.

Диктор сообщила, что ведётся расследование и отрабатываются различные версии. О том, что актриса была изнасилована, не было сказано ни слова. Потом сообщили о том, что Анжелика Ростоцкая будет похоронена на Ваганьковском кладбище.

Трое суток Единственный ходил по комнате из угла в угол, отмеряя шаги, потеряв сон. Лицо его почернело, под глазами тёмными кругами залегла усталость.

После того, как умерла его душа, Единственный утратил потребность есть и спать. Время от времени он пил лишь воду прямо из-под крана. Куря до тошноты сигареты, одну за другой, в который раз уже он вновь чистил пистолет бесшумной стрельбы и часами рассматривал, вертя в руках, огромный, отточенный как бритва, нож с зубринами с одной его стороны.

Единственный не мог рисковать, поэтому на кладбище ему до-

рога была заказана. Там бы его сразу арестовали, если раньше того не застрелили бы люди Паука. Если Герасим вспомнил, что оброну зажигалку в квартире Анжелики, за жизнь Единственного никто не даст сейчас и копейки.

На исходе третьего дня вор поднялся с кровати, прошёл в ванную и долго-долго стоял под душем. Старательно побрившись, он надел белую рубашку и светло-бежевый двубортный костюм. Пистолет он сунул за пояс, ещё раз проверив его готовность. Отсвечивающий острейшим клинком нож он удобно расположил на голени правой ноги, приклеив его прозрачным скотчем.

Спустившись вниз, Единственный завёл свой новый джип. Этот джип совсем недавно пригнал ему Тритон по поручению Якова. Тюрьма, приняв решение о включении Единственного в игру, счёл, что тому теперь необходим был представительный «Гранд Чероки».

Единственный поехал в офис Паука. Документы у вора были в порядке, поэтому он не очень боялся встречи с ГАИ. Однако на его счастье никто его ни разу не остановил. Добравшись до места, Единственный оставил свою машину, чуть не доезжая до главного входа в офис. Шестисотый Паука стоял, припаркованный на обычном месте.

«Здесь!» – от сердца отлегло. Больше всего Единственный боялся не застать Паука в офисе.

Внизу в холле горел свет. Через стеклянную стенку было видно, как два гориллоподобных телохранителя Паука играют в бильярд.

«Кретины!» – прошептал вор и коротко позвонил в дверь. Один из охранников спросил: «Кто это?» Единственный назвал своим именем и потребовал впустить. Он знал, что сейчас охранники сообщат о его приходе Пауку и что Паук даст приказ впустить, обыскать, а затем привести в кабинет. Но Единственный всё просчитал.

Щёлкнул замок на двери. Это означало, что автоматика разблокировала дверной запор. Теперь охранники будут ждать, когда он войдёт. Но Единственный не спешил входить. Наоборот, он стал ждать, когда выглянет один из них – любопытствующий, почему это посетитель так долго не входит.

Точно! Громадный телохранитель, не вытерпев паузы, выглянул в дверь и немедленно получил точно в голову две бесшумные пули. Единственный подхватил тяжеленное тело гориллы, не давая тому упасть. Прикрывшись им как щитом, он вошёл в холл.

Второй громила, ничего не успевший понять, не выхватил даже пистолет. Несколько пуль Единственного отбросили охранника от бильярдного стола к стене, по которой он сполз на пол, оставляя на стенной панели кровавые полосы. Единственный вогнал в рукоятку пистолета новую обойму.

Теперь наверх! Он прошёл через пустую приёмную секретарши и открыл дверь в кабинет. Там были двое – Паук и «крупнорогатый» мусор в полковничьем мундире, «крыша» Паука. Крупнорогатому, вскинувшему голову навстречу своей смерти, Единственный с огромным наслаждением всадил четыре пули без слов. Паук сидел с выпученными глазами. Его тщательно выбритое, барски холёное лицо медленно покрывалось белизной.

Единственный подошёл к Пауку, съевшемуся от страха, и, ничего не сказав, ударил рукояткой пистолета по затылку, на время отключая эту самодовольную мразь.

То, что он задумал, было страшно! Паука должны были сожрать так лелеемые им, возвращённые его же руками, собранные со всего света, гнусные насекомые. Эта смерть будет адекватной низости их хозяина!

Единственный спустился вниз и запер двери офиса. Потом, снова поднявшись наверх, отключил телефоны в кабинете Паука и в приёмной у секретарши.

Переступив через валявшийся в луже крови труп крупнорогатого, Единственный с омерзением пнул его в бок. Затем он перетащил начинающего приходить в себя Паука в комнату отдыха. Бросив его на пол, Единственный стал срывать с цепенеющей от страха мрази дорогие «карденовские» одежды.

Паук не сопротивлялся, даже когда Единственный стащил с него брюки. А вор любовно, будто пеленая, связывал по рукам и ногам своего врага, стонущего от боли. Неспешно проверив крепость узлов, Единственный перетащил Паука поближе к аквариуму, который тот так любил, и уложил его там. Потом, небрежно рванув тонкую ткань, сдёрнул с Паука белоснежные трусы.

Всемогущий Паук, вконец утративший свою вальяжность, лежал теперь униженный и жалкий. Он недоумевал и никак не мог понять, зачем этот страшный человек раздел его догола. Вдруг несуразная догадка мелькнула в охваченном страхом сознании Паука, и он быстро заговорил:

– Ты что, хочешь трахнуть меня?

Единственный криво усмехнулся, выключил в комнате свет и подошёл к аквариуму.

– Что ты собираешься сделать? – пробормотал мертвеющими губами Паук.

– Ты мне рассказывал, что укусы этих тварей опасны для человека. Одни из них вызывают паралич, другие – столбняк, третьи – смертельны. Вот и проверим, так ли это, – проговорил Единственный.

– Нет! Не-е-е-ет! – раздался умоляющий крик. – Я подумал, ты хочешь меня трахнуть. Давай, трахни, я согласен на всё. Сделай со мной, что хочешь, только не надо пауков! Я тебя умоляю! – Паук иступлённо зарыдал. – Только не это! Только не это! Я дам тебе столько денег, сколько захочешь, сумасшедшие деньги! Подумай, умоляю тебя!

– Где Герасим? – задал вопрос Единственный. Паук немедленно ухватился за соломинку, брошенную ему этим «ангелом смерти», и без малейшего сожаления сдал киллера.

– Герасим сейчас в Ивантеевке. Там у него вилла, с таким высоким забором, неподалёку от съезда с трассы.

Рукояткой пистолета Единственный несколько раз с силой ударил по толстому витринному стеклу аквариума. Оно разлетелось вдребезги. После этого вор опрокинул сам аквариум на пол.

Тело Паука, выхваленное руками очаровательных массажисток, которые не раз за отдельную барскую плату с удовольствием делали ему минет, сейчас извивалось на полу. Он в страхе и ужасе бился головой о толстый ворсистый ковёр.

– Амур, еще не поздно! Подумай! Я отдам тебе всё, что у меня есть! Ты станешь безумно богатым, только убери от меня этих тварей! О, Боже! Они уже ползут!!!

Вывернув голову вбок, Паук с ужасом наблюдал, как его любимцы – мерзкие твари, взлелеянные их собратом в человеческом обличье, ползли, выбираясь из-под обломков стекла, по белому ковру.

Некоторые из них немедленно сцепились друг с другом на смерть, в яростной скоротечной схватке убивая и на месте пожирая поверженного врага. Но большая их часть была нацелена на иное.

Вор стоял тут же, не сходя с места. Ни одна ядовитая тварь не заползла на него. словно заговорённого, они огибали Единственного на почтительном расстоянии и, перебирая мохнатыми лапка-

ми, направляли ход прямо к своему кормильцу, извивающемуся на ковре, исходящему ужасным криком.

Вот они поползли, взбираясь на ноги Паука, колотящего ими об пол. Оранжевый африканский паук-бабуин взобрался уже на холёный живот хозяина. Фаланги, мохноногие тарантулы ползли по телу Паука, покусывая его и прямо на нём устраивая драки между собой. Самая крупная чёрная «австралийская вдова», переступая ножками по гладко-выбритому подбородку, подкрадывалась ко рту исходящего в чудовищном крике мафиози.

Эти крики и ужасающие вопли, издаваемые Пауком, чудодейственным бальзамом лились на мёртвое сердце Единственного. Они звучали совершеннейшей в мире симфонией, лаская и ублажая его слух.

Ставшие огромными от охватившего его ужаса, выкатившиеся из орбит, глаза Паука, казалось, вот-вот выпадут из глазниц. Паук-крестовик заполз на правую бровь мафиози. Затем, сделав шагжок, спустился вниз, к веку. Осторожно потрогал огромный выпученный глаз Паука, поцарапал его острым коготком, затем медленно погрузил его в самый зрачок.

Притаившаяся было «чёрная вдова» на секунду остановилась на дёргающейся нижней губе Паука. Переступив ножкой, она провалилась в рот негодяя, широко раскрытый в крике, пробежала по вылезшему розовому языку прямо в горло и исчезла в нём. Крупный ядовито-жёлтый скорпион, усердно карабкавшийся по гладко выбритой щеке, силился заползти в левую ноздрю.

Тело Паука, начинающее реагировать на паучьи укусы, забилося в конвульсиях и судорогах, выгибалось дугой. Слышно было, как трещат, лопаясь, позвоночные хрящи от начавшегося столбняка. Лицо его стало напоминать вытертое старое сукно на бильярдном столе. Паук, обмякнув, начал быстро и мелко биться об пол. Наконец он затих. Всё было кончено.

Единственный, насладившись видом агонии своего врага, спустился вниз и покинул мафиозное гнездо, свитое под вывеской «Фонд поддержки и развития правоохранительных органов». Он оставил за собой уже четыре трупа. Следующим должен быть Герасим!

Герасим!..

Конечно, Амур мог объявить войну клану Тюрьмы. И в самой Москве, и по регионам России у Амура были силы, на которые он

бы мог опереться. И Паука, и Герасима можно было бы устранить с помощью киллеров-наёмников, благо что этого дерьма хватало.

Но нет! Это была его война. Только он сам, Единственный, собственноручно разрежет на куски Герасима. Потом доберётся и до Тюрьмы. Ведь это он, его «друг», отдал приказ об убийстве. Впрочем, идея наверняка принадлежала этой жирной гниде, сегодняшней богатой пище ядовитых тварей.

Белый «Гранд Чероки» разрезал мощными лучами света тёмную пелену ночного дождя. Небо, хмурившееся весь прошедший день, к вечеру совсем затянулось тучами и, казалось, прижалось ближе к земле. Теперь его прорвало, как огромный чёрный полиэтиленовый пакет, наполненный водой. Вода стремительно ринулась вниз, заливая всё вокруг. Стеклоочистители джипа с трудом справлялись со струившимися по ветровому стеклу потоками.

«Это небо справляет тризну по Анжелике, бросая на землю тонны холодной воды. Ведь сегодня день её похорон!» – эта мысль вспышкой пронеслась в хладнокровно работающем мозгу вора и тут же погасла.

Прошло всего три дня с той роковой ночи, а казалось, что огромный кусок кем-то отколотого времени разделил Единственного с безумно обожаемой им женщиной. Эта любовь! Эта ушедшая от него сладость губ! Губ, которые Самат целовал всегда жадно-преждно, как заблудившийся в пустыне странник, увидевший оазис в раскалённых добела песках и припавший к роднику с самой вкусной в мире водой. Какие это были сладкие губы!

В состоянии человека, обглотившегося кокаина, водки и ещё чёрт знает чего, Единственный сжимал руль до боли, так что в тёмном салоне видны были белеющие костяшки пальцев. Боль кричала и вырывалась из его души. Так кричит на озере одинокий лебедь, навсегда потерявший подругу.

«Какая же мразь этот Паук! Ни секунды не колебался. Сразу сдал мне Герасима!» – подумал вдруг с отвращением Единственный.

Герасим скрывался в дачном посёлке Ивантеевка. Только благодаря информации, предложенной Пауком в виде платы за свою вшивую жизнь, Единственному удалось разыскать нужную виллу в темноте рыдающей ночи.

Лучи фар джипа упёрлись в высокие крутые ворота. Единственный умышленно не стал гасить фары, чтобы убедиться, что нужная ему вилла действительно находится здесь.

С пистолетом в руке вор, три дня ни крошки во рту, легко перемахнул через двухметровый забор. Все до единой клетки мозга, все до последнего мускулы его многострадального тела были подчинены одному: предстоящей схватке. Поэтому организм Единственного работал чётко, как высокоточная машина.

С хрипом метнувшуюся к нему мокрой тенью огромную чёрную собаку Единственный хладнокровно уложил двумя точными выстрелами. Псина, коротко взвизгнув, кувырнулась через голову и растянулась у ног вора.

Единственный шёл к дому медленно и бесшумно, движения были шагами крадущейся к добыче пантеры. Площадка перед отстроенным в европейском стиле домом была освещена. Свет рассеивался в ровно выстриженных кустах. Участок вокруг дома был немалый, во всяком случае глазу не был виден конец длинного забора.

Интуиция подсказала Единственному, ёкнув давно умершим сердцем, что именно за этим вот окном он найдёт своего врага. В этот момент маленькая «тургеневская» собачонка Герасима – Муму – разразилась за стеной визгливым лаем. Она почувствовала присутствие чужого.

Это только в кино показывают, как удалые спешназовцы влетают в окна, даже не порезав себе комбинезона. Острый осколок кинжалом вошёл Единственному глубоко в мышечную ткань с левой стороны шеи, когда вор камнем, выпущенным из пращи, влетел в дом, взрывая тишину звоном пробиваемого стекла. Пушистый комочек яростно бросился к Единственному, успевшему подняться с пола.

На расстоянии пяти шагов, застыв на пороге, лицом к нему, стоял злобно ухмыляющийся, заросший седой щетиной Герасим, обнажённый по пояс. В слабо освещённой комнате губы его казались синими. Они были искривлены в ухмылке, обнажавшей ряд верхних золотых зубов. Зрачки глаз расширились и на мгновение показались вору далёкими тёмными мишенями, проступающими из глубины тира.

Пауза длилась лишь доли секунды. Потом грохнула короткая очередь «калашника» – из рук бывшего афганца. Мгновением раньше вор прыгнул в сторону, уже в воздухе послав в убийцу две пули. Одна из них настигла Герасима и отшвырнула его к двери, за которой он скрылся, падая и выронив автомат из рук. Единственный метнулся к двери, ударом ноги отбросив оружие в сторону.

В просторном холле стояло, тускло мерцая железом, полное облачение рыцаря-крестоносца. Пуля, выпущенная Единственным, несомненно попала Герасиму в бедро. Подволакивая раненую ногу, насильник успел добежать до стены, на которой была развешена целая коллекция холодного оружия – боевые топоры, тяжёлые копья, двуручные мечи. Герасим сорвал со стены боевую обоюдоострую секиру и, тяжело дыша, затравленно прижался к стене, мелкими шажками пытаясь отдалиться от смерти.

Нацелив пистолет Герасиму в голову, Единственный не торопился нажать на курок – это была бы очень лёгкая смерть для такого мерзавца. С отвращением глядя в лицо трясущегося врага, он еле сдерживался, чтобы не выпустить в эту мразь всю обойму разом.

Покрытые синими татуировками руки Герасима, сжимавшие древко секиры, дрожали мелко и противно. Из окутанного колючей небритостью чёрного рта вылетели слова, пронзившие Единственного нестерпимой болью:

– А жопка у неё была белая-белая! Мне приказано было просто завалить, но я решил отпробовать!

– Смерть, которой я предам тебя, будет ужасной! – Единственный говорил тихо, будто был посланцем Смерти. – Паук сдал тебя, не задумываясь, пытаясь выторговать себе жизнь. Я скормил его любимым аквариумным тварям. Теперь твой черёд!

Единственный снял со стены острый двуручный меч и, попробовав ногтем лезвие, отбросил пистолет.

Зазвенел металл. Меч и секира ударялись друг о друга, рассыпая по сторонам короткие искры. Противники надсадно, хрипло дышали. Один рубился за право выжить, другой – в стремлении убить. Слышалось только: «Кха! Кха!» – и оголтелый лай Му-му, носящейся вокруг Единственного.

Лишённый возможности опираться на простреленную ногу, озверевший Герасим наносил сокрушительные удары, с коротких замахов опуская зазубренную о меч секиру, пытаясь рубануть противника сверху вниз. Единственный еле успевал уворачиваться. Явно уступая природной физической мощи врага, он с трудом отражал атаки обезумевшего от страха киллера.

В смертельной схватке наметился перевес на стороне Герасима, и тот уже ликовал, выхаркивая из поганого горла:

– Убью, сука!

В тот самый момент, когда на голову вора с сокрушительной силой, подобно гильотине, падала секира, Единственный не стал от-

бивать удар. Подставив под него меч, он стремительно ушёл в сторону. Остриё секиры углом вошло Единственному в бок, разрубая ребра. Но и он смог ударить – мечом, сильно, с отяжкой, по вытянутым вслед за секирой рукам противника. Отрубленные кисти Герасима отлетели к стене, притом продолжая сжимать древко секиры. Герасим взревел, оглашая дом ужасающим криком, размахивая култышками обрубленных рук, орошая всё вокруг густой, чёрной кровью.

Он упал на пол, поджав под себя окровавленные обрубки, и пополз в направлении вора, выкрикивая:

– Это она заговорила меня! Иначе я бы убил тебя. Она так посмотрела на меня перед смертью!

Единственный остановил его, уколол кончиком меча в темя. Он заставил Герасима поднять голову и обронил слова, будто бросил окроплённые кровью кусочки льда:

– Ты грязными своими руками прикасался к моей любви, мерзкое животное! Я отрубил тебе руки. Теперь я отрежу тебе твой поганный член.

С этими словами Единственный выхватил прилаженный скотчем к ноге нож, острый как бритва. Не обращая внимания на то, что Герасим извивался как змея, вор сорвал с него брюки и оголил его ноги. Единственный ухватил под самый корень подло сжавшийся от страха чуть тёплый теперь член Герасима, покрытый глубокими прожилками, оттянул его и резанул, оросил врага и себя брызнувшей кровью. Соскочив с крутившегося как уж на раскалённой сковороде врага, вор почувствовал, что теряет последние силы. Схватив меч, он с размахом рубанул по вытянувшейся змеиной шее, одним ударом отрубив Герасиму мерзкую его голову.

Отбросив в сторону окровавленный меч, он с трудом поднял с пола свой пистолет. Скрипя от боли зубами, засунул его за пояс. Единственный истекал кровью, но делать перевязку не имело смысла.

«Лишь бы успеть к Якову!» – подумал он, ковыляя по комнате, превращённой в поле жестокой битвы.

Не обращая внимания на Му-му, усевшуюся возле обезглавленного трупа хозяина, Единственный носком туфли закатил окровавленную голову Герасима на свой пиджак и завернул её. Потом, шатаясь из стороны в сторону, весь залитый кровью, пошёл к машине, съёжившись на мгновение от протяжного воя преданной своему гнусному хозяину собачонки.

Шум подъехавшей машины Единственный услышал на подходе к воротам. Превозмогая чудовищную боль, он метнулся к стене и прижался к холодному бетону, выхватив наизготовку пистолет.

Металлическая дверь, чуть скрипнув, распахнулась, и на освещённой асфальтированной дорожке стремительно возник Яков Тюрьма. Он быстрым шагом, почти бегом, направился к только что покинутой Единственным вилле.

– Яков! – негромко окликнул врага Единственный, отрываясь от стены.

Тюрьма резко обернулся. В свете, падающем ему на лицо, он казался белым как мел. Осунувшийся, не выбритый, с тёмными кругами под глазами, Яков взглянул на Единственного и ужаснулся. С головы до ног залитый кровью, с каким-то странным свёртком под мышкой в одной руке, с нацеленным прямо Тюрьме в голову пистолетом в другой – таким предстал перед ним Амур.

От растерянности Яков только и произнёс: «Самат!..» Хотел ещё что-то сказать, но ничего не смог выдавить из пересохшего горла.

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. В глазах Тюрьмы метались тревога и растерянность. Холодный тягучий взгляд Единственного выражал отвращение к человеку, стоящему в пяти шагах от собственной смерти.

Не отрывая взгляда от Якова, Единственный бросил свёрток в направлении своего бывшего друга. Из свёртка к ногам застывшего в ужасе Тюрьмы покатилась, страшно белея выпученными глазами, пачкая кровью асфальт голова Герасима.

Докатившись до ноги Якова, голова сама остановилась, окровавленным срубом шеи запачкав туфлю своего хозяина. Оцепеневший, с трудом расклеив губы, Яков тихо произнёс, стараясь придать предательски дрожащему голосу убедительность.

– Ты хочешь убить меня? – спросил он. – Поверь мне, я мчался сюда, чтобы спасти тебя от него, – Тюрьма опустил взгляд на лежащую у его ног голову киллера. – Подумай сам, я не лгу. Иначе бы я послал сюда отряд.

Единственный продолжал смотреть в лицо Якову.

– Ты отдал приказ Герасиму? – почти шёпотом спросил он.

– Пойми, Паук представил мне записи ваших бесед с Анжеликой. Она убеждала тебя отойти от нашего мира и уехать вместе с ней за бугор. И ты был почти согласен. Тем самым она подписала себе приговор. Не мне тебе говорить, ты знаешь: в той игре, в кото-

рую вошли мы, нет хода назад. Тебя об этом предупреждали. Паук убедил меня в том, что, если Анжелики не станет, ты со временем образумишься. Если бы я не санкционировал это... – Тюрьма произнёс слово «это», не посмев сказать по-другому.

– Это убийство? Ты это хотел сказать? – спросил Единственный. Яков, опустив глаза, кивнул головой.

– Он всё равно бы отнёс кассету с записью им. Ты знаешь, о ком я говорю. Тогда они могли дать приказ убить и тебя тоже.

– Ты знаешь о том, что Герасим сначала изнасиловал её? – в металлическом голосе Единственного Яков услышал противно позвякивающую поступь смерти, приближающейся к нему. Он съёжился, будто продрог на сильном морозе:

– Нет, ты что! – отпирался Тюрьма почти шёпотом. – Такого приказа я никогда бы ему не дал... Я... Ну стреляй, стреляй же быстрее! – вдруг заорал Яков, не выдержав. – Это бизнес! Это деньги! Фантастически огромные деньги! На тебя было поставлено, и ты сам виноват, что стал подумывать о выходе из игры. Ты думаешь, я боюсь? Стреляй же! Случись наоборот – ты поступил бы так же!

Тюрьма замолк, хватая ртом воздух, тяжело переводя дыхание. Его бока ходили, как у загнанной в смертельном беге лошади.

– Я не убью тебя! – произнёс Единственный. – Не имею права убивать тебя без решения сходки, потому что я – истинный вор. Твой отец завещал мне сохранить воровскую чистоту. Меня всегда мучило то, что я был вынужден отходить от старых воровских принципов. Я не убью тебя. Ты и так будешь убит. Тебя убьют такие же, как и ты, для которых существует один бог – деньги! Каждый из нас взойдёт на свою Голгофу. С непосильно тяжёлым крестом на спине. Всё исчезнет как мираж. Лишь содеянное останется с тобой на той Голгофе!

Единственный опустил пистолет, повернулся и побрёл к воротам, прижимая руку к окровавленному боку.

Ему с трудом удалось вскарабкаться на сидение машины. Было очень больно и трудно поднимать ногу, заноса её в салон автомобиля. Наконец ему удалось это сделать, и Единственный рухнул на жёлтое кожаное сидение, не удержав стон, вырвавшийся из груди.

Он завёл двигатель, подал машину назад, переключил скорость и поехал прочь от виллы, оставив на ней своих врагов, одного мёртвым, другого – живым.

«Только бы доехать!» – молил Единственный Господа о милости, чтобы тот дал ему сил добраться до могилы Анжелики.

Обратная дорога была мучительно долгой. Джип трясло на неровностях дороги, и Единственный почти терял сознание и остатки сил.

Он вёл машину, истекая кровью, усилием воли разгоняя опускающуюся на глаза кровавую пелену. Руль от крови стал противно скользким.

«Только бы доехать!» – стучало в мозгу у Единственного. Это длилось дольше, чем вся его страдальческая жизнь. Серую ленту дороги, расстилавшейся перед ним, также застила набегавшая пелена, и дорога становилась как бы алого цвета.

«По алой дороге к любимой!» – подумал Единственный. Думать тоже было тяжело, он совсем обескровел.

Вот, наконец, и кладбище. Да, это оно. Ночной кладбищенский сторож, здоровенный молодой парень, содрогнулся, узрев Единственного.

– Здесь сегодня похоронили актрису Ростоцкую. Проводи меня к ней, – разбрызгивая пошедшую горлом кровь, властно приказал Единственный парню. Испуганный парень подтверждающее кивнул и засеменил быстрым шагом вперёд, мысленно – на чём свет стоит проклиная свою работу.

– Да, да, это здесь недалеко. Сколько работаю – ни разу не доводилось видеть столько народу. Вся Москва пришла к ней. Вас бы перевязать надо! Давайте я перевяжу вас, у меня в будке есть аптечка! – испуганно бормотал он.

– Это уже ни к чему, братишка. Мне бы только успеть дойти до неё. Истёк я сильно. Ты бы помог мне? Правда, я испачкаю тебя кровью, – голос Единственного выражал такую просьбу, что парень не смог отказать. Осторожно обняв раненого за здоровый бок, тот стал помогать страшному ночному посетителю брести к могиле актрисы.

Они с Карнаухим шли к речке, чтобы покидать с крутого берега в только что вырвавшуюся из ледяного плена реку пустые пузырьки из-под пенициллина. До чего же Самат был неуклюж! Бросив очередной пузырёк в стремительно несущуюся чёрную воду, мальчик поскользнулся и упал руками в грязь.

Посмотрев на свои испачканные руки, он решил спуститься с крутояра вниз, к реке, и помыть их. Сбежав по тропинке, он встал на самый край льдины и, наклонившись, протянул руки к воде. Пропитанная речной влагой кромка льда обрушилась у Самата под ногами, и он повалился в воду. Какая она была холоднющая! Прожгла его до костей! Самат отчаянно барахтался. Он не умел держаться на воде. Рядом с ним плыли его тетради, книжки, выпавшие из ранца, чуть поодаль крутилась пластмассовая чернильница. Чёрная вода утягивала Самата вглубь, но он подсознательно, изо всех сил, бил по ней руками и ногами. Мальчику было страшно. Берега стремительно неслись вдалеке, и не было уже никакой надежды на спасение...

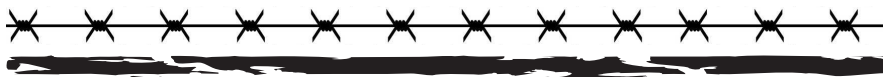
– Зачем я жил? – тупой болью пронзила мозг усталая мысль.

Единственный умирал на могиле Анжелики, как на своей Голгофе. Умирать было не страшно. Его сознание меркло, но мозг странным образом проявлялся.

Наконец в душе Единственного стало совсем безоблачно, будто его озарил божественный свет. И тогда Самат искренне воззвал к Господу, прося прощения за все содеянные им грехи. Он просил Всевышнего соединить их с Анжеликой души. Чтобы быть им там, навсегда, вместе!

*Кокшетау – Семипалатинск – Будапешт – Алматы.
1996-1998*





Краткий словарь воровских, тюремных, лагерных терминов

Едва ли следует читателю этой книги заучивать наизусть термины, в алфавитном порядке перечисленные ниже. Не исключено и то, что смысл, заложенный в них, очевиден без особых объяснений. Следить за перипетиями судьбы Единственного можно и так. Тем не менее, автор полагает, что, собранные вместе, эти горькие слова есть дополнительная возможность для читателя – вникнуть в атмосферу «параллельного» мира, представления круга людей, которые вольно или невольно оказались отброшенными на обочину социального и прочего прогресса.

Автозак – специальный автофургон, в котором перевозят заключённых. Отличается отсутствием окон.

Атас – возглас, восклицание, сигнал тревоги; стоять, быть на атасе – следить за окружающей обстановкой, чтобы, в случае чего, подать сигнал тревоги.

Балабол – лагерный громкоговоритель – репродуктор.

Бан – железнодорожный вокзал.

Барыга – скупщик краденого.

Баян – металлические жалюзи, загораживающие окно. Укреплённые за решёткой, горизонтальные полосы баяна намертво зафиксированы так, чтобы арестант, обитатель камеры, не видел неба – света божьего. Типичное изобретение ГУЛАГа.

Бегать по хатам – совершать квартирные кражи.

Беспредел – поступки, противоречащие воровскому закону.

Беспредельщик – то же, что отморозок.

Бимбер – карманные часы.

Бить по фанере – бить по груди.

Бить пролётки – ходить взад-вперёд по камере.

Блуда – нож.

Братва – воровское братство.

Бугор – бригадир.

БУР – барак усиленного режима, с камерами до шести человек. Заключённых могут поместить в БУР на срок до 6 месяцев. Шконки в нём не «запирают», разрешены матрац и подушка. Курение не запрещено. Питание – обычное лагерное.

Бычок, побег с бычком – побег в компании с заключённым, которого прихватывают с собой, не посвящая в суть дела, чтобы в нужный момент убить его и съест.

Вагонзак – специальный вагон, в котором заключённых перевозят по железной дороге. Также известен под названием «Столыпин».

Вафлёр – тот, кто делает кому-либо минет.

Вертухай – заключённый из числа военизированной охраны.

Вздюкивать – оказывать сопротивление.

Взросляк – исправительное учреждение (лагерь, зона) для взрослых (совершеннолетних) преступников (ср. малолетка).

Висячка – нераскрытое преступление.

Волчок – глазок в двери камеры, позволяющий дубаку наблюдать за происходящим в ней.

Вор в законе – высший авторитет преступного мира.

ВОХР – военизированная охрана.

Выехать на гастроли – отправиться в поездку по городам с целью совершения серии краж.

Вышак – высшая мера наказания (то же, что и пыж); заключённый, приговорённый к смертной казни.

Вязаная зона – колония, в которой основная масса заключённых вовлечена в лагерные общественные организации (типа Совета внутреннего порядка, Совета коллектива колонии и пр.), члены которых якобы встают на путь исправления.

Гад – обитатель тюрьмы или зоны, добровольно перешедший на сторону администрации, под её руководством помогающий «ломать» остальных заключённых.

Гайдамаки – солдаты Внутренних войск.

Гарем – барак либо конкретная часть барака, где обитают опущенные (выражаясь иначе – петухи, девки). Командует таким бараком, частью барака, глав-петух.

Гастроли – см. выехать на гастроли.

Гашник – тайник.

Главшпан – неформальный лидер арестантов.

Гнать фуфло – говорить полную ерунду; давать заведомо ложную информацию.

Грев – помощь заключённым в виде денег, продуктов, курева и т. д.

Греть зону – передавать в колонию продукты, курево, медикаменты.

ГУЛАГ – Главное управление лагерей; в настоящее время этот термин используется для обозначения вообще системы, включающей в себя тюрьмы, зоны, лагеря – все учреждения, в которых находятся люди, лишённые обществом свободы.

Дармовой – задний брючный карман.

Дёргать на рывок – уходить в побег на глазах у охраны.

Дери-бери – преступники, которым решительно всё равно: что обокрасть, что изнасиловать, что ограбить, что убить жертву.

Довесок – дополнительный срок.

Дом – тюрьма (известна поговорка: «Тюрьма – дом родной!»).

Домушник – крадун, совершающий квартирные кражи.

Дороги – внутритюремные средства передачи различного рода посланий.

См. кони.

Дубак – тюремный надзиратель.

Дыбануть – посмотреть.

Дэцал – совсем немного, малая часть чего-либо.

Ёж – приспособление, изобретённое и изготавливаемое арестантами, позволяющее передавать «груз» по соседству – из камеры в камеру.

Жиган – вор-рецидивист.

Жилзона – участок территории зоны (лагеря, колонии), на котором расположены жилые бараки. (Ср. промзона).

Загрузиться паровозом – на следствии и суде взять на себя роль организатора при совершении группового преступления.

Запаadlo – термин, описывающий отношение к действиям, которые никогда не станет предпринимать порядочный арестант.

Затачковать – спрятать.

Звонок – конец срока заключения.

Зелень – доллары США.

Зона – то же, что лагерь. Исправительно-трудовое учреждение, в котором содержатся, отбывая срок наказания, те, кого общество признало преступниками. Зоны могут быть особого, строгого, общего режима.

Идти под пыж – идти под расстрельную статью.

Кабур – отверстие в полу, стене или потолке камеры, пробиваемое арестантами для общения с соседями.

Канать – выдавать себя за кого-либо, выступать в каком-либо качестве.

Келешевать – перекидывать арестанта с места на место – из тюрьмы в тюрьму, из одной зоны в другую, и т. д. См. келешовка.

Келешовка – в оперативных целях проводимое перемешивание контингента заключённых.

Кент – приятель, товарищ.

Кешер – арестантская торба (то же, что сидор).

Кидала – шулер, обманщик.

Кипеш – шум, скандал.

Кича – штрафной изолятор (то же, что ШИЗО, трюм).

Кнокать – давать.

Козлы – лагерные активисты.

Козлятник – здесь: барак, в котором живёт преимущественная часть контингента заключённых-активистов.

Конвой – наряд солдат Внутренних войск, сопровождающий заключённого при всех его передвижениях.

Кони (см. дороги) – внутритюремные средства передачи различного вида посланий. Используя груз – чем-то тяжёлым набитый мешочек, за которым тянется конь (сплетённая из распущенных носков нить), а также палку с крючком на конце, называемую стрелой, совершают заезд в соседнюю камеру. Приставленный к делу арестант, коневой, сквозь решетку и баян особым движением руки пробрасывает груз, который, описывая назначенную ему траекторию, цепляется за выставленную из соседней камеры стрелу, куда таким образом и попадает ходовой конец коня. Прделанное означает натянуть дорогу между двумя камерами. Такими «дорогами» опутаны все российские тюрьмы. Всякий достойный арестант обязан заботиться о поддержании в действии этой системы. Для обитателя тюрьмы дороги – это жизнь.

Короновать – возвести в сан вора в законе.

Корпусной – дежурный по корпусу.

Косарь – тысяча (рублей, например).

Косячок – папироска, заправленная анашой.

КПЗ – камера предварительного заключения.

Крадун – человек, который на свободе живёт тем, что совершает кражи. В преступном мире такие лица пользуются особым уважением.

Красная зона – колония, основную массу обитателей которой составляют послушные администрации активисты.

Краснопёрый – милиционер.

Краснушник – крадун, совершающий кражи из вскрываемых им железнодорожных контейнеров.

Красные шапочки – преступная масть.

Красть на бану – совершать кражи на вокзале.

Красть по отвёртке – совершать кражи в магазине, специально отвлекая внимание продавца.

Крест – тюремная больница.

Крысить – воровать у своих.

Крытая, крытка – особо «строгая» тюрьма. В крытку направляют: «с воли» за особо тяжкие преступления, из лагеря – за отрицательное поведение, неповиновение лагерной администрации. Реально таким образом администрация освобождается от лиц, нашедших в себе силы не сломаться «под прессом».

Крючочник – крадун, приноровившийся извлекать интересующие его предметы из сумок, сеток и пр. с применением особого крючка.

Ксива – документ.

Кум – начальник оперчасти, оперативной части колонии.

Куманёнок – оперработник.

Кумовской – стукач, работающий на кумотдел.

Кумотдел – оперчасть, отдел лагерной администрации, занимающийся оперативной работой.

Курёха – табачные изделия.

Курок – тайник, место, в котором заключённый прячет запрещённые предметы.

Кустарь – лагерный умелец-мастеровой.

Лавэ – просто деньги.

Лагерная бирка – белая тряпица, на которой обозначены фамилия заключённого и номер отряда. Бирку нашивают на грудь, на куртку или ватник. Порядочному отрицалову носить такую бирку считается зазорным.

Лепень – костюм.

Лимон – миллион (ср. косарь, например, рублей).

Локалка – ограждение, отделяющее один барак от другого.

Ломом опоясанный – преступная масть.

Лопатник – бумажник.

Лохматина – повязка с надписью СВП (Совет внутреннего порядка). Для достойных арестантов носить её – запаadlo.

Мазевый – хороший, достойный.

Малина – квартира, в которой после совершения краж собираются участники соответствующих акций.

Малолетка – «исправительное» учреждение (колония) или часть тюрьмы, в которой содержатся несовершеннолетние преступники.

Мальцы – отмычки.

Малява – записка, передаваемая посредством коней и дорог. Малява, загнанная через «ноги», – записка, переданная через надзирателя, естественно, за определённую плату.

Маруха – воровская подруга.

Маслокрад – пользующийся своим служебным положением, ворующий чиновник.

Мацать – лапать, щупать.

Медвежатник – крадун, совершающий кражи путём вскрытия сейфов.

Ментовать – сотрудничать с представителями администрации зоны или тюрьмы, способствовать проведению их идей в жизнь.

Ментовская шняга – интрига, запускаемая ментами с целью принизить авторитет определённого заключённого.

Мойка – лезвие «безопасной» бритвы (типа «Нева» или «Спутник»).

Монастырь – женская половина следственного изолятора.

Мусор – милиционер.

Мусора на хвосте – милицейская погоня.

Мякина – заведомая ложь.

Наводка – сообщение крадуну о богатой «хате» либо о ситуации, в которой можно было бы совершить кражу (например, о перевозе денег инкассаторами, о перемещении драгоценностей и т. д.)

Наглушняк – насмерть.

Накольщик, накольщица – лицо, дающее наводки на богатые квартиры и т. д.

Налётчик – совершающий вооруженный налёт.

Намазать лоб зелёной – это означает присудить высшую меру наказания, т. е. расстрел. Мрачный юмор состоит в следующем: как бы следует намазать зелёной место на лбу, в которое попадёт пуля – чтобы продезинфицировать края входного отверстия.

Наркотзона – колония с принудительным лечением от наркотической зависимости.

Наседка – агент оперчасти.

Не в кипеш – спокойно, не привлекая внимания.

Нежданчик – неожиданно, внезапно.

Обиженка – камера, в которую администрация тюрьмы помещает заключённых из числа «обиженных» («опущенных», «петухов», «девок»).

Общак – деньги или материальные средства (продукты и пр.), собираемые с целью поддержки заключённых, находящихся в больнице, изоляторе, в помощь уходящим в крытку. Существует общак и на воле.

Одеть повязку, лохматину – перейти в число лагерных активистов, т. е. стать козлом.

Один на льдине – преступная масть, зэк-одиночка (сам по себе).

Однobleбник – один из членов семейки по отношению к остальным её членам.

Опомoенный – тот, кто совершил проступок, за который его «опомoили» (например, помочились на него).

Опустить – перевести арестанта в категорию опущенных, демонстративно подвергнув его сексуальному насилию.

Опущенный – то же, что «обиженный», «петух», «девка». Заключённый, по отношению к которому было применено сексуальное насилие.

Отбивать грудянки – бить в грудь тыльной стороной ладони.

Откинуться – освободиться, выйти на свободу по окончании срока наказания.

Отморозок – беспредельщик, не признающий никаких понятий – ни воровских, ни общечеловеческих.

Отмыкивать – вскрывать дверь.

Отнести на крест – передать в больницу (в «святой дом») лежащим там заключённым.

Отрицал, отрицалово – осуждённый, отрицающий методы, применяемые администрацией «исправительного» учреждения (лагеря, зоны).

Отстойник – крошечная камера.

Петухи – лагерные или тюремные изгои – осуждённые, опущенные, например, сокамерниками за какую-то провинность.

Пидорка – летний головной убор зэка.

Писака – крадун, совершающий кражу путём разрезания одежды специально заточенной монетой. В преступном мире писака пользуется большим уважением.

План – «травка», анаша, марихуана – наркотик, который курят.

Побегушник – заключённый, находящийся в побеге.

Погоняло – кличка.

Подельник, подельщик – соучастник, проходящий по тому же «делу».

Подломить – обокрасть.

Подпасти – выследить.

Поездущник – крадун, совершающий кражи в поезде.

Покупать – красть из карманов.

Покупка – кража из кармана.

Положенец тюрьмы – авторитетный заключённый, назначаемый ворами в законе, выбираемый из числа достойных арестантов для того, чтобы контролировать ситуацию в тюрьме, защищать права арестантов от ментовского беспредела, регулировать внутренние взаимоотношения между арестантами, в основе которых лежат принципы воровской справедливости.

Польские вору – особая преступная масть. Они были настроены против воров в законе. Принимая в свои ряды новичков, проводили определённый ритуал, заставляя, в частности, целовать нож.

Помрог – заместитель председателя (командира) отряда (на малолетке).

Пресс-хата – камера, в которую администрация СИЗО подбирает контингент из бывших членов СКК либо проштрафившихся перед своими блатных (ставших гадами) для проведения оперативных мероприятий. Такие камеры используются, например, для получения от заключённых, помещаемых туда на раскрутку, «нужных» следователям показаний – с применением грубой физической силы, изощрённых издевательств и т. д.

Притыривать – прикрывать, припрятывать.

Продол – ответвление тюремного коридора с выходящими в него камерами.

Промка, промзона – территория зоны, на которой расположены предприятия, где трудятся заключённые, отбывающие срок.

Пропарить – жестоко избить.

Пропульщик – лицо, принимающее украденное другим.

Прохоря – ботинки.

Пыж – высшая мера наказания (то же, что и вышак).

Пятак – унитаз.

Пятнашка – пятнадцать суток; заключение на пятнадцать суток.

Работать по отвёртке – «отворачивать», красть в магазинах.

Ракетка – скрученный из бумаги цилиндр, обёрнутый целлофаном, внутрь которого засыпают чай. Ракетки из камеры в камеру передают с помощью дорог.

Рамс – лагерная игра; этим же словом можно обозначить спорную ситуацию.

Раскрутка – попытка «навесить» на заключённого дополнительные статьи, заставить его взять на себя совершение тех или иных преступлений.

Расшмалять – расстрелять.

Режимник – начальник режимной части колонии.

Решка – решётка на окне тюрьмы.

Рог – председатель (командир) отряда на малолетке.

Рыжий – изготовленный из золота.

СВП – Совет внутреннего порядка.

Семейка – неформальное объединение заключённых. В колониях заключённые живут «семьями». Члены одной семьи называются однохлебниками.

Сидор – то же, что кешер – вещевой мешок, котомка арестанта.

СИЗО – следственный изолятор (как правило, условия содержания в нём соответствуют тюремным).

СКК – Совет коллектива колонии.

Слямзить – стащить, украсть (то же, что стибрить).

Смотрящий – арестант, который следит за тем, чтобы на проходе не возникал беспредел; он же разрешает соответствующие конфликты.

Спецом – заранее спланированное действие, производимое специально, нарочно, с определённой целью.

Срок – время, которое осуждённому надлежит отбыть в зоне или тюрьме. Считается почему-то, что по прошествии этого срока заключённый должен исправиться и стать «полноценным членом общества».

Стакан – подобие «гроба» в стене, в который помещают арестантов, которых администрация пытается «сломать».

Стибрить – то же, что слямзить.

Ступик – подобие острейшего ножа; сделан из супинатора для обуви.

Суки – бывшие воры, которые отказались от воровской идеи и «продались» мусорам (т. е. ссучились).

Сходка – собрание воров в законе. На сходках принимаются важные решения, осуществляются «коронации», решаются сложные вопросы.

Съесть мякину – поверить обману, поддаться на какую-то хитрость.

Терпигорец – арестант, претерпевший много страданий.

Толчок – отхожее место, выемка в полу с отверстием для слива.

Трюм – штрафной изолятор (то же, что ШИЗО, кича).

Тюб чая – «мера измерения», количество плиточного чая, достаточное для приготовления кружки чифира.

Тюха – ломоть хлеба.

Убегать с делюги – уходить с «дела» (с кражи).

Фатера – квартира.

Филки – деньги.

Фонарь – особое место, расположенное неподалёку от входа в зону. В этом месте постоянно дежурят сменяющие друг друга заключённые. Если к кому-то из обитателей зоны приехали с воли, чтобы передать грёв или письмо, то дежурящий на фонаре может быстро позвать нужного человека. Фонарь существует в любой зоне.

Фортальник, форточник – участник воровской акции, проникающий в квартиру через форточку.

Фраер – человек, не имеющий отношения к преступному миру; то же, что лох.

Фурман – жертва карманника.

Фуфло – заведомая ерунда, ложная информация, неправда.

Хаза, хата – квартира.

Ходка – судимость.

Хозяин – начальник колонии.

Хромачи – сапоги из хромовой кожи.

Централ – старинная пересыльная тюрьма (центральная).

Чердак – наружный нагрудный карман пиджака.

Чёрная масть – блатные.

Чифир – густо сваренный чай. Популярное «лакомство», одно из самых доступных для заключённого средств поднять тонус и улучшить настроение.

Чифирбак – пол-литровая кружка, используемая для приготовления чифира.

Чухан – заключённый, не следящий за собой, не соблюдающий личной гигиены.

Шамовка – еда.

Шестерик – шесть месяцев.

Шестерить – выступать в качестве шестёрки, с готовностью оказывать услуги сильнейшему.

Шестёрка – прихвостень, прислуга.

Шестисотый – автомобиль марки «Мерседес» 600-й модели. В конце двадцатого века в России считался наиболее престижной маркой автомобиля. Практически любой уважающий себя «авторитет» или бизнесмен считал необходимым обладать такой машиной; вместе с «Запорожцем» непрменный атрибут анекдотов про «новых русских».

ШИЗО – штрафной изолятор (то же самое, что трюм, кича). В нём содержат заключённых, по 2-3 человека в камере, на срок не более 15 суток. Шконки в нём «отпирают» только на ночь; в дневное время их оставляют пристёгнутыми к стене. Форма одежды обитателей изолятора, во все времена года, – лагерный х/б костюм с надписью «ШИЗО». Питание: «день лётный» – фунт хлеба и кипятка; «день залётный» – только кипятка. Курить в ШИЗО не положено, при поступлении в изолятор курево изымают.

Ширмач – участник воровской акции, делающий «ширму», отвлекающий внимание жертвы и окружающих её лиц от крадуна, собственно совершающего кражу.

Шконка – койка, металлические нары.

Шмон – обыск.

Шняга ментовская – см. Ментовская шняга.

Шнырь – здесь: раздатчик пищи и уборщик (в одном лице).

Штырь – самодельное холодное оружие заключённых. Представляет собой кусок арматурного прута, остро заточенный с одного конца.

Шуба – решётка, сваренная из арматурных прутьев, обходящая камеру по всем стенам.

Шустряк – шустрый.

Этап – некоторое количество заключённых, которых одновременно перевозят из одного места в другое; прибывающая в зону (тюрьму и т. д.) группа заключённых.

Этапка – камера для арестантов, направляемых в скором времени в этап.

Яма – квартира, хозяева которой скупают краденое.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О том, для чего писалась эта книга	3
--	---

Часть 1. ВЯЗАНАЯ ЗОНА

Глава 1. Вязаная зона	6
Глава 2. Сатана	19
Глава 3. Сангород – Светлана	39
Глава 4. Воспоминания о детстве	47
Глава 5. Майдан	59

Часть 2. КАМЕРА СМЕРТНИКА

Глава 1. Следствие и суд	76
Глава 2. Малолетка	98
Глава 3. Инга	106
Глава 4. Гурьевская тюрьма – Голубь, Буран, Деникин	115
Глава 5. Отмена приговора – Латвина	149

Часть 3. ВОЛЯ

Глава 1. Побег	186
Глава 2. Коронация	203
Глава 3. Новые лица – Наташа, Герасим, Паук	216
Глава 4. Яков и Яна	241
Глава 5. Живой	277

Часть 4. ФИНАЛ

Глава 1. Анжелика	330
Глава 2. Стрелка с чеченцами	358
Глава 3. Смерть Яны	366
Глава 4. Поездка на родину	390
Глава 5. Финал	409

Краткий словарь	437
-----------------------	-----

Конуров Марат Сеитович

КАЖДЫЙ ВЗОЙДЕТ НА ГОЛГОФУ

Редактор Н. Оразбек

Художник Б. Серикбаев

Технический редактор А. Арестова

Компьютерная верстка Б. Малаева

Использованы фото с источника www.sputniknews.kz

Видетельство № 23081-1910-ТОО

Формат 60х90 1/16.